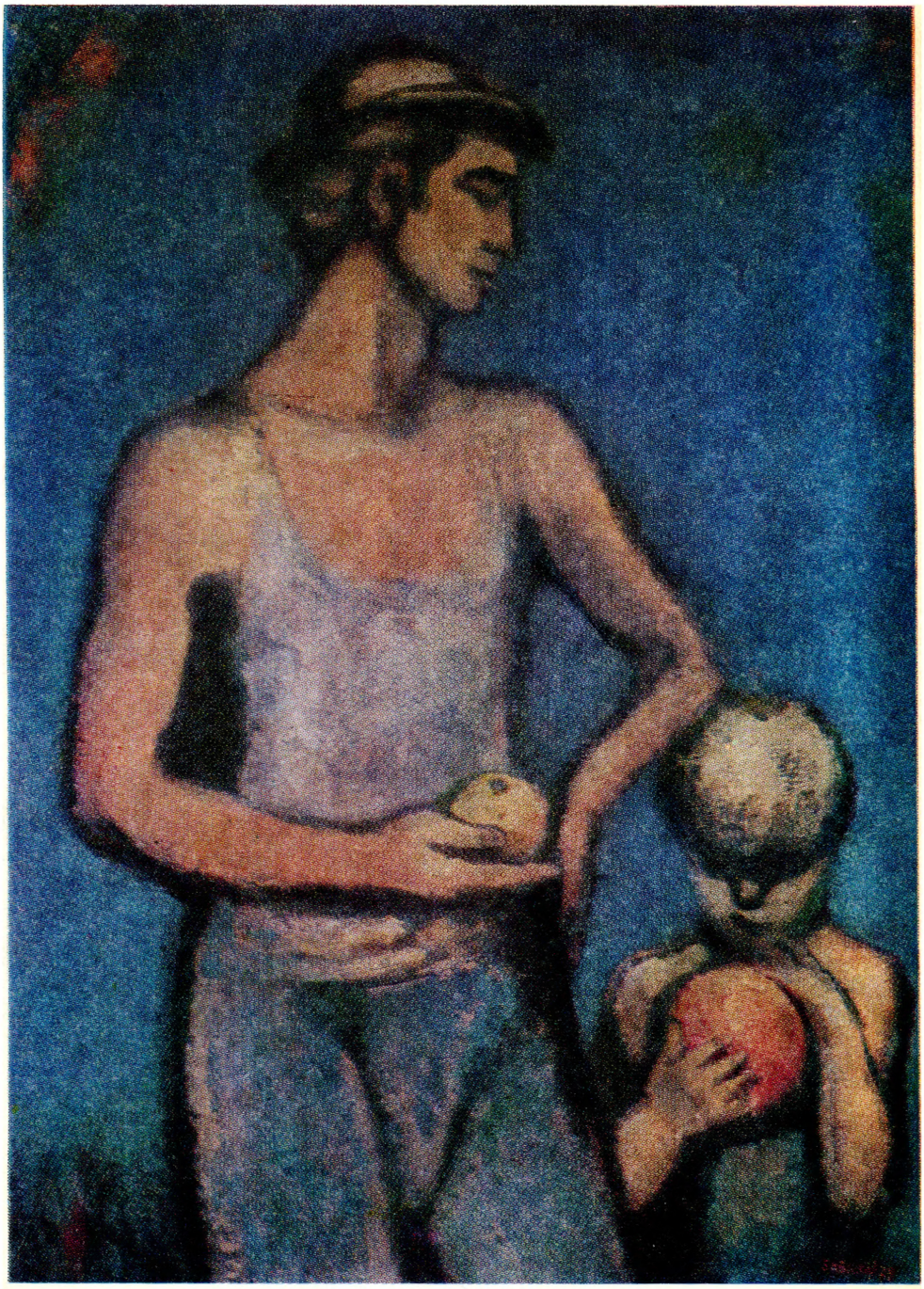
ISSN 0130–6545

12. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Отец и сын. 1979 г.

Цветные иллюстрации номера —
работы болгарского художника Христо Бабикова

(Из серии по Советскому Союзу)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

12 декабрь 1983

Содержание

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ — Рассказы *(Вступление и перевод с немецкого Э. Львовой)* 3

ЮХАН БАРГУМ — Темная комната *(Роман. Перевод с шведского Ирины Новицкой)* 20

АЛЬФОНСО БАРРЕРА ВАЛЬВЕРДЕ — Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки *(Роман Перевод с испанского Л. Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича)* 89

ГОРДОН ПАРКЕР — Омут *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Ашкенази и С. Майзельс. Послесловие Георгия Анджапаридзе)* 160

Литературное наследие

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС — Стихи *(Перевод с греческого Юнны Мориц, С. Ильинской, Евгения Солоновича. Вступление С. Ильинской)* 186

Критика

АЛЕКСАНДР МУЛЯРЧИК — Вызов восьмидесятых *(О некоторых тенденциях современной литературы США)* 193

Наш календарь

М. ШЕРЕШЕВСКАЯ — Из писем Генри Джеймса *(К 165-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева)* 202

Культура и современность

А. Зверев — Чувство истории 208

Публицистика

Писатели мира отвечают на обращение Михаила Шолохова 212

АНДРЕЙ ПЛАХОВ — В зеркале западного экрана *(Заметки с Московского международного кинофестиваля)* 216

Антирубрика

ДЖОН ЛЕННОН — Миниатюры *(Перевод с английского Владимира Бошняка и Марка Стефанского)* 229

Среди книг

Издано в СССР

И. Попов — Древо американской поэзии ✦ Ю. Архипов — На грани двух миров 233

Издано за рубежом

А. Рыбикова — Новый роман о Марксе ✦ Ю. Каграманов — Путешествие навстречу своей тени 238

Из месяца в месяц 242

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1983 г. № 1—12 250

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы болгарского художника ХРИСТО БАБИКОВА из серии «По Советскому Союзу»: «Северный поселок» (1971), «Церковь Спаса-Нередицы» (1979), «Бухара. Мечеть» (1980).

© «Иностранная литература», 1983.

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

Рассказы

■

Вступление и перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

Имя Иоганнеса Бобровского (1917—1965), выдающегося немецкого поэта и прозаика XX века, знакомо советскому читателю. Стихи и проза Бобровского издавались в русских переводах и получили заслуженное признание. В 1969 году журнал «Иностранная литература» опубликовал роман И. Бобровского «Литовские клавиры». За ним последовали публикации других прозаических и поэтических произведений писателя [1].

Время, отделившее нас от первого знакомства с И. Бобровским, позволило увидеть истинный масштаб его творческой личности и осознать подлинное значение того, что им написано. Его художественное наследие во многом определило творческие искания многих известных поэтов и стало важным истоком обновления традиции лирической прозы, в которой Бобровский создал свои не менее замечательные, чем в поэзии, произведения. Отголоски лирической прозы Бобровского живут в произведениях Стефана Хермлина, Кристы Вольф, Хельги Шюц, Гюнтера де Бройна и многих других писателей ГДР.

Тематическое и образное богатство поэзии и прозы Бобровского определяется отчасти его биографией. Бобровский привязан к своей почве. Он родился в Тильзите, на территории бывшей Восточной Пруссии. Его юность прошла в той смешанной литовско-немецкой среде, где происходит действие его романов и большинства рассказов.

Давняя история и недавнее прошлое этого края наполняют своим дыханием едва ли не каждую строку, вышедшую из-под пера писателя. Бобровский не только не отводит глаз от горестных страниц в истории этой земли, но и несет в своей душе острое сознание вины своего поколения перед славянскими народами, которые испокон века жили здесь рядом и вместе с немцами. Напевность литовской крестьянской речи с детства не менее знакома слуху Бобровского, чем живая энергичность немецкой. Именно оглядываясь в прошлое, И. Бобровский находит, быть может, самые заветные свои темы — литовскую и крестьянскую.

Публикуемые нами рассказы написаны в разные годы. Они связаны единством мелодического строя прозы И. Бобровского, который и в ней остается прежде всего поэтом.

Рассказы Бобровского многослойны: за самой непритязательной на первый взгляд картинкой сельского быта постепенно проступает другая картина — картина большого мира с его бедами и тревогами, радостями и трудами.

Закон поэтических ассоциаций часто оказывается для поэта важнее законов обычной повествовательной логики. Мир И. Бобровского — это особый мир, а герои его рассказов и романов: музыканты, поэты и крестьяне — естественно обитают в этом странном мире, где причудливо сплетены будничное и высокое, горестное и забавное, мелкое и вечное. Столь же нераздельны, столь же сплавлены в кузнице поэтического воображения Бобровского все элементы внутренней структуры повествования: голос автора то звучит самостоятельно, то полностью сливается с голосами героев, то оттеняет своеобразие звучания каждого из них. Чередование этих голосов во многом определяет смысловое и ритмическое богатство этой прозы.

Искусство Бобровского-рассказчика многообразно: у него есть и короткие стихотворения в прозе, есть бытовые крестьянские рассказы, созвучные, на наш взгляд, современной русской и литовской деревенской прозе, есть, наконец, философские размышления, облеченные в излюбленную писателем лаконичную повествовательную форму.

Все, что написал Бобровский, окрашено неповторимостью и обаянием его творческой личности, во всем звучат живые интонации этого мудрого, лукавого и грустного собеседника.

---

[1] О творчестве И. Бобровского см. «ИЛ», 1969, № 2 и 1973, № 4.

Размышление над литографией

Превосходно получалось это в прошлом веке: и научные экспедиции, и сообщения о них. Я вспоминаю Торелля, Де-Лонга, Норденшельда и самого давнего, но знаменитого Крузенштерна. Он много путешествовал по Северу и написал чудесные сочинения об океане. К тексту приложены карты и литографии. Я кладу на стол перед собой такой лист, он скорее всего происходит из подобной папки.

Литография цветная, на большом продолговатом листе бумаги. На ней мелководная бухта с небольшими рифами, галька, валуны, из воды поднимаются груды камней: серых, красноватых, сернисто-желтых, зеленых. За ними — берег, округленный дождями, а может быть, ручьями или штормовым приливом; вон там берег расколот ущельем, обрывистый, крутой над плоским песком, но склоны его еще высоки и достаточно надежны, а над самым откосом, почти наступая на него, деревня.

Здесь, на картинке, можно насчитать шестнадцать домов, но их, наверное, больше, и церковь тут тоже есть; все построено из дерева, а направо от церкви до самого края берега, своего рода мыса, за которым берег отступает и видно открытое море, тянутся кресты, деревянные кресты. Сначала целая горстка, четырнадцать или больше, потом один-единственный, особенно большой с подобием кровли от вершины к концам поперечины, потом снова далеко друг от друга, ближе к морю четыре таких креста, их поддерживают подпорки на случай порывистого ветра.

В открытом море виден трехмачтовый барк, может быть, он стоит на якоре. Перед ним маленький парусник, по виду шхуна с гафельной оснасткой.

Деревня Пятица на южном берегу русской Лапландии.

Это написано под четырьмя линиями, которыми обведено изображение, написано так называемым контурным шрифтом, следовательно буквами, образованными только тонкими контурными линиями.

Деревня Пятица на Терском берегу: шестнадцать деревянных домов, одна церковь и много крестов, а может быть, это уже за Варзугой, в Кандалакше, я не знаю. Но так или иначе на Белом море, на Кольском полуострове. Там есть гавани, свободные ото льда весь год.

Дома деревянные. Кто жил в таком доме, никогда этого не забудет. Проснешься, потянешься с закрытыми еще глазами, вздохнешь и почувствуешь — дом тоже дышит и потягивается, кажется, сейчас заговорит, и ты ждешь этого. А зимой он словно плотнее сдвигается вокруг тебя, вокруг твоего сна: стены подходят ближе, крыша слегка опускается. Прекрасные, сложенные из круглых стволов стены, снаружи почерневшие от непогоды и солнца, гладкие, но там и сям на них трещины.

Дома стоят не близко и не далеко друг от друга, один, другой, еще один, всего шестнадцать, а может и больше, и церковь с многоугольной башней и круглой кровлей, блестящей цинком. Потом начинаются кресты.

Совсем крохотный человечек. Он проходит мимо одного дома, исчезает за другим. А вот его снова видно за домами.

Он идет. Встречает нескольких детишек. Останавливается. Его зовут Шорий, так по крайней мере называют его дети. Они спрашивают, что он собирается делать. А откуда он сейчас идет, никто не спрашивает.

Что это за человек?

Он воздвиг кресты, все кресты, которые мы только что сосчитали. Четырнадцать возле церкви, один большой, стоящий отдельно, и другие, в сторону мыса. Что такое крест?

Знак. Память. Воспоминание. Нечто, напоминающее о том, что было, о прошлом. Для того чтобы сохранить память об этом прошлом, не так ли? Значит, это и предостерегающий знак, и не только от забвения, но и от невнимания к прошлому. Он должен быть высок и виден издалека.

Мы смотрим через всю бухту, но различаем кресты, тот, отдельно стоящий, и другие, мы можем их сосчитать.

Человечек идет с детьми дальше, мимо следующего дома. «Шорий,— спрашивают дети,— когда ты построишь новый крест?» А он говорит: «Сейчас я собираю дрова для костра, помогите-ка мне».

Воздвигает кресты и разводит огонь — вот, значит, что делает человек. А зачем?

Пусть себе идет. Дети разбрелись вокруг домов, скрылись за деревянными заборами и в густом кустарнике, что начинается сразу за последними домами.

Ясный день. Здесь бывает месяцами светло даже по ночам. Облака, большие и плотные, сегодня очень высоко в небе, и для ветра остается много места. И он бесшумно течет под небом, медленный и сильный, как большой поток. Только под вечер у него появляется голос, никто не знает откуда.

Значит, человек разжигает огонь. Под вечер. И поддерживает его всю ночь. Кресты — днем, костер — ночью, знаки, видные издалека. Предостережение. Только ли? Или напоминание тоже?

Человек, живущий одиноко. Но он разговаривает с детишками и взрослыми, хотя не так много слов знает на этом языке, на каком они говорят, значит, он чужак. Но чужак, оставшийся здесь ради крестов и огня, потому что у него есть дело и он его делает. Как давно? Десять лет или пятнадцать. По-моему, он так давно здесь. Со времени кораблекрушения, того, давнего, западнее входа в бухту, этого места тут на листе не видно. Это было то ли шведское, то ли датское судно, трехмачтовое, как то, что изображено на бумаге. В штормовую ночь, о которой никто не помнит, в забытом году.

Но из месяца в месяц проплывают мимо корабли, вдоль расположенных спереди рифов, по чистой воде над мелью к небезопасному здесь берегу.

Итак, этот человек остался здесь, ему удалось спастись, достигнув берега. Ему одному. Он разыскал тела остальных, похоронил их высоко наверху и соорудил первые кресты. Напоминание.

А потом, так близко к воде, как только возможно, он поставил высокий крест — предупреждение; крестов становилось все больше, вдоль всего берега, от мыса до деревни. Их надо было охранять от бури, а поваленные вновь ставить. Дерево для них он притаскивал издалека. А в летние ночи, когда кресты еле различимы в тумане, поднимающемся с морской поверхности, и в ранние сумерки, и в темные ночи после светлых месяцев, он разжигал костер и поддерживал огонь всю ночь, а зимой весь день.

Я смотрю на кресты, изображенные тут, их видели многие: путешественники, потом читатели Крузенштерна и других описаний морских плаваний, с которыми я не знаком. Не знаю, упоминалось ли где-нибудь об этом огне, в каком-либо сообщении, рассказывали ли о них моряки, проплывавшие мимо и предупрежденные огнем об опасности. И крестами тоже.

Здесь запечатлено достойное деяние и, надо сказать, немалое. Его совершил чужак, который попал сюда и не ушел, потому что здесь было дело для него: кресты и костер.

Вместе с ними было совершено и многое другое, но кто думает об этом?

Возьми литографию со стола и повесь перед собой на стену. Чтобы ты ее видел. Напоминание и предостережение, то и другое.

De homine publico tractatus[1]

Человек мало приспособлен к жизни. У нас есть наша натура, наши чувства, в городе их пять, в деревне — семь. Своего рода инструменты, целая кузница в ухе, утверждает Байер из Вены, и где-то внутри нас обширная флора и фауна, или флорофауна, или наоборот, которую мы в полном согласии с ней питаем и протаскиваем сквозь жизненные бои. Приятно чувствовать себя в своей деятельности естественным и организованным комплексом, искусно и тонко изготовленным. Но этого недостаточно, так говорит Неандер.

И на помощь нам приходит следующее: просто человеку — готовность помочь или уважительность, нарушителю закона — наказание и изоляция, чиновнику — предписания и распоряжения. Это помогает понять, что к чему.

И еще моральные обязательства. Их чувствуешь. Внутри. А потом любовь к животным и знание людей.

Петрат — почтарь. В Абшвангене или где-то там еще, но только не в Удервангене. Удерванген слишком велик. А у Петрата свои предписания.

1. Соблюдение часов работы.

Итак, Петрат сидит в своем служебном помещении в воскресенье, следовательно, когда почта закрыта, за столом, в своем служебном кресле с подлокотниками и в коленкоровом чехле. Тихо, как в прозрачной зелени деревьев. Все убрано, выметено, вытерто, мухоловка заменена новой, снаружи ступеньки крыльца посыпаны песком.

И тут на деревенской улице появляется старуха. Сразу при входе в деревню она покидает левую сторону улицы, чтобы перейти на правую, где на выходе из деревни стоит почта, следовательно, ей надо пройти наискосок четыреста с небольшим метров. И вот она идет, ни на волосок не отклоняясь от этой диагонали, никакого внимания на знаменитую абшвангенскую мостовую. Итак, подходит она к почте, а почта закрыта, заперта, ступеньки посыпаны песком, воскресенье.

Мы знаем: старуху зовут Крепстакиес, или же Крепстакиене, а сегодня воскресенье, поэтому она во всем черном, в башмаках, в платке с кистями.

Петрату видно ее равномерное неуклонное приближение, в одной руке письмо, другая сжата в кулак, тут, значит, у нас деньги. Такой путь не проделывают, чтобы стоять у дверей. А чтоб уйти несолоно хлебавши — об этом и речи быть не может. Петрат ждет, пока Крепстакиене подойдет к окну.

Ну, Петрат, давай.

Петрат, стало быть, подходит к окну, открывает его и закрепляет крючками раму. Сегодня воскресенье, часы работы вывешены на дверях, но это, ясное дело, не помогает: Петрат, чиновник и человек, это знает.

Но, если кто подумает, что здесь сейчас возникнет спор между долгом и благорасположением, службой и дружелюбием, тот ошибается.

Петрат говорит: двери отпирать не буду, никаких рабочих часов в святое воскресенье, с черного хода, то бишь в заднюю дверь, ходят в пивную. Он берет стул и через окно опускает его на землю у стены дома, второй стул он ставит у окна внутри, высовывается и помогает Крепстакиене взобраться на стул, а оттуда на подоконник и на стул внутри.

И вот она стоит надежно на полу, Петрат садится в свое служебное кресло, почта по-прежнему закрыта, черный ход тоже, иначе пришлось бы открывать заднюю дверь. Он берет деньги, а из кни-

[1] Трактат о человеке общественном *(лат.)*.

ги с марками достает почтовую марку, чуть позже старая женщина таким же манером покидает почту. До свидания, фрау Крепстакиене.

2. Соблюдение полномочий.

Предписаниями это не отрегулировано. Но это важно, ибо касается достоинства учреждения, следовательно, требует особой осторожности и осмотрительности, в этом случае честь государства выше, нежели собственная.

Неужто я для каждого буду облизывать марки? Так повелось с незапамятных времен: люди приносят письма, кладут на стол и деньги туда же, почтовый чиновник проверяет, правильно ли написан адрес, берет деньги и выдает марку, то есть приклеивает ее к письму на глазах у отправителя. Ибо этот отправитель приобрел марку согласно установленному порядку, она принадлежит ему. Но марка — печать, служебный документ, пусть самый маленький, и неужто я для каждого буду облизывать марки?

И потому Петрат дополнил это правило: посетитель должен положить письмо, положить деньги, высунуть язык. На высунутом языке марка увлажняется. Петрату надо только поднять руку, марка лежит на указательном и среднем пальце, кверху клейкой стороной — провести по языку, приклеить, поставить штамп и до свидания.

3. Чиновник должен полагать себя слугой общества.

Слово «общество» легко заменить словом «государство», впрочем, это я так, к слову. Должен полагать себя... Мы добавляем: и действовать соответственно этому. Петрат действует соответственно и полагает себя тоже.

Это было давно. Пошли слухи, а у кого была газета, тот прочел в газете, что теперь существует радио; нечто совершенно новое, правдивые голоса из воздуха. Выходили они из аппарата, из рупора и совсем не походили на те голоса ветра, о которых рассказывал пастух Пазнокат, те говорили обо всем и не слишком правдиво. Пастух все лето в лугах. Чего ему не скажешь, у него на все один ответ: «А мне-то что за дело». Итак, радио. И Петрат как слуга общества. До Абшвангена все доходит не так уж быстро. Стало быть, Петрат сообщает: сегодня вечером на почте радио, вход свободный. И прячет почтальона Лемке с его гармошкой в большой шкаф. Вечером собираются люди, садятся. Петрат объявляет: сейчас начнется радио. И почтальон играет на гармошке тихо и таинственно, музыка словно бы доносится издалека, по воздуху, из Берлина по волнам, как Петрат говорит.

4. Знание людей.

Это относится к общественным учреждениям. Разумеется, принципы и остаются принципами. Но действовать или воздействовать можно только среди людей и на людей. То есть все происходит среди людей, как сказано выше. Но люди в учебниках арифметики не учитываются.

Кто не верит, может узнать об этом — от людей. Пусть попробует встать и уйти, а еще лучше — остаться.

Вечером в субботу Петрат сидит в трактире, и он не один. Шлицкус, хозяин, ходит между своими семью столиками, сначала он, потом его жена, а хозяин тогда стоит за стойкой. В трактире шум, но все мирно, мирный шум, так бывает.

Петрат рассказывает, строго сохраняя тайну переписки, остальные слушают, даже учитель Лаудин, который напевает что-то про себя. И тут звонит телефон.

— Абшванген 333,— говорит Шлицкус, слушает, а потом говорит:— Ботке, тебе пора домой.

— Ладно,— говорит Ботке, а Петрат рассуждает о женщинах и мужчинах. Немецкая женщина научилась ждать мужа. И когда фрау Ботке звонит во второй раз, Ботке все еще сидит на месте и продолжает сидеть. Теперь он, может, и ушел бы.

Но телефон звонит третий раз. Ботке останавливается, а Петрат подходит к телефону и говорит:

— Добрый вечер.

— Ну ясно, это вы с вашими россказнями, так я и знала, могу себе представить,— говорит фрау Ботке. И добавляет еще много чего, а могла бы добавить и еще больше, но это уже значило бы перейти все границы дружеского расположения, для Петрата во всяком случае. И, со своей стороны соблюдая все тонкости обращения, он говорит сначала твердо и даже наступательно, но заканчивает вполне любезно: «...фрау Ботке». А затем дальше тоном деловой констатации факта и одновременно уже несколько негодующе и с оттенком легкого сожаления, ибо он, не желая того, сделался свидетелем подобной картины: «Фрау Ботке, вы стоите у телефона в ночной рубашке?»

Нет, фрау Ботке больше не звонит. Ботке может оставаться. «Садись»,—говорит Петрат.

Что только недоступно нашим чувствам! Возможно, чувства — это что-то ненадежное, но ничего не поделаешь, приходится на них полагаться, если хочешь понять все, что сотворил сам.

В Алленбурге, а может и не в Алленбурге, жила чета, он косил и она косила, ни разу в жизни они не видели друг друга. Вместе пережили тяжелые времена четырнадцатого — восемнадцатого и умерли вместе в двадцать четвертом.

Вот оно как бывает.

Идиллия для стариков

Клапшиес проголодался. С чего бы? Ведь он не работает, он старик, самый старый старик в имении. Он получает содержание, небольшое, но, чтобы есть досыта, хватает. А в пору сенокоса, когда сгребают остатки, да при случке скота ему находится дело. Много тут чего надо знать: и время дня, и день недели, и чтоб нигде в окрестностях не было грозы, проволока на изгороди надежней любого барометра. Но это еще далеко не все, чем он занят. У него в руках все ладится. Когда он заговорит, к нему прислушиваются.

Каждый день Клапшиес встает в пять часов утра. Иначе и пяти раз поесть не успеешь. Человеку поставлены определенные пределы.

А вот теперь Клапшиес проголодался. Сильное чувство — голод. Его можно бы так прямо и описать, как поднимается оно снизу. Только жены дома нет. Пошла по ягоды. По чернику. Под вечер будет полная миска ягод, с молоком и сахаром.

Конечно, можно было бы взять что-нибудь из кладовой. Но положено, чтобы муж принимал пищу из рук жены. Вот и бродит теперь Клапшиес со своим сильным чувством. И чувство гоняет его то туда, то сюда. Сюда — означает в горницу, пока светло, туда — означает мимо кузницы, вдоль по улице, за мельничный холм, к мызе.

Прекрасная дорога. На той стороне — песок, а за Ласвиляем — глина. Здесь же она не песчаная и не глинистая. После дождя вода стоит почти час, а потом дорога снова твердая и сухая. Как алваст на шоссе, даже, пожалуй, получше. По одной стороне дороги — кусты бузины, по другой — канава. Прекрасная дорога для телег и велосипедов, как шоссе. Прошлой осенью его покрывали этим самым алвастом ну и воняло же!

Так и беседуешь сам с собой, в такт шагам, а то остановишься поглядеть на свеклу, позади нее ничего нет, только рожь. Ну и так как Клапшиес уже у алваста, он второй раз сегодня вспоминает о булочках: не забыла бы жена их принести. Алваст — именно так зовут булочника в Ласвиляе, говорю для тех, кто не знает. Клапшиес знает: и черное покрытие шоссе, которое тоже так зовут, ну не совсем так, но похоже, напоминает ему о булочнике Алваste. А это идет

на пользу не Клапшиесу, а скорее его голоду, который все растет. Ему, Клапшиесу, следовало бы чего-нибудь перехватить.

Знаешь ведь, как бегут лошади, почуяв овес.

Мыза именуется садоводством, но никакое это не садоводство, только что там много цветов. Выглядит красиво, но доходу не приносит. Ведет его фрау фон Парбандт, Фрида, жена Фердинанда фон Парбандта, а Фердинанд — казначей на мызе, которая именуется садоводством, но никакое это не садоводство, только что много цветов, а дохода никакого. Выглядит, однако, красиво, находит Клапшиес. Фрида в саду и занята, скорее, петрушкой, нежели пармскими фиалками, аквалегиями и резедой.

Клапшиес не задерживается у забора: «А, мол, это ты, Фрида, все возишься с цветами?» Эти слова он бросает через забор и сейчас же к воротам, а потом через плечо: «Старик дома?»

Фрида выпрямляется постепенно, опирается сначала на руку, потом распрямляет колени, и вот она поднялась, вытерла руки пучком сорняков, наклоняется, поднимает платок. «Господин фон Парбандт дома,— говорит она,— пишет». Берет мотыгу и снова принимается за работу. Фон Парбандт. Это целая история, давняя. С одной из фройляйн Парбандт в праздник урожая случился грех, она ни словом не обмолвилась, где и с кем. Вот откуда и произошел Фердинанд. Так и получилось: с одной стороны, он вроде получше других будет, а с другой, не больно-то и хорош. Он воспитывался в ротенштайнском приюте, или как его там не называй, для сирот, где было собрано внебрачное, но признанное и не забытое потомство графов Ротенштайнских. Обучал их домашний учитель, стряпала прежняя экономка из замка, шили и штопали две старухи,— и все это под надзором пастора Ляйдигкайта и его сестры. Граф умер, заведения этого больше не существует, но господин фон Парбандт существует,— то, что он пишет, для Клапшиеса не помеха. Писать — это больше подобает учителю, Парбандт же человек солидный. Итак, Клапшиес идет в дом, башмаки он оставляет у порога, но куртку застегивает на все пуговицы и, прежде чем сесть на подлокотник, кладет шапку рядом: «Здорово, Фердинанд!»

Парбандт остается сидеть. Он поднимает голову, хмурится, глядя в окно, выдвигает, как всегда, нижнюю челюсть и, так как Клапшиес ничего не говорит, просто сидит, как обычно, фон Парбандт вспоминает, что ему надобно писать расчеты за первое сено, поставленное в Рагнит, для армии, за наличные, конечно. Но Клапшиес сидит здесь, и Парбандт сдвигает бумаги, поднимает плотничий карандаш и тычет им в чернильницу, на карандаше повисла муха.

— Знаешь,— говорит Клапшиес с опаской, но очень серьезно,— я проголодался.

— Сейчас скажу ей,— фон Парбандт поднимается. Клапшиес тоже встает. И слышит, как Фрида ворчит на кухне: «Что ему дать? Парочку яиц?» Нет, это совсем не то, что надо. Клапшиес направляется в кухню и высказывает свои соображения о питании людей яйцами, особенно мужчин, в том смысле, что яйца душат. Значит, что-нибудь другое. Солонина и домашнее пиво, это и лучше и быстрее. В саду под кленом.

Круглый стол, за которым сидят мужчины,— один из множества круглых столов в окрестности. Все они происходят от одного и того же дерева. Три года назад повалили дуб за амбаром в имении, а потом отпиливали круг за кругом, каждый круг — готовая столешница. Такие вот немецкие дубы, здоровые и долголетние, как моровая язва. Пастор говорил об этом в проповеди, призывая свою паству принять за пример это чудо верности и стойкости и отпилить себе, так сказать, духовный кусок от него, тем более что настоящие уже были все поделены и отпилены.

Когда утолен первый голод, можно поговорить о том о сем. Ну

как я могу себя чувствовать? Хорошо! Вечно Парбандт задает такие вопросы. Он в некотором роде меланхолик. Ни с того ни с сего пойдет вдруг на кладбище, а то начнет по вечерам Фриде портить настроение, подробно описывая, какой должна быть его могила. Ограда сорок сантиметров высотой, букс вокруг холмика, в головах деревцо, пусть будет красный клен, не возражаю. Никаких особенных желаний он не высказывал, но у кого хватит терпения такие речи выслушивать. Умри сперва, говорит Фрида, а все остальное приложится. И быстро уходит. Начинает возиться по хозяйству.

Клапшиесу пора домой, жена, наверное, уже пришла. Черника, целая миска, и булочка, их она тоже принесет, от Алваста.

— Он завел себе автомобиль,— рассказывает Фердинанд и останавливается у калитки. — Старый «студебеккер» помещика Кезевурма. С ума сошел парень, на что он ему нужен! — Клапшиес тоже слышал об этом.

Старый человек, что тень, подошел к забору, и вот он уже на той стороне.

Так кончается мужской разговор. Они знают жизнь вдоль и поперек. Они повидали свет от Рагнита до Даркемена, в промежутке учебный плац Арис, anno 17, Фландрия, Витсхате-Боген, anno 28, Инстербург, конные и автомобильные состязания.

Визит начался с чувства голода, а кончился тем, что захотелось булочек и черники, он был отдыхом в бесконечном разговоре человека с самим собой, когда мир светел, а человеку радостно, и он сам не знает почему.

— По мне — пусть его,— говорит Клапшиес,— каждая собака задирает ногу на свой манер.— Он имеет в виду неразумность Алваста. Потом булочки, жена, должно быть, уже принесла их, выплывают снова в его памяти. И с этими мыслями он входит в деревню и доходит до кузницы. Там стоит Ализат и что-то кричит, долговязый Герман Зиберт выходит из кузницы и говорит: «Заткнись!» Значит, Ализат что-то знает, и тут же Клапшиес узнаёт, что Дух Истины продал свою телку.

Коровы ходят без подков, по крайней мере до сих пор ходили, а выковать лишнюю цепь — сущий пустяк для кузнеца, поэтому Герман машет рукой и идет обратно в кузницу. Ализат разочарован, он живет на хуторе далеко от деревни, и ему беготня кое во что обходится: время и обувь, пиво и водка тоже не даром, стало быть, нескольких марок как не бывало, жена-то о них не знает, так ты себе воображаешь, если ты мужчина.

Но можно ли поговорить толком, если ты мужчина, на улице перед дверью? Удобно усядешься, и мысли придут. Правда, не сразу. Значит, так, телка...

— Ну что ж, давай,— говорит Клапшиес. «Это обойдется мне в два пива»,— прикидывает Ализат на ходу, и перед «Красной кружкой» Финдайзена — колониальные товары, ресторан, отель, банкетные залы, обслуживание в саду — он говорит:

— Ну как? Ставлю пиво.

— Средь бела дня,— говорит с упреком Клапшиес и спешит, опережая Ализата, войти. Да, так, значит, телка Духа Истины.— Я знаю,— говорит Клапшиес снова и очень громко, ибо теперь они сидят в желтой горнице, где стоит стол для бильярда, рядом с распивочной. На стене висит принц Генрих в адмиральской форме, синее с золотом, а к раме внизу Финдайзен прикнопил картонку с ценой за пользование бильярдом — десять пфеннигов.

Первое, что узнает Ализат,— телка никуда не годится, совсем никуда, такую животину и кормить-то не след, обухом промеж глаз, да и все. Таких прежде и не бывало. И так как Ализат в сомнении водит кружкой по столу, добавляет твердо и красноречиво: «Сроду таких не бывало!»

Тут дело-то, разумеется, не в какой-то телке... «Ну-ка, помолчи»,— прерывает его Ализат. Из распивочной доносится высокий стариковский голос, не сильный, но пронзительный, и сухенький человечек с белой козлиной бородкой и белым теменем мелкими шажками входит в комнату.

Ализат поднимается:

— Добрый день, господин пастор, вы продали телку?

— Да,— говорит пастор,— я сбыл свою скотину.

— Бог в помощь,— говорит Ализат, он уже угадал, сколько выручил пастор, а сколько торговец скотом Фрёлих, потому что телка уже перепродана дальше, и все за полчаса.

«Приди, о дух истины, и пребудь с нами». Это любимый псалом пастора, он велит петь его каждое воскресенье, дети должны знать его наизусть, отсюда пасторское прозвище, а теперь вот и сам пастор здесь, средь бела дня, в желтой зале трактира, и многое сразу пресекается здесь, и прежде всего сплетни, которыми Клапшиес хотел сбить с толку такого набожного человека, как Ализат.

Таким образом Дух Истины остается здесь. Клапшиес тоже поднимается и тоже говорит:

— Добрый день, господин пастор.— Но дьявол все еще не выпустил его из своих лап, ибо Клапшиес добавляет: — Вы его хоть здорово обставили?

Старые люди не питают особого уважения к другим, они знают жизнь, а у Клапшиеса есть свои заслуги, пусть он сейчас уже не состоит при лошадях, при молочной-то скотине уж точно, а на такую телку, как продал Дух Истины, он бы и глядеть не стал.

Не стоит препираться. Клапшиес почесал шею и сел на свое место, а Дух Истины сказал своим обычным тоном:

— Разрешите мне, господа, угостить вас стаканчиком.

Средь бела дня — водка. Значит, он и вправду здорово обошел Фрёлиха, иначе с чего бы это он. Это понимает и Финдайзен, он сам приносит рюмки на круглом подносе. И только этого не хватало: входит сам Фрёлих и совсем не выглядит одураченным, и сразу же заказывает еще водки на всю компанию. воспитанный человек этот Фрёлих. Но сатана по-прежнему стоит у Клапшиеса за плечами, и у него снова язык чешется. Все же ему удается удержать то, что вертится у него на языке, так как Ализат вянет у него на глазах, как василек без воды. И Клапшиес говорит только: «Прозит» и, не дожидаясь приглашения, опрокидывает рюмочку. Что-то же он должен делать, даром что господин Фрёлих малость удивлен.

— Все еще лихой артиллерист?— говорит Фрёлих.— Всегда впереди!

«Не о чем беспокоиться»,— подумал Клапшиес и вдруг понял — по чувству в животе — наступило обеденное время. И он представил себе булочки и вспомнил, что жена уже должна быть дома. И миска черники. «Черт побери»,— говорит он, поднимаясь из-за стола, опрокидывая рюмки, и замечает вдруг, что с ногами неладно, с обеими, слабость в коленях. Но так как пастор произносит: «Однако, господин Клапшиес!», а Фрёлих толкует о разных сортах водки, он с трудом распрямляет ноги, кое-как добирается до двери, взмахивает рукой и ухитряется снять шапку с крюка и, так как ничего не приходит ему в голову, молча удаляется.

— Надрался,— роняет Ализат ему вслед, но так как совсем не того ждали от Ализата, пастор произносит: «Оставьте, господин Ализат», а Фрёлих ограничивается тем, что кричит Финдайзену: «Видал каков, Эде?!»

Теперь, значит, домой. Но где же твое достоинство, Клапшиес? Прошел добрых пятьдесят метров, а колени все как чужие. И не становится лучше, голове — стало, а ногам — нет. Осторожно, Клапшиес.

Вот это мужской разговор, и он помогает. Клапшиес проходит ми-

мо управляющего, который, как всегда, сидит на веранде за кофе, то есть в неслужебном обличии, и когда тот уже готов заговорить с ним, Клапшиес раздражается. «Помолчи, ты, кривобок»,— говорит он, намекая на короткую ногу управляющего, и, собственно уже миновав веранду, останавливается, оглядывается и кричит: «Черт тебя побери!» И господин управляющий остается сидеть за своим кофе и раздумывает, почему люди, подобные Клапшиесу, так грубы. Сто лет просидишь, все равно не поймешь.

И вот Клапшиес дома. Отворяет дверь, видит в кухне жену и слышит ее приветствие: «Явился!»

Так, значит. И это теперь, когда человек дома, когда мужчина может повесить свое достоинство на вешалку, потому что здесь оно ему не нужно, когда ему и без того-то не очень-то хорошо, когда перед самой дверью на него с неслыханной силой напал новый приступ голода!

Клапшиес швыряет шапку на стол, падает на стул и говорит с горечью: «Вот так меня встречают. Муж пришел домой, больной...»

Презрительное хмыканье не дает ему продолжить. Клапшиес роняет голову на стол, успевает заметить дырку на клеенке, тыкает в нее пальцем и, раненный в самое сердце, засыпает.

Великие это дела: охота съесть булочку, чернику, поторговаться из-за негодной телки, вся жизнь, что люди живут вместе. Человек много рассуждает, если день долог и всему находится место: годам, утру, вечеру, лету, зиме.

Когда придет смерть, она снимет шапку и скажет: «Не отворачивайся к стене». А за ней придет столяр Тетмайер и снимет мерку. Куда лучше, когда твой гроб, как полагается, стоит на чердаке, белье отдельно лежит в шкафу, а рута в горшке — на подоконнике.

Письмо из Америки

«Жги меня, жги меня, жги меня»,— поет старая женщина и кружится, медленно и степенно, вот она сбрасывает деревянные башмаки,— описывая дугу, они падают возле забора — и кружится быстрее под яблонькой. И поет: «Жги меня, милое солнце». Она подвернула рукава блузы и машет обнаженными руками, а от веток деревца падают маленькие, тонкие тени; полдень, и старая женщина кружится маленькими шажками. «Жги меня, жги меня, жги меня».

В доме на столе лежит письмо. Из Америки.

Там написано:

«Дорогая мама. Сообщаю, что мы не приедем к тебе. Всего несколько дней, сказал я своей жене, и мы уже там, еще несколько дней, сказал я Алисе, и мы снова здесь. И ведь сказано: чти отца своего и мать, и пусть отец умер, но есть могила, а мать стара, и если мы сейчас не поедем, то мы уже никогда не поедем. А моя жена сказала, послушай, Джон, она зовет меня Джоном, там хорошо, ты мне много раз рассказывал, но это было раньше. Человек либо молод, либо стар, и молодой человек не знает, как будет, когда он станет старым, а старый не помнит, как было в юности. Здесь ты чего-то добился, чего не будет там. Так говорит моя жена. Она права. Ты знаешь, ее отец записал свое дело на нас, и оно идет хорошо. Возьми свою мать сюда, говорит она. Но ты же написала, мать, что ты не можешь приехать, потому что ведь кто-то должен остаться, потому что все из нас уехали».

Письмо еще длиннее. Оно пришло из Америки, а там, где оно кончается, стоит: «Твой сын Йонас».

Светлый полдень, все прекрасно вокруг. Дом белый. В сторонке хлев. Он тоже белый. А здесь сад. Немного ниже по холму соседняя усадьба. Тут начинается деревня, она идет вдоль реки. Шоссе, поворот, еще поворот — к реке и в лес. Прекрасно здесь. Светлый

полдень. Под яблонькой кружится старая женщина. Она машет обнаженными руками. «Милое солнце, жги меня, жги меня».

В горнице прохладно. С потолка свешивается кустик полыни, вокруг жужжат мухи. Старая женщина берет со стола письмо, складывает его и относит в кухню на плиту. Снова возвращается в комнату. Между двумя окнами висит зеркало, в нижнем углу слева за рамой фотография. Фотография из Америки. Старая женщина достает фотографию, садится за стол и пишет на обороте: «Мой сын Йонас, моя дочь Алиса». А под этим: «Эрдмуте Гауптате, урожденная Аттале». Она спускает рукава блузы и разглаживает их. Красивая белая материя с крохотными голубыми точками. Из Америки. Она встает и идет к плите, слегка помахивая фотографией. Когда Аннус из Таураггена приехал сюда, тогда давно, и остался здесь, тогда давно... это все из-за рук, сказал он, таких белых рук нигде больше не было, ни там, наверху, откуда он пришел, ни здесь, где он остался. И тридцать лет повторял он это, Аннус.

Человек либо стар, либо молод. Много ли нужно старому человеку? Дневной свет становится темнее, тени — светлее, ночь больше не служит для сна. Дороги становятся короче. Остается две-три дороги, потом одна.

Она кладет фотографию на плиту, рядом со сложенным письмом. Потом достает спички и кладет тут же. «Вскипятим молоко»,— говорит она и выходит. За дровами.

Семейное торжество

— Крестины справим дома и без гостей,— сказал Девишайт. Сходили за пастором, повивальная бабка пришла. Крестными были Девишайт и старик Саборовский.

— Таз ставь сюда,— сказал пастор, и в два счета дело было сделано, мальчишка Лены Девишайт получил имя.

Обсевок в поле, словно ему этого мало; с него и блинов хватит. У Саборовского заслезились глаза. Он уставился на орущего младенца, которого Лена выносила из комнаты. Вот они, семейные торжества. Да, впрочем, какое это торжество. Вот наколешь кому дров, да сложишь в поленницу, и получишь спирта целую бутылку, самогонки, оно, пожалуй, повеселее было бы.

Кофе все-таки подали. Все сели вокруг стола под керосиновой лампой, свисавшей с потолка на покрытых бронзовой краской цепях.

— Жена, хватит тебе бегать, угощайтесь, господин пастор,— сказал Девишайт, когда принесли пирог. Ему самому было не до еды. Повивальная бабка поудобнее усаживалась на стуле и не спускала глаз с матушки Девишайт.

— Так что, возьмете подушку? — спросила Труда Девишайт, подняв голову с жиденьким пробором, маленькая и седая, она теперь сидела у самой двери, одной рукой обнимая Лену, примостившуюся на краешке стула,— белокурый комок горя. Но Вильдермутиху не остановить, теперь она устроилась удобно, еще глоточек, в руке кусок злосчастного угощения. Девишайт безнадежно махнул рукой, положил было руки на стол и снова убрал на колени, и тут повивальная бабка визгливо перешла в наступление:

— Господин отец, видно, не изволит пожаловать?

Неужто пастор не может ей ответить! Он сам благословил дитя, знает же он, как это бывает. Но Вильдермутиха говорила не умолкая про честь и про совесть, пока, наконец, не поднесла пирог ко рту.

— Ну, Ленхен, дитя мое,— сказал пастор, выбирая крошки из бороды,— случается. И из таких вырастают приличные люди.— И он начал рассказывать об Эрнсте Калвайтсе, который уже отслужил в армии, в легкой артиллерии, теперь он казначей, а был тоже таким

вот горемыкой. Но хорошим ребенком, спросите мою жену. Каждый год до сих пор, на каждую троицу, он привозит в церковь березки.

Он повернулся к Саборовскому, который, пыхтя, только было поднял палец — у него зачесалось в носу. Испуганный старик повернул голову, рука застыла в воздухе. «Батюшки светы»,— воскликнул он, а тут уж и сам Девишайт услышал, как во двор заворачивала повозка: кто-то, значит, приехал без приглашения.

Возможно, это и впрямь будет семейным торжеством. Саборовский не из тех, кто тешит себя безосновательными надеждами, но подойти к окну все-таки можно. Вильгельм Девишайт, вставая, ухватился за стол, но теперь он заторопился к двери.

— А, Эмиль,— сказал он и добавил: — Добрый день, Мантей.

Эмиль Ашмонайт, занятый лошадьми, пробурчал в ответ:

— Как его назвали?

Длинный Мантей сначала помог фрау Ашмонайт вылезти из повозки, потом медленно повернулся к Девишайту, выпрямился и сказал: «Поздравляю!» Теперь и фрау Ашмонайт, громко рыдая, бросилась обнимать Труду Девишайт, которая с фартуком в руке стояла в дверях — все как полагается.

Семейное торжество. Приехали гости. Окрещенный ребенок спал. Лена хлопотала у плиты, фрау Девишайт металась между комнатой и кухней. Посмотреть на ребенка? Конечно, потом. Но Мантея не так легко утихомирить, как старших Ашмонайтов. Ему удалось, наконец, выманить матушку Девишайт во двор, заговорив о свиньях.

— Как насчет порошка? — спросил он хрипло.

— Нет у меня,— ответила Труда Девишайт.

— Есть он у тебя.

— Нет.

— Есть.

— Да нет же, нет,— сказала матушка Девишайт.

— Ты же Бартшату давала. Дай хоть малость.

— Малость в заднице чешется. Мне надо в дом,— говорит матушка Девишайт, а красный от злости Мантей шагает вслед и орет, входя в комнату:

— Эй, Вильгельм, стариком становишься. Дедушка! Продолжайте в том же духе.

Это кому же продолжать? Девишайт берет себя в руки. Что ему приспичило там, во дворе? Свиньи? Что-то не верится. И старик Ашмонайт сегодня какой-то странный, то и дело вытаскивает часы и сверяет с настенными над софой.

— Хорошая вещь,— говорит он.

— На маятнике нарисован кайзер Вильгельм,— говорит Девишайт, оно и вправду так. Только вот с Ашмонайтом что-то не так. Он вдруг встает и направляется к двери. Старик Саборовский за ним. В чем дело? Вильгельм забеспокоился.

— Господин Девишайт! — Теперь он зачем-то священнику понадобился.

— Да, господин пастор,— откликнулся Вильгельм, охотнее всего он ответил бы: «Вот я».

— Мне пора,— говорит пастор, протягивая руку Вильдермутихе: все это время он беседовал с ней о ее сыне — трубочисте, у которого мотоцикл. — Господин Девишайт, проводите меня. Да разве я бы и так не пришел!

Вильгельм выходит с пастором на кухню, останавливается у стола и отсчитывает бумажки, вот они лежат, рука пастора быстро накрывает их, а голос мягкий, как растопленное сало, произносит: «Право, зачем это», и бумажки исчезают.

— До свидания,— это говорит Труда Девишайт.

— Адью,— прощается пастор, что значит по-немецки «всего хорошего». — Да благословит бог и мать и ребенка. — И пастор уходит.

А где же Ашмонайт?

Вильгельм медленно приближается к хлеву и видит Ашмонайта. Эмиль Ашмонайт стоит у забора.

— Что за черт, еще не горит,— слышит Девишайт его слова и сразу все становится ясно. Поджог. Ради страховки, а потом к нам в гости. Праздновать.

— Не горит.— Вильгельм подходит к Ашмонайту.

— Много ты понимаешь,— говорит Ашмонайт.

— Ну и что?

Но тем дело не кончилось. Пожар занялся. Скорей всего горит сеновал над хлевом.

— Эмиль, горит,— сказал Девишайт. По двору прошла Лена с ведрами.

— У вас горит, господин Ашмонайт, вы что, не видите? — А Вильгельм Девишайт уже у телеги, запрягает лошадей.

Ашмонайт стоит у забора и смотрит вниз, на свою усадьбу. Потом поворачивается и направляется к дому.

— Тебе пора ехать,— говорит Девишайт. Все собрались на дворе.

Вот теперь-то Ашмонайт и отправится в путь. Медленно, потому что уже темно. Медленно, чтобы не повредить лошадям. Медленно, чтобы успел загореться сарай на подветренной стороне. Когда он будет в пятистах метрах от своей усадьбы, уже ничего нельзя будет спасти. Тут он сможет стегнуть лошадей и поднять крик. Чтобы каждый увидел и услышал его.

Ушел Саборовский. За спиртом, задаток — за дрова. Надеялся. Ведь тут могло бы все-таки быть семейное торжество. И Мантей получил свой порошок. Его здесь так и называют: «для стариков». Эти старики, живущие отдельно и вечно требующие свою долю, могут разорить все хозяйство. А если они еще десять лет проживут? Каждый день подай им пятнадцать яиц, три фунта масла и упряжку требуют, когда лошадям и без них есть работа. Но ведь все это записано в контракте, миленький, а то, гляди, мы начнем процессик, обратимся в суд.

Наконец ушла и Вильдермутиха.

— Ну и денек,—говорит Девишайт.

Матушка Девишайт сидит на кухне и думает, что последний раз дала она порошок, точно в последний...

Лена выливает в бочку последнее ведро воды. Девишайт идет на кухню.

— Ладно,— говорит он. Ребенок проснулся. Девишайт входит в комнату, спеленутый младенец орет.

— Кричи, кричи,— говорит Девишайт,— тебе простится.

Завтра придет господин Майер. Поглядеть на своего ребенка.

А как может выглядеть такой ребенок?

Получше, чем господин Майер, уж это-то во всяком случае.

Сыч

Летом, по вечерам, вдоль нашей улицы пролетает сыч. Мы встаем и подходим к окну. Мы же здесь в городе, неподалеку — фабрика, совсем близко городская электричка, на той стороне, правда, кладбище, дальше школьный двор, по вечерам там тихо, а у домов на этой улице маленькие садики.

Повыше фонаря, на клене перед нашим домом сыч делает остановку, он замолкает, но мы все равно можем его разглядеть, он всегда садится на одну и ту же ветку. Потом сыч летит дальше и кричит на лету. А нам вдруг чудится: мы проснулись. Словно весь этот день с разговорами, телефонными звонками, писаниной, хождением туда и обратно, поездками и возвращениями, словно весь этот день мы провели во сне. А теперь мы услышали, под окном поют сверчки,

можно различить регистры, темпы и, может быть, даже ритмы. Мы проснулись только сейчас в темноте.

Кот вспрыгнул на подоконник и заговорил с нами звонким молодым голосом. Мы отвечаем ему: иди к детям. Он идет и ложится в ногах Ульрики.

Мы живем здесь изо дня в день, с нами наши дети и наша работа, изо дня в день, и это очень важно, и нам надо отдыхать, потому что мы устали. Но как же мы здесь живем? Закричала птица, и нам почудилось, будто мы проснулись. Ты вдруг займешься литовскими песнями среди бела дня, обед на плите, вот-вот придут дети из школы, а я на службе вдруг начну писать что-то, о чем потом поговорю с тобой, или восславлю по-прежнему темно — как говорил Грасс — речку Шяшупе. Так ответь же: как мы живем здесь? Уносим ли мы землю родины на своих подошвах? Мы и здесь, за железнодорожной насыпью, слышим удода, и дятла, и кукушку, но ведь дело не в этом. Есть здесь и река. Но ночью, в твоих снах, как говорят там люди? Какие там дороги, из какого дома ты выходишь, в какой входишь?

Дома наших снов деревянные, но это не все, а дороги? Накатанная песчаная дорога без канав. А можно ли сказать, какой она ширины? Она переходит в луг, а луг кончается здесь или переходит в дорогу? Что точнее? Границы нет. Дорога не кончается, и не начинается луг. Этого выразить нельзя. Это место, где мы живем.

В доме у Фингала

Его фамилия Фингал. Господин Фингал. Он человек известный. На днях, по-моему завтра, а значит, уже через несколько часов, у него именины, одни из его многочисленных именин. У него их столько, сколько имен. Семь. Вон он сам проходит мимо, в руке легкая шляпа, он оглядывается, идет дальше и обращается к воробьихе: «Милостивая государыня».

Фингалово жилье расположено за городом. Там, где много зелени. На зеленом откосе подле железной дороги. Надо быть здесь, когда идет дождь, когда зелень так совершенна, так густа и плотна, что можно, спрятавшись за ней, подняться до середины холма, и оглянуться, и поглядеть вниз.

И ничего не узнать, разве что вон тот дом-чудовище внизу, с которого дождь смывает побелку.

По песчаной дороге, что ведет прямиком от города к дому Фингала, идут два толстяка. Они идут рядышком, и то один, то другой забегает вперед, и разговаривают оба толстяка, как положено ночью на песчаной дороге, про купальные костюмы, про красный фонарь на аккуратно сложенной куче камней — никто ее не убирает, о каком-то редакторе, ну и о видах на будущее в спорте.

Время от времени один протягивает руку, другой вкладывает в нее бутылку. Вот и сейчас бутылка кочует над дорогой, описывая круги Там впереди дом Фингала.

Еще немного по дороге. Они натыкаются на остаток автомобильной шины, переходят с одной стороны дороги на другую, выворачивают карманы в поисках листка бумаги для самокрутки, которого там заведомо нет. Ночной ветер подымает пыль, не облака пыли, нет, а словно бы тонкий полог от комаров И в доме Фингала ни огонька. Молчат кусты. За ними дверь без ручки.

У Фингала, надо вам сказать, много знакомых. Они навещают его. И в многочисленные именинные дни тоже: в день Бенедикта и Вейта, Хилариуса, Арно, Бруно, Валентина и Киприана.

Как хорош дом сейчас ночью Ветер роняет горстку пыли на край дороги, потом, прежде чем плавным кругом опуститься на крышу, наклоняется вправо, глядит на грядку лука перед собой и, придерживаясь рукой за дымовую трубу, спрыгивает с карниза.

Вокруг дома сидят сверчки, земляные пташки, промотавшие свои крылья. Им что-то бормочут гуляки. Слышите, как они перебивают друг друга? От легкого прикосновения дверь распахивается. Окно рядом отворено настежь, видно, для тех, кто не хочет мешать фингаловой сове. Сова сидит в большой комнате, где стоит кровать Фингала, внезапно она поднимается и бесшумно пролетает через открытую дверь к маленькой винтовой лестнице. Там сова снова садится.

— А вот теперь мы их всех разбудим.

— Не надо, не зажигай света,— говорит второй толстяк.

Кто-то поднимается с фингаловой кровати, кто-то с ложа за умывальником, из спального мешка выпутывается поэт, а из задней двери появляется некто встрепанный и, наконец, еще из-за одной двери — девушка с папкой в руках.

Из кучи стружки возникает сам Фингал. Все изумляются: «Фингал здесь. Да где ж ты был, Фингал?»

— Я задержался,— говорит Фингал.

— Мы приехали из города Обервайте,— сообщают оба толстяка.

— Садитесь,— говорит девушка,— вы устали, я покажу вам свои рисунки.

— Не зажигайте света,— просит второй толстяк.

Как хорошо рассматривать рисунки в темноте, светлые рисунки и темные рисунки, подряд.

— Вот этот — красный,— говорит встрепанный.

— Значит, зажжем свет,— это Фингал.

Вот они стоят, семеро гостей. Гости на именинах Фингала.

— Мы поздравляем тебя, Фингал, и дарим тебе белые крылья.

— Благодарю вас,— Фингал кланяется и говорит: — А теперь я проведу вас по дому.

Но тут один из толстяков быстро вскакивает и, широко раскинув руки, становится у двери.

— Мы пройдем по дому, но сейчас в этой комнате ты прочтешь нам стих.

Фингал смущается, касается рукой виска, но потом произносит без запинки:

Мышь в камышах, пни на плаву.
В чьих шалашах сны наяву?
Чью тишину шорох спугнул?
Кто и к кому шел и прильнул?[1]

Тут поэт, тот, из спального мешка, произносит:

— Если не скажешь этого ты, то кто еще?

А Фингал отворачивается и говорит:

— Лети, время, легко лети, пушинкой-перышком.

Интерьер с фигурами

Фраймут прислонился к высоким янтарно-желтым напольным часам ручной работы, из Ливерпуля или Бирмингема. Он произносит фразу, очень медленно, последнее слово — два слога — следует после паузы и тоном выше, фраза остается совсем открытой, как наполненное дыханием пространство, слегка кружащееся пространство:

— Ибо в бедности блеск души...

— ...заметнее,— продолжает его мать, зубной врач. Кому из нас не в удовольствие найти конец для такого, полностью открытого, высказывания. В косом свете медные стрелки отбрасывают почти незаметные тонкие тени до самых, написанных черным, римских цифр на олове циферблата.

— Да, все мы бедны,— говорит мать прекрасным звучным альтом.

[1] Перевод М. Рудницкого.

На канапе ее мать, бабушка, не пугается и произносит:

— Но мы не блестим, нет,— она слегка приподнимает руки и разглядывает кольца, их три, на левой руке.

Две фигуры сидят, третья — стоит. И часы из Ливерпуля.

Или Бирмингема.

Тихое лето и, кстати, о перепелах

Как только мы выехали из лесу, наступила тишина. Позади нас в лесу птицы продолжали петь, но здесь, в чистом поле, стояла тишина. Лес крепко держал свои песни и не выпускал их в поля. Деревья развесили листву, словно сотканный из тысячи тысяч листьев плащ, и спрятали под ним все песни, и сторожили их, как драгоценность. В поле же стояла тишина.

Правда, и здесь тоже живут птицы. И лесные — иволга, дятел, зяблик, сойка, пеночка, кукушка — не всегда остаются в лесу, они летают и в поле. Но сейчас они сидели на своих деревьях и кустах в лесу. А полевые птицы — жаворонок и перепел — затаились.

Очень уж жарко было здесь, на просторе, после лесной прохлады.

Мы ехали по дороге, часть которой пролегала по лесу, прекрасному лесу с высокими деревьями. Деревья стояли одно подле другого не слишком тесно: они широко расправили свои кроны, и для кустарника внизу тоже оставалось место. Дорога лежала там в густой тени, и, казалось, мы едем по глубокому ущелью.

Пели птицы.

Мы лежали на высоком возу справа и слева от гладкого, очищенного от коры ствола — шеста, удерживающего сено на возу и укрепленного веревкой на передке и сзади телеги. Мы лежали, погрузившись в скошенное, быстро сохнущее сено, еще хранящее запахи луговых злаков и цветов и жесткой остролистой травки.

Вдалеке четко и размеренно закуковала кукушка, но пока мы собрались считать, она улетела далеко вперед. Поэтому мы начали прямо с семнадцати: восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один.

Досчитали до шестидесяти семи. Чего нам ждать целых шестьдесят семь лет? Может, пока мы станем взрослыми? Дедушка, он сидел впереди и правил лошадьми, рассмеялся и хлопнул себя по карманам брюк, хотя точно было известно, что кошелька там нет. Но уж такой обычай — чтобы деньги не переводились.

А в лесу, справа и слева, пели другие птицы. Виид-виид-виид — пеночка, кхчейк-кр-кр и кье-аяу — сойка. А иволга как поет?

Мы прислушались. Это была уже прощальная ее песенка. Она скоро улетит, эта иволга обыкновенная, прозываемая где троицыной, а где вишенной птицей. Где ее зовут Шульц фон Бюлов, а где прозывают глупыхой. Так кличут иволгу в разных местах.

Теперь дорога шла по открытому полю среди овсов и высокой ржи. Лошади шли медленно, мерин Дамлак вдруг фыркнул и запрядал ушами. Едва слышно поскрипывали тележные колеса.

Последний воз. Теперь луг, где мы сгребали и грузили сено, опустел. Луг пуст. И мы возвращаемся в деревню, а дома, конечно, будет кофе.

В полях все еще жарко и так тихо, что мы слышим тишину: легкое беспрерывное гудение. Вообще-то говоря, совсем неслышное.

Но ведь даже если мы ничего не слышим, мы слышим нечто. Только как оно слышится, объяснить нельзя. Можно лишь слушать.

Я подношу к лицу травку трясунки. Внизу двигаются колеса. Вдруг раздается голос, красивый и приятный, но отнюдь не тихий.

Он словно вырастает из гуда тишины, выныривает, как голова тюленя из воды, и не удивляешься, откуда он взялся так неожиданно. Потому что тюлень принадлежит воде, а крик перепела — тишине и жаркому полудню в конце июня.

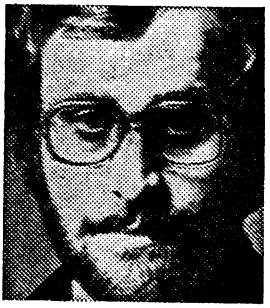
«Пюк перюк или бюк ден рюк. Постучи да поклонись»,— доносится изо ржи. Короткий крик повторяется.

«Лечу прочь» — можно услышать и так. Но, к счастью, перепел собирается в путь только осенью. Поэтому мы не просим его: оставайся здесь.

Так можно понять его крик. Но, пожалуй, еще правильнее: спасибо! А самое лучшее: слава творцу. Стол перепелу накрыт, живет он в хлебах, у него желтые полоски над глазами, а убегая, он перебирает лапками очень быстро, бьет длинными узкими крыльями, словно гребет, а птенцы, толстенькие, круглые пуховые шарики, быстро поспевают за перепелкой-матерью, всегда гуськом, по узкой дорожке среди колосьев, которую прокладывает им мать, далеко вперед вытягивая голову и прилежно топоча ногами и налегая на колосья всем своим телом. И все на бегу.

Но не убегай сейчас, перепел. Никто не придет. Спой еще, перепел, спой: слава творцу!

■



ЮХАН БАРГУМ

Темная комната

РОМАН

Перевод с шведского ИРИНЫ НОВИЦКОЙ

Пятница

Ханна!

То, что я начал писать дневник, не удивит тебя, поскольку ты вряд ли когда-нибудь прочтешь его. И что ты потеряла в этом Париже? Из тебя никогда не выйдет звезды, как бы ты ни крутила задом в будуарах продюсеров.

А я, я пишу дневник.

Мой дневник в коричневом кожаном переплете с затейливым замочком посредине. Чтобы разыскать такой дневник, я два с половиной часа бегал как угорелый из магазина в магазин.

Передо мной на столе лежит всякая всячина: телеобъектив, фотография ноги (реклама автомобильных покрышек, один из моих последних шедевров в этой области), вырезка из еженедельной газеты, где ты выглядишь ужасно — потому что только я умел фотографировать тебя,— и еще один дневник.

Этот дневник тоже марки «Евфрат». У него такой же, как у моего, коричневый переплет и такой же маленький замок посредине.

Замок закрыт. Ключа у меня нет.

Фрида сидит на полу и возится с головоломкой. Ее мать постоянно присылает головоломки. Эта состоит из четырехугольных кубиков с разными рисунками на каждой стороне. Нужно разложить кубики друг подле друга и перевернуть так, чтобы получилась целая картинка. Только Фрида не идет на такие простые уловки и раскладывает кубики как попало: застенчивая Красная Шапочка получает большую противную волчью голову, а голая поросячья попка трудолюбивого братца Наф-Нафа достается тоненькой Белоснежке, и Фрида звонко смеется.

Как открыть замок, если нет ключа?

Они спросили меня, хочу ли я увидеть дедушку, прежде чем его положат в могилу. Мне было двенадцать лет, и я не знал, что ответить. Поэтому сказал: «Да, спасибо». Я чувствовал, что иначе расстроил бы маму. Был ноябрь, и падал снег. На заснеженной песчаной площадке возле церкви св. Иоанна я прошел десять шагов вперед, остановился и осторожно двинулся назад по своим следам. Это выглядело комично: десять черных отпечатков на белой поверхности — и больше ничего. Но хорошего снимка не вышло, я передержал пленку. В то время такое случалось со мной почти всегда. Негатив будет плохой, если не умеешь правильно определить экспозицию.

© Johan Bargum, 1977.

Я дожидался в прихожей. Они еще не сняли с вешалки его верхнюю одежду. Я забрался под вешалку и закутался в его зимнее пальто. Стало совсем темно и тихо. И я вдруг пожалел самого себя.

Он лежал в своей кровати и выглядел совсем как обычно. Мама стояла у окна. Она отвернулась и не разговаривала со мной. Я достал из рюкзака свой «роллейкорд». «Роллейкорд» — фотоаппарат с зеркальным рефлексом, если это тебе о чем-нибудь говорит. Картинка с помощью зеркала отражается в перевернутом виде на матовом стекле видоискателя. Итак, изображение дедушки было перевернуто. Навести резкость на его нос оказалось довольно трудно, потому что освещение было плохое. А не потому, что нос виноват. Они уже стали поговаривать, что мой нос похож на дедушкин. И потом у него было такое белое лицо, совсем как снег в парке, оно будто освещало комнату. Я сделал несколько снимков, пока мама стояла и смотрела в окно. Потом я догадался зажечь лампу на ночном столике, чтобы получше осветить его лицо. Тогда она обернулась и так рассердилась, что вырвала из моих рук фотоаппарат и выгнала меня за дверь. Вечером я получил фотоаппарат обратно. Но пленку она вынула. Мама плакала и хотела, чтобы я ее простил. Но я не простил. Или нет, вероятно, простил, конечно, простил.

Я так легко прощаю. Не правда ли?

Если бы однажды ты вернулась и позвонила у двери, пока таксист выгружал твои чемоданы, если бы однажды ты пришла ко мне, веселая и свободная от вины и раскаяния,— ведь я знаю, что ты когда-нибудь придешь,— я тотчас простил бы тебя. И Фрида бегала бы вокруг, и щебетала, и несла бы твои чемоданы, и повалила бы тебя навзничь на кровать, и между вами не было бы ни единой тени, а мне ты сказала бы поздно ночью, что нечего прощать.

Убирайся к черту.

Что мне делать с этой только что проявленной пленкой, подвешенной для просушки в темной комнате?

К чему мне, собственно говоря, мои фотографии?

«Роллейкорд» был неуклюжим фотоаппаратом. Я начал с пейзажей. Льды, льды и камни, пашни и дороги, исчезающие вдали... Желтеющие фотографии, вклеенные в старый альбом. Я помню специфический запах в световой шахте видоискателя, тихие щелчки центрального затвора.

И одиночество, и льды.

Фотоаппарат, без сомнения, лгун.

Хотя эти мои снимки наименее лживы. Почему — я не знаю.

Бёрье спрашивал твой адрес. Я сказал, что мне наплевать на тебя и на твои адреса, мне все равно, где ты живешь, хоть в Гренландии. «Так она теперь там блудит?» — спросил он. Я не знаю более отвратительного тупицы.

Он полагает, что я возьмусь за любую работу, стоит только ему махнуть несколькими сотенными бумажками. Вчера утром он позвонил в половине восьмого и дал мне адрес в центре города.

— И поспеши, малыш,— сказал он.

— Мне плевать на твою халтуру,— ответил я.

— Нет, не плевать.

— Я не служу у тебя.

— А я говорю — поспеши. И не забудь — двойная плата. По меньшей мере.

— Слушай, ты, редакционная крыса. Я *свободный* фотограф, на полгода мне обеспечена стипендия, и я могу не встревать в твои грязные делишки.

— Ладно. Вот и поезжай себе *свободно* по моему адресу.

— Позвони кому-нибудь другому.

— Мне не хотелось бы. Для твоего же блага.

— В городе полно безработных фотографов.

— Да,— сказал он.— Конечно. Но ты поспеши, малыш.

Итак, он думал, что я побегу как пес, едва он помашет костью. Он полагал, что я молниеносно заряжу свои фотоаппараты, ворвусь к Фриде, вытащу ее из постели и, не помывшись, не побрившись, не позавтракав, не прочитав утреннюю газету, потащусь с ней в садик на час раньше обычного через добрую половину города и буду гнать свою несчастную машину; и все только потому, что он упомянул о двойной плате.

Он чертовски прав.

Я ведь так и делаю.

Мы все так делаем, не правда ли?

Бёрье публикует каждую твою фотографию, которую ему удается достать. Я встречаю тебя на рекламных проспектах в газетных киосках, на залапанных, грязных листах в кафе и кабаках. Странно. Ты стала знаменитостью.

Но я вижу по твоим глазам: ты тоже сбежала от меня, сбежала, как последняя сука.

А ведь только я умел тебя фотографировать.

Дом старый. Он живет своей собственной жизнью.

От времени крыша обветшала и потемнела по углам. Дверные петли скрипят, краны текут, оконные створы гниют, обои трескаются. Из погреба доносится слабый запах сырости и гнили. То же запустение и в душе. Ты, вероятно, все забыла. Память — лживый лакей, плохо фиксированный снимок, который желтеет и стирается.

Но я напомню тебе, как ты всегда просыпалась по утрам, лежа на спине. Для меня это было совершенно непостижимо. Я никогда не мог спать на спине. Я всегда спал на боку, поджав колени, в жалкой позе эмбриона, позе бегства и защиты, неудобной в более узких кроватях. А ты по обыкновению открывала глаза и смотрела в потолок на темное пятно над нашими головами.

Выросло ли оно за ночь? Понять было трудно.

И мы постоянно говорили о том, что в доме надо красить и ремонтировать. В последний раз банку с краской здесь открывали лет тридцать назад. Тогда появились трое мужчин, и они перевернули все вверх дном.

Мы переехали в гостиную вместе со шкафами, книжными полками, стульями, лампами и цветочными горшками. Мою кровать поставили под радио. Вечерами я лежал и тыкал пальцами в кнопки и клавиши, словно играл на музыкальном инструменте, весь ящик был полон мелодий. Старшего мастера звали Рёнкэ, и через несколько дней он стал моим лучшим приятелем. Он дал мне кисточку, баночку с краской, и я ходил за ним по пятам. Он рассказывал, как удил ряпушку в Сайме[1] со своим внуком. Я не знал, где находится Сайма и как выглядит ряпушка. Но о внуке мастера постепенно узнал все. Он играл на гармошке и участвовал в школьных соревнованиях по финскому бейсболу. Я хотел послать этого внука куда подальше.

Мне уже было известно, что следует презирать гармошку и бейсбол.

Но нам с Рёнкэ было так хорошо красить вместе.

Когда мама приходила под вечер домой, Рёнкэ отправлялся восвояси.

И я хотел послать маму куда подальше.

Но однажды рабочие стали расставлять вещи на свои места. Я показывал Рёнкэ, где должны висеть картины. Мы ничего не таскали сами. Мы только распоряжались. Ведь мы с Рёнкэ были боссами.

Моя кровать осталась стоять под радио.

---

[1] Сайма — озеро в Финляндии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Прощаясь, он взял меня на руки. От него пахло лаком, а его руки были как две колоды, обернутые наждачной бумагой.

Он сказал, что летом я поеду на Сайму и буду удить с ним ряпушку.

Вечером кровать, на которой я спал, перенесли обратно в мою комнату. Пока мебель не расставили по местам, там было так бело и красиво. Наших рук дело. Теперь комната казалась чужой и холодной, а мебель — потертой и унылой.

И никто даже слышать не хотел о Сайме и рыбе-ряпушке.

Я заперся в ванной комнате. Мама сказала, что я преспокойно могу сидеть там до тех пор, пока не возьмусь за ум. И никто больше не подходил и не стучал в дверь. Я считал новые кафельные плитки над ванной, те самые, которые укладывали мы с Рёнкэ.

Потом я взялся за ум. «Я снова весел», — сказал я.

И всем это очень понравилось.

Однажды, когда мы были с тобой в постели, ты сказала, что пятно напоминает тебе какой-то предмет. Ты лежала на спине и смотрела на пятно, и тогда оно вдруг приобрело форму и очертания. Ты замолчала, а я ждал, что ты еще скажешь, и подумал: на твоем месте я увидел бы корабль, галеас с полными раздувающимися парусами, который летит вперед над шумящей водой...

— Тотемный столб,— провозгласила ты.

Тотемный столб...

Вечно ты со своими дурацкими идеями.

Иногда мне любопытно, почему мы ни разу не взяли краску, кисти и не закрасили наше пятно.

Нам нужно было пятно?

Может, мы не вынесли бы этой нетронутой белизны.

Теперь же краска потрескалась. Ее сухие кусочки иногда падают вниз, в мою постель. Теперь слишком поздно закрашивать пятно.

Я тоже перестал смотреть на него.

По ночам Фрида неслышно подходит к моей кровати. Она берет с собой одеяло и Матильду. Она приходит так тихо, что почти не будит меня, ложится рядом и засыпает.

Однажды утром она подвергла потолок критическому осмотру.

— Ты покрасишь его,— сказала она.

Я спросил ее тогда, скучает ли она по тебе.

Она посмотрела на меня нежно и с некоторым любопытством.

— А ты скучаешь? — спросила она.

Но дворник, которого я встретил в то утро, когда Бёрье позвонил мне, и я вырвал Фриду из постели, и все время так спешил, как велел мне Бёрье, словно знавший заранее, что я буду так спешить, в то утро, когда все началось...

Да, дворник. Он был нервный мужчина.

— Сними ботинки в прихожей! — приказал он.— Никто не должен слышать, что там кто-то есть.

— Где — там?

— Увидишь позднее. Вот ключ. Подъезд Б, второй этаж. На двери написано: Сандхольм.

Это было давно.

Почему я думаю, что это было давно?

— А ты выдержишь такое? — спросил дворник.

— Какое?

— Да черт вас знает, вы ведь не были на войне. Только не вздумай блевать и устраивать шум в ванной!

И он сразу исчез.

У Бёрье есть целая картотека доносчиков и мелких жуликов, которые за гроши снабжают его материалом. Стало быть, сейчас в квартире Сандхольма, подъезд Б, второй этаж, есть нечто такое,

что Бёрье хотел бы запечатлеть, прежде чем дверь закроется за представителями социального надзора, полиции, «скорой помощи», родственниками и так далее.

Бёрье действовал. Свободное слово охотилось за сенсацией.

Ключ к правде лежал у меня в руке.

Надо полагать, дворник за тайную информацию получит свои гроши, я — двойную плату, а Бёрье продаст больше газет. Надо полагать, мы все заработаем на афере.

Однако что толку болтать об этом.

Я поднялся по лестнице, воткнул ключ в замочную скважину и вошел в квартиру.

Этот день был полон тумана и влажного сумрака. На яблоне за окном висит одно-единственное яблоко. Каждый вечер Фрида держит со мной пари, что за ночь оно упадет. Пока я выигрывал всякий раз. Но это ведь такое пари, когда уверен, что в конце концов проиграешь. Я имею обыкновение сидеть и разглядывать яблоко; было бы интересно посмотреть, как оно падает на землю. Фотоаппарат несовершенен, он делает застывшие снимки и никогда не может схватить движение, лишь изображает один его момент и все. Когда мне было тринадцать лет, наш руководитель бойскаутов, фотограф-любитель, говорил, что я с моим «роллейкордом» могу следить за движущимся предметом. Если бы у меня была твердая рука, я мог бы использовать короткое время выдержки и создать фотографию, где сам предмет был бы резким, а фон своей расплывчатостью подчеркивал бы движение.

Но все это только вранье, которым мы с моими коллегами околпачиваем людей. Само движение мы никогда не можем изобразить.

Фрида утверждает, что не может решить один вопрос. О солнце. Она говорит, что ей хотелось бы увидеть движущееся солнце. Потому что ведь она знает, что оно движется. После обеда, когда мы еще сидим за столом, она вдруг выглядывает в окно.

— Смотри,— показывает она.— Вот сейчас оно снова шевельнулось.

Но когда Фрида начинает внимательно разглядывать его, солнце совершенно неподвижно.

Я беру апельсин и шарик из ее детского бильярда. Я вожу шариком вокруг апельсина и объясняю ей как умею.

— Эх,— произносит она.— Я же знаю, что оно движется. Хотя и не вижу как.

Мы говорим о движении, движении, которое она может понять, только увидев собственными глазами.

Фрида утверждает, что это сложный вопрос.

Когда в следующий раз будет солнечное затмение, мы закоптим стеклышко и будем смотреть на солнце. Может быть, тогда она поймет. Может быть, именно затмения помогают нам что-то понять.

Негативы сушатся в моей темной комнате. Утром Бёрье получит свои фотографии.

Фрида спит. Ночь черна, как смола. Я вижу свое отражение в окне: мужчина средних лет сидит с напильником в руке и пытается сломать замок чужого, украденного им дневника.

Я получу двойную плату. Или тройную.

Я боюсь, Ханна.

Это я движусь куда-то. Кружусь вокруг чего-то темного и злобного.

Мне хочется, чтобы Фрида проснулась.

Суббота

Вчера вечером, сразу после одиннадцати, позвонил Бёрье.

— Ну,— сказал он.— Они готовы?

— Не-а.
— Что за холера?
— Не-а.
— Ах ты черт ленивый! Здесь газета, а не коммунальное учреждение.
— Не-а.
— Нализался?
— Не-а.
— Ты можешь сказать сегодня хоть что-нибудь путное?
— Не-а.
— Тогда слушай: завтра фотографии должны быть у меня. И нечего тут твердить без конца: «Не-а»!
— Не-а.
— Убирайся к черту!
Две бутылки вина — это слишком много, да, действительно слишком много.

Бабушка с каждым днем становится все меньше. Она постоянно спрашивает о тебе, постоянно спрашивает о «той, которая так ласково смеется». Я полагаю, она имеет в виду тебя.

Но как она могла тебя запомнить — это загадка. Ведь ты жила здесь не более полугода.

Бабушка почти ничего не помнит за последние десять лет.

Мы с Фридой все еще ходим обедать к ней по четвергам. Сири готовит рыбный фарш с лимонным соусом. Фрида сидит, ковыряется в тарелке и ждет того момента, когда можно будет нажать на кнопку звонка. Это ей никогда не надоедает — звонить и смотреть, как в комнату входит Сири и убирает со стола.

Сири всегда выглядит испуганной. Вероятно, в этом есть и доля моей вины — я должен был что-то сделать для нее. Но что можно сделать для Сири — вот уже тридцать лет бабушка выливает на нее всю свою горькую раздражительность, которую постоянно скрывает от родных, о чем я узнал лишь случайно, прокравшись до половины лестницы, ведущей на верхний этаж.

Однажды я сказал, что мы с Фридой сами уберем со стола.

Вот уж была ошибка.

Итак, Фрида нажимает на кнопку звонка. Сири тенью скользит вдоль стен, бабушка цыкает на нее, Сири убирает со стола и молчит.

А бабушка принимается рассказывать о Германии двадцатых годов, извлекает из памяти свои истории. В такие минуты тебе было трудно удержаться от смеха.

Может быть, поэтому она помнит твои ласковые улыбочки.

Сегодня утром она вышла с черного хода и заковыляла вверх по пригорку; ей, по-видимому, посчастливилось ускользнуть от Сири.

Она направилась в город.

Бабушка так мала, что пальто доходит ей до щиколоток, а каракулевая шапка на голове напоминает большой колпак. Все на ней тридцатилетней давности: одежда, калоши, палка, которую она держит в руке.

— Она похожа на гнома,— смеется Фрида.

Я смотрел, как она шагала вверх по пригорку, и думал, что, если бы вдруг пришел добрый великан, он вполне мог бы сунуть ее за пазуху.

— Куда это вы, бабушка, держите путь? — спрашиваю я.
— В город,— отвечает она любезно.— Я поеду в город мыться.
— А как туда ехать?
Я поеду на трамвае.
— На трамвае,— хихикает Фрида.
— Я доеду на трамвае до улицы Вильгельма, а возле бани меня

будет ждать та банщица, которая всегда встречает меня словами: «Sielle se vanha rovva tulle taas!»[1]

— Бабушка, пойдемте домой,— предлагаю я.

— Нет-нет,— отвечает она с умным видом.— Банщица будет так разочарована, если я не приду.

— Бабушка, дорогая! Никакой бани на улице Вильгельма больше нет.

— Как же,— говорит бабушка.— Несомненно есть.

— Да и улицы Вильгельма больше не существует,— говорю я.

— И трамваев! — смеется Фрида.

Бабушка стоит и с тоской смотрит на то место, где тридцать лет назад была конечная остановка.

И она сдается.

— Ты такой разумный,— сообщает она мне.

Бабушка круто поворачивается и бредет вниз по пригорку. Маленькими усталыми шажками. Я крепко поддерживаю ее под руку.

— Почему вы, бабуля, говорите о том, чего нет? — щебечет Фрида.

— Я так стара, милый друг,— отвечает она ласково.— У меня такая плохая память. Но я думала, что было бы чудесно сходить в баню.

— Бабушка, вы искупаетесь дома в собственной ванне,— говорю я.

— Нет-нет,— возражает она.— Я не буду.

— Непременно будете. Из города приедет любезная женщина, которая вместе с Сири вас искупает.

— Нет-нет,— говорит она спокойно.— До этого дело не дойдет.

— Бабуле нельзя выходить одной,— говорит Фрида наставительно.— Я ведь тоже не выхожу. Бабуля слишком старенькая, а я слишком маленькая.

Мы ведем ее по лестнице наверх, помогаем снять пальто и провожаем в гостиную. Она устраивается в углу дивана, опираясь руками на палку, и ласково смотрит на нас.

— Включи телевизор,— просит она Фриду.

— Сейчас нет никакой передачи,— отвечает Фрида.

— Как знать,— говорит бабушка.

И Фрида включает телевизор. А потом подбегает к бабушке и садится рядом с ней на диван. Они сидят рядом, смотрят счастливыми глазами на темный телевизионный экран и ждут, когда он засветится, тепло укутанный ребенок с пышущими здоровьем щеками и бабушка в платье тридцатилетней давности, сгорбленная, седая, морщинистая и маленькая. Тридцать лет назад я сам любил сидеть с ней, как сейчас Фрида, с тем же самым радостным ожиданием в глазах. Мы смотрели на ее часы с кукушкой, на закрытую дверцу и ждали, когда кукушка выпрыгнет наружу на своем колышке и прокукует время. И вдруг меня осеняет, что нужно сфотографировать их сейчас на диване, нужно сохранить навсегда это мгновение.

Я знаю, что это невозможно. Ведь фотографии — всего лишь иллюзии.

Но однажды, когда пройдет много лет и много воды утечет, мне, может быть, понадобится эта иллюзия, а сейчас через равнодушный объектив фотоаппарата незримо ложится на пленку сама жизнь.

Семидесятипятилетняя женщина.

Сколько лет было Сандхольму?

Как его звали по имени?

А мои тридцать шесть лет, их столько же, сколько кадров на пленке, тридцать шесть маленьких прямоугольников, высвечиваемых мгновенными вспышками проникающего в объектив света.

---

[1] «Милости просим, госпожа!» *(финск.)*

Некоторые снимки надо делать, пока не стало слишком поздно. На телевизионном экране мерцает белый, мертвенный свет.

Отпечатать снимок довольно просто.

Негатив помещается в негативную рамку увеличителя. Эмульсионной стороной вниз, иначе изображение получится зеркальным. Свет по краям негатива должен быть закрыт так, чтобы он не мог проникнуть на фотобумагу.

Резкость устанавливается при открытой диафрагме. После этого объектив диафрагмируется, частично для того, чтобы компенсировать возможные ошибки фокусирования, частично, чтобы достичь большей резкости. Фотобумага помещается в кадрирующую рамку, которая должна быть неподвижна.

После этого фотобумага экспонируется. Проявитель, куда ее кладут, должен иметь температуру восемнадцать градусов по Цельсию. Хлоро-бромо-серебряная и бромо-серебряная бумага проявляются от двух до двух с половиной минут. На этой стадии ванночку с бумагой надо покачивать.

Останавливающий раствор тотчас прерывает проявление. И предотвращает возникновение вуали. Затем стоп-раствору дают стечь со снимка и помещают снимок в фиксаж.

Время закрепления около пяти минут. После этого следует основательная промывка в проточной воде в течение по меньшей мере сорока пяти минут.

Наконец, для придания высокого глянца, снимок прикатывается эмульсионной стороной к пластине из хромированной латуни и помещается в сушильный аппарат.

Вот как это происходит.

— О чем ты думаешь? — спрашивает меня за обедом Фрида.
— Что?
— О чем ты думаешь?
— Да... ни о чем...
— Нельзя думать ни о чем.
— Да. Ты права.
— Тогда о чем же ты думаешь?
— О смерти.
— Почему?
— Да потому, что я вчера видел мертвого.
— Почему он умер?
— Вероятно, потому, что состарился...
— А почему ты об этом думаешь?
— Да... видишь ли, наверное, потому, что мне было жаль его. Казалось, никто... не заметил, что он умер...
— А сам он это заметил?
— Не знаю.
— Бабуля тоже старая.
— Да.
— Бабуля скоро собирается умереть?
— Этого я тоже не знаю.
— Мы ее тогда похороним?
— Да.
— Нам нельзя похоронить ее здесь, во дворе?
— Конечно нет.
— А почему?
— Потому что всех мертвых закапывают в одном и том же месте.
— А почему?
— Потому что так им спокойнее.
— И там они будут все вместе играть.

— Да. Может быть, и так.
— Это как в детском садике.

Слева на фотографии видны большой бумажный куль для мусора, две обувные коробки и кулек из-под карамели «Поцелуй негра» кондитерской фабрики «Фазер». На стене висят три картины. На одной из них изображена женщина. Под картинами виднеется верхняя часть комода. На нем стоят три пустые вазы, статуэтка, изображающая непонятно кого, может быть Иисуса, по меньшей мере двенадцать пустых пакетов из-под молока и две свечи. Перед комодом, образуя круг на полу, тянется целая стена из хлама высотой около метра. Создается впечатление, что она была построена не случайно. В двух местах ее подпирают стулья. Она составлена из различных видов бумаги — газет, коробок, упаковок — и других отбросов: банок, остатков еды, бутылок.

На переднем плане фотографии, как дверь в этой стене, лежит гигантский картонный четырехугольник — реклама сигарет марки «Мальборо».

Какое-то тряпье, видимо одежда, разбросано по всей комнате.

В дальнем углу, на маленьком столике, одиноко стоит оловянная ваза внушительных размеров.

На заднем плане видна дверь. Она приоткрыта и, судя по всему, больше не открывается.

(Она совсем не открывалась, пока я не выгреб оттуда массу дерьма.)

Он лежит в центре фотографии, на полу посреди комнаты, окруженный стеной из отбросов. Его трудно заметить. Он сливается со всем этим хламом.

На первой странице дневника написано немного. Стиль неясный, слова набегают друг на друга, строчки круто сползают вниз.

«Нашел двадцать пенни. Надо опасаться взломщиков. Приобрести надежный замок. Прокалываю пятого жука. Желтый и тупой, как ноготь на мизинце. Из чулана на меня свалилось что-то тяжелое. Нашел горшок. Не устроить бы пожар. Кричит маленький ребенок. Не устроить бы пожар».

Если бы ты была здесь, Ханна, ты бы смотрела на меня.

Я бродил бы по комнате, перебирал книги, газеты, ворохи бумаги. Бормотал бы что-то себе под нос. Отключил бы телефон, чтобы отделаться от Бёрье.

И наконец, я стоял бы, как стою сейчас, и смотрел бы в сад, вглядываясь в темноту позади яблока, которое, может быть, уже упало.

Не знаю, говорил бы я с тобой о фотографиях и дневнике, который лежит на моем столе, о страхе, о зловонии, прочно осевшем в моих ноздрях,— небесный владыка, неужели нельзя как-нибудь их прочистить...

Но ты бы смотрела на меня. Ты бы, во всяком случае, смотрела на меня.

Я был бы под присмотром.

Воскресенье

— Какого черта тебе надо? — говорит Бёрье.

Он сидит за письменным столом, заваленным горами бумаг, газет, фотографий, писем, корректуры. У него есть система во всем этом беспорядке. Он энергичный, любит свою работу.

Я стою у окна и смотрю на улицу. Падает снег.

— Никакого,— отвечаю я.

— Хочешь чего-нибудь крепкого?— спрашивает он.

Ну конечно, конечно же хочется чего-нибудь крепкого.

Падает снег, большие белые хлопья на темном вечернем небе.

Коньяк. «Реми-Мартен».

«Тоскую по снегу»,— написал Сандхольм на второй странице своего дневника.

«Тоскую по снегу. Звонил Хелене, никакого ответа. В ванной не повернешься, вода с кухни. Разжег огонек в кастрюле. Никакого пожара. Никто не замечает. Новый магазин слишком большой. Новый человек в кассе. Устаю. Тоскую по снегу. Тоскую по дому».

— Получу я наконец фотографии или нет? — спрашивает Бёрье.

Ты помнишь, Ханна, как мы ездили в Сицилию? Это было поздней осенью. Однажды пошел снег. Как я любил тебя в то время. Бар заполнился разочарованными северянами, с лицами, такими же мучнистыми, как и в тот день, когда они приехали. Мы с тобой занимались любовью долго-долго, пока я наконец не встал и не вышел на балкон. Падал снег. Я оделся и спустился вниз. Ты захотела остаться одна. «Все-таки это было прекрасно»,— сказала ты таким теплым голосом, что я почти поверил тебе. В баре сидел мужчина, который целыми днями лазал по горам. Он пил шоколад. Здесь царило безрассудство, это было ясно как день. Скалолаз разглядывал окружающих. «Людям нельзя верить»,— сказал он. Я подумал о тебе, как ты там ворочаешься в постели. «Люди только изменяют и бросают друг друга,— сказал скалолаз.— Спасибо, что есть горы. Они всегда остаются. И к ним всегда можно вернуться».

— Где фотографии? — спрашивает Бёрье.

Дайте же мне гору, кто-нибудь.

— Греби сюда с ними сейчас же,— говорит Бёрье.

— Зачем они тебе?

— Чего?

— Зачем они тебе?

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду.

К набережной подходит маленький катер, он тянет на буксире другой катер, чуть побольше. На корме буксира стоит сутулый рослый человек и размахивает руками, а рулевой на катере сигналит ему в ответ. Тогда буксир замедляет ход, и катер проходит мимо. Буксирный канат убирают, и катер заводит мотор. Буксир входит в гавань. А катер поворачивает в противоположную сторону и удаляется собственным ходом.

Прозрачен, как бульон, сказал слепой о гороховом супе.

— Это нужно объяснить, Бёрье.

— Что?

Падает снег. Деревья, которые недавно сбросили листву, должны быть благодарны. Снег прячет их печаль.

— Кристоффер,— говорит Бёрье,— а есть ли вообще какие-нибудь снимки?

— Снимки всегда есть. А вот с действительностью хуже.

— Перестань, пожалуйста.

Он подходит к окну и останавливается возле меня.

— Ты что, дерьмово себя чувствуешь?

— Думаешь, я собираюсь плакать тебе в жилетку?

— Сделай милость. Если это то, что тебе нужно.

По тротуару бредет мужчина с ротвейлером. Собака идет с ним рядом. Когда мужчина останавливается, собака садится на снег и покорно глядит на него. Месяц назад я увидел тебя в еженедельнике где ты позировала в какой-то отвратительно смелой твидовой одежде. Некий изобретатель пороха от фотографии поместил в твои объятия кокер-спаниеля. Похожего на меня.

— А был ли ты вообще в той квартире?

— Был.

— И что ты там видел?

— Ты знаешь это не хуже меня.

— Ты видел мертвеца?

— Да.

— Который, вероятно, пролежал там уже... некоторое время.

— Вероятно.

— И ты сделал несколько снимков,— говорит Бёрье.— Двойная такса. Likaisen työn lisä [1].

Я отхлебываю коньяк. На улице падает снег. Лампа на письменном столе у Бёрье разливает по комнате теплый свет. Скоро десять лет, как я знаком с ним. Жена периодически бросает его, а потом возвращается через месяц-другой. Сейчас она в Марокко вместе с дерматологом из Лаппенранты. Вероятно, все браки должны быть с сюрпризами. Но Бёрье, по-видимому, привык к этому. По крайней мере, мне кажется, он думает, что привык. Ко многому из того, что происходит между женщинами и мужчинами, можно привыкнуть. Ты знаешь, что́ я имею в виду.

— В чем дело? — спрашивает Бёрье.

— Мне надо знать, как ты думаешь использовать мои фотографии.

— Т в о и фотографии?

— Да!

— Уясни себе одну вещь,— говорит Бёрье,— ты работаешь с ящиками, а я — с газетой. Ты щелкаешь фотографии одним ящиком, проявляешь в другом, увеличиваешь в третьем и сушишь в четвертом. На остальное наплюй!

Он прав. Я не что иное, как специалист по ящикам.

— Итак,— говорит он,— ты забыл вставить пленку, или налил не ту водичку в ящик, или просто ни с того ни с сего сошел с ума?

— Они есть, Бёрье,— говорю я.— Эти фотографии. Они есть.

— Где же?

— У меня дома.

— Чтобы завтра утром они лежали здесь, на моем столе.

— А если я откажусь?

Он снимает с себя очки, потирает переносицу и рассматривает меня усталыми глазами.

— Здравствуйте! — говорит он озабоченно.

И смотрит в окно.

— Интересно, идет ли снег в Марокко,— произносит он.

Бёрье выглядит сейчас точно так, как в то утро, когда мы встретились в ресторане курзала в Турку, все трое: ты, он и я, вы с ним два раза переспали в пятьсот шестнадцатом номере, хотя ты думала, что я впервые узнал об этом не тогда, а позднее, когда ты сама мне рассказала. Тебе бы всегда все рассказывать. Среди ночи я проснулся — твоя кровать рядом с моей пустовала. Я лежал, уставившись прямо в темноту, и пришел к выводу, что делать нечего, просто нечего. И почувствовал, что против тебя я бессилен, потому что любовь — это крюк с острыми шипами, и чем больше барахтаешься, тем сильнее терзают тебя эти шипы. Может быть, в ту ночь тоже падал снег. А утром мы сидели за чашкой чая в ресторане курзала в Турку и разглядывали увядающие в вазе азалии, двое мужчин и одна женщина — это было как в романе Хемингуэя, хотя и выглядело несколько провинциально. Бёрье смотрел на меня своими усталыми глазами и как будто жалел меня. Я думал, что, может быть, от меня ждали скандала или каких-либо героических действий. Но Бёрье рассматривал меня с несомненной кротостью, и я вдруг подумал, что он знает обо мне нечто такое, чего я сам не знаю. Официантка поставила на стол большой графин с молоком, хотя мы ее не просили. Это тоже выглядело провинциально. Мне

[1] Доплата за грязную работу *(финск.)*.

кажется, тогда единственный раз в жизни я подумал, что, пожалуй, люблю Бёрье.

Тебе я сказал только: «Мы будем тосковать, когда ты уедешь».

— У тебя действительно есть какой-то контакт с Ханной? — спрашивает Бёрье.

— А у тебя?

— Не более того, что я печатаю в газете. Она хорошо продается. По-моему, это ей не вредит.

— Что ты имеешь в виду?

— То, что многие прибегают домой, поджав хвост.

— Только не она. Ее самое поджимают под себя те «хвосты», которые бегают за ней по пятам.

И зачем нам всегда все рассказывать друг другу! К чему это? Мы с Моной были женаты шесть лет, но никогда ничего друг другу не рассказывали. Она говорила со мной откровенно только раз, когда полностью подготовилась к переезду и даже условилась с транспортной фирмой о перевозке вещей. У нее полтора года была связь с хирургом, и я не знал об этом. Думаю, что только Фрида знала. Ведь детей не обманешь. И мы с тобой тоже не обманывали друг друга. Рассказывали все от начала до конца. Когда ты возвращалась со своих фотогастролей, мы прежде всего выясняли один вопрос: с кем, где и как часто. Иногда даже — как. В одном отеле в Оулу был повар из Японии. Что привело его в Оулу — еще большая загадка, чем то, что привело его в твою комнату. Он имел свободный доступ на кухню. Между делом он бегал вниз и лепил разные лакомства. Он клал тебя в постель и наливал длинную дорожку из ванильного соуса от ямочки на шее, между грудей и дальше вниз. А потом все слизывал. Память не подводит меня.

— Так было всегда,— добавляю я.

В комнате становится тихо. Мне хотелось бы очутиться на улице среди падающего снега. Но и там я у Бёрье в руках.

Чего я добиваюсь. Все люди умирают.

Но жить тоже надо.

— Это не противозаконно?

— Что?

— Мои снимки.

— Да плюй ты на это!

— А родственники?

— Если таковые имеются.

— Они ведь узнают его. Они же могут устроить все что угодно.

— Ты так думаешь? — говорит Бёрье и улыбается.— Ты думаешь, что они захотят огласки?

— А дворник?

— Да?

— Сколько ты заплатил ему?

— На это ты тоже наплюй.

— А если он насплетничает?

— Какого черта тебе надо? — говорит Бёрье. — Ты думаешь, я сидел бы на этом стуле, если бы мои подручные сплетничали?

Надо жить. Падает снег, мокрый и липкий. Фрида наверняка во дворе, лепит снеговика. Ее комбинезон промокает. К тому же он мал и трещит по швам. Я пробовал зашить его, но все, что я зашиваю, всегда распарывается. Хорошо бы научиться ставить заплаты. Насколько я знаю Бёрье, мне удалось бы получить тройную плату за свои фотографии. Но проституировать — значит в какой-то степени умереть или жить на искусственном дыхании. Когда мне было девятнадцать лет, я бродил по кварталу публичных домов в Гамбурге. Девицы усаживались там в ряд, как манекены, хотя такое сравнение совсем не оригинально. Я попытался угостить их шоколадом, чтобы заглушить в себе отвращение. Некоторые плевали мне в лицо. Иногда я очень хочу туда.

— Как бы мне не досталось за эти снимки,— говорю я.

— Кристоффер,— отвечает Бёрье,— ты же знаешь, что я поддержу тебя, если подует ветер. Я же всегда так делаю.

Он казался усталым и печальным.

— Ты думаешь, иначе я сидел бы на этом стуле? — спрашивает он.

На одном из судов в порту кто-то работает со сварочной лампой. Если бы на меня направили сварочную лампу, я предал бы кого угодно. Наверное, я трус. А нам с тобой не нужно никаких сварочных ламп, чтобы предать друг друга, не так ли, Ханна?

Рядом с головой того человека, фотографии которого Бёрье хочет поместить в своей газете, лежал обгоревший горшок. Он пытался сделать из него очаг.

Это все равно что снежинке пытаться уцелеть в огне сварочной лампы.

Сначала надо сгрести снег. Потом — листья и сухую траву. И тогда только копать могилу.

— Ты фотограф или археолог? — спрашивает Бёрье.

— Дай мне немного времени, Бёрье,— говорю я. — Несколько дней. Неделю.

— Времени?

— Да.

— Это еще зачем?

— Я хочу кое-что выяснить.

— Это еще зачем?

И тогда я вдруг громко выкрикиваю:

— Ты не понимаешь, что это невозможно! Нельзя так умирать! Нельзя стать таким одиноким!

Больше я ничего не могу сказать.

А снег все падает и падает.

— Пей коньяк,— говорит Бёрье.

И я пью коньяк.

— Я думаю, можно стать каким угодно одиноким,— говорит он.

— Что ты собирался делать с моими снимками? — спрашиваю я.

— Продать десять тысяч дополнительных экземпляров следующего номера газеты,— говорит он.

— Но как ты думал объяснить все это?

— Объяснить? Нет, тебе надо было стать лидером бойскаутов.

— Дай мне неделю.

— А что ты будешь объяснять?

— Не знаю,— говорю я.

А ведь я мог взять фотографии с собой. Я мог выложить их перед ним на стол. Мог избавиться от них, пойти в кассу и получить свой гонорар. Мог позвонить какой-нибудь новенькой фотоманекенщице и с помощью кабака и постели доказать свою мужественность и жизнеспособность.

А потом я выбросил бы всю эту грязь на помойку, наивно полагая. что она исчезнет там среди прочего хлама, но это все равно что скрывать в горах радиоактивные отходы.

— Можешь идти,— говорит Бёрье. — Ты всегда плохо влиял на меня. Но ты получишь свои пять дней.

— Спасибо.

Он вздыхает.

— Смотри, как красиво падает снег,— говорит он. — Все выглядит совсем иначе.

— В Марокко никогда не бывает снега,— говорю я.

— Пошли в кабак,— предлагает он.

В лифте он говорит:

— Ты, конечно, забыл возвратить ключ?

— Да, конечно, забыл.

Он задумчиво смотрит на меня.

— Не усложняй, Кристоффер,— говорит он.

И когда мы отправились в «Ванху», чтобы пропустить по кружке пива, а потом решили сменить ресторан на «Кольме круунуа», и я позвонил домой, и попросил Сири уложить Фриду, и взял с собой из «Ванхи» экземпляр вчерашней «Илта-саномат», чтобы решить шахматную задачу, которая помещена в конце газеты, между комиксами, и когда Бёрье пригрозил апостолу в ливрее из «Кольме круунуа» напечатать в своей газете скандальную статью, и нас поэтому впустили, и я заказал один горячий бутерброд и сто граммов водки, так как чувствовал себя неважно после коньяка и пива, выпитых на голодный желу́док, а Бёрье влил в себя полторы бутылки сухого вина и пошел, шатаясь, к такси, а я остался сидеть над своей шахматной задачей, в которой, очевидно, была опечатка, и когда потом один старый коллега, не сделавший за всю жизнь ни одной приличной фотографии, уселся за мой стол и решил, поганец, эту задачу за двадцать три секунды, и когда я по ошибке зашел в дамский туалет, а потом каким-то необъяснимым образом угодил за один стол с двумя незнакомыми женщинами, которые жили на улице Марии и не имели ничего против приглашения на рюмочку «Бакарди», и когда я вбил себе в башку, что обязательно должен переспать с ними ОБЕИМИ ЗАРАЗ, и поэтому облапил их и прижался к ним, дав понять, что у меня между ног кое-что есть, и был выгнан, любезно, но решительно, и пошел обратно в кабак, и был оттуда тоже выгнан, и звонил из телефонной будки двум-трем девицам, которые в это время спали или занимались чем-то еще, и когда я приехал на такси домой, и вынул из холодильника бутылку «Рислинга», и вылакал ее за сорок пять минут, и написал тебе письмо, а потом стоял и смотрел на спящую дочь, и всплакнул немножко, и заснул, а утром блевал, и отвез Фриду в садик, и обнаружил, что забыл портфель в кабаке, и выбросил письмо, и удивился, куда задевалась сотня, и стоял у окна, уставившись на яблоко на дереве, неспособный работать; когда я, короче говоря, вел себя как свинья — некому было упрекнуть меня.

Понедельник

Первое в это утро ощущение, проникающее в глубины черного-пречерного сна: кто-то стучится кулачком в мой лоб.

— Тук-тук. Дома кто-нибудь?

Я чувствую, что от меня воняет. Лежу, а от меня воняет.

Все же я открываю глаза и вижу Фриду, она сидит на краешке кровати и смотрит на меня со своим детски-взрослым выражением лица.

— Когда ты пришел домой? — спрашивает она.

— Поздно.

— Когда поздно?

— Поздно-поздно. Я не знаю.

— Почему не знаешь? Ты был в ресторане?

— Не-а. В двух.

— Сири сказала, что ты был на встрече.

— Там я тоже был. Сначала.

Звонит телефон, Фрида вприпрыжку бежит к нему. В этом доме только она отвечает теперь на телефонные звонки.

Я лежу и глазею на пятно на потолке.

А у него были пятна повсюду.

Пятна на теле появляются после смерти?

— Папа! — кричит Фрида.— Мама хочет поговорить с тобой!

Она садится на диван рядом с телефоном.

— Только не беседуйте целый день,— предупреждает Фрида хмуро.— И не забудь, что потом я опять буду с ней разговаривать!

— Алло,— говорю я.

— Это Мона. Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ну. Ты не звонил вчера вечером.

— А, черт. Разве мне нужно было звонить?

— Ты обещал.

— Да. Но кое-что помешало.

— А где ты был? Я звонила весь вечер. И еще полночи, если хочешь знать.

— В городе. А почему ты спрашиваешь?

— Что?

— Зачем тебе надо было так трезвонить? Случилось что-нибудь?

— Я хотела только услышать, как вы живете.

— А-а.

— Кроме того, ты же обещал позвонить.

— Я и звоню.

— Да нет, это я звоню.

— Да-да, конечно.

— Не забудь, что потом я опять буду с ней разговаривать,— снова предупреждает Фрида.

— Как ты, собственно, себя чувствуешь? — спрашивает Мона.

— Хорошо.

— Лейф видел тебя вчера где-то в Круунунхаке.

— Тогда ты сама знаешь, где я был.

— Да смотреть-то было не на что, как он сказал.

— Неужели?

— Зачем ты так себя ведешь? К чему это?

— Ни к чему.

— Думаешь, кто-нибудь расхлюпается от жалости?

— Нет.

— Отвечай!

— Чего?

— Тебе что, так противно со мной разговаривать? Ты не понимаешь, что мы должны поддерживать контакт! Ради Фриды, если не для чего больше!

— Она хочет поговорить с тобой.

— Так-то ты о ней заботишься? Ты думаешь, каково ей, когда ты уходишь из дому кутить?

— Она спит.

— Спит, да! Одна!

— Сири дома.

— Которую она ненавидит!

— Это ты ненавидишь Сири. Не Фрида.

— Она сейчас там? Рядом с тобой?

— Сири?

— Фрида!

— Да.

— Ты этого добиваешься. Чтобы она узнала, какая у нее поганая маменька. Ты, может быть, держишь трубку у ее уха? Чтобы она услышала, как мать кричит в истерике? Ты этого добиваешься?

— Успокойся.

— Кристоффер. Я хочу, чтобы Фрида навестила нас.

— А что говорит об этом Лейф?

— Тебе обязательно надо злиться?

— Нет.

— Я думаю обставить заново одну из комнат на верхнем этаже. Там сейчас полно старой, никому не нужной мебели. Я вынесу ее на

чердак, куплю стол, шкаф, кровать, игрушки, и тогда она сможет приезжать сюда, и ночевать здесь, и жить сколько угодно...

— А разве тебе не надо подумать о своей учебе?

— Не пытайся копировать Лейфа! Этого ты никогда не умел. Ни в чем...

— Это скорее всего он копирует меня. Этот идиот.

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего.

— Почему бы нам не попытаться быть друзьями? Ты ведь тоже хотел бы, чтобы мы были друзьями? Не правда ли, Кристоффер?

— Да.

— Я ведь не желаю тебе зла. Почему бы нам с тобой не побеседовать?

— Да.

— Расскажи мне, пожалуйста, как вы живете? Как Фрида? Мне кажется, я вижу ее так редко. Как у нее в садике?

— Хорошо.

— Она спрашивает обо мне?

— Иногда.

— Ты находишь, что с ней трудно?

— Иногда.

— И это ты называешь побеседовать?

— Позволь мне поговорить с мамой,— просит Фрида.

— Фрида хочет поговорить с тобой,— повторяю я.

— Я не виновата, что вы сидите с ней вдвоем в этом старом чертовом замке!

— Нет-нет. Во всем виноват я.

— Этого я не говорила. Ты ведь сам так хотел.

— Как?

— Чтобы Фрида жила у тебя.

— Насколько я помню, это было совместное решение.

— Да. Вот именно.

— Насколько я помню, мы решили, что она останется там, где ей лучше...

— Так ты считаешь, что у меня ей хуже.

— У тебя уже есть ребенок, вот о нем и заботься.

— Что?

— Я имею в виду твоего мужа.

— Как ты смеешь так отвратительно говорить?

— А что, это прозвучало красиво.

— Это прозвучало очень плохо. А я не хочу стать плохой! Я не хочу, чтобы мы стали плохими! Я не хочу, чтобы Фрида стала плохой! Я хочу встречаться с ней без всяких...

— Пожалуйста, встречайся. Сколько угодно.

— И так уже единственное, что я делаю,— оплачиваю ее содержание.

— Неправда.

— Что?

— Это ведь Лейф оплачивает, а не ты.

В трубке становится тихо. Она плачет. Я уверен, хотя не вижу и не слышу ее.

И это все, чему я научился? Догадываться, что довел человека? Это единственное, что мне осталось?

Внезапно в трубке щелкает. И слышатся лишь монотонные отчетливые гудки.

Так.

— Мне можно поговорить с мамой? — спрашивает Фрида.

— Мама очень спешила...— пытаюсь я объяснить.

Но тщетно. Фрида открывает рот и оглашает воздух даже не плачем, а громким ревом. Она набрасывается на меня с маленькими, плот-

но сжатыми кулачками, а я крепко обнимаю ее и держу до тех пор, пока она не затихает, обессиленная. Только сидит и икает от изнеможения.

Потом она будет звонить Моне. Но это бесполезно. Мона отключила телефон.

«Если я не могу разговаривать с тобой, то я не могу разговаривать и с Фридой тоже»,— заявляет она по обыкновению.

Поэтому она отключила телефон.

Фрида сидит, приложив трубку к уху.

Они сидят, каждая у своего телефона, и плачут.

Это я виноват?

На третьей странице он совсем ничего не написал. Нарисовал маленькую фигурку в самом низу справа. Линии наплывают друг на друга. И лишь с трудом можно разглядеть изображение.

Это человек. Голова такая же большая, как туловище. Глаза косят, а рот растянут в улыбке. Во рту два зуба. Большой язык висит, покрывая подбородок и шею.

Волосы до плеч, кудрявые.

Верхняя часть туловища состоит из двух набухших грудей. Нижняя часть — мужская.

Ноги — два штриха. Одна ступня похожа на бесформенный ком. Другая напоминает коготь.

Красивее всего у тебя был голос. Я имел обыкновение заговаривать с тобой, не говорить, а просто заговаривать, чтобы услышать его. Вести о твоей жизни приходят ко мне теперь глухими извилистыми путями. Моя космополитка мать пишет, что встретила тебя в Париже. Последние двадцать лет мама все путешествует, путешествует и таскает за собой своего португальского маркиза, словно богатый содержимым чемодан. Он удрал от социалистов у себя на родине, а от кого удрала она — черт ее знает. И вы, естественно, встретились на Монпарнасе, поскольку мама всегда верит туристским брошюрам, как священник Библии, а маркиз платит. Если бы я фотографировал так же плохо, как она моделирует одежду, я выучился бы на автомеханика. И вы приятно беседовали обо всем на свете, и ты выглядела очаровательно и передавала мне привет, но если бы я вдруг стал маленьким, как муха на потолке, вы, не задумываясь, раздавили бы меня. Мама дает мне адрес какого-то отеля на Капри и просит, чтобы я написал, как там ее мать и ее дом, которые она посадила меня сторожить в уплату за даровое жилье.

Но ответ она вряд ли получит: что я ей напишу? Расскажу, как сегодня после обеда наверху была борьба не на жизнь, а на смерть. Сообщу, как Сири и сестра милосердия Эрикссон из больницы Диаконис три часа тщетно уговаривали ее мать раздеться и принять ванну, а я в это время лежал в кровати с сильно бьющимся сердцем, слушал доносившиеся сверху звуки — крик, топот, стук падающих на пол предметов — и разглядывал фотографии чужого мертвого старика. И как, наконец, сестра Эрикссон спустилась вниз с блестящим от пота лицом и, смущаясь, проговорила: «Мы ее раздели, но больше ничего сделать не можем», а я ответил что-то ободряющее, и она спросила: «Не могли бы вы, молодой человек, нам помочь?» — и когда я представил себе бабушку без одежды, ее старое тело, у меня вдруг зашумело в ушах, я почувствовал себя дурно и выпроводил сестру Эрикссон за дверь, а сам схватил трубку и позвонил наверх.

— Алло?

— Бабушка? Это Кристоффер говорит.

— Добрый день, Кристоффер. Приятно слышать твой голос.

— Бабушка, вы собираетесь купаться?

— О нет. Вовсе нет.

— Только не надо меня обманывать. Вы ведь знаете, что должны купаться раз в неделю.

— Милый, разве это так необходимо?

— Да, совершенно необходимо. Иначе вы, бабушка, будете грязная как чушка.

— Что?

— Я сказал, что вы будете грязная как чушка!

— Буду грязная как чушка? Ах ты, мой шутник...

— Я вовсе не шучу. Любезная фру Эрикссон сейчас там?

— Да. Хоть я и сказала ей, что это совершенно излишне. Я много раз просила ее уйти отсюда.

— Бабушка, дорогая, я уверен, что фру Эрикссон охотно ушла бы домой. Но сначала она должна помочь вам искупаться. Бабушка, будьте с ней любезны, выкупайтесь, и тогда она уйдет.

— Ага.

— После купания так приятно, вы же знаете.

— Конечно. Прощай.

— Бабушка. Так вы обещаете сейчас искупаться?

— Да-да. Прощай, милый друг.

— Мне кажется, бабушка, вы вовсе не собираетесь сделать так, как я сказал. Но тогда вы очень огорчите меня. Потому что, к вашему сведению, я сижу сейчас на ВАЖНОМ СОБРАНИИ и не хочу, чтобы мне мешали!

В трубке становится тихо.

— Бабушка, вы слышите, что я сказал?

— Прости, прости,— говорит она жалким голосом.— Я не буду больше мешать.

— Это хорошо. Тогда до свидания, бабушка.

— Я не хочу мешать тебе,— повторяет она.

Есть один идиотский шлягер о Капри, под его аккомпанемент ты рассказывала, как в детстве тебя запирали во время грозы в столе под мойкой посуды. Вскоре после того, как взорвался твой отец. Тебе было двенадцать лет, и тебя отправили в деревню на летние каникулы, а когда гремел гром, люди, у которых ты жила, твои «летние родители», запирали тебя в столе под мойкой, в угольно-черной вонючей дыре,— и все это ты рассказывала в одном прокуренном кафе на улице Элизабет. Нас было всего трое посетителей кафе — ты, я и мужчина в капитанской форме, который все время совал монетки в музыкальный автомат, исполнявший один и тот же шлягер о Капри, раз за разом. Ты сказала, что если отец, работавший на пороховой фабрике, вдруг взрывается, не просто умирает, а *исчезает* бесследно, то кажется, что он не умер, а вообще никогда не жил и что во всех местах с закрытыми дверями ты чувствуешь себя, как в том столе под мойкой, и я впервые понял, что ты уйдешь, пока банальности из автомата вколачивались в мой череп: «На Капри повстречали мы друг друга...»

На четвертой странице он написал два слова: «ТЕЛЕФОН МОЛЧИТ».

Поздно ночью я выхожу в сад и осматриваю дом. Погода ясная и прохладная. Луна стоит как раз над коньком крыши и льет свой холодный, немного презрительный свет на многоэтажные здания за нашим домом, безмолвные и большие, как окаменевшие великаны. Повсюду сносятся старые постройки и возводятся новые. Автомобильная дорога шумит вдалеке, как бесконечный монотонный ангельский хор. Но дом моей матери не вписывается в общую картину в силу своего абсолютного анахронизма; ты помнишь, как мы иногда смеялись над ним? Он стоит совершенно беззаботно, со всеми своими башенками и зубцами, крыша круто спускается вниз, как трамплин, и постоянно роняет кирпичи, словно подтаявшие на весеннем солнце сосульки. Ты помнишь,

когда мы ремонтировали ее: ты стояла на коньке крыши и держала в руках веревку, конец которой был обмотан у меня вокруг пояса, и я вполне серьезно задал себе вопрос, откуда у меня такая уверенность, что ты не выпустишь веревку из рук, если я начну падать. Этот дом действительно выглядит как недоразумение, как разрыв в электрической цепи в эпоху научно-технического прогресса, как кошмарный сон земельного спекулянта или последний замысел сумасшедшего зодчего. Но он плюет на все. Отражение Юпитера желтым слабым светом мерцает в оконном стекле.

Дом совсем обветшал.

Тень от луны подбирается прямо к моим коричневым кожаным сапогам. Эта спокойная сине-черная тень уже укрыла, словно одеялом, яблоню, куст рододендрона, скакалку и обшарпанный трехколесный велосипед.

Тень исчезает. Многое уходит из нашей жизни.

— Твоя бабушка передает тебе привет,— сказал я Фриде.

— Какая бабушка? — удивилась дочка.

Вторник

Мне снится, что я слышу, как он отвечает по телефону.

— Сандхольм,— говорит он.

И я, я сразу же начинаю распинаться, как приятно снова услышать его голос, который я тотчас узнал, голос человека, с которым я и прежде не раз говорил, ведь мы, по-видимому, старые знакомые, вот только никак не припомню, где мы встречались...

— Сандхольм,— говорит он.

Не мог бы он попытаться вспомнить, где мы с ним виделись? Потому что мне о многом надо его расспросить, только для начала желательно было бы покончить с одной формальностью: откуда мы знаем друг друга...

— Сандхольм,— только и говорит он.

А, черт, разве нельзя немного мне помочь, если я забыл, когда и как мы с ним познакомились, почему он сидит сложа руки и молчит, неужели не может слегка напрячься и вспомнить...

— Сандхольм,— говорит он.

Спасибо, я это уже слышал, но нам надо обсудить массу важных дел, только пусть он не думает, что я собираюсь вступать в переговоры с таким высокомерным типом, который только сидит и издевается, а сам не может даже пошевелить мозгами и ответить на простой вопрос.

— Сандхольм,— говорит он.

Сандхольм, Сандхольм! Убирайтесь к черту со своими Сандхольмами! Я не хочу иметь никакого отношения к Сандхольму! Я очень сожалею, что встретил Сандхольма? Сандхольм, будьте добры, положите трубку и оставьте меня в покое!

Я просыпаюсь в холодном поту. И тотчас узнаю его.

Свой собственный голос.

Потом позвонил Бёрье.

— Тебя кто-нибудь видел, Кристоффер? — спросил он.

— Чего?

— Я имею в виду, когда ты был в той квартире.

— Нет, насколько я знаю. А что?

— Видишь ли, по всему дому бегают фараоны и допрашивают жильцов.

— А ты как хотел? Чтобы люди умирали и лежали сколько угодно, а власти в это не вмешивались?

— Хм,— сказал Бёрье,— В таком случае власти несколько запоздали.

— Правда, кто-то звонил в дверь,— сказал я, немного сжавшись.

— Пока ты там был?
— Да.
— И что ты сделал?
— Ничего.
— Тебя мог кто-нибудь услышать?
— Нет.
— Точно?
— Я не делаю таких промахов, когда работаю. Ты это знаешь.
— А потом?
— Потом кто-то сунул письмо в почтовую щель.
— Ну?
— И все.
— А ты ничего не натворил после этого?
— Нет.
— Ладно. К черту все это. Я не хочу никакого шума.
— Но, Бёрье. Ты бы посмотрел мои фотографии...
— Плевал я на твои фотографии! Я не хочу никакого шума! Ясно?
— Да.
— И вот еще что: ты должен возвратить дворнику его ключ. Если он им понадобится, дворник сядет в лужу.
— Ага.
— Есть одно кафе на улице Топелиуса, напротив библиотеки. Будь там сегодня в одиннадцать часов. И возьми с собой ключ, иначе у тебя будут неприятности.
— Твоя жена еще не дала о себе знать? — спросил я.
— Иди в задницу,— сказал Бёрье.

Да. Ну что можно сказать об этих фотографиях побережья, которые принесли мне известность несколько лет назад?

Они все еще висят у меня на стене. Но сейчас, когда ты далеко и я больше не слышу твоих язвительных замечаний об этих снимках, которых ты никогда не понимала, я перестал на них смотреть.

Они выполнены со скрупулезной точностью. Композиция продумана, техника безупречна. Камни, покрытые липкой пленкой нефти. Полусгнившая дикая утка, склонившая безжизненную голову на пивную бутылку, выброшенную волной на берег. Чахлая прибрежная растительность, густые зеленые водоросли на опорных бревнах.

«Ну и что же»,— сказала ты.

Это привело меня в бешенство.

Я хочу напомнить тебе, что ты присутствовала при рождении идеи. Я собирался сфотографировать тебя в непромокаемом костюме, который какой-то фабрикант хотел разрекламировать как самый лучший. Реклама должна была выглядеть вполне реалистично или, как говорится, правдоподобно. Поэтому однажды, когда по-настоящему шел дождь, мы спустились вниз на побережье. Перед уходом ты натянула непромокаемые полупальто и брюки, которые, хоть и были велики по меньшей мере на два размера, придавали тебе особую обворожительность, а до этого ты провозилась целый час, накладывая такой искусный и незаметный макияж, что казалась вовсе не накрашенной. На побережье было безветренно и безнадежно облачно, но освещение вполне приличное; ты замерзла и сказала, что лучше бы тебе стать учительницей подготовительных классов в Вёро, а я поинтересовался, что плохого сделали тебе дети в Вёро, и в ту же минуту у в и д е л побережье.

«Ты не видишь никаких побережий,— сказала ты позднее.— Ты видишь только снимки».

Но именно побережье увидел я в тот раз, побережье и снимки, но этого ты так и не поняла. Ты поняла только, что шел дождь и что

я вдруг оставил тебя там на мостках обдумывать дистанцию между снимками и действительностью, а поскольку воротник твоего непромокаемого полупальто прилегал к шее неплотно, вода тоненькими струйками потекла у тебя по спине. Я в это время ползал по всему побережью и фотографировал. Когда же часа через два мы вернулись домой, я, насквозь промокший и залепленный глиной, был счастлив, как дитя. Не переодевшись, я ввалился в темную комнату, пока ты сидела за дверью в двух шерстяных фуфайках и посылала к черту непромокаемые костюмы, фотографов и побережья. Но то, что я дрожащими руками вынул из фотоаппарата и сунул в ванночку с проявителем, было п о б е р е ж ь е, настоящее побережье — та самая полоска песка и камней, которая по-прежнему лежала вдали и называлась побережьем.

«Брось,— сказала ты.— Фотографии — это только кислоты и целлюлоза».

Как бы объяснить тебе, что ты одновременно и права и ошибаешься, что, хотя мои фотографии и получились благодаря оптике и химическим реакциям, все же это было само побережье.

И когда поздно ночью я отпечатал снимки, то не удержался, разбудил тебя, усадил на кровати, взбил подушку за твоей спиной и разложил перед тобой на одеяле все свои фотографии. Они лежали на пододеяльнике в светло-желтый цветочек, и это было то, что я увидел внизу у мостков.

Это было побережье.

«Убери их и дай мне поспать»,— сказала ты.

И тогда я попробовал объяснить тебе, что действительность — это не только то, что мы видим и слышим вокруг себя; если ты запустишь камнем в фотографии, лежащие перед тобой на кровати, то не услышишь ни стука, ни всплеска волн, но это еще не доказывает, что мое побережье не настоящее и вообще перед тобой не только само побережье, но и наше отношение к нему, и хоть я сфотографировал какой-то определенный пейзаж, он благодаря мне утратил свою конкретность, обобщился. Он изменился, стал чем-то совсем иным, вобрал в себя черты в с е х побережий, их жалобу на людскую жестокость. Вот что такое мое побережье.

«Не лучше ли убрать дерьмо, чем его фотографировать?» — спросила ты.

И все же я не сдался. Я сидел на краю кровати и терпеливо объяснял, что эти фотографии столь же реальны, как само побережье, они не просто жалоба всех побережий на постыдное прикосновение к ним человека, но и обращение к людям, к их чувству вины за совершенную несправедливость, чувству отчаяния, да-да, отчаяния при виде этого осквернённого побережья.

«Станет ли оно от этого чище?» — спросила ты.

Тогда я крикнул тебе: если ты думаешь, что фотоаппараты существуют только для того, чтобы водить людей за нос и щелкать их в идиотских непромокаемых костюмах, в которых течет за шиворот, то ты ничего не смыслишь ни в фотографии, ни в жизни, потому что каждый снимок, в конце концов, моральный поступок, и я как фотограф обязан показать людям действительность, отраженную в моих снимках как в зеркале, и сказать: «Смотрите, что вы делаете! Неужели вы по-прежнему собираетесь опустошать побережья — и это, и все остальные?»

«Да,— проговорила ты.— Но кто, собственно говоря, опустошает? Не я, по крайней мере».

И ты улеглась, натянув на голову одеяло.

А я... мои фотографии победили на конкурсе и были вывешены в салоне, ими восхищались, их комментировали, у меня взяли интервью для еженедельника «Суомен кувалехти», а потом мои фото-

графии показывали по телевидению в школьной программе. И наконец, я получил от государства стипендию на полгода.

А побережье? Стало ли оно чище?

Я никогда его больше не видел. И не хотел увидеть.

Я не хотел снова увидеть эти мостки, где ты стояла под дождем в желтом непромокаемом штормовом костюме.

И сейчас, когда я больше не могу спорить с тобой об этих фотографиях, я перестал на них смотреть. Несколько дней назад я начал было снимать их со стены. Но они оставляли такие ужасные следы на обоях.

Легче жить с фотографиями.

Только если Бёрье думает, что мне на все наплевать, он ошибается.

Это было уютное старое кафе из тех, что скоро перестанут существовать — их заменят разные бары, закусочные и рестораны иностранного образца.

Он сидел за столиком у окна с чашечкой кофе.

— У вас все еще бегают фараоны? — спросил я.

— Дайте сюда ключ,— сказал он.

— Одну минутку,— ответил я.— Был шум?

Он смотрел в окно.

— Дайте сюда ключ,— повторил он.

— Разумеется, вы получите свой ключ. Но прежде я хочу кое о чем спросить.

Он повернулся ко мне и уставился на что-то за моей спиной.

— Сейчас вы образумитесь,— тихо сказал он.

— Это почему? — спросил я.

— Ключ,— сказал он.

— К нему никто никогда не заходил? У него не было детей?

Не меняя направления взгляда, он сказал:

— Поку. Иди сюда.

Кто-то приблизился к нам сзади. Подошел к нашему столу и остановился за моей спиной.

— Садись.

Кто-то опустился на стул рядом со мной. Не спеша и не глядя на меня, уселся поудобнее, стряхнул несколько хлебных крошек со скатерти, убрал прочь пустую бутылку и пару стаканов. Потом вынул из кармана футляр для очков, толстый, противоударный.

Сняв с себя очки, заботливо положил их в футляр, решительно захлопнул его и сунул футляр в карман.

— Ну? — спросил он.

— Ключ,— сказал дворник.

— О'кей, о'кей,— пробормотал я.

Я выудил из кармана его ключ и положил перед ним на стол.

— Ну хоть сейчас вы можете поговорить по-человечески? — спросил я.

Дворник посмотрел на сидящего рядом со мной мужчину.

— Ты знаешь этого мужика, Поку? — спросил он.

— Не-а,— ответил мужчина.

— И я не знаю,— сказал дворник.

— Неужели вы не можете ответить на несколько простых вопросов сейчас, когда получили свой ключ? — спросил я.

— Ключ? — удивился дворник.— Ты видел какой-нибудь ключ, Поку?

— Не-а,— ответил мужчина.

— Я тоже,— сказал дворник.

Они поднялись.

— Тебе нравятся те, кто сует нос в чужие дела, Поку? — спросил дворник.

— Не-а,— ответил мужчина.

— Мне тоже,— сказал дворник.

Второй мой снимок сделан крупным планом.

Он лежит на спине. Босой. На нем сетчатая майка и длинные грязные кальсоны. На полу вокруг трупа расплылись темные пятна. Цвет кожи бледно-желтый.

Его тело, изъеденное жуками и личинками, напоминает пористую губку.

Чтобы поговорить с соседями, я возвращаюсь в дом, где он жил, и снова стою перед его дверью.

Я прокрался сюда тайком. Хотя, конечно же, боюсь Бёрье, боюсь, как он выражается, «усложнять» и остаться без работы. Конечно, я боюсь дворника, боюсь, что со мной расправятся.

Кто-то убрал его имя с дверной таблички.

На меня нападает жестокая тоска. Я должен снова войти в его квартиру, как бы страшно мне ни было. Фотографий недостаточно, я должен взглянуть на это еще раз собственными глазами, должен взять быка за рога, должен впитать этот запах всеми порами тела, должен еще раз попытаться осмыслить то, что вижу.

У меня все еще был ключ. Дубль, который мне сегодня утром сделал слесарь на улице Мира в Круунунхаке.

Но вдруг я слышу какое-то движение внутри.

Звоню в дверь.

В квартире двое мужчин. Убирают.

Они вынесли весь хлам. Вымыли окна. И рьяно натирают полы.

Квартира абсолютно пуста. Просто-напросто опорожнена.

От прежнего не осталось и следа.

— Поглядели бы вы, что здесь было вчера,— говорит старший.— На этой работе научишься несколько иначе смотреть на людей.

Он — владелец маленькой фирмы по уборке помещений на улице Петра в Эйре. Они уже два дня работают. Сегодня утром пришел грузовик и увез все вещи.

Я пытаюсь узнать, кто их вызвал, но в нем тотчас просыпается подозрительность.

— Вы из полиции? — спрашивает он.

— Я журналист,— отвечаю я.

Но это только усиливает его подозрительность.

Тогда я объясняю ему, что в этой квартире умер один человек и я расследую обстоятельства его смерти.

— Ничего не знаю,— говорит мужчина.

Тогда я рассказываю ему, что умерший, судя по всему, пролежал какое-то время и никто даже внимания не обратил, с этим нельзя мириться, и поэтому он должен мне помочь.

Но мужчина вдруг багровеет от злости. И велит мне убраться к черту или идти в банк и там разглагольствовать; разумеется, мы оба с ним занимаемся дерьмом, но он хоть вычищает дерьмо, а вот когда эта чертова пресса влезает и начинает копаться — чаще всего становится еще дерьмовее, чем было, и если он потеряет единственного клиента из-за всякой сенсационной писанины, то ему конец, вот если бы я взял тряпку и поработал своими руками, то убедился бы, что вместо ручного труда легче использовать машины, но чтобы достать машины, нужны деньги, а чтобы достать деньги, нужны кредиты, а чтобы получить кредиты, нужно быть большим отраслевым предприятием, уже имеющим деньги и машины, ибо, кто имеет, тому

дано будет и приумножится[1], и поэтому скоро такие предприятия будут выполнять все заказы и ему придется ехать в Швецию на заработки, дабы скопить себе на черный день, и вообще скоро любой писсуар здесь, в городе, превратится в большое предприятие, которому выгодно, чтобы ты мочился, а мне с моими красивыми словами следует отправиться в банк — там над ними, по крайней мере, хоть кто-нибудь от души посмеется.

И он распахивает дверь.

— Выход здесь,— рявкает он.

Сейчас во вторник вечером, когда я сижу и пытаюсь суммировать жалкие результаты дневного расследования, Фрида в ночной сорочке в красную и белую полоску едва слышно подкрадывается и останавливается возле меня.

— Кто это? — спрашивает она.

— Один дядя.

— Почему он такой?

— Он мертвый.

— Ты сфотографировал его?

— Да.

— Разве можно фотографировать мертвых?

— Да. Можно.

— Зачем ты его сфотографировал? Он хотел, чтобы ты сфотографировал его, когда он умрет?

— Может быть. Мне кажется, что хотел.

— Хотя ведь ты не мог спросить у него. Раз он умер.

— Конечно нет.

— Что ты делаешь? Ты пишешь письмо Ханне?

— Нет.

— Подожди.

Она убегает в свою комнату и возвращается обратно с маленькой папкой, где хранит полученные от тебя открытки. Она вынимает их и кладет на стол.

— Смотри, какие чудесные,— говорит она.

На одной из открыток сидит щенок с круглыми пластмассовыми глазами. Когда Фрида трясет открытку, глаза перекатываются туда-сюда; щенок смотрит то вбок, то вверх, то прямо перед собой.

— Ну разве он не прелестный? — говорит Фрида.

Интересно, о чем ты думала, когда покупала открытку.

— Папа, ты считаешь, я могу жить у мамы? — спрашивает Фрида.

— Что?

— Ты считаешь, я могла бы жить у мамы?

— Как это? Ты разговаривала с ней?

— Да. Она звонила.

— И что она сказала?

— Что я поеду туда жить.

— Когда?

— В пятницу.

— Да-да. Ты поедешь к ней в гости. К ним с Лейфом.

— А потом?

— Потом вернешься домой.

— Сюда?

— Куда же еще?

Она молчит, потряхивая открыткой.

— А можно послать Ханне ее открытку? — спрашивает она.

— Нет,— отвечаю.— Нельзя.

[1] Часть фразы из Евангелия: «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что́ имеет» (от Матфея, гл. 13, ст. 12).

— Почему нельзя?

— Потому что открытку, присланную по почте, нельзя посылать обратно.

— Почему нельзя?

— Видишь ли, почтовая марка не годится. Она уже использована.

— А если приклеить другую?

— Посмотри. Вот здесь на открытке проставлен штемпель.

— Ну и что?

— А то, что новый штемпель здесь уже не поместится. Присланные открытки нельзя отправлять по почте обратно.

Она смотрит на меня с серьезным видом и говорит:

— Я этому не верю.

— Ты права,— отвечаю я.— Я ведь шучу.

— Почему ты такой?

— Какой?

— Такой... словно чем-то огорчен...

— Я не огорчен. Пойдем пожелаем бабушке доброй ночи?

Бабушка сидит в своем углу на диване и смотрит по телевизору немецкий детектив.

— Бабуля, вам не надо это смотреть,— говорит Фрида.— Вы испугаетесь и будете плохо спать.

— Здесь такая чушь,— смеется бабушка.— Я ничего не понимаю.

— Вы, бабушка, смотрите понарошку,— говорит Фрида.

— В старину по-немецки разговаривали совсем иначе,— сообщает бабушка.

— А как вы чувствуете себя сегодня? — спрашиваю я.

— Спасибо-спасибо, хорошо. Я даже искупалась.

— Это было вчера, бабушка.

— Нет, дорогой. Это было сегодня.

— Бабуля, вы ведь не любите купаться,— говорит Фрида.

— Ну что ты, дружок, очень люблю. Ведь потом так прекрасно себя чувствуешь.

— Пришло письмо от мамы,— говорю я.

— От мамы?

— Да. От Бриты.

— Это моя бабушка, папина мама. И ваша дочь — так папа сказал,— объясняет Фрида.

— Да, конечно,— подтверждает бабушка.

— Бабушка, вы хотите прочитать его сами?

— Прочти лучше ты, будь добр!

И я читаю:

«Дорогая мама. Извини, что я некоторое время не давала о себе знать. Очень много путешествовала. Мы с Фернандо только что были в Париже. Там все еще настоящее лето, представляешь? От Кристоффера я знаю, что вы чувствуете себя хорошо, все четверо: ты, Кристоффер, Сири и малютка Фрида Мне бы так хотелось быть вместе с вами. Но скоро я вернусь и навещу вас. Мама, если можешь, напиши мне несколько строк, у Кристоффера есть адрес. Я думаю, ты не станешь больше выходить из дома одна, гораздо лучше будет, если Сири составит тебе компанию. Будь здорова. Передай привет всем домашним. Твоя Брита».

— Ну. Так что же ты? — говорит Фрида.

— Что, милый друг?

— Передай нам привет!

— От кого? — спрашивает бабушка.

Фрида скачет по дивану, задыхаясь от смеха.

— Это же в письме написано! Это же в письме написано!

— Брита так добра,— говорит бабушка.— Она звонит мне каждый день.

— Она не звонит,— говорит Фрида, внезапно мрачнея.

— Я помню, когда она выходила замуж за Бернта,— продолжает бабушка,— был прекрасный день. Такой солнечный, теплый. Мы пригласили метрдотеля из «Адлона». Но он был уже немного навеселе, когда пришел. Можете себе представить? Какая все-таки трагедия произошла с Бернтом.

— Что значит трагедия? — спрашивает Фрида.

— То же самое, что несчастье,— говорю я.

— Она была так добра, моя старая банщица,— вспоминает бабушка.— «Nyt se vanhha rovva ei olle ilonen» [1],— говорила она мне.

Сири приходит из кухни и начинает стелить бабушке постель.

— Сейчас вы пойдете спать и встанете бодрой завтра утром,— говорит Фрида.

— Завтра я, кажется, не буду купаться,— неуверенно произносит бабушка.

— Нет,— говорю я.— Завтра вы не будете купаться.

И мы с Фридой снова спускаемся вниз.

— Можно мне спать в твоей кровати? — спрашивает она.

— Конечно, можно,— отвечаю я.

— Мне лечь на твое место или на место Ханны?

— Как хочешь.

Она ложится на мое место.

— Кто это там в письме с таким странным именем? — спрашивает она.

— Это муж твоей бабушки,— говорю я.

— Это твой папа?

— Нет. Моего папу звали Бернт.

— Почему с ним произошло несчастье?

— Это случилось давно. Во время войны. Она для многих была несчастьем.

— Он умер?

— Да.

— А-а-а,— говорит Фрида.— Как тот старик на фотографии.

На соседской двери стояла фамилия Линдстрём.

Я позвонил.

Дверь открылась медленно, осторожно, ровно настолько, насколько позволяла предохранительная цепочка.

— Кто там? — спросил испуганный женский голос.

— Полиция,— сказал я и помахал перед этой узкой щелью своим корреспондентским удостоверением.

— Вы же были здесь вчера,— отозвался голос.— Я ничего не знаю.

— Будьте добры, откройте,— попросил я.

Она закрыла дверь, сняла предохранительную цепочку и снова открыла, неохотно.

— Я ничего не знаю,— повторила она.

Ей было лет пятьдесят. Поношенный халат, седые волосы, собранные в узел высоко на затылке.

— Что вам надо? — спросила она.

— Может быть, вы позволите мне войти? — осведомился я.

— Ладно,— сказала она.— Сейчас, подождите.

И исчезла в квартире. Кажется, она прибиралась. Я вошел в прихожую. Она прошмыгнула мимо меня на кухню со стаканом и бутылкой, которые пыталась спрятать за спиной.

— Я тут лежала в постели, что-то неважно чувствую себя,— оправдывалась она.

[1] Госпожа, вы что-то сегодня невеселы *(финск.)*.

Гостиная была маленькая; небольшой стол, несколько стульев, комод, на котором стояли фотографии, старый телевизор, несколько книг на полке, какая-то испанская афиша и несколько маленьких кактусов на подоконнике.

В углу комнаты сидела молодая женщина и вязала.

— Будь добра, поди в кухню,— сказала ей фру Линдстрём.

— Позвольте ей остаться, пожалуйста,— попросил я.

— Как хотите.

Молодая женщина посмотрела на меня безжизненным взглядом.

— Это моя дочь,— сказала фру Линдстрём.— Не обращайте на нее внимания. Она не совсем здорова.

Я сел за стол и вынул записную книжку.

— О чем еще можно говорить? — пожала плечами фру Линдстрём?

— Вы были знакомы с господином Сандхольмом?

— Но ведь об этом уже спрашивал другой полицейский.

— Будьте добры отвечать.

— Нет,— сказала фру Линдстрём.— Не была.

Я повернулся к молодой женщине.

— А вы?

— Нет,— сказала фру Линдстрём.— Она тоже не была с ним знакома.

— Не могли бы вы сами отвечать на вопросы?

— Она не станет,— сказала фру Линдстрём.— Она почти всегда молчит.

— Почему?

Фру Линдстрём вздохнула.

— Она такая.

— Может быть, поместить ее в больницу?

— Она там была. А сейчас дома. В больницах ведь мало мест. У нас есть бумага, так что все в порядке. И я думаю, господину полицейскому не стоит копаться в наших делах.

Дочь сидела с каменным лицом и вязала.

— Так она не получает никакой помощи?

— Разве это относится к делу?

— Будьте добры отвечать.

— Она ходит на всякие разговорные занятия. Только это ни к чему. Я подозреваю, что они хотят лишь заставить ее плохо говорить обо мне. Но ты ведь не будешь, дружочек?

Дочь бросила на мать испуганный взгляд. И покачала головой — едва заметное, почти птичье движение.

— Когда вы видели его в последний раз?

— Зачем задавать дважды одни и те же вопросы? — удивилась фру Линдстрём.

— Фру Линдстрём,— сказал я.— В квартире рядом с вами, за стеной, умер человек, и никто даже не заметил.

— Да. Но я ничего не знаю об этом.

— Когда вы видели его в последний раз?

— А почему вы спрашиваете?

— Отвечайте!

— Я его вообще не видела,— отрезала фру Линдстрём.

— А вы? — обратился я к дочери.— Когда вы видели его в последний раз?

— Не видела она его,— ответила за нее мать.— Она ведь почти не выходит.

Дочь вдруг перестала вязать и изо всех сил затрясла головой.

— Успокойся,— сказала фру Линдстрём.

— Что это она?

— А-а,— отмахнулась фру Линдстрём.— Пустяки. Я же вчера рассказывала об этом.

— О чем?

— Это было прошлой весной. Прихожу я домой из конторы, а они сидят у нас на кухне, пьют пиво и играют в карты. Моя дочь и тот старик. Я, понятно, выпроводила его за дверь. Посудите сами, чем бы это кончилось, если б до директора дошло, что здесь ошиваются незнакомые мужики и пьянствуют среди бела дня? Что бы он подумал? Представляете, если бы он позвонил владельцу квартиры? Что бы с нами было, как вы думаете?

— А кто владелец вашей квартиры?

— Фирма. Все очень ловко устроено. Они вычитают квартплату прямо из жалованья. Восемьсот пятьдесят в месяц. За две комнаты и кухню. Я не думаю, что это много. Все дорожает: нефть, электричество и...

— Вы знаете, кто владелец квартиры господина Сандхольма?

— Он сам. Это была его собственная квартира. Что и досадно.

— Досадно?

— Ну да! Его же нельзя было выселить!

— Что вы имеете в виду?

— Это же кошмар какой-то! Вы бы видели, как он поднимался по лестнице. Падал на каждой ступеньке. А однажды свалился прямо перед нашей дверью. В его сетке что-то разбилось и потекло. Я побежала к дворнику и попросила его позвонить в полицию, но он сказал, что если мне нужна полиция, то я и сама могу позвонить, это наглый мужик, но что можно сделать, раз не являешься владельцем квартиры, а когда я вернулась, старика уже не было, ему, очевидно, каким-то образом удалось пробраться к себе, а мне пришлось подтирать то, что натекло перед нашей дверью, иначе люди подумали бы, что опять моя дочь... А директор — молодой мужик, живет на верхнем этаже, к нему постоянно бегают разные женщины, так вот, он и сказал, что Сандхольм — сам себе хозяин и что если у меня есть какие-нибудь жалобы, то Сандхольму мне и надо жаловаться, конечно, плохо, что его нельзя выселить, но если он окажется на улице, тогда с ним действительно хлопот не оберешься...

Лицо у нее пошло красными пятнами.

— Вы знаете, что там творилось, когда его нашли? — спросила она.— Позор, и такие люди гуляют на свободе!

Дочь снова перестала вязать. Она сидела и смотрела на мои ботинки. Упорно смотрела на мои ботинки.

— Представляете, если фирма узнает, какие клиенты владеют у них недвижимым имуществом,— сказала мать.— Тогда они, может быть, захотят избавиться и от этой квартиры. Что мы тогда будем делать?

— Он часто выходил из дому?

— Откуда я знаю! Я не вмешиваюсь в чужие дела!

— Но вы же говорили, что обычно встречали его на лестнице?

— Изредка. Он же полчаса взбирался на один этаж. Так что было достаточно времени насмотреться на него. В последний раз, когда я его встретила, я подумала, что этому старику не долго осталось лазить по лестницам — так мне показалось.

— А вы разве не могли помочь ему? — спросил я.

— А что, полиция и к этому имеет отношение? — ответила она вопросом на вопрос.

Дочь все глазела на мои ботинки.

— Вопросы задаю я,— сказал я.

— Мне нет нужды вмешиваться в чужие дела,— ответила фру Линдстрём.— От этого одни неприятности.

Ботинки я купил в Лондоне восемь лет назад. И они действительно поизносились. Но почему она не сводит с них глаз?

— Никто не приходил к нему?

— Была какая-то женщина,— сказала фру Линдстрём.— Какая-нибудь сиделка, вероятно. Хотя в последнее время я не видела ее.

Дочь вдруг беспокойно закивала, словно хотела что-то сказать.

— Вы никогда не навещали его?

— Нет,— сказала фру Линдстрём.— Она его не навещала.

Но дочь продолжала кивать, сильно и неестественно, словно спала, сидя в тряской повозке.

— Ты не можешь ответить сама? Ты немая?

— Нет,— сказала фру Линдстрём.— Она просто не хочет говорить. Не о чем говорить — так она считает.

Но дочь все продолжала кивать, не спуская глаз с моих ботинок.

— Она хочет этим сказать,— пояснила фру Линдстрём,— что, возможно, и была у него несколько раз. Что, кстати, не удивительно, ведь он так вел себя. Знаете, он обычно приоткрывал дверь, чтобы видеть, кто проходит по лестнице. И стоя за дверью, манил проходящего кривым пальцем и каркал: «Заходи, заходи». Это было действительно ужасно. Но не удивительно, что такую, как моя дочь, ему иногда удавалось заманить.

— У него были дети?

— Что вы! Конечно нет! — сказала фру Линдстрём сердито.— Иначе они бы, вероятно, позаботились о нем.

— Почему ты смотришь на мои ботинки? — спросил я дочь.

— Дети — поддержка и опора родителей,— сказала фру Линдстрём так же сердито.

Дочь отвела взгляд от моих ботинок, посмотрела мне прямо в глаза и слегка улыбнулась.

— Те же самые ботинки,— произнесла она ясным голосом.

— Что?

— Это те же самые ботинки, которые я видела,— повторила дочь.

— Я ведь говорила тебе — не выскакивай,— сказала фру Линдстрём.

Но дочь смотрела на меня с легкой улыбкой.

— В чем дело? — спросил я.

— Она, очевидно, думает,— пояснила фру Линдстрём,— что ваши ботинки имеют какое-то отношение к тому, что́ она, по ее словам, видела в тот день, когда его нашли. Она рассказала об этом вашему коллеге, пока я в кухне варила кофе.

Я повернулся к дочери.

— Что же вы видели?

— Тебя,— ответила дочь.

— Друг мой,— сказала фру Линдстрём,— не болтай глупостей.

— Молчите! — крикнул я.

И мы на миг замолчали, все трое.

— Что же ты видела? — спросил я.

Но она только слегка улыбалась и спокойно смотрела на меня, словно между нами не было никаких тайн и мы оба это знали.

— Так случилось,— сказала фру Линдстрём,— что в тот день, когда его нашли, к нам в почтовый ящик бросили по ошибке его письмо. Собственно, даже не письмо, а телефонный счет. И я попросила дочь бросить счет ему в ящик. У нее бывают иногда такие странные фантазии, но...

— Да?

— Так вот, она сейчас утверждает, что сначала позвонила в дверь. Когда никто не открыл, бросила письмо. Но...

— Да?

— Может быть, дружок, ты хочешь сама рассказать? — спросила фру Линдстрём.— Ты ведь вчера была так разговорчива.

Но дочь смотрела на меня, слегка улыбаясь, и молчала.

— Так вот, она утверждает,— продолжала фру Линдстрём,— что, бросив письмо, наклонилась и заглянула внутрь через щель почтового ящика. И кого-то там увидела.

— Эти самые ботинки,— засмеялась дочь.

— Дружочек, у всех людей ботинки почти одинаковы,— сказала мать.— Не обращайте на нее внимания, господин полицейский. Нам не надо шума.

Дочь слегка улыбнулась и опять принялась за вязание.

— Да,— сказала фру Линдстрём,— я забыла вчера спросить. Видите ли, меня временно уволили, на несколько месяцев. Такие тяжелые времена. Плохая конъюнктура, как сказал шеф. Надо же понимать, что у фирмы трудности. И поэтому я только хотела спросить, полагается ли какое-нибудь вознаграждение за ответы на ваши вопросы?

Я сижу, смотрю на эту стареющую женщину, чьи глаза умоляют, выклянчивают утвердительный ответ, и чувствую себя обманщиком, одним из тех обманщиков, которые окружают ее, лгут ей и используют в своих целях. Я чувствую, что должен подняться и уйти восвояси, потому что она ничего не может дать, ей нечем поделиться со мной, кроме своего страха, и я должен уйти, прежде чем она заподозрит что-нибудь и испугается. Но дочь смотрит на меня с легкой улыбкой взаимопонимания, и я вдруг чувствую, что не могу бросить ее на произвол судьбы, что мы связаны все трое: она, я и умерший Сандхольм, и поэтому я должен остаться и спросить у нее, что же все-таки случилось. Но она молчит. Мать отвечает неохотно, с возрастающей подозрительностью, а дочь сидит себе, слегка улыбаясь, словно ее ничего не касается, разве только то, что она увидела через щель почтового ящика мои ботинки. А мать рассказывает, как после смерти мужа они вынуждены были переселиться, оставив собственное маленькое хозяйство, однако сначала все шло хорошо, все шло хорошо до тех пор, пока она вдруг не заметила, что дочь ждет ребенка, и тогда все пошло хуже и хуже, потому что с дочерью совершенно нельзя было договориться, хотя отец ребенка был влиятельной персоной и выказал готовность оплатить аборт, и все могло бы устроиться наилучшим образом. Но дочь заупрямилась, как пенсионер-склеротик, хотя должна была бы понять свою выгоду, ведь кто знает, что случилось бы, если бы она отказалась, ее могли бы уволить с работы, а как думает господин полицейский, что сказали бы в фирме, если бы в принадлежащие ей квартиры стали вдруг рассовывать внебрачных детей? Они с дочерью могли бы потерять и то и другое: и работу и жилье, потому что, если насолить таким высоким господам, шуму не оберешься. Но дочь смотрит на меня загадочным взглядом, как будто бы даже снисходительно, и восхищенно говорит:

— И брюки те же самые!

Подозрительность в материнских глазах сгущается, но женщина продолжает отвечать на мои вопросы, ее страх перед шумом, полицией и властями пересиливает все другие страхи.

— Видите ли, господин полицейский, ведь почти что взяли ее в ежовые рукавицы, уговорили, ну естественно, ведь на карту были поставлены репутация и будущее всей родни. Но когда она вернулась из больницы, то просто-напросто сидела дома и никуда не выходила. И перестала говорить. Чем можно объяснить такую неблагодарность, ведь отец ребенка устроил все наилучшим образом: и освобождение от работы по болезни без упоминания, какого рода болезнь, и от-

дельную палату в больнице, и дополнительное вознаграждение — за страдания и муки, чего ей еще желать?

Дочь вдруг закрыла глаза, заткнула уши. Она сидит, стиснув ноги, длинные пряди волос падают ей на лицо. Она ушла в себя.

— Ты — тот самый человек,— только и сказала она.

И вдруг я замечаю, что она делает себе больно. Она сидит, уперев в ладонь вязальную спицу так, что побелели суставы пальцев.

— Ты же приняла лекарство, доченька,— говорит мать невесело.

И вдруг переходит в наступление; странно, что власти имеют право беспокоить порядочных людей, и притом без всякой компенсации, и, кроме того, она не может понять, какое отношение имеет здоровье ее дочери к смерти старика, и пусть господин полицейский будет добр предъявить еще раз свое удостоверение, она хоть узнает, на кого ей жаловаться, если у нее возникнет такая мысль. Тогда я поднимаюсь и, пытаясь отделаться несколькими общими фразами, иду к двери, но слишком поздно, она тотчас же понимает, что промахнулась, и приходит в ярость. Она понимает, что поделилась своими самыми сокровенными тайнами неизвестно с кем, с чужим человеком, который теперь все знает и может разболтать где угодно,— это приводит ее в ужас. Она выходит за мной на лестничную площадку и кричит так, что эхо отдается в подъезде: «ДЕРЖИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА! ДЕРЖИТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»

Я убегаю, лестница пуста, никто меня не задерживает.

В сущности, бежать незачем, потому что, даже если бы внизу стояла целая команда силачей, все равно никто бы и пальцем не пошевелил.

Никому это не нужно.

Никто не хочет шума.

На улице я на мгновение останавливаюсь.

Пятиэтажный дом, серый бетон. Пятьдесят пять одинаковых окон. Наверное, квартир двадцать, человек шестьдесят, стена к стене.

Общий подъезд, общая телевизионная антенна, общие бачки для мусора во дворе. И все?

Наверное, сейчас он лежит в морге. В таком шкафу для трупов, какой я видел в одном фильме: маленькие дверцы, тесные полки, как в автоматической камере хранения на вокзале.

Никто не слышит, что кто-то живет.

Никто не слышит, что кто-то умирает.

Его контору и конторой-то трудно назвать — просто-напросто комната в подвале со столом, со счетной и пишущей машинками и усталым мужчиной, который все привел в порядок перед началом рабочего дня и сейчас сидел и писал цифры в тетради.

— Вы узнаете меня? — спросил я.

Он посмотрел на меня и узнал — по глазам было видно.

— Нет,— сказал он,— а в чем дело?

Я вынул ассигнацию в пятьдесят марок и положил ее перед ним на стол.

— Я хочу знать, кто заказывал уборку.

Он устало взглянул на ассигнацию. Потом посмотрел в тетрадь.

— А-а! — сказал он.— Все равно хуже не будет.

И вынул из ящика стола бумажку.

— Приходил тут один,— сообщил он.— Опрятно одетый. Важный. На бумажке был написан адрес квартиры, время уборки, сумма, внесенная авансом, и общая плата за большую трехдневную уборку.

— Трехдневную?

— Мы управились за два.

Внизу заказчик расписался. Но неразборчиво.

— Наверняка какой-нибудь врач,— сказал мужчина.

Там был еще и номер телефона. Я сунул бумажку в карман.

Мужчина захлопнул тетрадь.

— И это тоже возьмите,— указал он на ассигнацию.— Надо же было позволить человеку так умереть. Это слишком чудовищно. Но смотрите, никому ни слова.

— Справочное бюро слушает.

— Чей это номер: шесть-восемь-шесть-двенадцать-семьдесят пять?

— Минутку...

Долгая пауза.

— Будьте добры, повторите номер телефона.

— Шесть-восемь-шесть-двенадцать-семьдесят пять.

— Такого номера нет.

Ханна.

Скажу тебе коротко и ясно: возвращайся!

«В чем дело? — подумаешь ты.— После всего этого молчания?»

Да, я знаю.

Ни на одно из твоих писем я не ответил. Я читал их с каким-то страхом, словно они были осквернены, и между строк лихорадочно выискивал симптомы болезни, признаки уныния и несчастья, я жаждал увидеть тебя наказанной, одинокой, раскаивающейся и разочарованной.

Потом я складывал их в ящик стола и думал о другом.

Я работал. Сколько женщин прошло перед моей камерой после того, как ты уехала! Женщин, одетых в шубы и бикини, в вечерние платья и исландские кофты, в шорты и ночные сорочки, женщин, сфотографированных на улице Маннергейма и в башне Стадиона, на Обсерваторской горке и на мосту Друмсё, в универсальном магазине Стокмана и здесь, в моей комнате; и я стыжусь их всех, а особенно тех, которые потом раздевались и ложились со мной в нашу постель, пока я думал совсем о другом.

Мой помощник-фотоаппарат, без сомнения, лгунишка, которого можно подкупить с любой целью, но он неподкупен в одном: он не забывает тебя.

Вообще все мои помощники — обманщики и занимаются подрывными действиями. Я приказываю фотоаппарату: «Ты, продажный паяц без души и принципов, снимай и молчи!» Но фотоаппарат бездействует, хотя и молчит. Я приказываю мозгу: «Думай о чем-нибудь другом!» И мозг тоже молчит, пока не упадет ночь...

Тогда я кричу им: «Это же настоящее предательство! Разве моя вина, что все женщины изменяют и уезжают?!»

Но они по-прежнему молчат с тихим упреком.

И лишь память, самая лживая из них, шепчет: «Ты опять ведешь себя как свинья...»

Да, я знаю. Я сделал тебя обманщицей, проституткой, предательницей.

Мне нет оправдания, но я пытался оправдаться перед собой.

Я помню, как однажды ты спросила:

— Похоже, что я для тебя всего лишь картинка?

И тогда я съязвил, что без меня и моего фотоаппарата ты вообще ничто, чем привел тебя в отчаяние, и мы крупно поссорились в последний раз, за какой-нибудь месяц до твоего отъезда. Эта ночь была полна разочарования и ненависти. Ты сказала, что я никогда не интересовался тобой всерьез, что я всегда считал тебя не чем иным, как объектом своего дурацкого фотографирования, и

относился к тебе как к портрету в ящике стола, что меня интересовали только фотоконкурсы, куда я, в погоне за славой, посылал свои этюды, для которых ты позировала, что твои фотографии были для меня важнее, чем ты сама, что я видел в тебе лишь товарища детских игр моей дочери, что я всегда только использовал тебя, что мне нужна была не женщина, а ребенок, украшение, модель. Но я ответил, что для обыкновенного украшения ты слишком практична, и не надо упрекать меня в том, что я не забочусь о тебе, ведь сама ты не упускаешь ни малейшего случая, чтобы показать, как рьяно ты печешься о других мужиках, по крайней мере в постели. А ты сказала, что если бы я обращался с тобой как с человеком, а не как с предметом роскоши, то ты не искала бы доказательств своей индивидуальности в других местах, и как это я не понимаю, что сам сводил тебя с другими мужчинами, да еще и наслаждался этим с больным вожделением, делая из тебя одновременно и святую и блудницу. Но я возразил, что мы ведь договаривались о самостоятельности, о том, чтобы жить без лжи и обмана, не ограничивая собственной свободы. Тогда ты заплакала и спросила, на что нужна такая свобода, которая есть не что иное, как замаскированный страх, безответственность, неспособность к поддержке, внутренний холод и безразличие, еще худшие, чем злобная ревность или мое пренебрежение к тебе как к человеку и женщине и ко всем женщинам вообще.

Вот видишь, какой враг моя память. Она все сохранила.

Несколько дней назад я видел одинокого человека и сфотографировал его раза два. Сейчас мой фотоаппарат вышел из строя. Просто-напросто умер. Я похоронил его в прихожей, под старыми газетами в шкафу.

Одиночество этого человека было таким огромным, что захлестнуло меня с головой.

Оно смертельно напугало меня.

Возвращайся, Ханна. Иначе я не выдержу.

Два часа ночи. С письмом в руке я плетусь к почтовому ящику. Над верхушками деревьев висит луна, составляя треугольник с Юпитером и Венерой, а с автомобильной дороги доносится бесконечный шум, иногда мне кажется, что он скрыт в самом асфальте и что если бы вдруг радиоактивный взрыв стер с лица земли весь этот пригород, то шум автомобильной дороги все равно остался бы и продолжал звучать в космосе тихим сожалением об остановившемся колесе, тоскующей песней о ласке автомобильных покрышек и любовных укусах ошипованных колес. Это письмо надо отправить сейчас или никогда. В новом высотном доме, где из восьмисот двадцати пяти окон (я сосчитал их) только в одном горит свет, действует закон молчаливого и темного большинства, хотя почему считают, что люди спят, если у них темно, ведь кто-то может умереть, не погасив света,— такое надо запретить под страхом денежного штрафа. У меня престранное чувство, будто кто-то идет за мной, кто-то за мной следит, и вот еще что удивительно: я постоянно вижу один и тот же сон наяву, он похож на волос во рту, который, сколько ни плюешь, никак не можешь выплюнуть. Мне мерещится, что моя мать приезжает домой без особого багажа, с одним большим чемоданом, в котором лежит твой отец, разобранный на части и аккуратно упакованный: в самом низу ноги и руки, потом — спина, живот и грудь, сверху — голова; мать выкладывает все это из чемодана и начинает собирать твоего отца, точно мебель или модель самолета, «у тебя будет новый папа»,— говорит она мне, и в то же мгновение сон исчезает, тонет в непроницаемой тьме, мне больно расставаться с ним, но мое воображение действует, как безжалостный киномеханик, который выключает проектор и зажигает свет в зале

после интересного фильма; когда я, наконец, опускаю письмо в почтовый ящик и плетусь к дому, никто больше не следит за мной, и свет в единственном окне уже погас.

Среда

Сегодня я проснулся рано утром со странной уверенностью, что забыл что-то важное.

Портативный радиоприемник лежал рядом со мной, на том самом месте, где обычно была твоя голова. В приемнике меланхолически похрустывало.

И я совсем было сдался.

Уезжая, ты оставила письмо на подушке, там, где сейчас бормотало радио. В конце недели я поехал в Йоэнсу по своим репортерским делам, а когда вернулся в понедельник в половине второго, то, выходя из машины, заметил во дворе Сири, которая рыхлила граблями землю.

— Она уехала,— сказала Сири тихо, не поднимая глаз.

И в ту же минуту из дому выбежала возбужденная Фрида.

— Папа, папа! — закричала она громко.— Ханна уехала!

Я-то думал, что придется ее утешать — ничего подобного, она болтала без умолку, оживленно рассказывала, что ты велела кланяться мне и обнять меня — она это выполнила без особого энтузиазма,— что ты подарила ей игрушечного мишку Мекки и обещала подарить еще одного, когда вернешься.

— Она уехала в... в Парик,— сообщила Фрида.

— В Париж,— поправил я.

— Ну да, я же еще нигде не бывала,— оправдывалась Фрида.

Письмо оказалось совсем коротким, ведь тот, кто убегает, обычно не сочиняет длинных поэм. Несколько обрывочных фраз о неожиданном телефонном звонке и кинопробах, робкое предположение, что, может, оно и к лучшему, что все так случилось, ведь прощание — одно расстройство и кончается лишь озлоблением, а то и чем-нибудь похуже. «Бедняжка,— подумал я,— так ты боялась прийти на кинопробу с фингалом». Фрида не спускает с меня глаз, пока я читаю письмо, и тут же, откуда ни возьмись, выныривает Сири, потому что в этот день мы обычно обедаем у бабушки.

— Как же теперь будет? — спрашивает она.

— А что? — отвечаю я.— Как было, так и будет.

— Так мне не ставить на стол ее прибор? — спрашивает Сири.

— Конечно нет,— говорю я.

Как было, так и будет...

А тебе я написал вчера письмо. Но зачем?

Не ставить на стол твой прибор, не стелить твою постель, и все — как было, так и будет, не покупать тебе сигарет, не убирать на зиму твое демисезонное пальто, класть в чайник меньше заварки, не выжимать для тебя по утрам апельсиновый сок, и все — как было, так и будет, не ласкать тебя перед сном, не прятать лицо у тебя на груди, не тереть тебе спину в ванной, не дотрагиваться рукой до твоих ног, и все — как было, так и будет, не приходить к твоему лону, как приходишь к родному дому, не любить тебя больше — и это значит как было, так и будет? КАК БЫЛО, ТАК И БУДЕТ!

Я лежал в постели с урчащим радиоприемником. Я почти сдался.

Не думать о человеке, не бояться дворника, не ссориться с секретарем редакции, не тревожить соседей, не беспокоиться о чьей-то жизни, не сосредоточиваться на чьей-то смерти...

И вдруг меня осенило: телефонный справочник!

Я уселся в кровати, окончательно проснувшийся и ошеломленный.

Как я мог забыть про телефонный справочник?

Сандхольм, Сандхольм...

Вот он: Сандхольм Эйнар.

Сандхольм Эйнар.

Эйнар.

И пока я сидел у телефона и повторял его имя, в комнату вошла заспанная Фрида. Она забралась ко мне на колени, всплакнула немножко и сказала, что видела дурной сон.

Я обнял ее и попросил рассказать сон, а другой рукой поднял трубку и набрал номер его телефона.

Я слушал Фриду, которая рассказывала, что пришла во сне с мамой в один большой магазин, где было много народу, и мама купила Лейфу сапоги, такие огромные, что Фрида целиком поместилась бы в них. А в трубке в это время раздавались длинные, монотонные гудки.

И вдруг у Эйнара Сандхольма кто-то поднимает трубку. Поднимает трубку, подносит к уху и молчит.

— Алло? — говорю я.

Никакого ответа.

А Фрида рассказывает, что потом мама оставила ее в этом магазине и ушла; они подошли к кассе, а там была дверца, которая не открывалась, и мама надела на себя огромные сапоги, купленные для Лейфа, и перешагнула через дверцу, а она, Фрида, так и не могла, мама заплатила и ушла.

— Алло? С кем я говорю?

Молчание. Легкий шелест в трубке. Кто-то дышит.

А Фрида рассказывает, что она осталась дожидаться маму, и все были довольно любезны, в магазине оказалось много детей и игрушек, и большой аквариум с красными рыбками, и все-таки она села и заплакала, а красные рыбки подплыли посмотреть, как она плачет, но мама так и не вернулась.

В трубке щелкает. Трубку повесили.

— Да, это был дурной сон,— подтвердил я.

— Я совсем не хочу ничего видеть во сне,— сказала Фрида.— Разве только то, что мы опять живем вместе, мама, я и ты, на нижнем этаже, как тогда, когда я была совсем маленькой, а Лейф с Ханной могли бы поселиться наверху, и у бабушки тоже была бы своя компания.

А я тем временем звоню в справочное бюро. Все правильно: Эйнар Сандхольм, и я снова набираю его номер.

Опять длинные гудки. И никакого ответа.

— Почему мама ушла? — спросила Фрида.

— Это же был сон,— ответил я.

Эйнар Сандхольм, ныне покойный.

А дальше? Был ли он женат, имел ли детей?

Кому же знать это, как не властям, хотя я, без сомнения, хватаюсь за соломинку, ведь власти, наверное, не выдают сведения из своих картотек первому встречному, может быть, он принадлежал к какому-нибудь церковному приходу, и вообще, как бы медленно ни вращались колеса бюрократической машины, его смерть, вероятно, уже зафиксирована, и вот я стою вскоре у стойки в центре регистрации актов гражданского состояния и заполняю желтый бланк.

Фамилия, имя и дата рождения: день, месяц, год...

Особые приметы?

Звание и профессия?

Сведения относительно супруги, детей, родителей.

Для какой цели нужна справка? Пенсия, водительские права, развод, школа, учебное заведение, получение квартиры... получение квартиры.

Подпись лица, делающего запрос...

Кристоффер Сандхольм.

Способ обслуживания клиента?

Здесь, на месте. И я жду.

Я жду, зажав в руке жестяную бляху с номером моей очереди, вместе с двадцатью — тридцатью другими ожидающими; перед системой очередности этого учреждения все равны: аристократка, девочка на побегушках, рабочий-строитель и я.

Здесь царят величественное молчание и упорное глазение в пол.

Мягкие диваны, обитые черной искусственной кожей, хаотично расставлены в коридоре, мне кажется, что планирование учреждений всегда начинается с устройства мест для посетителей, но я считаю, что приступать к работе над проектом, выдвигая на первый план удобство для задницы,— значит начинать работу сзаду наперед. Среди всех этих терпеливых посетителей я чувствую странное веселье при мысли о том, какой дружный и громкий хор можно было бы организовать из них, и будь у меня с собой фотоаппарат, я бы начал без стеснения их фотографировать, ничего хорошего, разумеется, из этого бы не вышло, несмотря на всю возню с резкостью, освещением и композицией, поскольку мой фотоаппарат большой лгун, его интересует только к о п и р о в а н и е д е й с т в и т е л ь н о с т и, а потом я непременно потащился бы со своими фотографиями в отделение рекламы какого-нибудь страхового агентства и предложил бы рекламную кампанию, посвященную народному обеспечению, но от моего фотоаппарата пахнет трупом, он вобрал в свой футляр трупный запах, умер, похоронен и не воскреснет из мертвых до лучших времен.

— У вас какой номер? — спрашиваю я свою соседку по дивану, женщину средних лет с сумкой, любовно прижатой к животу.

— Что? — вскидывается она испуганно.

— Какой у вас номер? У меня восемьдесят пятый,— говорю я дружелюбно.

— А-а,— произносит она.

Рядом с ней сидит мужчина, который жует пастилки и читает книгу.

— Здесь надо уметь ждать,— говорит он.

— Что вы читаете? — спрашиваю я его.

— «Войну и мир». Второй том. Первый я прочитал вчера, здесь, на этом самом месте. Так нехорошо получилось.

— Что именно?

— Да пропустил свою очередь. Пришлось снова занимать и ждать. Девяносто девять человек. Целый день. Но мало этого. Когда потом опять подошла моя очередь, оказалось, что еще у одного человека такой же номер, как у меня. Поднялся ужасный шум. И я ушел. Отправился в библиотеку и взял второй том. И вот сейчас снова здесь.

Он бросает на меня испытующий взгляд.

— Предупредите, пожалуйста, когда подойдет моя очередь: шестьдесят третий номер.

— Я переезжаю в Швецию,— неожиданно сообщает женщина.— Мне нужно получить удостоверение личности.

— Там не помогут никакие удостоверения,— говорит мужчина.— Во всяком случае вы потеряете личность.

Я протягиваю потной рукой свой бланк. Дама за стойкой бросает на него безразличный взгляд.

— Сколько экземпляров? — спрашивает она.

— Один,— отвечаю я.

Она исчезает на извилистых тропах конторской местности. Я стою и жду. Ничего не происходит. Голубые люминесцентные лампы теснятся на потолке. Стрекот пишущих и счетных машинок двух-

голосным хоралом поднимается с разгороженных ширмами, похожих на стойла рабочих мест. Никого не видно. У меня опять возникает это странное чувство, что кто-то следит за мной и сейчас вынырнет из-за ближайшей ширмы, одетый во фрак с воинскими знаками отличия и орденом на отвороте, с темными пятнами на лице, подойдет ко мне, схватит за руку и скажет: «Все кончено, следуйте за мной...».

— Вам нехорошо? — спрашивает дама.

— Ничего, ничего,— бормочу я.

— Пройдите к следующему окошку,— говорит она.

И я стою перед следующим окошком. Не надо было отправлять письмо. Взломать бы тот простенький красно-желтый почтовый ящик, вынуть письмо, смять его, сунуть в рот и проглотить, не надо было отправлять письмо, потому что вскоре у меня ничего не останется, ничего: ни фотоаппарата, ни профессии, ни жизни...

— Сандхольм,— вызывает кто-то.

Ни малейшей надежды, и никто больше не будет следить за мной, никто не заметит, как я умру...

— Сандхольм!

Это же я так расписался в бланке.

— С вас два пятьдесят.

Я расплачиваюсь, получаю бумагу и ухожу.

Никто меня не задерживает. Никто не подходит ко мне и не хватает за руку. Никто не говорит: «Все кончено, следуйте за мной».

В выданной мне справке написано, что его зовут Эйнар Самуэль Сандхольм. Родился 16.3.1903, проживает в Хельсинки, на улице Розавилла, 73.

Его супруга Анна Грета, урожденая Грёнквист, родилась 11.4.1910, умерла 23.2.1971.

И наконец, краткие сведения относительно его детей. Их двое: Стиг, 1939 года рождения, и Хелена, 1946 года рождения, в замужестве Буман.

Вскоре я сижу в редакции у Бёрье, в его комнате, но вовсе не потому, что хочу сообщить ему эти сведения или просить его совета, помощи, поддержки,— напротив, я совсем не хотел встречаться с ним. Но дело в том, что я остался без гроша, хотя и это еще не объяснение моего прихода. Все началось с того, что я забыл выключить фары в машине. И пока я сидел в учреждении по регистрации актов и дожидался своей очереди, аккумулятор потихоньку разрядился, и когда я потом попытался завести мотор, в нем только что-то щелкнуло, к неподдельному восторгу малышни. И тут возле меня остановился пикап какой-то транспортной фирмы. Шофер — юнец с пушком на подбородке и с настоящим напомаженным «локоном страсти» на лбу. Мне удается убедить его завести мою машину.

— Десять марок,— говорит он.

Мотор кашляет, чихает, стонет и наконец заводится, но когда я вытаскиваю бумажник, чтобы отдать парню его десятку, оказывается, у меня и денег-то нет, всего три шестьдесят в кармане — вот чертовская ситуация, а на сочувствие со стороны юнца мне нечего рассчитывать.

— Гони десятку,— говорит он холодно.

Я извиняюсь и предлагаю ему всю мелочь, что у меня осталась, и еще полпачки сигарет, но это упрямый тип.

— Я не курю,— изрекает он.— Гони десятку.

Ну что ты будешь делать? Машина стоит у тротуара и перезаряжает пустой аккумулятор; чтобы завести ее, потребовалось четыре минуты,— десятка! — ничего себе почасовая оплата; ведь то, что я остался без гроша, гораздо печальнее для меня, чем для этого юнца,

в конце концов, десяткой больше, десяткой меньше, но разве нельзя просто помочь друг другу, не измеряя все услуги марками и пенни...

— Десятку,— долбит он.— Я вам не «скорая помощь».

Хорошо-хорошо, тогда я возьму деньги в редакции, это всего лишь в нескольких кварталах отсюда, тем более что ради этого мне вовсе не нужно встречаться с Бёрье, аванс я всегда могу получить, так что все улаживается, но парень и этим не удовлетворен, он хочет меня сопровождать.

— Возьмем мою машину,— говорит он.

Подъезжая к редакции, я стараюсь как-нибудь отделаться от него, но он вовсе не собирается дожидаться в машине, пока я получу деньги,— нет, он тащится за мной до самой кассы и только там останавливается и разглядывает меня недоверчиво, в то время как я требую выдать мне триста марок авансом.

— Очень жаль,— говорит кассирша.

— Что? — не понимаю я.

— Вам отказано в кредите,— отвечает она.

— Как то есть?

— Так. Приказ.

А юнец, конечно, не перестает высовывать свое прыщавое рыло.

— Этот субчик должен мне десятку,— сипит он.

— Печально,— говорит кассирша.

— Чей приказ? — спрашиваю я.

— Бёрье,— отвечает кассирша.

— Как же будет с моей десяткой? — нудит юнец.

— Пошли,— говорю я.

И мы идем прямо к Бёрье. Я распахиваю дверь. Он сидит за своим письменным столом, невинный, как архангел, и жует бутерброд.

— Что за черт?! — ору я.

— Молодец, что пришел,— говорит он.— Садись.

— Это что за дурацкая манера такая?!

— Кто это с тобой? — спрашивает Бёрье.

— Этот тип должен мне десятку,— вякает юнец.

Бёрье достает бумажник и расплачивается с ним, но юнец по-прежнему стоит с ассигнацией в руке и смотрит вдаль.

— В сущности, это ведь хлопотно,— начинает он осторожно,— вся эта беготня...

Бёрье дает ему еще десятку.

— Проваливай отсюда,— говорю я.

Но его уже и след простыл.

Бёрье снова принимается за еду, на тарелке перед ним — целая гора бутербродов.

— Бери бутербродик,— угощает он с набитым ртом.

— В чем дело?! — надрываюсь я.

— А что случилось? — спрашивает Бёрье.

— Почему мне не выдают аванс?!

— Аванс? — не понимает Бёрье.

— Аванс, да! Аванс!

— За что?

— ЗА ЧТО?!

— Ну да.

— За мои фотографии, естественно!

— Какие фотографии?

— Фотографии Сандхольма!

— Сандхольма?

— Да! Которые ты сам мне заказал!

— Не помню.

И тогда, в это самое мгновение, мне вдруг все опротивело: и он, и его бутерброды, его дружба, задания, газета, обманы, его брак, работа, его деньги, связи, власть, влияние, его трусость, карьера, его

грязненькие отношения с тобой,— весь его мир и все, что там есть, и все его бутерброды. И тогда я подхожу к нему, беру бутерброд с медом и залепляю ему прямо в физиономию, я просто-напросто втираю в нее мед — так же, как обычно смазываю Фридино лицо в холодное зимнее утро.

Он сидит, жует и не противится.

— Ты неважно себя ведешь,— только и говорит он.

Я бросаюсь к двери.

— Подожди,— останавливает он.

— Я сыт по горло твоими шутками,— возмущаюсь я.

— А я — твоими,— говорит он.

— Иди к черту!

— Если ты сейчас уйдешь, ноги твоей больше не будет в этой редакции,— произносит он тихо.

И начинает тщательно вытирать лицо.

— К тому же я не шучу,— говорит он.— И хочу, чтобы ты перестал.

— Я ведь даже и не начинал!

— Не начинал,— соглашается он, поднимает телефонную трубку и набирает несколько цифр.

— Принесите мокрое полотенце,— говорит он.— Мокрое полотенце, да!

— Ты же дал мне всю эту неделю,— напоминаю я.

— Ничего не поделаешь,— вздыхает он.— Ты, видно, допустил какую-то оплошность. Тучи сгущаются.

Входит девушка с мокрым полотенцем в руке и с любопытством в глазах.

— Ну вот — разинула пасть, так что мозги видно! — рычит Бёрье.

Девушка хихикает и поспешно уходит. Бёрье вздыхает.

— Они теперь станут называть меня сладким носом,— говорит он.

— Sorry[1].

— Ничего, может, это полезно для кожи лица, кто знает.

Когда, сидя за рулем, я бросаю взгляд в зеркальце заднего обзора, меня охватывает странное чувство. Помнишь тот день, когда ты должна была отправиться в студию после обеда? Мы ведь с тобой постоянно спешили. Рядом с бензоколонкой, неподалеку от Сандвикена, мы обычно выходили из машины. И втыкали ключ в выхлопную трубу — это казалось особенно непристойным; долгое время нашим единственным развлечением было — засунуть пальцы в выхлопную трубу машины. Но в тот день ты отправилась в студию после обеда, а потом я поехал в Киркконумми фотографировать в домашней обстановке на собственной вилле одного популярного певца, хотя мой аппарат всегда был явным обманщиком. И вот тогда ты лаком для ногтей нарисовала рот на зеркальце в машине. Этот улыбающийся рот сердечком сделал меня таким счастливым! Я смотрел на него всю дорогу, проезжая по улице Лёнрота, пересекающей Сандвикенскую набережную, по виадуку, прямо к Балтийской улице и дальше на Друмсё, я глаз не мог оторвать от этого рта, наполнившего меня весельем, счастьем, ликованием, прямо сказать, вожделением, и не успел я оглянуться, как врезался в хвост старого «крайслера». Это обошлось мне в немалую сумму: за «поцелуи» машин всегда приходится дорого расплачиваться, и все-таки я смеялся и ничего не мог с собой поделать. Наверное, я был очень влюблен в тебя. Но сейчас, когда я бросаю взгляд в зеркальце, меня охватывает это совершенно особое чувство, что кто-то спрятался на заднем сиденье и *следит* за мной. Нарисованный тобою рот все еще цел, хотя это не так легко — объяснить рабочим на станциях обслуживания, чтобы они оста-

[1] Извини *(англ.)*.

вили его в покое: у людей более живая фантазия, чем принято думать, а если правда, что наши мысли и фантазии тоже грешны, то для работников двадцати — тридцати бензоколонок, где меня обслуживали, в аду из-за этого рта завели бы специальный персонал. Но сейчас я никак не могу избавиться от совершенно невероятной мысли, что кто-то спрятался у меня за спиной, сполз на пол между сиденьями и все время следит за мной, лежит на полу и из-под переднего сиденья все время смотрит на мои ноги, это ведь глупо, такое может быть только в кино, это так невероятно, что я не должен проверять, а Бёрье, трусливый бедняга Бёрье, говорит, что у него тоже есть начальники, Бёрье говорит, что если поднимется шум, то такой секретарь редакции нужен им будет, как птичье дерьмо на шляпе, Бёрье говорит, что он не собирается рисковать ради меня своим положением, Бёрье говорит, что с дворником шутки плохи, трусливый бедняга Бёрье пытается только запугать меня, и поэтому я всю дорогу до дома не даю себе оглянуться, но возле наших ворот я замечаю легковой автомобиль. И останавливаюсь.

Машина марки «сааб». Пустая.

Я проверяю заднее сиденье. Там тоже никого. Идиотизм.

Тем не менее я выхожу из машины, открываю багажник и достаю из ящика для инструментов огромный раздвижной гаечный ключ. В тот же миг «сааб» трогается с места.

Я стою со здоровенным гаечным ключом в руке, настоящим смертоносным орудием. «Сааб» приближается, замедляет ход и останавливается.

— У вас заглох мотор? Вам помочь?

Он в темном костюме, белой рубашке, галстуке и очках в роговой оправе. Лысый и добродушный, как дед-мороз.

Он один в машине.

— Нет,— бормочу я.

— Да-а,— говорит он,— в машинах теперь не много проку. Ездите, молодой человек, на велосипеде, пока ноги крепкие,— вот мой совет!

— Здесь был такой веселый дядя,— говорит Фрида.

— Кто же это? Что он сказал?

— Почему ты так нервничаешь?

— Я не нервничаю! Кто это был?

— Такой веселый. Мы обошли и осмотрели весь дом и двор. Я ему все показала. Ты знаешь, он сказал, что эти деревья гораздо старше бабушки. Ой, мы так смеялись.

— Фрида, дорогая, и зачем ты все ему показывала?

— Так ведь он все хотел осмотреть. Кроме теремка во дворе. Он такой старый, сказал дядя, что если на него нечаянно дунуть, то он развалится, как поросячий домик в сказке про того большого злого волка. И мы снова смеялись. Ну вот, ты опять нервничаешь. Я так не хочу. Где твоя машина? И почему у тебя такая штука в руке? Ах да. Он оставил визитную карточку, чтобы я передала тебе...

Прежде чем в тот вечер состоялся телефонный разговор, я успел переделать множество дел и прежде всего поговорить с Сири, которая ждала меня в прихожей с заплаканными глазами.

Потом я поднялся наверх, где лежала она, моя бабушка, в кровати среди бела дня.

Она лежала совсем тихо, распростав руки на одеяле.

Сири рассказала, что незнакомец в темном костюме прежде всего прошел наверх к старой госпоже, которую хорошо знал. Но он очень спешил и только поздоровался с ней, а от кофе отказался. Потом он поднялся на чердак, затем спустился на нижний этаж и, наконец, в погреб.

«Никто, кроме фирмы по сносу, не даст и пенни»,— пробормотал он.

А старая госпожа попросила Сири переменить простыню на кровати и проветрить спальню, и Сири даже ушам своим не поверила, потому что об этом старая госпожа никогда не просила за последние десять лет. Потом она приказала подать белую ночную сорочку и, наконец, позволила уложить себя в постель.

Она казалась усталой и обессилевшей, словно после большого перенапряжения.

Она даже не бранилась и не огрызалась, как обычно. А посмотрела из кровати на Сири и слегка улыбнулась.

«Спасибо»,— сказала она.

Это тоже было впервые за десять лет.

И тогда Сири расплакалась.

Я подтянул стул к бабушкиной кровати.

— Бабушка, вы спите? — спросил я.

Она чуть заметно покачала головой.

— Бабушка, вы устали?

Она кивнула.

— Вам нездоровится? У вас что-то болит?

Она покачала головой.

Я вынул из кармана визитную карточку. Там было написано: «Юридич. консульт. Б. Янссон, Акционерное общество Янссон, посредничество по недвижимому имуществу».

— Бабушка, вы знаете этого человека? — спросил я.

Она кивнула.

— Вы знаете, чем он занимается?

Она открыла глаза и посмотрела в потолок неподвижным взглядом. Потом ответила:

— Всему свое время.

Я сказал:

— Не о чем беспокоиться. Я выясню, что ему здесь было нужно. Совершенно не о чем беспокоиться.

— Всему свое время,— повторила она.

И снова закрыла глаза.

— Бабушка, может, позвонить доктору?

Она покачала головой.

Я посидел еще минуту. Она лежала совсем тихо. Она дышала спокойно.

— Бабушка, вы непременно подниметесь завтра утром,— сказал я.

Но я не решился подойти к ней и поднять ее с постели. Я не решился усадить ее на обычное место в углу дивана и включить телевизор, я не решился сказать ей: «Милая бабушка, мы должны защищаться, нам нельзя сдаваться, милая моя, замечательная бабушка, иди своей дорогой, не дай им сломить себя, особенно теперь, когда ты больше всего мне нужна!»

В гостиной ждала Сири.

— Надо позвонить молодой госпоже,— сказала она.

— Зачем?

— Со старой госпожой никогда такого не случалось. Я не могу взять это на свою ответственность.

Но прежде чем в тот вечер состоялся телефонный разговор, я связался с матерью по телефону, в трубке трещало на всю Европу, а голос был еле слышен, и я с трудом узнал его.

Мать заметила, что она больше чем кто-либо отвечает за последствия, и потому потребовала, чтобы я немедленно вызвал домашнего врача. Она сказала, что, разумеется, может прилететь в течение недели, если это будет необходимо, но, по ее мнению, следует подождать заключения врача, прежде чем ей решаться на что-то. Еще она сказала,

что на маклера по недвижимому имуществу Янссона не стоит обращать внимания, она только попросила его сделать предварительную оценку имущества — ведь нужно же ей знать свое реальное финансовое положение, тем более что он старый знакомый их семьи, а стоимость участка, по-видимому, неслыханно возросла, когда по соседству начали строить высотный дом; ей ведь только хотелось выяснить фактическую стоимость участка на сегодняшний день, она вовсе не собирается его продавать по крайней мере теперь, по крайней мере до тех пор, пока мать жива, но надо же быть реалистом, надо твердо стоять на земле, надо уметь смотреть правде в глаза, и потом не так уж много лет осталось до... да, ей хотелось бы побеседовать с Фридой, но это слишком дорого обойдется, она поговорит с ней в другой раз.

Я не сказал ни слова. Было так плохо слышно. Мне пришлось бы слишком громко кричать.

Прежде чем в тот вечер состоялся телефонный разговор, надо было покончить с некоторыми делами.

Сандхольм Стиг.

Буман Хелена.

Оба имени записаны в телефонном справочнике.

Я набрал номер Сандхольма Эйнара.

Никакого ответа.

Фрида сидела на диване и ела мороженое. Я прошествовал к гардеробу и выкопал свой фотоаппарат. В темной комнате я нашел старый-престарый объектив, музейный экспонат времен первых опытов японцев, с помощью которого любой аппарат снимает не лучше, чем самый паршивый «поляроид»[1]. Фрида размазала мороженое по всему лицу. Стол перед ней был завален всяческим хламом. Позади головы висела картинная рама, которая перережет ей шею на фотографии. Объектив был 3,5/55, да и в комнате слишком темно. Я отошел на пять метров и щелкнул.

Получился совершенно ужасный снимок.

Получился такой снимок, каких я уже не делал двадцать пять лет.

А может быть, и хороший получился снимок.

Я отнес аппарат на прежнее место и снова похоронил его.

— Расскажи сказку,— попросила Фрида.

— Жил-был один фотограф,— начал я.

— Такой, как ты,— сказала Фрида.

— Да. Такой, как я. И однажды он увидел девушку, которую сразу же полюбил.

— И он сразу же начал тискать и чмокать ее? Как ты Ханну,— сказала Фрида.

— Нет, этого не было,— возразил я.— Он сфотографировал ее и сделал большой чудесный портрет, такой же большой, как она сама, и повесил его на стену.

— А зачем он это сделал? — спросила Фрида.

— Он хотел, чтобы она всегда была у него на стене. И он мог бы смотреть на нее, когда ему вздумается. И разговаривать с нею. И когда бы ему ни захотелось, она всегда была бы с ним.

— А что дальше? — спросила Фрида.

— И вот однажды,— продолжал я,— однажды он заметил, что она зашевелилась. Сначала рот. Когда он говорил что-нибудь веселое, ее рот сердито кривился. А когда он досаждал ей, рот смеялся над ним.

— Так ему и надо! — сказала Фрида.

— А потом стало еще хуже,— рассказывал я.— Когда он хотел бодрствовать, ей хотелось спать. Когда он хотел поговорить с ней, она затыкала уши. Когда он хотел смотреть на нее, она поворачивалась к нему спиной.

[1] Фотоаппарат, делающий моментальные снимки.

— Так она что же, совсем ожила? — спросила Фрида.

— Да, ожила,— ответил я.— Однажды она совсем-совсем ожила. Однажды она сошла со своей фотографии и стала совсем живой.

— И что он тогда сделал? — спросила Фрида.

— И тогда...— ответил я.— Тогда он не захотел больше жить с нею. И прогнал ее.

— Он что, испугался ее? — спросила Фрида.

— Может быть,— ответил я.— Может быть, и испугался. Но потом, когда она ушла, он попытался нарисовать ее портрет вместо фотографии. Он попытался нарисовать ее портрет прямо на стене. Но хорошего портрета не получилось.

— И это все? — спросила Фрида.

— Да,— ответил я.— Это все.

— Нехорошая сказка,— сказала Фрида.

— Ты думаешь, яблоко свалится сегодня ночью? — спросил я.

— Спорим? — сказала Фрида.

Итак, прежде чем в тот вечер состоялся телефонный разговор, Фрида давно уже спала, а я позвонил ее матери.

— Почему ты звонишь в такое время? Снова выпил?

— Немного вина всего-навсего.

— Неужели!

— Да-да. Не надо сейчас так.

— Мы уже спали фактически.

— Прекрасно.

— Почему ты звонишь?

— Фрида сказала, что ты говорила с ней...

— А-а.

— Н-да. Ну так как же?

— Мы думали забрать ее послезавтра. Если ты не возражаешь.

— Ну что ты. Конечно, не возражаю. А как вообще у вас дела?

— Спасибо. Все будет хорошо. Мы привели в порядок комнату для нее. Такая чудесная комната.

— Я скучаю по тебе.

— Что?

— Ничего.

— Ты не трезв, Кристоффер. Почему ты никогда не можешь позвонить мне, будучи трезвым?

— Ну вот, опять ты так.

— Как?

— Так. Ты сама знаешь, что я имею в виду.

— Кристоффер, милый!

— Собственно говоря, это я был во всем виноват.

— В чем?

— В том, что... что все шло, как шло... Понимаешь, в сущности я ведь вовсе не резок с тобой.

— А-а.

— Но мы не должны терять контакт. Нам надо встретиться и поговорить!

— Вот и хорошо, Кристоффер. Позвони завтра утром.

— Нет! Подожди!

— Ну?

— Я хочу объяснить тебе... как это случилось... Потому что, видишь ли, я вовсе не резкий...

— Спокойной ночи, Кристоффер.

— Подожди! Хочешь поговорить с Фридой?

— Она не спит?

— Нет. Конечно, спит. Все спят. Здесь чертовски много спят, в этом доме! Словно какая-то злая фея побывала. А сейчас мы ждем только принцессу... Не клади трубку! Мы действительно должны встре-

титься и поговорить. И ради Фриды тоже. Ведь мы могли бы встретиться, все трое...

— Давай поговорим об этом утром.

— Подожди! Не уходи... Почему не сейчас?

— Что?

— Натяните на себя что-нибудь, возьмите такси и приезжайте! Мы посидим, поговорим!

— Нет.

— Было бы хорошо, верно? Вы ведь можете переночевать здесь, если захотите!

— Нет, Кристоффер. Спокойной ночи.

— И Фрида тоже. Подумай только, как бы она обрадовалась... Подожди... не уходи... не оставляй меня... алло...

И наконец, прежде чем в тот вечер состоялся разговор, я снял со стены фотографии побережья.

Я отнес их на кухню.

Под мойкой я нашел старую кастрюлю. Поставил ее на подоконник и открыл окно.

Я положил фотографии в кастрюлю и поджег их, одну за другой.

Они дружно загорелись синеватым пламенем. Вот они стали уже светло-коричневыми, потом быстро почернели и в ту же минуту сжались как в судороге.

Так, одна за другой, превращались они в сажу и пепел в моей старой кастрюле.

А потом я долго сидел и глядел на четвертую страницу его дневника:

«Новые желтые жучки. Никто не замечает огня. Телефон молчит. Надо совершить моцион. Надо платить. Много червей. Надо найти зубы. Надо спать. Прекрасна земля[1]. Много мух. Получил пилюли. Надо сменить одежду».

Получил пилюли?

Я опустил отяжелевшую голову на дневник рядом с кастрюлей и вдруг увидел тебя, наконец-то увидел тебя. Ты сидела на острове в море, ты сидела там с великим множеством других женщин. А я стоял на берегу и махал тебе. Тогда ты поднялась и замахала мне в ответ, и в руке ты держала письмо. «Иди сюда!» — кричала ты, а как до тебя дойти, если нет никакой дороги, но ты все продолжала махать. «Иди по воде!» — кричала ты. И я шагнул в воду, и она держала меня. И я понял, что по воде мог бы дойти до тебя, если бы только оставил свой страх на берегу, если бы просто-напросто забыл, что все всегда кончается и все всегда бросают меня, и в ту же минуту поверхность разверзлась подо мной, и ледяная вода окутала мое тело, и я начал медленно тонуть,— это было в тот вечер, когда наконец состоялся разговор.

В трубке послышался шепот:

— Берегись.

И все.

Четверг

— Хелена Буман?

Женщина, открывшая мне дверь,— в халате, с взъерошенными волосами. Она крепко ухватилась за ручку двери.

Она кивает.

Ей страшно.

Я называю свое имя, сообщаю, что я журналист и из какой газеты.

— Мой муж в отъезде,— говорит она.

Я отвечаю, что мне надо поговорить именно с ней.

[1] Начальные слова церковного гимна.

— О папе,— произносит она испуганно.

Я киваю, прошу не бояться, я хочу только задать ей несколько вопросов — и все.

— Я не виновата,— говорит она.

— Позвольте мне войти,— прошу я.— Будьте добры, позвольте мне войти.

Из окна гостиной виден пригородный пейзаж: заасфальтированный двор с несколькими песочницами, вывешенное для просушки белье, стоянка для машин, за ней заросшее пахотное поле, потом автомобильная дорога, затем большой дом, в котором помещаются контора, банк и магазин самообслуживания, а еще дальше — лес и небо. Трое детей сидят в песочнице и бросают друг в друга песком. Вдалеке бесшумно скользят машины, словно воздушные корабли.

Гостиная скромно обставлена: мягкая мебель, кресло-качалка, книжная полка, телевизор и радиоприемник, на стенах — блеклые пейзажи и афиша, оповещающая о бое быков. На диванном столике — несколько еженедельников, пачка сигарет, вязание, потертый игрушечный мишка, пачка маргарина, полбанки картофельного салата, несколько сморщенных сосисок в кастрюле, сырные обрезки и пустая бутылка красного вина.

Она выходит в спальню и закрывает за собой дверь.

На книжной полке стоит единственная фотография, сделанная где-то за городом. Большую часть фотографии занимает огромный дом. На крыльце сидят трое — такие маленькие, что с трудом можно различить их лица. В середине сидит пожилой мужчина, слева от него — молодая женщина, справа от него — молодой мужчина. На женщине хлопчатобумажное платье. Молодой мужчина — в сандалиях, на нем серые фланелевые брюки, белая рубашка, галстук бабочкой и пиджак, наброшенный на плечи. Старик — в сапогах, черных брюках, клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Лето и яркое солнце. Все трое сидят и щурятся на фотографа.

Хелена Буман входит в комнату. Она переоделась. Она вовсе не замечает беспорядка на столе и садится в качалку.

— Бедный папа,— говорит она.

— Это он? — спрашиваю я.

— Что вам, собственно говоря, надо? — спрашивает она.

— Не бойтесь,— отвечаю я.

И я объясняю, что мне ничего не надо от нее или ее отца, что я не собираюсь вредить кому бы то ни было, я ищу что-то более важное, что-то, что касается всех людей. Это трудно объяснить, но мы словно поражены какой-то болезнью: человек умер — и никто даже не заметил, я не могу это вынести; ведь в следующий раз такое может случиться с ней или со мной, все, о чем я прошу,—это немного помощи.

Она говорит:

— Муж утверждает, что я не виновата. Он утверждает, что дети по закону не обязаны заботиться о своих родителях. К тому же, прежде чем говорить с вами, я должна посоветоваться с братом.

— Поверьте мне,— убеждаю я ее.— Я не хочу вредить вам.

— Бедный папа,— говорит она.— Бедный, бедный папа.

— Это он здесь на фотографии?

— Да. Он, мой брат и я.

— Где сделана фотография?

— В Ёмоссе. Да, сейчас все продано.

— А кто снимал?

— Мой муж.

Ее муж. Она впервые встретилась с ним на вечерних танцах. В Кристинанкаупунки. Он был в этом городе проездом. Он ездит так много. Это пришло так внезапно. Через две недели он вернулся. Остановился на одну ночь и поехал дальше. А ее жизнь после это-

го превратилась в сплошное ожидание. Неделями она ждала его, потом он приезжал, останавливался на одну ночь и наутро уезжал. А она по-прежнему жила на ферме вдвоем с отцом, занималась крестьянским хозяйством и ждала.

— Отец уже тогда начал стареть,— говорит она.

К тому времени брата многие годы не было дома, он приезжал лишь ненадолго на рождество и в середине лета. И все же, казалось, отец ждал его. Этого она не могла понять: ведь они были в ссоре, пока брат буквально не убежал из дома и не уехал в столицу учиться. Откуда у него такая ученая голова — неизвестно, а как ему удавалось сводить концы с концами на то скудное содержание, которое отец, наконец, решил высылать ему,— можно только догадываться, потому что он всегда был дерзким и пронырливым. К тому времени он уже вскарабкался так высоко, что оказался недосягаем для простых людей, стал одним из руководителей гигантского предприятия, его видели только на страницах газет. И все же отец не переставал ждать его. Вот так они жили и ждали оба. Но однажды во двор въехала машина, из машины вышел ее муж, направился прямо в дом, прожил у них целую неделю, а когда пришло время возвращаться в город, она уехала с ним.

— Я думаю, что папа понял меня,— говорит она.— В то время мы с ним еще понимали друг друга.

Но он же остался совершенно один на ферме. Так не могло продолжаться.

Она сидит в кресле-качалке и смотрит на фотографию.

— Он никогда не приезжал в город,— говорит она.— Даже на нашу свадьбу. Но я часто навещала его первое время. Он был удивительно бодр и здоров. Он так радовался, когда я приезжала. Нам было хорошо вдвоем. И все-таки он продолжал ждать моего брата...

Да. Конечно, он был бодр и энергичен для своего возраста и часто уверял, что не чувствует себя старым и что, когда придет его время, он ляжет в постель, как это сделали его родители, всего на несколько дней, а потом — будь что будет с его фермой, ему все равно. Только они считали, что это невозможно, и однажды приехали к отцу все трое: ее брат, муж и она сама, чтобы уговорить его. Но муж плохо знал отца, а брат, когда бы ни заговорил с ним,— получались только ссоры и сцены. А вот ей удалось наконец уговорить отца, она смогла объяснить ему, что он уже стар и не может сам управляться с фермой, что в городе есть всевозможные удобства и развлечения, что ему нужно переехать поближе к детям, что ему нужно отдохнуть после долгой трудовой жизни. Он сидел и смотрел на свои руки. «Кем я буду там, в городе?» — спросил он. Но она продолжала уговаривать его, и наконец он образумился, наконец ей посчастливилось уговорить его оставить хозяйство. А потом ее муж отошел с фотоаппаратом и снял их на крыльце.

— У отца были слезы на глазах,— говорит она.— Этого не видно на фотографии.

Может быть, оттого, что солнце светило так ярко, может быть, отчего-то другого. Она тоже плакала в тот вечер, потому что он стал таким тихим и в нем появилась такая страшная неуверенность. Он двигался как чужой в своем собственном доме. Он вдруг отказался от тех маленьких правил, которым всегда следовал в своей повседневной жизни. Не прослушал прогноза погоды, не закурил трубки после обеда. Во время ужина вдруг отказался от своего обычного места за столом. Как будто его жизнь вдруг в корне изменилась и он сам с непритворным удивлением взирал на эту перемену. Поэтому она и плакала вечером, пока муж с братом сидели наверху и грызлись из-за того, как лучше поместить деньги, что и понятно: ведь ферма была не маленькая, и лес практически нетронут. В таких делах ее голоса никто не слушал. Этим занимались отец, брат и муж. Но в

тот вечер отец спал. Она же плакала. А мужчины грызлись из-за денег.

— Все случилось так, как хотел мой брат,— говорит она.— Все всегда случается так, как хочет брат.— Но брат не хотел, чтобы отец жил с ним, хотя и имел комнату, где бы мог приютить его. А они с мужем не имели. Правда, у них было достаточно денег, чтобы снять квартиру попросторнее, однако муж и слышать об этом не хотел. «Когда нам понадобится детская, мы снимем квартиру попросторнее — не раньше,— отрезал он.— Разве отец не может сам о себе позаботиться? Разве только что он не справлялся с целым крестьянским хозяйством?» К тому же квартирка в Тёле — отличное помещение денег в наше время; она услышала это от обоих — от брата и от мужа. Да и вряд ли отец согласится лежать на ком-нибудь из них мертвым грузом. Разве он, сильный и самостоятельный мужчина, в чьих жилах течет кровь многих поколений свободолюбивых крестьян, стал бы вдруг ютиться из милости у своих детей?

— Все это было так разумно,— говорит она.— Мой брат такой рассудительный.

И тем не менее все это с самого начала было ошибкой.

— Он словно исчез,— говорит она.— Я не знаю, что случилось, но то, что было моим отцом, исчезло.

И кто-то другой занял его место, и этот другой был сутулый, седой и обремененный всяческими недугами. Она навещала его каждый день. Она гуляла с ним по городу, они отправлялись в парк Боргбакен, катались на чертовом колесе, чтобы полюбоваться открывающимся сверху видом. Но он только сидел, уставясь на свои руки, большие красные руки, которые отдыхали от работы, сложенные на груди. Она ходила с ним в зал Бинго [1], но он не соблюдал правил игры, то и дело кричал «бинго». Однажды они отправились на встречу пенсионеров. Но когда с порога зала он увидел пенсионеров, то в полной панике убежал прочь.

Все ее попытки ни к чему не привели.

— Хуже всего то, что я была ни на что не годна,— говорит она.

Отец почти перестал с ней разговаривать. Единственное, о чем они говорили,— это о его недугах и несчастьях. Он был убежден, что вот-вот заболеет раком. Каждый день она ощупывала его, чтобы выяснить, не появились ли злокачественные опухоли. Он иногда спрашивал: а если опухоль вырастет на одном интересном месте, что тогда делать? Отрезать все подчистую, да? И в следующее мгновение жаловался, что у него нет внуков. «Что за мужика ты приобрела?— возмущался он.— Не может даже сделать тебе ребенка!»

— Это было ужасно,— говорит она.

Брат обычно навещал отца раз в месяц. В эти дни отец вообще не вставал с постели. Он лежал вытянувшись и глядел в потолок. Брат садился на стул рядом с кроватью и читал газету. Они даже перестали ссориться. Когда брат поднимался, чтобы уйти, отец говорил: «Принеси в следующий раз охотничье ружье, пора подстрелить этого старого скота».

Она говорит:

— Это было самое тягостное, с чем я когда-либо сталкивалась.

Отец был так зол на нее, он пилил ее целыми днями, она стала для него и медицинской сестрой, и девочкой на побегушках, его нянькой и уборщицей, его исповедником и плевательницей. И ни разу он не сказал ей доброго слова. Но его неблагодарность была все же не самым худшим. Это она могла стойко вынести. Хуже всего было то, что произошло с ним: распад личности, да, ни много ни мало — распад личности. Все что было ее отцом и что она так любила и уважала, исчезло, а наружу выполз злой, гадкий, дряхлый и дурной старик —

[1] Место, где играют в бинго — игру, напоминающую наше лото. Человек, первым закрывший фишками цифры на карточках, кричит «бинго» и получает выигрыш.

и это тоже был ее отец. Ее словно раскололи надвое, она заметила, что забывает своего настоящего отца, этот старик вытесняет его, въедается в нее, пытается поставить себя на место ее отца.

И она возненавидела его.

— Это звучит страшно,— говорит она.— Мне очень стыдно.

А отец все заметил. «Что ты здесь бегаешь целыми днями? — мог он сказать.— Ты же совсем не любишь меня». Но стоило ей не прийти к нему хоть раз, как он свирепел.

— Если бы у меня был ребенок! — говорит она.

Это было бы единственное существо, которое он принял бы. И все-таки не ради него, а скорее ради себя самой она страстно хотела тогда иметь ребенка. Или, может быть, она тосковала не по ребенку, а по тому, что род ее кончается. Ведь должен же кто-то прийти ей на смену. Она думала о своей бабушке, матери отца, которая умерла, когда ей, Хелене, было десять лет. А сейчас вот очередь отца. Она стояла перед зеркалом и разглядывала свое лицо, на котором годы уже оставили заметные следы. «Следующая очередь — моя,— думала она,— следующая очередь — моя, и кто будет тогда со мной?»

— Я стала плохо себя чувствовать,—говорит она.

Муж возненавидел ее отца еще больше, чем она. Он совершенно перестал навещать его. Он вообще знать ничего о нем не хотел. «Ты чья жена: моя или его?» — спрашивал он. Брат сказал: «Оставь его в покое. Он же как ребенок. Он избалуется, если с ним все время носиться». А муж сказал: «По закону о родителях заботится общество, а не дети. Отправьте его в приют».

— Это прозвучало хуже, чем он думал,— говорит она.— Он ведь только беспокоился обо мне.

«Значит, и вы тоже отправите меня в богадельню»,— сказал ее отец. И снова она уговорила его, на этот раз — без особого труда. «Вам решать,— сказал он.— Я ничего теперь не решаю».

Но в богадельне свободных мест не оказалось. Его поставили на очередь. Прошло бы много лет, прежде чем он туда попал.

Все реже ей удавалось выводить его на прогулку. Он упорно сидел дома и занимался совершенно нелепыми делами. Вывинчивал ножку стула, брал в кухне хлебный нож и начинал обстругивать ее. Так он мог сидеть часами, тихо, упрямо строгая, только щепки летели по комнате. «Подмети!»— бросал он ей. «Папа»,— говорила она. «Вы же все у меня отняли,— отвечал он.— Так, по крайней мере, можете убрать за мной».— «Никто у тебя ничего не брал,— возражала она беспомощно,— все лежит на твоей банковской книжке».— «И это все, что вас интересует,— говорил он.— Моя банковская книжка. Это все».

— Я начала пить,— говорит она.

Она начала пить, так как чувствовала, что пропадет, она чувствовала, что сама начинает меняться и что меняется из-за этого старика, чувствовала, что забывает, кто она такая, ей казалось, что она действительно становится женой старика, она чувствовала, что заболевает, злилась, а однажды утром уже не смогла подняться с постели, она была одержима одной странной мыслью: ей хотелось войти в его положение, взять на себя его бремя, искупить его одиночество и отчаяние; в помутнении рассудка она приняла несколько пилюль, а потом пила до потери сознания. С отцом она больше не виделась.

— Муж запретил мне,— говорит она.

Брат и муж решили навещать отца вместо нее.

— Но они, наверное, не ходили,— говорит она.

«К черту твою жалость,— сказал ей брат.— Ты знаешь, что люди делают со своими стариками? Отвозят их в больницу Стенгорда и там оставляют. Забота о стариках — это обязанность лечебных учреждений. Так сказано в законе».

Но ей были безразличны законы и учреждения — ведь дело касалось отца и ее самоё, ей бы только немножко отдохнуть, чтобы снова стать здоровой, она должна смочь — ради него и ради себя: ведь если она не сможет этого, то что она, вообще говоря, может в жизни. Ей бы только отдохнуть немного, неделю-другую, чтобы понять, что этот старик действительно ее отец, и что он еще жив, и что его жизнь так же важна, как ее собственная: она чувствовала, что ей необходимо понять это,— ей бы только отдохнуть немного, какой-нибудь месяц.

— А сейчас слишком поздно,— говорит она.

Она берет со стола старого вылинявшего медвежонка и сжимает его в объятиях.

— Брат с мужем говорят, что я не виновата.

Последние дни она бóльшую часть времени лежала в постели, а они были так внимательны, муж с братом, они обо всем заботились. Только раз она зашла в его квартиру. Его уже увезли на вскрытие и уборщики из какой-то фирмы, которых наняли, чтобы навести порядок в квартире, составили все его вещи посередине гостиной. Она ничего не в силах была делать, только бродила по комнате среди его вещей, пока брат и муж делили их между собой, а во дворе уже ждал грузовик. Все происходило так молниеносно, словно нужно было как можно скорее замести следы преступления. Брат был бледный, нервничал, взрывался, и вдруг она сказала ему: «Ты убил папу». И тогда они оба, муж с братом, снова стали такие рассудительные. Они объяснили ей, что она немного не в себе, а брат сказал, что все старые люди умирают, что только по несчастной случайности отец пролежал мертвым несколько дней, но сейчас нужно забыть об этом и жить дальше. сейчас надо постараться, чтобы случившееся не вышло из семьи, все равно ведь делу не поможешь, речь идет о жизни, а если обстоятельства смерти отца станут достоянием публики,— это выставит их всех, и прежде всего его, брата, в ужасно невыгодном свете, что крайне нежелательно в его положении, ведь никого так не подстерегают бури и подводные мели, как политика, идущего при попутном ветре. И конечно же, он был прав: ее брат всегда прав. Но сама она чувствовала себя отвратительно, глядя на их спешку; это было так недостойно — «хочешь письменный стол? нет? тогда он пойдет «Эммаусу»[1] — и она пришла в отчаяние, увидев, как мало вещей было у отца к концу жизни и какие они безликие. Она ходила по комнате среди его вещей, и ей казалось, что они могли бы принадлежать кому угодно, а отца больше нет, он окончательно исчез, она бросила его и чувствовала в себе такую пустоту, как будто часть ее существа умерла вместе с ним. Как ей теперь нести свою вину через оставшуюся жизнь? Даже ее последнего подарка не осталось: отец выбросил его.

— Это была такая дурацкая затея,— говорит она.

Во время болезни она была так далека от всего, даже не в состоянии была позвонить отцу, но где-то по ту сторону затуманенного лекарствами отчаяния она думала о нем, хотела помочь ему и потому послала ему книжечку для дневника. Теперь стыдно вспомнить, но тогда это казалось правильным, она думала, что если он напишет немного в дневник, то словно бы сам составит себе компанию. Конечно, сейчас говорить об этом цинично, но в то время казалось, что этот дневник поможет ей понять отца и согласиться с ним, когда она снова придет к нему и прочтет, что́ он там написал. Но его нигде не было, дневника, отец наверняка выбросил его.

— А похороны решено устроить как можно скорее,— говорит

[1] «Эммаус» — частная благотворительная организация на Западе, которая занимается перекупкой старых вещей, а вырученные деньги расходует на благотворительные цели.

она.— Уже послезавтра. Они хотят побыстрее избавиться от него. Они ведут себя, как воры и злодеи.

Я говорю:

— Дневник у меня.

— Не может быть!

— Я взял его. Я был там раньше всех. Я готов отдать его вам когда угодно.

— Не рассказывайте мне, как там было,— просит она.— Пожалуйста, не надо.

— У вас есть протокол вскрытия?— спрашиваю я.

— Нет еще.

— Вы позволите мне ознакомиться с ним?

— Если только ради папы...

— Да.

— Ради папы и ради себя самой,— говорит она.

— И ради меня,— говорю я.

— Бабуля целый день не вставала с постели,— говорит Фрида.

— Да. Не вставала.

— А почему?

— Бабушка устала. Бабушка хочет отдохнуть.

— Днем не отдыхают. Отдыхают ночью.

— Бабушка, наверно, так устала, что и днем тоже должна отдыхать.

— Разве она не может поспать немного после обеда? Как я, когда была маленькая.

— Наверно, бабушке этого недостаточно.

— Бабушка больна?

— Не знаю.

— А доктор придет посмотреть бабулю?

— Да.

— А если она никогда больше не будет вставать, она умрет?

— Нет.

— Когда же тогда она умрет?

— Когда ее сердце перестанет биться.

— А что оно тогда будет делать?

— Оно будет неподвижно.

— И она должна будет много отдыхать?

— Да.

— Я тоже хочу много отдыхать. Завтра я весь день буду отдыхать.

— Завтра ты поедешь в гости к маме и Лейфу.

— Ах да. А ты поможешь бабуле тем временем?

— Ну, конечно, помогу.

— Если бы мне надо было много отдыхать, ты бы тоже помог мне,— говорит Фрида.

А Сёдерберг по-прежнему наш домашний врач. Ты тоже у него однажды лечилась, у тебя тогда поднялась высокая температура, ты была без сил, усталая, хныкала, как ребенок, и назвала его «грязный дядька» только за то, что он уколол тебя в зад, вместо того чтобы дать пилюли. Я заботливо и с радостью ухаживал за тобой; по правде говоря, мне было чуть ли не жаль, что ты выздоровела. Сам я в детстве очень любил болеть. Тогда я укладывался в мамину кровать. Только лампа горела на ночном столике. Я лежал и блестящими от температуры глазами рассматривал свои книжки с картинками, жизнь сосредоточивалась на их страницах, а все обыденное исчезало: комната, где я лежал, и внешний мир. Я был в центре вселенной, моя мать двигалась вокруг меня, как небесное тело, и никакие дяди не приходили в гости, кроме доктора Сёдерберга, который уже тогда был лысым коротышкой и носил клетчатые пиджаки, я всегда хихи-

кал над ним, мне казалось, что он вышел из какой-то моей книжки с картинками. Хороший ли он врач — я не знаю, иногда мне кажется, что профессия врача — это десять процентов пилюль и девяносто процентов глупой болтовни. Но он, по крайней мере, человек искренний, прямой, почти дерзкий. Этим он, видимо, и приобрел так много пациентов.

Кроме того, он располагал для своей практики несколькими палатами в одной большой частной больнице. Что, вероятно, важнее его искренности.

— Я забираю ее в больницу сегодня вечером,— сообщил он.

— Это необходимо? — спросил я.

— Хм,— сказал он.— Что ты подразумеваешь под словом «необходимо»?

— Что ей лучше дома.

— Разным людям лучше в самых разных местах,— заметил он.— Некоторым лучше в могиле.

— Она так больна?

— Откуда я знаю? Вот положу ее в больницу...

— От этого-то она как раз и заболеет,— сказал я.

— Твоя мама так не думает,— возразил он.

— Ты уже говорил с ней?

— Она звонила вчера. Среди ночи, как обычно. Странно, что вы всегда в этом доме заболеваете не иначе как ночью.

— Что она сказала?

— Чтобы я забрал старуху в больницу.

— Разве это не стоит кучу денег?

— Не ты ведь будешь платить.

— А иначе? Иначе для нее нигде не нашлось бы места? Если бы никто не захотел платить за нее, ее поставили бы на очередь?

— Возможно. Хотя те очереди движутся...

— Это черт-те что!

— Ты так считаешь? Разве не везде одинаково?

И прежде чем уйти, он добавил:

— Странно. Сначала она меня совсем не узнала. Она думала, что я собираюсь купить этот дом?

Как и Фрида, я считаю ступеньки, поднимаясь на верхний этаж: раз, два, три, четыре, пять, четыре, три (она обычно спускается задом на две ступеньки вниз), четыре, пять, шесть, семь, восемь, перерыв. Лестничная площадка, где висят пальто,— не в счет. Взгляд на палки, которые стоят в высокой фаянсовой вазе, одна — бабушкина и три — дедушкины, он обычно загонял мяч под кровать, и мне приходилось ползти туда за мячом — это мое первое воспоминание о дедушке; потом он умер, а я так и не снял его и сейчас не могу вспомнить, как он выглядел и почему палки — единственное, что после него осталось? Взгляд в зеркало над комодом: я утаскивал у матери карманное зеркальце, взбирался на комод, ставил зеркальце против большого зеркала и рассматривал бесконечный ряд одинаковых картин, это происходило тайком, только однажды мать увидела меня и сказала: «Мальчики не должны смотреться в зеркало», но я совсем не понял, что она имела в виду. Взгляд в зеркало: тридцатишестилетний мужчина, желтоватый цвет лица, мешки под глазами, даже не мешки, а настоящие гамаки, затравленный взгляд, и не удивительно, потому что эти глаза вечно прячутся за видоискателем аппарата, фотограф без фотографий, безумец в поисках утраченной смерти — нет, дальше, как делает Фрида: девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать (она обычно шагает дважды по двенадцатой ступеньке), тринадцать, четырнадцать, пятнадцать — и пришли.

Дверь в ее спальню закрыта.

«Ей ведь почти ничего с собой не нужно»,— сказал Сёдерберг.

Ей ведь почти ничего с собой не нужно.

Я стучу в дверь. Никакого ответа.

Я открываю дверь и вхожу в комнату.

Там совсем темно.

— Бабушка, вы не спите? — спрашиваю я негромко.

Но кругом тихо и темно.

Я ощупью пробираюсь к ее письменному столу и зажигаю лампу.

Она лежит в постели, она явно не спит.

И я начинаю. Спрашиваю, как она себя чувствует, словно сам не могу догадаться, осведомляюсь, был ли у нее доктор Сёдерберг, словно не знаю ответа заранее, выясняю, что́ он сказал, хотя сам знаю, что он ничего не сказал ей, уверяю ее в необходимости лечь ненадолго в больницу, зная, что никакие больницы на свете не могут ей помочь, рассказываю, как много раз говорил с ее дочерью, моей матерью,— а это ложь,— предсказываю, что она вернется домой через несколько дней,— что, по всей вероятности, тоже ложь,— уговариваю ее не грустить, а уж это звучит почти бессовестно. Я говорю все то, что считаю нужным сказать, и как можно лучше, но вообще это лишь жалкая проповедь, и в конце концов я уже не понимаю, кого я больше обманываю: ее или себя самого.

— «Скорая» приедет сегодня вечером,— говорю я.

Она пристально смотрит на меня, смотрит с ужасом.

— Я поеду в «скорой»? — спрашивает она.

— Это самое лучшее,— отвечаю я.— Удобно и к тому же бесплатно.

— Я не хочу,— говорит она.

— Но, бабушка,— убеждаю я ее,— там вы сможете лежать всю дорогу. Это же совсем как обычная машина. Они ездят медленно и осторожно, и сирены не воют.

— Да-да,— говорит она.— Ты, конечно, знаешь, что лучше.

Бабушка, дорогая, это я-то знаю? Я, который в течение нескольких часов тщетно звонил по всей Европе, чтобы найти мать и прекратить эту унизительную комедию,— я знаю, что лучше? Разве тот, кто знает, что лучше, может быть таким беспомощным, как я? Знать, что лучше, и чувствовать, что охотнее увидел бы тебя мертвой в эту минуту, здесь, сейчас, вместе со мной, в твоем собственном доме и в твоей собственной постели? Неужели я знаю, что лучше, если предпочитаю видеть тебя мертвой, нежели превратившейся в вещь со шлангами и трубками, подведенными к разным частям тела?

Но ей я говорю только:

— Бабушка, может быть, мы соберем вещи, которые вы хотите взять с собой?

В ее гардеробе я нахожу старую хозяйственную сумку.

Я начинаю сборы с фотографии их серебряной свадьбы. Дедушка с бабушкой сняты в саду, на заднем плане — вилла. Они сидят на стульях. За ними стоят отец в мундире и мать. А вокруг — человек тридцать родственников и друзей. Кое-кто из мужчин в мундире, как и отец. Остальные — в обычных костюмах. На женщинах — самые невообразимые шляпки, над которыми мы с бабушкой частенько смеялись.

У бабушки на коленях сижу я сам.

Гости размещены в строго определенном порядке: близкие родственники в середине, дальние — по бокам. Все мундиры со звездами на воротничке. Все люди смотрят прямо на фотографа, спокойно и доверчиво. Это в своем роде абсолютно честная фотография, более правдоподобная, чем все те, какие я когда-либо делал.

— Бабушка, вы, может быть, хотите взять ее с собой?

— Когда вы собираетесь продавать?

И я снова начинаю лгать, не знаю — ради нее, ради матери или себя самого, но я начинаю лгать и уговаривать ее не волноваться:

ведь речь идет о размерах дохода, всего-навсего о некоторых цифрах, которые матери нужно проставить в своей налоговой декларации, но я лгу так плохо, что даже ребенок не поверил бы этому, и все-таки я хочу, чтобы бабушка поверила.

— Одна, две, три, четыре,— считает она.

— Бабушка, что вы считаете?

— Четыре комнаты опустеют после меня,— отвечает она.

— Но вы же вернетесь сюда,— говорю я.

— Ты думаешь? — сомневается она.

Что мне ответить? Если бы я мог сесть рядом с ней и объяснить, что она должна вернуться, потому что если она уйдет навсегда, если она исчезнет в лабиринтах медицинских учреждений, превратится в живую вещь там, где никто не задает иных вопросов, кроме «сердце еще бьется?», если она лишится, наконец, всего, то и нам конец, раз мы допустили это, и мы ничего больше не получим от жизни, нам нечего ждать от нее, кроме зла. Если бы я мог сказать ей, что единственные снимки, которые мне сейчас очень хочется проявить и отпечатать, это те, где я снял их с Фридой, когда они сидели рядышком на диване и смотрели на пустой телевизионный экран. Если бы я мог рассказать ей, что видел человека, у которого отняли все, все подчистую, даже возможность естественной смерти. Если бы я мог объяснить ей, что мне невыносимо видеть, как все повторяется у меня на глазах. Если бы я мог признаться ей, что бегал со съемки на съемку, чтобы избавиться от одиночества, которое следовало за мной по пятам, и что она необходима мне сейчас, иначе оно нагонит и поглотит меня. Если бы я мог дать ей понять, как она нужна мне, чтобы выбраться из этих дебрей злых желаний, искаженных потребностей, ложных идеалов, которые, как дикие звери, бросаются на меня со всех сторон.

Если бы я мог сказать ей: «Бабушка, я так одинок и несчастен. Не бросай меня. Не уходи из жизни, особенно сейчас. Не позволяй им взять себя. Забудь обо всех этих спекуляциях землей и имуществом, карьерой и успехом, рентами и дивидендами — всей этой злой демонстрации превращенных в вещи чувств, которые нас окружают. Помоги мне выбраться из этого дремучего леса. Не оставляй меня, иначе одиночество меня раздавит».

Я говорю:

— Бабушка, вы обязательно вернетесь сюда через несколько дней.

— Об одном я хочу тебя попросить,— говорит она.

— О чем? — спрашиваю я.

— Не выбрасывай хоть Сири,— говорит она.— По крайней мере, не сразу.

Наконец остается взять лишь несколько мелких вещей: еще одну ночную сорочку, халат и кое-какие еженедельные газеты.

На книжной полке стоят альбомы с фотографиями, наклеенными в хронологическом порядке.

Она хочет взять с собой только один из них. Самый старый.

А «скорая помощь» уже въехала во двор.

Они стоят у входной двери с носилками, двое молодых мужчин. Я прошу их оставить носилки в машине.

— Она может идти сама?

— Подождите у машины. И никаких сирен, понятно?

И я снова поднимаюсь к ней. Убираю одеяло. Надеваю на нее халат И заворачиваю ее в плед.

Я беру ее на руки. Она совсем легкая.

И спускаюсь с ней по лестнице.

— В мое время не было никаких «скорых помощей»,— сообщает она.

— Бабушка, в вашу молодость много чего не было,— отвечаю я.

— В мою молодость,— говорит она.— В мое время.

Она просит меня остановиться на промежуточной площадке. Протягивает руку и берет одну из дедушкиных палок.

— Будь добр, поливай азалию,— говорит она.

— Конечно,— обещаю я.— Обязательно буду поливать.

— Она любит много воды,— поясняет бабушка.— Это ведь болотное растение.

— Я знаю,— говорю я.

— Она по-прежнему будет стоять на окне и расти, хотя меня и не будет,— говорит она.— Разве это не странно?

Я вношу ее в машину. Она сама, без принуждения, ложится на носилки, а я кладу рядом с ней дедушкину палку. Она берет палку обеими руками и прижимает к себе — это последнее ее движение, которое я вижу, пока закрывают задние дверцы.

И «скорая» медленно выезжает со двора.

Если бы в тот вечер ты была здесь, мы отправились бы на побережье.

Когда я выхожу, начинается дождь. Я иду под дождем в таком же, как у тебя, желтом непромокаемом плаще. В руке у меня — штатив. Под плащом — электронная вспышка и два фотоаппарата. Один — мой «никон», восставший еще раз из могилы во мраке гардероба. Другой — «роллейкорд», давно отвергнутый, пожертвованный на алтарь научно-технического прогресса, старомодный, плохо работающий, пробуждающий воспоминания о том времени, когда моя работа не была обманом и проституцией.

Если бы ты была здесь, ты несла бы его.

Если бы ты была здесь, я шел бы рядом с тобой по дороге, а не жался бы ближе к деревьям, полный совершенно бессмысленного и, прямо сказать, нелепого чувства, что кто-то все время наблюдает за мной. Эти наивные анонимные телефонные звонки, конечно же, выдумал Бёрье, чтобы заставить меня сдаться, все это, разумеется, лишь пустая угроза и вздорная болтовня, и, однако, я не могу избавиться от мысли, что кто-то следит за мной, фиксирует все мои действия (не мог же я опьянеть так от одной бутылки «Каберне»), потому и чувствую что-то вроде дрожи в желудке, смесь страха и сладострастия от сознания, что кто-то наблюдает за мной, это почти религиозное чувство, хотя, если бы существовал бог, который всегда видел бы меня, я никогда бы не был так одинок, а вдруг это ты, вдруг это ты бредешь там по дороге в желтом непромокаемом костюме, нахлобучив на нос панаму, чтобы не стек грим, вдруг это ты с угрюмой миной идешь служить у алтаря Маммоны и смотришь, как я крадусь по обочине дороги среди редко растущих деревьев дождливым и черным осенним вечером.

Даже в темноте я узнаю, где нахожусь. Я выбираюсь на то место, где сделал первые снимки, пока ты мерзла на мосту.

Здесь ничего не изменилось.

В воде лежит и похлюпывает пустая бутылка из-под пива.

Если бы ты была здесь, ты бы дожидалась на мосту, пока я устанавливал «роллейкорд» на штатив и соединял со вспышкой. Ты бы дождалась, когда все будет готово. И нажала бы на спуск.

А сейчас я сам настраиваю аппарат. Устанавливаю объектив на делении четыре метра, заряжаю электронную вспышку и нажимаю на самоспуск затвора.

В моем распоряжении десять секунд, чтобы подскочить к бутылке из-под пива, встать на четвереньки, вынуть «никон» и направить на бутылку объектив.

Я успеваю вовремя.

«Роллейкорд» срабатывает. Я слышу тихий щелчок затвора. В тот же миг вспышка прорезает ночную тьму.

Если бы ты была здесь, ты наверняка успела бы заметить меня на берегу, под дождем, на коленях в тине.

Пятница

Рано утром она позвонила.

— Я не дома,— сказала она.

Голос был тонкий и испуганный, язык с трудом произносил слова, каждый слог стоил больших усилий.

— Я не дома. Я в больнице.

И она попросила меня приехать немедленно. Ее брат, разумеется, запретил ей встречаться со мной, но если дневник действительно у меня, ей надо получить его, это единственное, что еще имеет для нее значение.

— Остальное меня не касается.

Ее поместили в небольшую частную психиатрическую больницу в центре города. В маленькую палату, похожую на неряшливый гостиничный номер.

— Это стоит сотни марок в сутки,— сказала она.— Мой муж придет в ярость.

Она сидела на больничной койке, в халате. Пряди волос падали ей на лицо. Она была бледна, веко подергивалось, ей с трудом удавалось сосредоточить на чем-то взгляд. На щеке у нее виднелся большой синяк.

— Видите ли, я ведь сюда не хотела,— сказала она.— Они принудили меня. Была ужасная драка.

Все началось вчера после обеда. Ее муж позвонил из Иденсальми и сказал, что задержится на день. Потом она в течение трех часов ходила взад-вперед по гостиной и наконец отправилась в Институт судебной медицины. Это был роскошный новый кирпичный дом, но когда она вошла туда, ее вырвало в туалете — она ведь знала, что где-то под ногами, в подвале, лежит ее отец или то, что от него осталось,— она понятия не имела, как вскрывают трупы. После долгих переговоров ей посчастливилось убедить персонал в том, что она действительно дочь Эйнара Сандхольма, и получить наконец заключение экспертизы. Она положила его в сумку, поехала прямо домой и только там прочитала бумагу.

— Он покончил с собой,— сказала она едва слышно.

Прочитав заключение, она вышла на балкон. Но в песочнице играли дети, и она подумала, как они испугаются, если... И потому ушла с балкона и напилась. Вечером позвонил ее брат, прослышав, что она была в Институте судебной медицины. Но она не сказала ему ни слова. Тогда он сам приехал, но едва он вошел, как она налетела на него — ей хотелось выцарапать ему глаза и выбросить с балкона, потом она пала духом и почувствовала, что жизнь оставляет ее, она могла только плакать, а он расспрашивал ее о моем посещении, кто я такой, для какой газеты работаю, о чем мы говорили, и когда она увидела, что он до смерти перепугался, к ней отчасти вернулись силы, но потом пришел врач, началась драка, он сделал ей укол прямо через платье — и все, а потом они привезли ее сюда.

— Он принял пилюли,— сказала она.— Только я не могу понять, где он их раздобыл?

Я отдал ей дневник. Я ведь уже прочел его.

На последней странице была одна-единственная фраза: «Пустите детей приходить ко мне»[1].

[1] Часть фразы из Евангелия: «.. пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие» (от Марка, гл. 10, ст. 14).

Заключение экспертизы

Вскрытие трупа земледельца Эйнара Сандхольма было произведено в Институте судебной медицины. Результаты вскрытия обнаружили:

1) При газохроматографическом анализе печени установлено высокое содержание этаминала, а также наличие диазепама и продукта его расщепления диметилдиазепама (исследов. судебн. химии).

2) Покойный страдал облитерирующим атеросклерозом с обызвествлением и интенсивным сужением артерий сердца, гипертрофией сердечной мышцы и замещением ее волокон соединительной тканью. Кроме того, у покойного диагностирован хронический бронхит, эмфизема легких, хронический катар желудка и доброкачественное увеличение предстательной железы (§§ 6, 7, 8, 9, 11, 14).

3) В теле покойного установлены признаки групного аутолиза — гниения (§§ 2, 3, 5 — 16 и микр. исслед.).

Заключение

Смерть наступила в результате отравления, вызванного снотворными средствами и атарактиками[1].

На основании осмотра места происшествия и результатов судебно-медицинского исследования трупа наиболее вероятным представляется классифицировать данную смерть как самоубийство.

Итоги осмотра места происшествия не противоречат результатам судебно-медицинского исследования трупа.

Рядом с моей машиной, стоящей у тротуара, находится телефонная будка. Я решаюсь на последнюю попытку. Вхожу в будку поднимаю трубку, бросаю монетку в пятьдесят пенни и набираю номер Эйнара Сандхольма.

Но Эйнар Сандхольм мертв.

Его квартира опустела и ждет новых владельцев. Кто-нибудь, вероятно, вынес и телефон тоже. Вообще мне непонятно, зачем я так настойчиво звоню туда — это же дурацкая затея: ведь в тот раз, когда кто-то поднял трубку, я набрал, наверное, не тот номер или, может быть, только внушил себе то, чего не было, ведь это же невероятно — ну кто в его квартире может подойти к телефону?

Но то же самое происходит и на этот раз.

Кто-то поднимает трубку и молчит.

Поэтому я должен съездить туда, в последний раз. Другого выхода нет. Больше нет.

Дом кажется особенно тихим, почти необитаемым. Никакого движения ни в окнах, ни на лестницах.

И вдруг мне начинает казаться, что все случилось давным-давно.

Дворника не видно.

Я подкрадываюсь к двери Сандхольма, останавливаюсь и прислушиваюсь.

Внутри все тихо.

Осторожно, миллиметр за миллиметром, открываю я почтовую створку и заглядываю в квартиру.

Единственное, что можно разглядеть, это ослепительный пол, белые чистые стены и телефон.

Мне вдруг становится страшно. Страх пронизывает меня, пот течет по лицу и ладоням, меня тошнит, и я уже поворачиваюсь спиной к двери, чтобы убежать. Я хочу удрать от всего этого, хочу послать дворнику цветы, хочу сжечь свои снимки, хочу три дня подряд обедать с Бёрье, хочу вынуть свой фотоаппарат, хочу заработать денег, хочу вдолбить какой-нибудь заблудшей девке-первокурснице, что из нее

[1] Транквилизаторы.

выйдет неплохая фотонатура, а потом раздеть ее и лечь с ней в постель, хочу распутничать и лгать, хочу дремать в забытьи, хочу пуститься в загул и проституировать, а о тебе хочу думать, что ты обманщица и блудница,— но слишком поздно.

Я не могу сдвинуться с места.

Меня так сильно тошнит, что, если я сделаю хоть шаг, меня вырвет.

И поэтому я снова поворачиваюсь на сто восемьдесят градусов, втыкаю ключ в замочную скважину, открываю дверь и вхожу в третий раз в бывшее жилище Эйнара Сандхольма.

Она сидит на полу посреди гостиной. Мое появление ее не удивляет. Она лишь бросает на меня быстрый взгляд и утвердительно кивает.

— Что ты здесь делаешь? — спрашиваю я.

— Вяжу,— отвечает она.

— Как ты вошла?

— Через дверь.

— У тебя есть ключ?

Она кивает.

— Так же, как и у тебя,— говорит она.— У тебя и у меня. У нас обоих есть ключ.

И она улыбается мне как единомышленнику.

— Где ты его раздобыла? — удивляюсь я.

— Мне дал его старик,— отвечает она.

Я сажусь на пол рядом с ней.

— Говори шепотом,— предупреждает она.— Иначе они могут услышать.

— Кто?

— Те, д р у г и е.

— Какие другие?

— Те, кто убил его.

Она вдруг перестает вязать.

— Они везде,— говорит она.— Они хотят посадить нас в свои машины. Они хотят дать нам деньги и одежду. Они хотят запереть нас в своих палатах...— Вдруг она вскрикивает:— Они хотят раздеть нас и колоть своими иглами!

Все ее тело сотрясает дрожь.

— Успокойся,— говорю я.

Она достает коробочку с лекарством, сует в рот маленькую пилюлю. И вот уже смотрит на меня спокойными ясными глазами.

— Ты не такой, как они,— говорит она.— Ты такой же, как мы со стариком.

И она снова принимается вязать.

— Ты дала ему свои пилюли? — спрашиваю я.

— Ну да,— отвечает она.

— Зачем? — удивляюсь я.

— Он сам попросил,— говорит она.— Видишь ли, они взяли меня на некоторое время в больницу. И он был тогда так одинок.

В то же мгновение к двери подходит ее мать.

— Открой,— говорит мать.

Она застывает на месте, глаза ее расширяются.

— Я знаю, что ты там,— говорит мать,— сейчас же открой маме дверь!

Она делает мне знак молчать.

— Дружок,— кричит мать за дверью,— я взяла с собой дворника, и если ты не откроешь сама, то он откроет своим ключом.

Она печально смотрит на меня и говорит:

— Они опять нас сейчас схватят.

Я веду машину так, словно ничего не случилось, я внимателен, вежлив, предупредителен, я соблюдаю все без исключения дорожные

правила, я тверд как камень в исполнении водительских обязанностей, я еду, как бюрократ, я думаю только об одном: аккуратно и корректно вести свою колымагу в потоке транспорта, но все-таки то жуткое парализующее чувство отпускает меня лишь тогда, когда я сворачиваю во двор.

Въезжая в ворота, я задеваю правым задним крылом о столб. Машину слегка отбрасывает в сторону, и она останавливается.

Помятая металлическая обшивка лопается со зверским скрежетом. Я ударяюсь плечом о дверцу машины и чувствую, как боль разливается по руке от плеча вниз, и в тот же миг из-за угла дома выскакивает какой-то мужчина и направляется ко мне.

«Сейчас они схватят меня»,— думаю я.

И вдруг узнаю его.

Это Лейф.

— Какого черта ты выделываешь? — спрашивает он.

Ну разве можно объяснить ему, что я выделываю,— нет, я просто сочиняю, что пытался объехать камень на дороге, чему он, разумеется, не верит.

— Считай, что потерял несколько сотен, старик,— говорит он, с компетентным видом изучая поврежденную обшивку.

И разве я могу рассказать ему, что несколько сотен — это так мало по сравнению с тем, что некоторое время тому назад я мог потерять несколько зубов, остаться с изуродованным лицом, лишиться сознания, а может быть, и жизни?

— А я-то полагал, что ты часто въезжаешь в эти ворота,— произносит Лейф.

Он, разумеется, думает, что я пьян, потому что я стою и разламываю веточку на чудовищно маленькие кусочки, чтобы хоть чем-то занять дрожащие руки, между прочим, дворник тоже не выглядел совсем трезвым, но когда он взглянул на меня, его движения приобрели кошачью мягкость, а голос — особую вкрадчивость, в то время как тетка кричала и шумела, а дочь, потупившись и прижав к себе вязание, покорно ждала, как и куда ее уведут. Но дворник сказал, что он порадеет обо мне, он позвонит в полицию, он обо всем позаботится, и было в его голосе что-то такое, отчего старая карга схватила дочь за руку и убралась восвояси, а потом мы с дворником стояли на лестничной площадке у двери Эйнара Сандхольма, и я понял тогда, что все произошло совсем не так, как я задумал.

— Н-да,— говорит Лейф.— Мы ведь приехали за Фридой.

— Знаю,— отвечаю я.— Очень приятно.

— Что именно? — не понимает он.

— Что она едет к вам погостить,— говорю я.

— Когда она обычно ложится спать? — спрашивает он.

— По-разному,— отвечаю я.

— Как по-разному? — переспрашивает он.

— Ну, в зависимости от того, как устанет,— говорю я.— Или когда ты устанешь от нее.

— Я не особенно привык заниматься детьми,— объясняет он.

— Ну да,— говорю я.— У вас с Моной так много других занятий.

Он враждебно разглядывает меня.

— Смотрю вот я на твой дом,— произносит он.

— Смотри на здоровье,— говорю я.

— Он вот-вот развалится,— заканчивает Лейф.

Это, вероятно, означает, что он злится, но разве он в состоянии понять, что я махнул рукой на его мелочные подкалыванья, разве он когда-нибудь поймет, что, несмотря на нашу с ним скрытую вражду, я благодарен сейчас судьбе за то, что стою здесь, а не валяюсь, избитый и изувеченный, в какой-нибудь сырой и темной котельной. Где ему понять, что даже помятое крыло автомобиля и легкая боль в плече доставляют мне удовольствие, почти радость. Как будто бы я вы-

полнил некую таинственную церемонию, ритуал, как будто вернул долг вежливости, как будто своей машиной и плечом заплатил за то, чтобы самому выйти невредимым из этой переделки. И если бы та незнакомая дама со шпицем прошла сейчас мимо, та незнакомая дама, которая вышла из своей квартиры на третьем этаже в тот момент, когда старая карга с дочерью закрывали за собой дверь, дама, которая не поехала на лифте, а пошла вниз пешком, мирно беседуя с собачкой, дама, похожая на чудесного посланника, возникшего на лестничной площадке между вторым и третьим этажом, дама, спустившаяся потом еще ниже, на второй этаж, где стояли мы с дворником,— если бы она прошла сейчас мимо, та незнакомая дама, я бы указал на свое обшарпанное дерьмовое убежище на колесах и сказал: «Посмотрите. Я вернул свой долг». Но она бы тоже не поняла меня. Она бы только дружелюбно улыбнулась и подумала, что это тот самый незнакомец, который был так очарован моим песиком и который почему-то стоял перед дверью той ужасной квартиры вместе с дворником,— незнакомец, который так любезно заговорил со мной, похлопал и похвалил моего маленького Бинго и который, однако же, выглядел немного странно, все время оглядывался, хотя за ним никто не шел, кроме дворника, сквернословившего себе под нос — такой некультурный тип,— незнакомец, который на улице вдруг бросился к своей машине, словно убегал от кого-то, а дворник стоял в дверях и таращил глаза — как все-таки странно ведут себя люди в наше время.

— Ты сегодня не так разговорчив, как однажды ночью,— говорит Лейф.

Прежде чем я успеваю ответить, дверь дома распахивается и Фрида вприпрыжку сбегает вниз по ступенькам, а за ней появляется Мона с чемоданом, хлопотливая и пышная, и когда только она успела так ужасно растолстеть? Но все быстро разъясняется.

— Папа, папа,— кричит Фрида. — У меня будет братик или сестричка!

Мона с Лейфом стоят рядом, смотрят себе под ноги, краснеют и вообще выглядят очень глупо.

— Ты не хочешь нас поздравить? — спрашивает Мона.

— Поздравляю,— отвечаю я.

— Фрида так обрадовалась,— говорит Мона. — Правда, Фрида?

— Я хочу мальчика,— заявляет дочь.

— Никогда не знаешь, что получится,— отвечает на это Лейф.

— Во всяком случае я хочу мальчика,— говорит Фрида.

— Хорошо, что вы приготовили Фриде комнату,— говорю я. — Вам ведь будет нужна нянька для ребенка.

— Кристоффер,— произносит Мона угрожающе.

— А ты куда поедешь, папа? — спрашивает Фрида.

— Когда? — удивляюсь я.

— Сейчас, когда я уеду,— говорит она. — Куда ты поедешь?

— Никуда,— отвечаю я. — Я останусь здесь, дома, и буду ждать тебя.

— Я так не хочу,— говорит Фрида с несчастным видом.

— Почему? — спрашиваю я.

— Потому что я хочу, чтобы мы оба уехали,— отвечает она.

— Почему ты хочешь, чтобы я тоже уехал? — спрашиваю я.

— Да потому что иначе тебе будет так одиноко,— говорит она.

Тогда я беру ее на руки, и мы крепко обнимаем друг друга Она стискивает меня ручонками за шею и несколько раз всхлипывает. Бесполезно пытаться лгать ей, утешать ее, говорить, что я не буду чувствовать себя одиноким. Она не поверит ни одному слову, только хуже получится. Поэтому мы просто обнимаем друг друга — и все.

— Я быстро вернусь,— говорит Фрида.

— Я знаю,— говорю я.

— Ты думаешь, яблоко упадет сегодня ночью? — спрашивает Фрида.

— Спорим? — говорю я.

— Мы могли бы встретиться на будущей неделе,— предлагает Мона.

— Да, давайте встретимся,— откликаюсь я.

— Нам о многом надо поговорить,— замечает Мона.

—. Возможно,— соглашаюсь я.

— До свидания, папа,— говорит Фрида.

— До свидания, Фрида,— говорю я.

И они уходят. Они направляются к машине Лейфа, которая стоит за воротами. Укладывают в багажник чемодан. Лейф садится за руль, Мона — рядом с ним. Фрида влезает на заднее сиденье. Двери закрываются за ними, и машина трогается. Они уезжают втроем: мужчина, беременная женщина и ребенок, все вместе — одно это наполняет меня отвращением, омерзением и глубочайшей завистью. Я хочу ворваться к ним, разлучить их, вырвать из живота Моны еще не родившегося ребенка. Я хочу объяснить им, что они ошибаются — ведь все равно рано или поздно кто-то выходит из машины, рано или поздно кто-то пересаживается в другую машину, и все равно, в конце концов, сидишь один в своей машине, в своей комнате,— такой одинокий, что никто даже и не заметит, что ты умер. И я хочу ринуться вслед за ними, броситься перед их машиной, умолять их взять меня с собой, не оставлять меня здесь, но я по-прежнему стою и машу Фриде, которая припадает лицом к заднему стеклу и смотрит на меня до тех пор, пока машина не исчезает за холмом.

Но прежде чем я успеваю по-настоящему зареветь, ко мне подходит Сири и — черт побери! — у нее тоже сумка в руке.

— Я думала погостить у сестры до понедельника,— говорит она. — Если вы не возражаете.

Она протягивает мне письмо.

— Вот, принесли,— говорит она. — Заказное письмо из Франции.

Нет, Кристоффер, нет!

Надо сказать сразу и без обиняков: мы с тобой никогда больше не будем вместе.

Я, разумеется, не обязана давать тебе какие-либо объяснения. Ты не писал мне с тех пор, как я уехала. Но это еще не все. В большинстве мои письма к Фриде вернулись нераспечатанными. Едва ли это была ее идея. Ты, по-видимому, перехватывал письма у нее под носом. Ты просто-напросто подвергал цензуре ее почту, ты, который частенько болтал о свободе, как об одной из важнейших составляющих достойной жизни человека. Это было отвратительно, и, кроме того, сначала твоя затея имела успех: я почувствовала себя оплеванной, зловредной для Фриды, просто-напросто виноватой.

Но все прошло. Образ, который ты создал,— это была не я, а плод твоего воображения. В котором я не могла узнать себя.

Иногда мне кажется, что свобода в том и заключается, чтобы освободиться от представлений других о себе.

Иногда я думаю: а полезен ли ты сам для Фриды?

Твое письмо прилетело ко мне внезапно, как отзвук далеких лет. Я узнала его сразу же, как узнаешь себя на пожелтевшей детской фотографии. Я прижимаю его к груди. Я улыбаюсь ему.

Оно не причиняет боли. Больше уже не причиняет.

Я теперь живу совсем иначе. В коллективе. Нас пятеро взрослых и двое детей. Мы все вместе работаем над короткометражными фильмами.

Групповой секс — ты бы, вероятно, это так назвал. Я все еще вижу, как ты поднимаешь брови, равнодушно и презрительно. Я слышу твой голос. «Групповой секс и оппортунизм»,— говоришь ты.

И так было всегда. Ты брал у меня что-то и переиначивал, отнимал просто-напросто, и оно переставало быть моим.

Оно становилось твоим.

Но мне все равно. Это ведь твои фотографии, не мои.

Я не знаю, что пишут обо мне дома. Я по-прежнему подрабатываю в качестве манекенщицы, когда нам бывают нужны деньги для наших фильмов. Это так здорово, вырядиться и кривляться перед объективами фотоаппаратов, зная, что больше не зависишь от них. Бёрье упорно посылает мне вырезки из финских еженедельников. Там публикуют без разрешения наиболее ошеломляющие сообщения о моей персоне. Я собираюсь натравить на них какого-нибудь юркого законоеда, то есть законоведа.

Иногда я вижу снимки, сделанные тобой. И меня очень огорчает, что они стали такими пустыми и незначительными. И все-таки мне кажется, что я узнаю в них тебя. Как будто бы крик о помощи прорывается сквозь все изощренные эффекты и яркие трюки.

И это ты?

Ты ничему тогда не научился?

Иногда я чувствую что-то похожее на тоску при мысли о тебе. Иногда я вспоминаю, как мы ездили весной в Нукс и гуляли по лесу. Фрида бегала вокруг нас и собирала подснежники.

Иногда я вспоминаю, как вечерами свивала себе гнездо в твоей постели, и в нем для меня заключался весь мир.

Но нельзя собрать прошлогодние подснежники.

Странно, но, читая это письмо, я сел на землю. Я вспомнил об этом позднее, когда уже поднялся на чердак. Я вспомнил, что стоял во дворе и смотрел вслед Сири, которая легкими крадущимися шагами шла к автобусной остановке.

Итак, я вскрыл письмо и стал читать.

А когда кончил, оказалось, что я сижу на земле.

Как будто земля притянула меня к себе Или поднялась мне навстречу. А потом я совершил еще один странный поступок: я начал рыть яму в земле.

Я рыл обеими руками. Ногти поломались, и было ужасно больно.

Наконец я вырыл достаточно глубокую яму. Тогда я взял письмо и сложил его так, что оно стало размером со спичечный коробок.

Я положил письмо в яму и засыпал землей.

Я предал его земле.

Я похоронил твое письмо.

И в тот же миг за домом послышались голоса.

Меня объял ужас. «Только не сейчас,— подумал я. — Дайте мне сначала закончить».

Подкравшись, я осторожно выглянул из-за угла дома.

На соседнем участке стояли какие-то люди, буднично одетые, и разговаривали. Они указывали в мою сторону, смотрели на наш дом, разговаривали и жестикулировали.

Потом они зашли к соседу.

Я прокрался в дом через черный ход. Вошел в гостиную. Опустил все шторы. Зажег свет и уселся за письменный стол.

Этого было недостаточно.

Я вошел в темную комнату. И запер за собой дверь.

Но и этого было недостаточно.

Я бродил взад-вперед по квартире Было совсем тихо В комнате Фриды лежали ее игрушечные звери, они были разбросаны как попало на кровати и на полу.

Я подкрался к окну и выглянул наружу По дороге ехала на велосипеде молодая женщина. На багажнике у нее сидел ребенок и кричал.

И больше никого не было видно.

В ванной капал кран. Это был очень громкий и непривычно пугающий звук. Я взял тряпку и заткнул ею отверстие крана.

И все-таки этого было недостаточно.

Когда зазвонил телефон, я так испугался, что даже вскрикнул.

И пока звонки неумолимо повторялись раз за разом, я взял блокнот и ручку и взбежал по лестнице вверх до самого конца, на чердак.

В самом дальнем углу чердака под окном стояла старая парта.

Там я уселся.

Там я начал писать текст к своим фотографиям.

Там я начал писать об Эйнаре Сандхольме.

Спускаясь вниз по чердачной лестнице, я слышу, как хлопают дверцы машины.

Поворачиваю обратно. Крадусь вверх по лестнице. Беру маленькую скамеечку и ставлю ее на крышку парты. Потом взбираюсь на скамеечку.

Сейчас мне хорошо видно из чердачного окошка.

Их двое. За воротами они оставили машину, черную «ладу». И направляются к дому.

Два дюжих мужика. И притом молодых. По их одежде ничего нельзя сказать. Одежда как одежда.

Они направляются к дому. И все время озираются, словно боятся быть замеченными.

Один что-то говорит другому. И оба улыбаются.

Они подходят к входной двери.

Они звонят. Мне нетрудно услышать звонок в пустом доме, двумя этажами ниже.

Они отступают на несколько шагов. И разглядывают дом.

Тут они замечают входную дверь, ведущую в бабушкину квартиру. Они шагают вверх по лестнице и звонят.

Снова я слышу звонок.

Теперь уже этажом ниже.

С задумчивым видом они спускаются во двор. Один из них снимает кепку и чешет голову. Другой вынимает из кармана трубку-носогрейку и засовывает в рот.

Он не разжигает ее.

Потом они как по команде расходятся в разные стороны и обходят дом.

Они исчезают из моего поля зрения.

И тут я вдруг вспоминаю, что дверь погреба не заперта.

Замок испорчен, и я все время забываю его починить. Снаружи этого не заметно, дверь кажется запертой. Но достаточно толкнуть ее, чтобы она открылась.

Вскоре я слышу, как они расхаживают по первому этажу. Долго расхаживают.

Потом я слышу, как они поднимаются вверх по лестнице.

Они ходят из комнаты в комнату. И наконец останавливаются в холле. Они разговаривают между собой. Но я не могу расслышать, о чем они говорят.

Они открывают дверь на чердачную лестницу.

— Ага,— говорит один из них. — Эта лестница ведет на чердак.

— Там наверное живут одни домовые,— отвечает другой.

На мгновение становится тихо.

— Пойдем,— снова говорит первый. — Никого нет дома.

Они закрывают дверь.

Спускаются вниз, выходят из дома и через двор направляются к воротам.

Тут они останавливаются. Тот, что с носогрейкой в зубах, разжигает трубку.

Они в последний раз оглядываются на дом.
Потом садятся в машину и уезжают.

— А-а,— говорит Бёрье. — Так вот они какие.
Он сидит за письменным столом у себя в гостиной.
Перед ним лежат фотографии.
Он вздыхает.
Встает. Берет бутылку виски. Наливает в два стакана. И протягивает один мне.
— За твое здоровье,— говорит он устало.
Он делает большой глоток.
Я делаю два.
— Эх, напьюсь я сегодня,— говорит он.
— Ты поместишь их в следующий номер? — спрашиваю я.
— Нет.
— Ну тогда,— говорю я,— они могут быть напечатаны через неделю. Это не имеет значения.
— Нет,— говорит он. — Ты ошибаешься. Они вообще не будут напечатаны.
Он берет со стола один из снимков. И с минуту глядит на него, сидя совсем тихо,— рот полуоткрыт, взгляд тусклый.
Он вдруг стареет на глазах.
— Они запретили мне,— говорит он.
— Кто?
— Начальство.
— Почему?
— Кто-то свыше замешан в этом деле.
Он сует снимки в конверт и заклеивает его.
— Во всяком случае я могу купить их у тебя,— говорит он.
Я беру конверт и кладу его в портфель.
— Оставь свои деньги при себе,— заявляю я.
— Старый осел,— говорит он. — Ты так и останешься лидером бойскаутов. Я чертовски люблю тебя.

СУББОТА

Я не рискую ехать домой в эту ночь.
Бёрье разрешает мне поспать на диване в гостиной. Несколько часов подряд мы сидим с ним и выпиваем. Я чувствую, как во мне нарастают усталость и грусть. К чему на него сердиться? Ведь на это уходит столько сил. Мне грустно. Что-то кончается.
Я отдаляюсь от Эйнара Сандхольма.
С Бёрье мы разговариваем о прошлом. У нас так много общих воспоминаний. Мы сидим и перебираем их. Мы говорим медленно и печально. У нас с ним очень много времени.
Кажется, что между нами тоже что-то кончается.
Он спрашивает, не хочу ли я позвонить каким-нибудь девочкам. Но это ни к чему. Он уговаривает меня отдать ему конверт, взять деньги и все забыть.
Но это тоже ни к чему.
Мы говорим о нашей работе так, словно мы уже пенсионеры и все наши дела позади. Мы говорим о нашей дружбе так, словно ее уже нет. Мы говорим о нашей жизни так, словно она уже подошла к концу.
Мы пьем.
Такое чувство, будто один из нас собирается в далекое путешествие. Может быть, потому я и люблю его в этот вечер.
Наконец мы здорово напились.
Я растягиваюсь на диване в одежде. Он приносит шерстяное одеяло и накрывает меня. Я беру портфель и кладу его под голову.

Уже засыпая, я начинаю плакать, тихо, почти беззвучно.

Мне снится, что я стою у вырытой могилы. Напротив меня, по ту сторону, стоят его дочь, Бёрье и двое незнакомых мужчин.

В могиле лежит он сам.

У меня в руке лопата. Они уговаривают меня закопать могилу.

Но ведь он еще жив. Я пытаюсь объяснить им, что нельзя хоронить живого, но они совсем не слушают меня, в них нарастает нетерпение, в них нарастает угроза, и мне вдруг становится ясно, что если я не сделаю, как они хотят, то они и меня сбросят в могилу, они сбросят меня в его могилу, и поэтому я беру на лопату немного земли и осторожно ссыпаю ее вниз, ему на ноги.

«Извините»,— говорю я.

Он лежит тихо, смотрит в небо и молчит.

А я забрасываю его землей, лопата за лопатой.

Наконец остается одно лицо.

И я больше не могу. Я швыряю лопату и убегаю, но они мчатся за мной, они все время мчатся за мной по пятам...

Я просыпаюсь.

Звонят в дверь.

Бёрье спит. Из его спальни доносится такой храп, что, вероятно, на улице слышно.

Я сажусь на диван.

Снова звонок в дверь — короткий, сильный, агрессивный звонок.

Он пугает меня.

Я подкрадываюсь к входной двери, куда Бёрье вставил небольшой глазок типа fish-eye [1]: он говорит, что при его работе надо знать, кому открываешь дверь.

Я прикладываюсь к глазку.

На лестничной площадке стоят два мужика.

Одного я узнаю.

У него во рту носогрейка.

Он вытянулся прямо напротив звонка. Его лицо неестественно увеличено. Между нашими головами не более десяти сантиметров, и в ту же минуту снова раздается звонок, жесткий и повелительный, как удар в живот.

Я весь обливаюсь потом. Утробный крик подступает к горлу. Чтобы удержать его, я зажимаю рот обеими руками.

Но, охваченный ужасом, я вдруг вспоминаю, что в квартире Бёрье два выхода.

Я крадусь обратно в гостиную. Бёрье перестал храпеть. Кажется, он вот-вот поднимется.

Я беру портфель под мышку и выбегаю через черный ход.

Все уже на месте, когда я прихожу.

На передней скамье, слева от центрального прохода, сидит его дочь. Справа от нее — его сын. Слева от нее — его зять.

Впереди стоит священник.

Рядом с ним в белом простом гробу лежит Эйнар Сандхольм.

Я сажусь позади всех.

Они оборачиваются, все трое. И смотрят на меня.

Потом сын наклоняется к дочери и шепчет что-то ей на ухо.

Она кивает.

Он поднимается и быстрым шагом выходит из церкви.

Дочь оборачивается и протягивает руку, словно для того чтобы вернуть его.

Священник сбивается.

— Что-то не так? — спрашивает он.

— Продолжайте-продолжайте,— бормочет зять.

[1] Рыбий глаз *(англ.)*.

Сын возвращается через несколько минут. Дочь что-то шепчет ему. Он не отвечает, а сидит словно аршин проглотил и только отворачивается.

А священник продолжает говорить. Это человек, который серьезно относится к своим обязанностям. Он многословен, он буквально плавает в словах, он крутит и вертит старые фразы, он шлифует их, как драгоценные камни,— короче говоря, он на своем коньке, и если такие люди и познают разочарование, то лишь оттого, что не могут сказать речь на собственных похоронах.

Дочь не слушает. Я вижу это по ее спине.

И вот приходит время класть на гроб венки.

Сын и зять поднимаются. Дочь по-прежнему сидит.

— Идите сначала вы,— говорит она.

Зять пожимает плечами. Мужчины вдвоем подходят к гробу. Ставят свои венки по обе стороны, хлопочут, суетятся, словно речь идет об исполнении сложных обязанностей. Несколько мгновений они стоят у гроба с опущенной головой. А потом снова садятся.

Дочь кладет свой венок на крышку гроба, посередине. И стоит у гроба, долго-долго. Вдруг она покачнулась. Мужчины бросаются к ней.

— Оставьте меня! — вскрикивает она. — Прочь от меня!

Ее голос как удар хлыста в этой пустой церкви.

Она садится отдельно от всех, по другую сторону от центрального прохода.

Сын качает головой. Зять пожимает плечами.

Я подхожу к гробу. С маленьким венком. Я кладу его поверх дочернего.

Я не чувствую горя. Я уже простился с Эйнаром Сандхольмом. Я пришел сюда, чтобы почтить его память,— это просто ритуал.

Я чувствую только любопытство:

Что от него осталось? Что сейчас лежит в гробу? И как оно выглядит?

Это неожиданное чувство мгновенно наполняет меня стыдом.

Я отворачиваюсь.

В тот же миг они входят в церковь.

Он сунул носогрейку в карман.

Они останавливаются в дверях.

И тут до меня доходит: сын звонил им.

И я сдаюсь.

Еле передвигая ноги, я выхожу из церкви. Они идут следом.

Они встают передо мной на паперти.

Они называют мое имя.

Я киваю.

Мужчина с носогрейкой сует руку в карман.

«Вот так, стало быть, все и кончится,— думаю я. — На похоронах. Прямо на паперти».

Как все-таки нелепо.

Но мужчина выуживает из кармана удостоверение.

— Уголовная полиция,— говорит он. — Будьте добры, следуйте за нами!

Мужчину с носогрейкой, констебля первого следственного отдела полиции, зовут Тёрмэнен. Он даже не противится, когда я чуть было не бросаюсь ему на шею от радости, а ведет меня прямо в комнату для допросов на улице Софии. Там он садится на подоконник, жует свою незажженную носогрейку и выжидающе смотрит на меня.

— С чего начнем? — спрашивает он.

А я ничего и не скрываю. Я рассказываю все, от начала и до конца.

Но о Бёрье я молчу. О дворнике тоже.

Вид у него, скорее всего, безразличный. Словно он слышал все это раньше.

— Как вы узнали о его смерти? — спрашивает он.

Я молчу.

— Как вы проникли в его квартиру?

— Я вынужден охранять источники своей информации,— говорю я. — На это есть определенный закон.

С минуту он молчит.

Потом говорит:

— В вашем положении я бы рассказал всю историю.

— Почему? — спрашиваю я. — Я ведь не сделал ничего незаконного!

— Вы взяли его дневник. Это называется похитить чужое имущество. Украсть, иными словами.

— Ну и что? Я же вернул его.

— Вы, кроме того, обнаружили труп и не сообщили об этом властям. Это тоже незаконно.

— А законно — допустить, чтобы он умер?

Тёрмэнен вздыхает.

— Я не знаю параграфов, которые бы запрещали это,— отвечает он.

Потом набивает трубку, зажигает ее и говорит:

— Дайте мне ключ.

— Откуда вы знаете, что он у меня есть?

— Обычно пользуются ключом, пробираясь через запертые двери,— произносит он сухо.

Я снимаю ключ с брелока и отдаю ему. Он бросает на него мимолетный взгляд.

— Новый,— говорит он.— Каким образом вы достали его?

Я молчу.

— Вам бы не повредило, если бы вы поменьше упрямились,— замечает он.

Но я, вместо того чтобы последовать его совету, достаю свои фотографии.

Его это вовсе не интересует.

— Вы знаете, сколько фотографий такого рода у нас в архиве? — спрашивает он.

И мы опять с минуту сидим и молчим.

— Расскажите мне, как все началось,— говорит он.

Я молчу.

Он вздыхает. И нажимает на кнопку селектора.

— Приведите сюда того журналиста,— говорит он.

И через несколько мгновений Бёрье переступает порог комнаты.

Я испытываю облегчение. Я хочу броситься к нему и сердечно его обнять.

— Теперь все разъяснится,— говорю я.

— Что именно? — спрашивает Бёрье.

— Здесь я задаю вопросы,— произносит Тёрмэнен. — Вы знакомы с этим мужчиной?

— Да,— отвечает Бёрье.

— Каким образом?

— Он делал кое-что для моей газеты.

— Иными словами, вы сотрудничали?

— Иногда.

— Вы видели эти фотографии?

— Да.

— Когда?

— Вчера. Я отказался от них.

— Почему.

— Я... они мне не нужны.

— Как возникли эти фотографии?

— Что?

— Каким образом этот человек проник в квартиру и сделал снимки?

— Понятия не имею.

Он стоит посреди комнаты, уверенный и спокойный, взгляд твердый, речь ясная.

— Понятия не имеете? — спрашивает Тёрмэнен.

— Понятия не имею,— отвечает Бёрье.

— Это все, что вы можете сказать?

— Да, это все.

— Но, Бёрье... — говорю я.

— Спасибо,— произносит Тёрмэнен,— вы можете идти.

Некоторое время он молча сидит и смотрит на меня.

— Ну? — говорит он наконец. — Хотите что-нибудь добавить?

«Каким он выглядел невозмутимым,— думаю я.— Как легко это далось ему».

— Я помогу вам начать,— говорит Тёрмэнен. — Этот парень позвонил вам. А ключ вы получили у дворника.

Я чувствую, что вот-вот заплачу.

Я киваю.

— Видите ли, мы беседовали с дворником,— сообщает он.

Он сует трубку в карман и смотрит в окно.

— Успокойтесь,— говорит он.— Вам не грозит пожизненное тюремное заключение.

— Вы думаете, мне следовало стать лидером бойскаутов? — спрашиваю я.

Он нисколько не удивляется.

— Почему бы и нет,— говорит он.

Она лежит в небольшой палате. Из мебели здесь только шкаф, стол, стул, кровать и прикроватная тумбочка. Медицинская сестра сопровождает меня, поднимает верхнюю часть кровати, поправляет подушки.

— К нам гости,— говорит сестра весело.

Она не отвечает. Она предоставляет другим заботиться о ней.

— Мы погуляем немного в коридоре,— обращаюсь я к сестре. — Доктор разрешил.

— Хорошо,— соглашается сестра.

Она наливает воду в стакан. И вынимает пилюлю из маленькой пластмассовой капсулы.

— Только примем вот это,— говорит она.

Бабушка испуганно разглядывает пилюлю. И качает головой.

— Будьте добры, госпожа,— мягко произносит сестра.

— Позвольте мне самому позаботиться об этом,— предлагаю я.

— Пожалуйста,— соглашается она. — Не буду вам больше мешать. Через час будем кормить больных, тогда и увидимся!

Она исчезает в дверях.

Я сажусь на край постели.

Бабушка берет пилюлю и отдает ее мне.

— Проглоти ее сам,— говорит она устало.— А я не хочу.

Я беру стакан с водой и запиваю пилюлю.

В ее глазах пробуждается жизнь.

— Ты проглотил ее,— удивляется она. — Ты ее проглотил.

— Ну да,— отвечаю я.

— Это ужасно мило,— произносит она. — Но ты можешь заболеть?

— Вряд ли,— говорю я.

Она похлопывает меня по руке.

— Вот бы они узнали... — говорит она.

Это ее веселит. И она вдруг улыбается.

— Ты полил мои цветы? — спрашивает она.

— Нет,— отвечаю я. — Не так легко все упомнить, когда бабушки нет дома.

— Неужели? — произносит она недовольно.

Она хватает одеяло и тянет его, ворчливо посапывая.

— Сири знает, как надо стелить постель,— говорит она. — Сири дома?

— Нет,— отвечаю я.

— Как это — нет?

— Она уехала дня на два.

— На это я не давала разрешения! — говорит бабушка сердито.

— Трудно, бабушка, без вас.

Она беспомощно смотрит на меня.

Нет.

Этому не бывать.

— Бабушка, поедемте домой,— говорю я. — Это так важно для всех нас.

Я помогаю ей встать с постели, надеваю на нее халат. Нахожу в шкафу плед, сворачиваю его и кладу в портфель.

Она берет дедушкину палку.

Мы выходим из палаты и прогуливаемся по коридору.

Сестра сидит за своим столом. И дружелюбно улыбается.

Мы прогуливаемся. Но все время стараемся держаться поближе к входной двери.

Наконец сестра поднимается, выходит из-за стола и исчезает в конце коридора.

И тогда мы убегаем. Садимся в мою машину.

Я достаю плед, закутываю в него бабушку.

И мы уезжаем.

— Пусть сами едят свои пилюли,— бормочет она.

По приезде домой она сразу же отправляется спать.

Я стелю ей постель.

— Хорошо,— говорит она. — Вот как надо стелить постели.

— Да,— говорю я.

— Сири приедет завтра?

— Да.

— Хорошо. Завтра я опять встану.

Она укладывается поудобнее.

— Я, пожалуй, схожу в баню,— говорит она сонно. — Любезная банщица заждалась меня...

И она сразу засыпает.

Я вхожу в темную комнату и закрываю дверь.

Они отказались напечатать мои снимки. Они забрали их у меня. Они сказали, что я избегну обвинения только в том случае, если обяжусь никогда их не печатать.

А, будь что будет.

У меня ведь остались негативы.

И, вероятно, есть другие газеты.

Поэтому я разыскиваю негативы. Сажусь перед увеличителем. Кладу пробный негатив в негативную рамку. Ставлю красный фильтр под объектив увеличителя и включаю в увеличителе свет.

На подставке лежит другой негатив.

Я беру фотобумагу. И после экспонирования кладу ее в проявитель.

Изображение появляется медленно. На побережье перед бутылкой из-под пива сидит мужчина в непромокаемой одежде, направив на бутылку объектив фотоаппарата.

Звонок.

Я выхожу из темной комнаты. И направляюсь к телефону.

Дверь остается открытой.

Это Фрида.

— Здравствуй, папа,— говорит она.

— Здравствуй, Фрида,— отвечаю я.

Я стою, вслушиваясь в ее голос, и знаю, что свет просачивается в мою темную комнату. Я знаю, что он коснется светочувствительных частиц на снимке, который лежит в проявителе, незащищенный, незафиксированный. Я знаю, что снимок начнет медленно покрываться серой пленкой, которая постепенно будет темнеть, пока не станет совсем черной. И когда я вернусь в темную комнату, чтобы продолжить работу, снимка уже не будет, останется лишь черный, как ночь, прямоугольник фотобумаги.

— Здравствуй, папа,— говорит она. — Я только хотела узнать, дома ли ты.

— Да,— отвечаю я. — Дома. И бабушка тоже.

— Как хорошо,— радуется она. — Значит, ты не так одинок.

— Нет,— говорю я.

— А яблоко упало? — спрашивает она.

Я бросаю взгляд в окно.

— Да,— говорю я. — Да, Фрида. Оно наконец упало.

■

АЛЬФОНСО БАРРЕРА ВАЛЬВЕРДЕ

Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки

РОМАН

Перевод с испанского Л. НОВИКОВОЙ

В эквадорской литературе семидесятых годов заявил о себе новый прозаик — Альфонсо Баррера Вальверде, ранее выступавший лишь в поэзии. Сборники его стихотворений в свое время нашли теплый отклик в национальной печати, а прославленный бард страны полусотни вулканов Хорхе Каррера Андраде, строфы которого печатались и в нашем журнале (см. «ИЛ» № 2 за 1965 и № 12 за 1967 гг.), назвал Барреру Вальверде «значительнейшим поэтом нового поколения Эквадора», однако наибольшее внимание литературной критики Латинской Америки и Испании привлекли романы дебютанта в прозе, особенно «Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки».

Героями романов Барреры Вальверде выведены индейцы и метисы родной страны. Видимо, это обстоятельство и затрудняло автора ранее проявить себя — перед ним стояла весьма сложная задача: как-то по-новому сказать слово о тех, кто составляет основное ядро эквадорской нации. Не идти по проторенным путям. Не повторяться.

В литературе Эквадора насчитывается много произведений, так или иначе рисующих жизнь и труд индейской части населения. Эта тема издавна доминировала в творчестве эквадорских писателей. Кто только не писал о коренных жителях кордильер Анд или Атлантического побережья! Еще в прошлом веке хрестоматийным признавался роман «Куманда́» Хуана Леона Меры, ярого клерикала и консерватора, написавшего свою книгу в столь чуждом, «европеизированном» стиле и духе, что, по суждению современного поэта Хорхе Энрике Адоума, она скорее походила на имитацию «Аталы» Шатобриана. В нынешнем же веке власть имущие не скупились превозносить до небес Гонсало Сальдумбиде, в «Трагической эклоге» изобразившего индейцев и метисов с точки зрения латифундиста. Чуть не единственным исключением в литературной панораме долго оставался вышедший в начале столетия, знакомый и нашим читателям, реалистический роман Луиса А. Мартинеса «К берегу», затрагивавший, правда, один из аспектов проблемы. Поток индеанистских и лжеиндеанистских, подчас открыто тенденциозных романов, повестей, рассказов заставил видного эквадорского прогрессивного прозаика Хосе де ла Куадру заметить, что к трем извечным эксплуататорам бедного, бесправного индейца — к представителю власти, помещику и священнику — примешался еще четвертый: писатель. А что мог сказать в свою защиту неграмотный, забитый, замученный каторжным трудом индеец?

Так было до 1930 года, когда в литературу ворвалась знаменитая плеяда талантливых писателей-реалистов из Гуаякиля — Хоакин Гальегос Лара, Энрике Хиль Хильберт (впоследствии секретарь ЦК Коммунистической партии Эквадора), Деметрио Агилера Мальта, Альфредо Пареха Диес-Кансеко, Хосе де ла Куадра, в своих остросоциальных произведениях смело и ярко рассказавших о драматическом положении индейца и метиса, открывших новую главу в летописи эквадорской прозы. Так было до того, как в 1934 году увидел свет вскоре завоевавший мировую известность роман «Уасипунго» Хорхе Икасы (вспомним, спустя какие-то месяцы после первой публикации романа в Кито московский журнал «Интернациональная литература» представил его советским читателям, в 1976 году это произведение у нас было заново издано), затем последовали другие книги выдающегося певца индейцев Эквадора, также переводившиеся на русский язык (см. «ИЛ» № 1, 1973).

На этом фоне, естественно, возрастала сложность задачи, взятой на себя Альфонсо Баррерой Вальверде.

© Alfonso Barrera Valverde, 1980.

Уроженцу провинциального городка Амбато, расположенного на высокогорном плато неподалеку от гигантских вулканов Тунгурауа и Чимборасо и населенного главным образом индейцами и метисами, Баррере Вальверде не потребовалось, подобно авторам «Куманды» и «Трагической эклоги», выдумывать персонажей своих романов. Здесь, в Амбато, с детства усваивались уроки великого земляка писателя-демократа Хуана Монтальво, в XIX веке отстаивавшего правду жизни, национальную культуру, страстно боровшегося с мракобесами, превращавшими страну в огромный монастырь, а людей — в рабов (Хосе Марти о нем писал: «У этого исполина метиса вдохновение Сервантеса и палица Лютера»).

Из жизни пришла на страницы романа «Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки» Матушка Сойла — олицетворение народа Эквадора, воплотившая в себе черты и индейцев, и метисов, и креолов. По словам писателя, он лично знал Матушку Сойлу, старую прачку, выдержавшую немало ударов судьбы, пребывавшую в нищете, но сохранившую величие души, народную мудрость. Знал он и ее сына, действительно работавшего каменщиком. Жизненны, правдивы и другие персонажи романа — писатель их встречал и в родном Амбато, и в столице Кито.

Альфонсо Баррера Вальверде, по суждению латиноамериканского критика, создал «сагу об одной семье, о своей стране, по меньшей мере о Городе-на-Холмах», в последнем нетрудно узнать приютившуюся у подножия вулкана Пичинча эквадорскую столицу, почти все улицы которой то поднимаются на холмы, то спускаются с холмов.

На мой взгляд, реалистический роман Барреры Вальверде представляет собой притчу, выразительно и экспрессивно повествующую об Эквадоре наших дней. В микрокосме одной семьи — семьи Матушки Сойлы — отражены, собственно, проблемы, с которыми сталкивается целая страна. Персонажи романа принадлежат к различным слоям эквадорского общества. И у сыновей Матушки Сойлы дороги в жизни не схожи: один оказался за бортом чужого для него мира, стал контрабандистом, другой попытался, примкнув к миссионерам, приблизиться к царству небесному, но, потерпев фиаско, очутился в аду, устроенном американской нефтяной монополией на эквадорской земле, третий — преуспевающий адвокат-политикан — отказался от родной матери, повернулся спиной к народу, к отчизне, и лишь в четвертом сыне — простом каменщике — находит опору Матушка Сойла (да и страна!).

Своеобразно истолковал проблемы своей родины Баррера Вальверде, показав страну с ее противоречиями, в поисках решения вопросов и экономического характера (лишь на протяжении последних десятилетий Эквадор ориентировался то на выращивание риса или кофе, то на экспорт бананов и какао-бобов, ныне многие надежды связаны с развитием нефтяной промышленности).

Баррера Вальверде не говорит о необходимости социально-политических преобразований на его родине, о движущих силах, способных осуществить такие преобразования, но озабоченностью автора завтрашним днем Эквадора пронизаны страницы романа. Большая заслуга художника заключена в том, что он знакомит читателей с эквадорской действительностью, со своими соотечественниками, которым предстоит построить собственное будущее, как сказал писатель, познав еще неведомое море и незнакомые языки, чтобы вместе с другими народами действовать на благо мира.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

КНИГА ПРЕДВАРЯЮЩАЯ

МАТУШКА СОЙЛА И ДРУГИЕ ПЕРЕЖИТКИ ГОРОДА-НА-ХОЛМАХ

Дождь покинул город — вверх по улицам полз легкий туман, прилипавший к лапам бродячих псов.

— Вот уж лет тридцать не держала в руках спиц...— пробормотала Матушка Сойла. По шишкам и узлам на пальцах она подсчитала, сколько морщин прибавилось у нее с тех пор, как ее стали забывать.

На самом пологом из склонов показался Рафаэль. Все в воздухе предвещало хорошую погоду.

— Добрвечер...— приветствие с трудом продиралось сквозь толщу драного шарфа, закрывавшего нижнюю часть лица.— Дон Родольфо просил узнать, не пришлете ли Луиса, а то крыша протекла.

Матушка Сойла поглядела на холм, возвышающийся напротив; на его гребне — выше тумана, выше самых высоких в мире гор — виднелся огромный новый дом, который, однако, уже нуждался в ремонте из-за постоянных дождей. Для Матушки Сойлы, взиравшей на него оттуда, где проживали бедняки, это строение представало неотъемлемой частью привычного пейзажа. Долгие века эти разбросанные окрест вершины

были покрыты лесами. Теперь они становились городом. Извечные сельские обычаи забывались, появлялись иные, соответствовавшие духу аристократических вилл.

— Ну что ж, Луис, придется тебе завтра потрудиться у дона Родольфо. Сходи к нему.

Этими словами старуха как бы признала власть зеленого холма с парками, в которых проглядывали великолепные каменные дома под одинаковой черепицей, со стенами из известняка.

— Хватит мне указывать, я не младенец. Вырос.

— Ты что, рехнулся?! Да хоть бы и стариком был! А твои годы какие?! И на работу не плюй!

— Говорю тебе, мать, не маленький!

— Вот как! Тебе и слова не скажи!

— Надоело. Устал я. Все мы устали. Ведь оттого, что каждый день говоришь «да», уже воротит с души.

— Рафаэль, передашь дону Родольфо: я не против, чтобы Луис поработал, да вот он упирается.

Рафаэль, недовольно сопя, исчез за поворотом пологого склона.

— Дон Родольфо не ждет от тебя такого ответа.

— Да, не ждет.

— Посмотри, как опять опускается туман.

— Да, опускается.

— А город на холмах еще чист.

— Точно, мама, и знаешь, забыл тебе сказать: ухожу я из дому.

— Не оставляй открытой дверь, Луис, привали ее чем-нибудь снаружи, а то ветром ее бьет и бьет. Еще сломается.

— Всегда закрываю. Ветры сильные.

Луис так и не вернулся. Со дня его ухода прошло много дней. Матушка Сойла не спрашивала о нем, не пересчитывала вновь шишки и узлы на пальцах, ей надо было жить, и она вела себя так, как подобает в таких случаях: ходила по домам квартала, собирала грязное белье, стирала и гладила. Старуха полагала, что все это заслонит в ее памяти Луиса.

От воды пальцы распухают, а потом становятся бессильными. Но она знала, что ее приятельницы из окрестных лачуг, коль понадобится, придут ей на помощь, а это что-то да значило. С другой стороны, если стирать при ревматизме, жизнь намного укорачивается. Намного.

Я хорошо помню вечер, когда бродил по кварталу, где жила Матушка Сойла,— здесь прошло и мое детство. Я хотел снять комнату, просто комнату с кроватью. Прекрасно помню и сам дом. Обитателями первого патио были ребятишки и женщины, закутанные в шали. Мальчишки, прервав свои игры, не стесняясь, отпускали насмешки в мой адрес, женщины сидели на земле, каждая около своего очага или у корзины со съестным, не сводя глаз с оравы малышей.

Я спросил, не сдается ли комната, такая, чтобы была поближе к туалету — общему, естественно; женщины переглянулись. Они рассматривали меня как-то отстраненно, но без злобы. Казалось, будто мы готовимся к переговорам, находясь на разных, далеко отстоящих один от другого холмах.

Я сообразил, что мне следовало бы спросить хозяина дома, который, скорее всего, посещал свои владения, лишь когда собирал плату за жилье, но женщины радушно указали мне пустовавшую комнату. Я прошел по задним патио, поговорил с Матушкой Сойлой, имя которой я тогда еще не знал и жизнь которой меня еще никак не касалась; ее живые, острые глаза, спрятанные в морщинах цвета земли, улыбнулись мне, возможно, они так улыбались всегда, когда она приветствовала незнакомца.

Сейчас я думаю, что тогда Матушка Сойла находилась в своем патио в окружении родных, потому что меня не покидает ощущение, будто я прервал беседу близких людей, собравшихся в мирный час под вечерними облаками. Мне думается также, что именно она, жалостливо оглядев меня, обнаружила чемодан, который я тщательно прятал, догадалась о моих одиноких странствиях, заметила мою усталость.

— Проходите, молодой человек, проходите; вот и комната, туалет рядом, будете нашим соседом. А комнату вам непременно сдадут, я-то уж знаю!

Взгляд мой задержался на висящем на дверях замке. Женщины обычно тянули замок вниз, и двери послушно распахивались. В десяти шагах от меня, на мокром цементном полу, возвышалось каменное сооружение: горбатая рифленая доска со стоком — там была прачечная. Из-за груды намыленного белья выглядывали детские головы. Я заметил, как окружающие таращат глаза на меня с тем же удивлением, что и я — на замок.

Я больше ничего не помню о том вечере, кроме того, как завернул сюда с чемоданом: нам обоим — и ему и мне — было неловко за то, что от нас веет свежестью открытого моря и что на нем красуются новенькие французские запоры, не успевшие потускнеть и обрести благородство, которое придает вещам время.

Меня приняли хорошо, и тем не менее я испытывал неловкость — сближения не получалось, я был слишком далек от них.

Эту отдаленность первой простила мне Матушка Сойла. Постепенно я все ближе узнавал ее, ибо она сидела дома больше, чем все остальные жильцы. В ее отношении ко мне скрывалась какая-то тайна, казалось, что старуха, никогда не покидавшая стен своего дома, тоже знала, что такое странствия, что такое почти состоявшееся счастье и что такое счастье обманутое, знала, что означает излечиваться от грусти и сомнений. Казалось, будто она была уже знакома и со мной, и со всеми остальными людьми на земле, потому что все мы были немного частью ее, ее седых волос, опухших рук и ног.

Когда я с облегчением сказал ей, что все мои пожитки — это баул, складной столик, который служил мне и письменным столом, а также старые записи, в необходимости появления на свет которых я сомневался, уже когда писал их, Матушка Сойла стала совсем близкой.

— Это уж точно,— произнесла она, не обращаясь ни к кому, даже не стараясь, чтобы я ее услышал,— самое дорогое — это то, что бросаешь.— И добавила, но уже не для себя, а для меня на случай, если я не понял ее слов:— Как хорошо — возить с собой уже забытое.

Сердце говорило мне, что все ценное, возвышенное, духовное в этом мире идет от таких старух, как Матушка Сойла.

Я смотрел на горы, далекие и близкие, белые, голубые, окутанные облаками, ощущая моросящий дождь, увлажнявший корни деревьев на холмах, и на солнце, освещавшее долину между ними. Я знал, что в климате этого города отсутствовали привычные сезоны года, или, точнее, все они пунктуально чередовались на протяжении одного дня. Май, июнь, июль и август украшали улицы цветущими деревьями флорипондиев; сентябрь, как и октябрь, брел по дорогам, оставляя за собой шуршание сухой листвы; март и апрель были временем предпасхальных ангелов и дьяволов, населявших купола храмов. Ноябрь принадлежал усопшим [1]. Декабрь и январь не имели определенных примет, но только до той поры, пока дети не наряжались в праздничные костюмы.

Чередовались дни, в которых сплавились все времена года,— холод, пахнущий в пять утра свежеиспеченным хлебом, тепло нагретого солнцем камня в девять, короткий — как скачок температуры в лихорадке — дурман жары в полдень, косой дождь при сильном ветре в шесть вечера и вновь холод, и запахи кухни, и отголоски разговоров к ночи — все это и было жизнью.

— Завтра быть хорошей погоде: облака бегут быстрые и белые.

Таким манером она объясняла суть вещей; наверное, таким же образом она ответила бы своему исповеднику, если бы тот спросил ее перед смертью, грешила ли она.

«Думаю, грешила, святой отец. Часто — в мыслях, а иногда виню себя в том, что в жизни моей я не избежала гордыни».

Луис был не единственным, о ком болела душа Матушки Сойлы. Уже несколько близких ей людей покинули ее дом еще раньше. Первым ушел Мельчор, отец ее сыновей; этот просто помер. Сыновья же сбегáли, стремились к жизни. Она уже стала привыкать к потерям, когда осталась без самого младшего сына. Поняв это, она поняла также и то, что из всех исчезновений это последнее — самое тяжкое и наиболее ощутимое.

Осознала она этот факт после того, как провела бессонную ночь, упершись взглядом в край стола.

---

[1] 2 ноября — День поминовения усопших. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— И почему только вместо этой двадцатипятисвечовой лампочки мне не поставят погребальную свечу?

Пробило три часа пополуночи, часы на церкви Благовещения звучали весело, как всегда на заре. Затем по черепичным крышам прокатились последующие удары. Где-то около восьми часов, будто возникнув из глубин бессонной ночи, в доме появились два типа. Мундиры муниципальных полицейских отличались друг от друга лишь цветом.

— Вам повестка от администрации кладбища Сан-Диего,— робко, как бы извиняясь, сказал тот, кто был в выгоревшем мундире, в то время как второй страж порядка — в форме табачного цвета — покачивал головой, подтверждая, что это действительно так, что сержант, как всегда, прав.

Матушка Сойла попросила получше растолковать ей, о чем идет речь, ибо читать-то она умела, но теперь ослабела глазами, и ей приходится просиживать подолгу, чтобы одолеть написанное. Ее старший сын, адвокат,— тот, у которого всегда в петлице красная гвоздика, тот самый, что всегда при галстуке, тот, который точно знает, сколько бриллиантина требуется для мужской прически,— в свое время избаловал ее, терпеливо разъясняя суть любого вопроса. Позднее, после женитьбы, он сильно изменился. Теперь за обеденным столом, который по вечерам превращался в гладильный, ощущалось, как не хватает старшего сына — да и его братьев — в доме, а особенно когда ей предстояло сесть за бедную трапезу, которую, как и несчастную ее судьбу, не с кем разделить.

— Видите ли, сеньора, я сам мало что знаю. Знаю только, что покойники, те, что лежат в собственных склепах, могут оставаться в них сколько угодно. С покойничками из сектора А никогда не бывает трудностей. А вот покойнички из сектора Б — с теми совсем другой коленкор. Вам еще повезло: о вашем скончавшемся муже вот уже тридцать лет никто не вспоминал.

Полицейские — и в выгоревшем мундире, и другой, молчаливый,— ушли.

Матушка Сойла поступила, как поступает любая вдова: она сравнила возрасты своих близких — живых и умерших. Далекое прошлое еще жило в ней полузабытыми улыбками, годы одиночества давили и гнули плечи. Ежедневная борьба за выживание не мешала Матушке Сойле быть мягкой в обращении с окружающими, тем более с соседями. Но в этот раз она нуждалась не в них. Матушке Сойле хотелось побеседовать с Мельчором. Если уж быть вполне правдивым, то она продолжала — пусть по-своему — жить рядом со своим мужем.

— Садись, садись,— предложила она ему, и он спокойно сел; ему все еще было сорок, и он по-прежнему был молчалив и по-прежнему сохранял привычку скрывать свои желания, даже когда всем сердцем и мечтал о чем-то.

Матушка Сойла, чтобы не отставать от мужа, тоже вдруг помолодела. Она почувствовала, как его руки обняли ее сзади и подняли тяжелые, черные и влажные косы, чтобы удобнее было поцеловать ее в шею. Она взяла обе его руки в свои, прижала их к лицу, ей было стыдно своих слез.

— Вот и прежде так слезы лила,— призналась она двадцатипятисвечовой лампочке, висевшей, чтобы лучше освещать комнату, совсем низко. В этот момент она обнаружила, что ранний визит представителей власти настолько потряс ее, что она забыла выключить свет.

— Глажка этой рубашки обойдется мне, как глажка простыни.

Через дверь, выходящую во дворик, через окно, больше похожее на щель, проникал скупой свет утра. Она посмотрела на бумажку, оставленную мужчинами в мундирах. Ей предстояло явиться в четверг на кладбище, чтобы спасти ящик с костями усопшего супруга.

— Я приду, Мельчор, я обязательно приду. Подумать только, разве я позволю, чтобы куда-то утащили твои косточки?! Но сегодня я припоздала, за бельем-то приходится ходить спозаранку, так что я увижу тебя в четверг, Мельчор, ну а если ты, часом, встретишь Луиса, хорошо бы ты спросил его, где он и что поделывает, может, он и возвращаться не хочет; ладно уж, пусть не возвращается, лишь бы весточку о себе подал.

Она закрыла дверь, повесила дешевый замок — большой и черный, из тех, что на углах вместе с лимонами и банками сапожного крема продают бродячие торговцы.

Она шагала по дороге и рассматривала свои грубые серые туфли с толстыми шнурками — это был последний подарок Луиса.

— Вот какие дела, Луис! Если бы не такая докука, я бы тебя не тревожила, но куда девать останки твоего отца? Говорю тебе, Луис, плохо ты поступил, оставив меня одну-одинешеньку.

Она решила поклониться господу богу в соборе святого Воскресения и рассказать ему о Мельчоре:

— Ведь ты, господи, там вместе с ним, а вот хочешь отделаться от костей Мельчора. Будто они тебе мешают. Конечно, я знаю, у тебя и других покойников много, упокой, господи, их души, но мы, бедняки, просим у тебя всего-навсего уголочек.

Но ответил ей не господь бог. Ее тронул за плечо сеньор коадъютор [1].

— Тсс,— послышалось откуда-то сверху, сквозь зубы. От нее требовали тишины.

Матушка Сойла с помощью коадъютора встала с колен, трижды перекрестилась. Они вышли. С высокой площадки перед входом в собор Матушка Сойла, священник, прихожане смотрели на свой квартал, сбегавший вниз навстречу городу узкими улочками. Над их головами высились еще недостроенные купола и башни собора, со строительных лесов доносились крики — то переговаривались между собой рабочие. Внизу же говорили почти шепотом.

— Что с вами, Матушка Сойла? Вас опять оставили одну?

— Да, доктор, голубчик, но дело не в этом; ваша милость хорошо знает, что хоть в одиночестве, а все равно живешь. Дело в том, что хотят выбросить останки, выбросить косточки моего покойника.

И она замолчала, потому что опять не ко времени показались слезы, которые всегда мешали ей договорить до конца.

— Понимаю, понимаю. Его прах намерены изъять с кладбища Сан-Диего или сжечь.

— Да, ваша милость, вы лучше разбираетесь во всех этих делах. А мне-то теперь как поступать? Как мне, несчастной, горе мыкать?

— Дайте мне поразмыслить, Матушка Сойла, что-нибудь придумаем. Во всяком случае, о покойнике вам следовало бы меньше всего беспокоиться, вы с ним все равно когда-то — в судный день — встретитесь. Вам сейчас следовало бы позаботиться о ваших сыновьях.

Получив от его преосвященства обещание что-то предпринять во имя спасения останков мужа, а также выслушать ее в церкви после службы, чтобы уяснить положение дел, она спустилась по ступеням собора вниз. В кармане юбки она нашла хлебные крошки от святых облаток после причащений, пробормотав не раз «Отче наш» и «Верую».

— Верую в воскрешение усопших...

Творила молитвы и убеждала себя: после стольких лет ожидания что стоило подождать еще вечность?

После «консультации» с господом богом в соборе святого Воскресения и с сеньором коадъютором, которые из окружающих лучше всех могли разобраться в деле с прахом Мельчора, старуха пошла быстрее. Она шла мелким, все ускоряющимся шажком, каким обычно ходят люди, влекомые вперед тяжестью своего тела. Матушка Сойла, даже если бы она прожила еще много жизней, никогда бы не додумалась, что ее квартал следовал за ней повсюду, хотя она сама не ощущала этого. Она прошла через рынок. Сначала ее преследовал крик продавщицы яблок. Потом — продавца накладных ресниц. Далее — призывы купить шпильки для черных волос, уговоры приобрести пакеты из фольги, переводные картинки для мебели, тряпичные куклы.

Ей нравилось неторопливо пересекать рынок. По краям его, как бы отмечая границы базара, двигался людской поток, в котором можно было различить три слоя: верхний — шляпы и приветствия, средний — женские шали и продуктовые корзины, нижний — обувь и дети. В верхнем слое можно было услышать обращенные к себе вопросы, и это очень нравилось старухе.

— И откуда же вы идете? Да совсем одна-одинешенька, Матушка Сойла?

— Вот ведь как: Матушка Сойла и не хочет знаться с беднякми с той поры, как Луиса начальником на стройке сделали...

Ее ответы — «А где эта стройка? Я сама не знаю, а то бы отнесла ему обед» — растворялись в этом водовороте, даже не оставляя следа в ее памяти. И тем не менее ей было приятно проходить здесь, вступать в разговоры с грузчиками, которые сооб-

[1] В католической церкви помощник епископа.

щали ей, что соль подорожала и что жить становится уж совсем невозможно. Повинуясь привычке, а также чтобы немножко перевести дух, старуха поискала глазами разбитый камень у дороги и усадила отдохнуть свою старость, отягощенную бессонной ночью; она сидела, впитывая запахи и шумы рынка.

Поднялась с камня почти в полдень. Клиенты, верно, уже перестали ее ждать. Они всегда упрекали ее в том, что она задерживает — и подолгу — сдачу чистого белья: «Почему это, Матушка Сойла, вы приходите когда вам заблагорассудится? Ну можно ли так, целыми неделями оставлять нас в неведении?»

Она не могла объяснить им, что здесь, на рынке, в вопросах знакомых, в этом треснувшем камне ей слышался голос Луиса, что сюда частенько приходил посидеть Мельчор. Ее бы все равно не поняли, поэтому она ограничивалась тем, что соглашалась: мол, да, вы правы, на будущей неделе непременно ранехонько приду за бельем.

В этот раз, как обычно, она дошла до середины ручья, потом повернула обратно и вновь поспешила мелкими шажками к нижней части города; пробежав так шесть кварталов, она вдруг подумала о том, как хорошо было бы постучать в дверь с массивным бронзовым кольцом. Ее бы спросили: «Как поживаете, Матушка Сойла? Как ваши дела?» А она бы ответила: «Спасибо, все хорошо». А потом добавила бы: «И у Луиса все хорошо». Потому что о Мельчоре никто уже и ничего не спросит.

— Добрый день, лев,— Матушка Сойла и квартал, который следовал за ней, поздоровались.— «Бум-бум-бум» — прогудел медный шар, ударяясь о голову медного льва.

Матушка Сойла никогда не испытывала симпатий к этим животным, хотя, по правде говоря, и знала-то о них очень немного. У тех, которых она полсотни лет назад видела в цирке, пасти всегда были полуоткрыты, они были послушными, залезая на ящики, били по воздуху кошачьими лапами. Этот — бронзовый лев — был укреплен на двери из прочнейшего дерева гуайякана, пасть его сомкнута, и было очевидно, что ему здесь хорошо и спокойно.

— Добрый вечер. Хозяйка на прошлой неделе сказала, чтобы я приходила по средам, а не по вторникам.

Служанка чуть ли не с улицы крикнула:

— Сеньора, пришла Матушка Сойла, говорит: сегодня — среда!

Но дому было все равно, какой день недели настал. В доме был черный день, день скорбно поджатых губ, нахмуренных лбов, и воздух в нем был пропитан ароматом заключенных в залах туберозы.

— Хозяйка говорит, что сегодня годовщина со дня смерти ее второго мужа, будет панихида. Говорит, что, если бы ты пришла пораньше, еще бы стоило возиться и собирать тебе белье.

Матушка Сойла понимала, как следует действовать в таких обстоятельствах: нужно слушать, что тебе посоветуют.

— Раз уж ты пришла, пойди поздоровайся с хозяйкой,— подсказала служанка. Старуха, счастливая, согласилась с этим предложением, ибо она всегда была готова к такого рода действиям.

— Добрый день, сеньора, уж так мне вас жаль. Добрый день, сеньор, и вас мне так жаль.

С губ хозяина сползло некое подобие приветствия, на лице же хозяйки ничего не отразилось.

У Матушки Сойлы всегда при себе были слезы, так почему бы не одарить ими другого. Она сделала это, и с легкостью. Произнося «уж так мне вас жаль», она ощутила свои прежние вдовьи горести и недавние волнения, вновь пережила то, что прочувствовала минуты назад на рынке. Ее горечь преобразовалась в чувство солидарности с дамой в трауре.

— Как вы невпопад, Матушка Сойла! «Мне вас жаль», «и вас мне так жаль»! При чем в данном случае этот сеньор?! Он — мой новый жених. Конечно, все в трауре, разобраться нелегко, но все же...

Матушка Сойла поняла, что в отношении сеньора жениха и впрямь не очень ловко получилось. Что же касается сеньоры, то старуха верила: открыть сердце другого человека могут лишь доброта и сочувствие. Среди немногих радостей надо искать одну, непохожую на все остальные: веру в то, что усопшие наконец встретятся.

Пурпурно-лиловое одеяние возникло без всякого предупреждения. Дверь чудесным образом отворилась, и появившийся в ней епископ произнес свои первые слова:

— Мир вам.

Его двухцветное облачение проплыло по залам и расположилось у стены, где на подсвеченных стеклянных полках порхала балерина из севрского фарфора и стояла русская матрешка. Таким образом с приходом сеньора епископа в зале прибавилось еще одно украшение. Аромат тубероз уже стало невозможно удержать в гостиной, он растекался по всему дому.

— Мир да будет с вами,— вновь произнес епископ, пожимая руку вдове, ее новому жениху и всем тем, кто пришел выразить ей свое соболезнование по поводу ухода в вечность предыдущего спутника жизни. Каждый из присутствовавших получил свою порцию «мира»; обратившись к Матушке Сойле, епископ возложил щепоть и на ее седую голову — как раз на нитку пробора. Правда, отпущенная старухе благодать немедленно вернулась в ее пожеланиях монсеньору: «Да хранят вас судьба и небо от злых сердец».

«Как идет лиловый цвет его преосвященству»,— подумала она.

Из проповедей коадъютора Матушка Сойла запомнила главные библейские чудеса. Самыми любимыми были две притчи: о том, как умножались хлебы в руках господних (ведь чудо это предназначалось беднякам!), и о хождении по водам. Правда, Матушка Сойла никогда не видела ни морей, ни озер, ни даже больших рек. А те речушки, которые она знала, не годились для чудес: достаточно было скинуть башмаки и можно было пересечь их босиком. И тем не менее притча о хождении по водам была ее любимой. Увидев так близко епископа, она легко представила себе это чудо, ибо его преосвященство будто плыл по залу.

Матушка Сойла подождала, пока хозяйка выйдет в спальню, и догнала ее.

— Простите, сеньора...

— Что вам, Матушка Сойла?

— Я подумала...

— Думайте и говорите быстрее...

— Я вас так понимаю и разделяю...

— В чем вы меня можете понимать? О чем вы говорите?!

— Да у меня такая же забота...

— Какая забота? Что вам нужно от меня?

— Мой покойный муж, сеньора... они хотят выбросить его косточки, а я и не знаю, к кому обратиться.

— Сожалею, Матушка Сойла, но я-то чем могу помочь? Почему вы подумали, что именно я... И вообще, что вам от меня надо?!

— Его преосвященство... сеньор епископ, он пришел к вам. А мне говорили, что, если он попросит, ему не откажут. Бога ради, сеньора, попросите вы его об этом! Мы все будем вам так обязаны! И я! И Луис, и другие мои сыновья. И покойный Мельчор, упокой, господи, душу его.

— Пришло же вам в голову! Его преосвященство оказал мне такую честь, а я в ответ за его доброту буду беспокоить его просьбами. Какое ему дело до покойников! Кладбища принадлежат городским властям, а может быть, и правительству. Вы, вероятно, хотите, чтобы сеньор епископ счел меня сумасшедшей? «Ваше преосвященство, раз уж вы посетили меня, то я прошу вас похлопотать за прах покойного супруга моей прачки!» Прекрасно бы это выглядело, Матушка Сойла! Спасибо вам за то, что пришли сюда, хорошо, если придете в церковь на панихиду. А пока вот что: приходите стирать во вторник. И не подведите.

Матушка Сойла молчала. Перед ее внутренним взором пронеслись все ее отсутствующие сыновья и груда костей, которые она по-прежнему называла Мельчором. Глазам стало больно, но она сдержалась.

«Бедняжка,— подумала она,— все равно я ей нужна, жених, похоже, неплохой человек, с уважением относится к его преосвященству».

— Да, конечно, обязательно приду.— Старуха говорила спокойно, как могла. Епископ поднялся, собираясь к себе, в свою официальную резиденцию, за ним поднялись остальные. Матушка Сойла подождала, пока все уйдут, чтобы не быть ни первой, ни второй, ни третьей, за дверью на улице ее уже ждал квартал.

Вернувшись домой и вступив в первый из многочисленных патио, Матушка Сойла неожиданно для себя отметила, что доходные дома располагались не вдоль, по улице, а в глубь квартала, и один дворик, с выходящими в него комнатками, отделяет от другого арка, похожая на те, что украшают площади колониальной эпохи и которые обычно воспроизводят в рекламных туристских проспектах. Однако на глянцевых открытках обычно изображается нечто таинственно-неясное или изъеденная временем стена. В их же доме — и Матушка Сойла это прекрасно знала — ничего таинственного, если не считать ее самоё, не было. Пять семей жили в клетушках, выходящих во второй патио, четыре — в третий, шесть — в двух последних; дети здесь носились от зари до поздней ночи.

Никогда она еще не видела с такой отчетливостью свой дворик. Матушка Сойла искала тому причину и нашла ответ: с ясного дневного неба на город обрушивались снопы разноцветных искр. Шла подготовка к ночному торжеству. Ночью прихожане всех окрестных церквей отправят ввысь к господу богу тысячи петард. Откуда-то сверху, из-под солнца, лился свет, разбрасывающий по крышам сияющие капли — красные, голубые, оранжевые; капли ослепительные и беспорядочные, таявшие в ярком свете дня.

Матушка Сойла возблагодарила небеса за то, что ее соседи иногда выражали свои чувства таким прекрасным образом; она будто вновь оглядела и свою жизнь, и жизнь тех, кто жил по соседству с нею; так она и шла под арками, разделяющими патио, — с устремленным вдаль взглядом, как, видимо, должны были бы проходить под подобными сооружениями герои на картинках в календарях. Войдя в свою конуру, она поставила разогреть луковый суп с вермишелью.

Она сообразила, что утром в церкви состоялась торжественная поминальная служба. Но вечер должен был быть иным: царило радостное ожидание, все чувствовали себя приглашенными на праздник — наступил канун очередной годовщины основания города. Праздник овладел улицами, но до Матушки Сойлы новости всегда доходили с опозданием. Люди отправились на гулянье, на пустыре уже возвышались грубо сколоченные качели, где-то разыгрывали в лотерею сигареты и конфеты, сновала молодежь из местного клуба, где к концу праздника даже музыка пахнет спиртным.

Матушка Сойла с покорностью подумала о своем вдовстве и решила, что свидание с Мельчором можно было бы ускорить. Конечно, в указанный час она непременно пойдет к полицейскому комиссару, но никому не будет хуже, если она немедленно отправится на кладбище. Короче: все окружающие заняты развлечениями, и ей представляется возможность побыть со своим мужем наедине.

Старуха ошиблась: главные ворота кладбища были заперты, и железная решетка охраняла внутренние улочки города мертвых. Однако оттуда слышались смех и воркование. Снаружи ей были видны лишь могилы и маленький пес, еле различимый между памятниками; она обошла изгородь, потрясла запор на калитке у сторожки, и дверца открылась, но не от усилий старухи, а от ветра. Тогда-то Матушка Сойла и напрягла зрение, чтобы определить, откуда идут звуки. Еще издалека старуха заметила около могилы Мельчора неясный силуэт.

Кладбища, как и города, имеют свои улицы, одни из них бегут вверх, другие — вниз. Могила Мельчора и тех, кто вот уже тридцать лет окружали его, находились на самом склоне Матушка Сойла поняла, что одной ей побыть не удастся, но потерять частицу одиночества для тех, у кого оно имеется в избытке, всегда неплохо. Сначала она решила, что посетитель — кто-нибудь из страждущих перед памятью покойного должников, но через минуту обнаружила, что замеченный ею силуэт стал раздваиваться, и вот уже вместо одного человека она различила двух.

С холма Панесильо [1] сбегала тропинка, покрытая дерном, видимо, по этому склону и скатились на кладбище любовники. Подойдя ближе, старуха увидела, что совсем еще юные парень и девушка пытались научиться искусству любви.

«Не оскверняйте могил!» — наверняка обрушились бы на них монахини, собиравшие доброхотные даяния на рынке, или сторожа кладбища, или жиличка из первого патио, зарабатывавшая на жизнь продажей свечей и переписанными на бумажке молитвами.

«Бедняжечки,— подумала Матушка Сойла,— бегут со своей любовью куда попало».

Молодая пара была настолько занята собой, что даже не заметила старуху. Они

[1] Панесильо (Panecillo — хлебец, *исп.*) — самый высокий из холмов, на которых разбросан Кито; по легенде возведен инками.

сидели на коленях каменного ангела и смотрели друг на друга. Угол Мельчора и его соседей был, таким образом, захвачен, и подойти ближе означало прогнать парочку.

Матушка Сойла решила, что она подождет. По своей привычке она поискала куда бы присесть, и без труда нашла подходящий камень. Над ней, совсем близко сидели юные влюбленные. А она побудет здесь, внизу, где ее никто не видит, где ползают по зеленой траве муравьи и тонкая струйка родника огибает камень. Парочка не изъявляла желания уходить. Девушка опустила на плечи юноше свои длинные черные волосы, в горле ее бурлил смех. Облака видели ее открытую шею, на которую сыпались поцелуи школьника. Она встречала их тихим смехом.

«Оставь их, Мельчор, оставь их. Они же тебе не мешают».

Иногда девушка, совсем еще подросток, переставала смеяться. Будто на чудо смотрел юноша на шею девушки под упавшими на нее волосами. А она все прикрывала глаза, которые слепило солнце.

Недвижимо стояли эти двое детей на кладбищенской тропинке, крепко обнявшись и не замечая, как летит время.

С восточной стороны кладбища послышался голос, который ни влюбленные, ни Матушка Сойла никак не ожидали. Голос принадлежал человеку в синей фуражке.

— Как же вы попали сюда, голубки? — в чистом вечернем воздухе отчетливо было слышно, как он прищелкивал языком.

Матушка Сойла поднялась в смятении. Черная юбка, из-под нее — серые башмаки, само олицетворение спокойствия, за что ей всегда были благодарны люди.

— Добрый вечер, сеньор полицейский, я тоже здесь сижу. Вот пришла навестить покойничков, которых у всех хватает.

— Добрый вечер, сеньора. Как вы прошли сюда?

— Через калитку у сторожки, сеньор полицейский, уж не взыщите.

— Ну что уж там взыскивать. Никому не приносят вреда свидания с покойниками. А еще лучше было бы, если бы вы принесли им цветы.

Матушка Сойла цветов никогда не приносила. Она всегда приходила одна и без букетов.

— А где лежат ваши покойнички, сеньор полицейский?

— Вон там, сеньора. Но что вы скажете об этой парочке: проникли в жилище усопших и оскорбляют их своими «люблю тебя», «не люблю тебя».

— Дело в том...— пробормотал мальчик, чтобы хоть как-то нарушить молчание подруги, молчание покорного, загнанного в угол зверька.

— Никаких «дело в том». Вам придется следовать за мной, и уверен, что посещение участка на вас подействует освежающе. Шагайте впереди меня. То, чем вы занимались здесь, называется оскорблением общественной морали.

— Вы не совсем правы, сеньор полицейский, простите мне мои слова. Я — старуха, всякое испытала, а из-за этой девочки столько мне пришлось пережить, я за ней очень слежу и жаловаться не могу: хорошая выросла.

— Не хотите ли вы сказать, сеньора, что...

— Вот именно сеньор полицейский, вот именно: внученька она мне. Иной раз отпущу ее малость порезвиться, но только так, чтобы я ее видела, так что, ваша милость, я всегда с ней хожу, уж истинно так.

— Это меняет дело. А теперь уходите отсюда все! Как же это можно: вспоминать о покойниках между ласками?! Уводите, сеньора, свою внучку; вы хорошо делаете, что следите за ней, потому как по нынешним временам все они получаются порченые.

Все четверо спускались по кладбищенской тропинке: впереди, не произнося ни слова, начинающие любовники, за ними — новоявленная бабушка, которую они обнаружили в критический для себя момент. Замыкал шествие полицейский в синей форменной фуражке и с болтающейся на указательном пальце дубинкой. Все молчали.

«Обманула я тебя Мельчор, не смогла повидаться с тобой,— размышляла старуха.— Завтра — четверг, я должна идти в участок и, кто знает, может, весь день там проведу. В воскресенье тоже не смогу зайти к тебе, потому как была панихида, стирать не пришлось, так что не жди меня. Думаю, свидимся на будущей неделе».

Уже за калиткой полицейский поднял дубинку, как бы говоря «прощайте». Юные возлюбленные тоже попрощались:

— Спасибо, сеньора.

Она опять осталась одна. От ворот кладбища было слышно, как шумел город,

шумел каждый его закоулок, и ветер смешивал все эти звуки. Долетала танцевальная музыка далеких бродячих оркестров. С холмов спускались облака; спускались сумерки.

«На следующей неделе, Мельчор, на следующей...»

В вечернем воздухе раздавались ее легкие, быстрые шаги.

Канун праздника обычно выливается в праздник. Но Матушка Сойла знала: у нее все иначе. В ее жизни преддверия праздников всегда были безрадостными, как выжженная долина.

Комиссар выполнил свое обещание. Естественно, речь шла не о буквальном исполнении написанного в повестке, а вообще о том, что он примет просителей в течение недели. Несмотря на то, что в бумажках для явки был указан «четверг», каждому было ясно, как это следует понимать. В неделю, когда город отмечал свой день рождения, четверг мог означать только пятницу, и ничто иное. И еще одно обстоятельство. Те, кто пришел ранее десяти часов, тоже рисковали многим, ибо комиссар мог прибыть и позже, намного позже, когда утро кончится. Так он поступал зачастую.

В помещении участка Матушка Сойла не нашла привычного для себя сиденья — камня; она поискала взглядом хотя бы табурет и, не найдя такового, робко присела на старый стул.

Она сидела на нем и чувствовала, что все смотрят на ее башмаки, подаренные ей Луисом.

«Хорошими они оказались, Луис,— утешила она себя.— Вот уж сколько времени их ношу, каждый раз, как приходится выходить из дому, надеваю их».

Через главную дверь, которая к тому же была единственной, входили вызванные повестками люди. Через нее же вошел и сеньор комиссар; бесшумно скользнув между стульями, он пересек сумрак комнаты и укрылся в тени старой ширмы.

Тень вызывала присутствовавших в комнате:

— Повестка номер тысяча девятьсот семьдесят,— взывал голос, и человек номер тысяча девятьсот семьдесят спешил предстать перед законом.

В Городе-на-Холмах было несколько разновидностей юриспруденции. Так, «недосягаемые», то есть представители высших классов, пользовались судами со всеми положенными атрибутами. Жизнью бедняков управляли законы, придуманные городскими властями.

Комиссар не полыхал ни огненными молниями, ни оглушительными громами, он давал о себе знать скрипучим голосом, который будто навсегда поселился за ширмой. Периодически, словно сжалившись над посетителями, этот голос звучал в пространстве, зажатом стенами, возведенными из камыша, глины и дешевого клея.

Один за другим по воле комиссара из приемной исчезали люди — то же самое происходит с початком маиса, когда с него облущивают зерна. Матушка Сойла полагала, что вот-вот позовут и ее, но в комнате неожиданно появились трое: мальчик, его мать и полицейский.

— Сначала надо получить разрешение, а потом уж торговать,— продолжал давать пояснения блюститель порядка, который вошел последним. Первым шел мальчишка лет десяти.

Женщина обрушила свой гнев на обоих: она хлестала по щекам сына и одновременно во все горло орала на полицейского. Ребенок, по-видимому, прекрасно понимал положение матери, ибо плач его доказывал полную уверенность в том, что именно так ему и следует поступать в подобной ситуации.

— Домой вернемся, я тебе еще и ремнем всыплю, бездарь эдакая! За все утро не смог продать четыре тамаля [1] и десять лепешек! Да еще и за решетку из-за тебя попадешь! Сеньор полицейский, ну зачем вам терять со мной время?! Ну что вы от всего этого получите?! Вы ведь не можете отправить меня за решетку. И дать вам нечего. Нет у меня и сентаво, чтобы оплатить разрешение на торговлю. Будьте добреньки, отпустите меня, пока не вызвал сеньор комиссар.

Но было поздно. Из затаенного угла за ширмой вновь послышался голос, а следом появился и сам сеньор комиссар: его хорошо начищенные ботинки плохо сочетались с обвисшими полями шляпы, отмеченными следами многих дождей.

— В чем дело, старший сержант? Что за глупая идея приводить задержанных, когда я уже собираюсь уходить!

[1] Маисовый пирог с мясом, обвернутый в банановый лист.

— Я задержал их, сеньор комиссар, за торговлю без разрешения.

— Что продавали, старший сержант?

— Еду́, сеньор комиссар. У них нет ни постоянного места для продажи, ни лотка с крышкой. Да к тому же спорит, глотку дерет, сеньор комиссар.

— Вас уже не раз приводили сюда, сеньора. Чтобы я вас здесь больше не видел! Почему вы не приобретаете положенное в таких случаях разрешение?

— На какие медяки, сеньор комиссар?

— А на какие же деньги вы покупаете продукты, чтобы приготовить еду на продажу?

Послышались — и очень своевременно — новые всхлипывания мальчишки, хранившего некоторое время молчание. Взгляд комиссара остановился на нем. Слезы ребенка не укладывались в рамки его поля деятельности.

— Что с тобой, парень?

— Я не виноват...

— Не виноват в чем? О чем ты толкуешь?

— Я бы, конечно, дал ему лепешек...

— Лепешек? Кому?

— Да вот этому сеньору,— палец ребенка указал на полицейского.— Он всегда приходит с друзьями, жрет наши тамали и лепешки, мама им всегда дает, а мне не сказала — можно ли. А я испугался, что она меня побьет, если дам.

Положение чаш на весах правосудия резко изменилось. На той, которая взлетела вверх, находились сам комиссар и полицейский. На другой — торговка с сыном, которые из обвиняемых вдруг превратились в истцов. Поведение комиссара при восстановлении должного равновесия было поистине соломоновым. Было очевидно, что ему предстоит выступить в роли третейского судьи. Он был готов: серый костюм, черный галстук, начищенные штиблеты, плохо заштопанная рубашка, плохое здоровье и старая дружба со шляпой.

Скорейшему решению вопроса помог голос, и доносился он не из-за ширмы, а с улицы:

— Вас ждут в квартальном комитете.

— Идите идите, все свободны,— прозвучал приговор.— Сегодня у меня нет лишней минуты для вас.

Естественно все трое исчезли. Чаши весов правосудия успокоились и, отдыхая, замерли за старой ширмой.

Царь Соломон потер края шляпы обшлагом рубахи. Уже собираясь уходить, он обнаружил Матушку Сойлу.

— А вам что?

— Добрый день, сеньор комиссар.

— Что вам угодно?

— Я пришла по повестке, насчет косточек моего покойника...

— Кого?

— Моего покойного мужа, сеньор комиссар; тридцать лет вашей милостью у них был приют а нынче видно надоели они вам.

— У меня мало времени, так что извольте кратко изложить суть дела.

— Я и пришла, потому как вы мне назначили.

Рыхлая фигура поспешно сползла со стула, в руке белел квадрат повестки Между чиновником и бумагой немедленно установились незримые но дружеские контакты.

— Так так,— произнес с положенным ему достоинством сеньор комиссар, ознакомившись с извещением.

Несколько мгновений он молчал: смотрел на белую голову старухи, ее черную кофту, серую шаль, длинную юбку, носки башмаков и, наконец, взглянул в запавшие, усталые но прекрасные глаза.

После некоторого размышления комиссар вновь принял торжественный вид и произнес:

— Значит вы и есть сеньора Сойла.

— Она самая, ваша милость к вашим услугам.

Слово «сеньора» всплыло из далеких прошлых лет; так к ней обращались, пока вдовство не сделало ее «Матушкой Сойлой». Те, кто жил по соседству в квартале, звали ее именно так, и теперь ей было очень приятно, что в такой ответственный момент

такой важный господин неожиданно напомнил ей о молодости, о тех днях, когда с ней еще жили ее сыновья.

— Вам не следует полагать, что мы вызвали вас напрасно. Ваше дело, сеньора, выходит за рамки обычных, о чем мне доставляет удовольствие сообщить вам.

Матушка Сойла четко уразумела, что в словах комиссара скрывалась подслащенная пилюля, вроде тех леденцов, что подолгу валяются на уличных лотках, но исчезают в первые же часы праздников.

— Как скажете, сеньор комиссар.

— Останки вашего супруга должны быть сожжены или перенесены на общее кладбище, где не взимают плату за место. Мы и так были к нему очень терпеливы

— Спасибо, уж такое спасибо, я так вам обязана! А не могут ли поступить со мной иначе? Да разве возможно такое?! Прошу вас, у меня уж сил нет работать, да и одна я, как перст одна.

— Успокойтесь, сеньора, я рассмотрю ваш вопрос, мне хочется помочь вам.

С арены для боя быков доносилась музыка. Трубы то вздымали к крышам близлежащих домов, то спускали вниз, к земле, мелодию пасодобля.

— Благодарствую, сеньор комиссар, и покойник мой вам тоже будет очень благодарен.

— Честно говоря, сеньора, я не понимаю, почему вы живете одна. Мне известно, что у вас есть сыновья. В вашем деле вполне мог бы помочь доктор Руперто.

Призраки былого замелькали перед Матушкой Сойлой. Значит, сеньор комиссар — друг ее родного сына, адвоката, гордости ее семьи, которого вот уже сколько лет она не видела. Однако был ли сеньор комиссар другом именно сына, а не жены последнего? Еще на школьных диспутах Руперто отличался ораторским искусством. В университете он стал лидером, а потом выбился в адвокаты и стал преуспевать. Но из дому он ушел раньше.

— Жаль, сеньора, что у меня сейчас так мало времени, мне бы хотелось уделить вам больше внимания. Могу лишь заверить, что для матери доктора Руперто я постараюсь сделать все возможное. К сожалению, не имею чести быть его личным другом, но мы все, комиссары, знаем его. Я даже подумал вначале, не отправить ли повестку самому доктору Руперто, но потом решил: нет, прах вашего супруга оформлен на ваше имя. Да и лучше получилось. Думаю, что суть проблемы доктору Руперто должна изложить мать.

— Сеньор комиссар, а сама я могу что-либо сделать?

— Видите ли, сеньора, все очень просто. Тридцать лет пролежали останки, и никто вам слова не сказал. Тридцать лет — это тридцать лет! Сейчас вам придется уплатить за все прошедшие годы и еще за пять лет вперед, если вы желаете сохранить прах на прежнем месте захоронения. Я, как говорится, всей душой, но ведь могу и забыть о вашей просьбе. А вот доктор Руперто обязательно должен переговорить со мной по данному делу.

Сбшлага рубахи вновь зашаркали по полям шляпы, потом она завертелась на левом указательном пальце и, наконец, успокоилась на голове комиссара. Он уже шел к двери.

— У вас есть время. Действуйте. Я к вашим услугам.

Матушка Сойла осталась совсем одна, будто была полновластной хозяйкой комиссариата.

«Дурную шутку сыграли со мною, Мельчор. Как мне беседовать с Руперто? Я уж столько лет его не видела. А главное — его жена, она и знать-то меня не хочет! Тебе ведь известно: она навсегда запретила Руперто видеться со мной. Как же быть, Мельчор? Что я скажу сеньору комиссару? Как ему объясню, что не могу поговорить с собственным сыном?!»

Матушка Сойла не знала, куда ей направиться. Поэтому она вновь взобралась на стул, башмаки замерли в воздухе. Так она провела несколько часов, уставившись в пустую стену напротив и восстанавливая в памяти черты сына. Она вспомнила и его жилище — недосягаемую крепость, окруженную огромным садом, ворота с висящим молотком, высоченные стены, поверх которых Матушка Сойла ничего, кроме дыма из трубы, разглядеть не могла.

Ей предстоит растрогать сердце Руперто. Была бы она ведьмой — перелетела бы на помеле через ограду, околдовала бы прислугу, хоть издали поглядела бы на своих внуков, тех самых, которые в семь утра садятся в школьный автобус. Она сказала бы им: «Простите меня, дети, я — ваша бабушка; не бойтесь меня, умоляю вас, расска-

жите вашему отцу, что дедушку вашего лишают покоя и что Матушка Сойла просит помочь ему обрести этот покой».

Однако нет. Ее поступок мог бы вызвать гнев невестки и тем самым еще более отдалить сына. Между Мельчором и комиссаром, между прахом ее мужа и ею — Матушкой Сойлой — вставала супруга Руперто. От этих мыслей старуху отвлек донесшийся из сумрака голос. То был швейцар-дворник-рассыльный, с сожалением сообщивший:

— Мы закрываем, сеньора. Если желаете, можете вернуться. Мы вновь откроем помещение в три часа пополудни.

Нет, Матушке Сойле незачем было возвращаться. Незачем ей было смотреть на стену, где вечная сырость выткала узоры.

— Доброе утро, боженька!

Ребята в патио вторили ей нестройным хором.

День вступал в свои права, вместе с ним в квартале росли шум и гам.

— Добрый день, Матушка Сойла! — Рафаэль стучал костяшками пальцев по растрескавшимся доскам.

Она быстро накинула шаль, толкнула дверь.

— Дон Родольфо прислал сказать, что уж если вы не можете подослать к нему Луиса, то хоть приходите сами постирать.

Радио в комнате соседей передавало правительственные сообщения, в которых то и дело звучало слово «свобода».

— Конечно, конечно. Я как раз уже встала — «свобода!» — искала платье — «свобода!» — пусть дон Родольфо не сомневается, у меня еще есть руки — «свобода!» — чтобы продолжать работать, хотя и нет сыновей — «свобода!» — бегу, бегу — «свобода!»

Она последовала за Рафаэлем.

«Спасибо тебе, господи! Спасибо за то, что дом доктора Руперто рядом с домом дона Родольфо».

Для всех окружающих он был доктор Руперто, для матери — тоже. Он жил совсем рядом, в трех кварталах от белья дона Родольфо, там, где начинались особняки, окруженные садами. Однако у старухи не всегда находился предлог побродить вокруг дома сына.

Матушка Сойла знала о докторе Руперто больше, чем он сам о себе. Так, она знала, что означает каждая его улыбка. «Улыбка выдающая проступок»,— заявляли святые отцы из ордена салезианцев, в школе которых обучался Руперто. «Улыбка, свидетельствующая о тайных и порочных наслаждениях»,— утверждали члены Ассоциации по изучению катехизиса, на обязанности которых было составление списков провинившихся. «Улыбка, чтобы не плакать»,— определяла Матушка Сойла. Никто не мог превзойти ее в искусстве прощать детям.

Не только об улыбке, но и о гвоздике в петлице Матушка Сойла тоже знала все. Доктор Руперто считал, что приобрел эту привычку, поселившись среди садов, но мать помнила, что цветок на лацкане появился недавно, вместе с первыми крупными гонорарами, и манеру эту он перенял у других известных адвокатов

Матушке Сойле были известны и другие слабости сына. Доктор Руперто, например, считал себя выдающимся юристом, всеми уважаемым оратором, автором самых пламенных речей. Ко всему этому он был супругом одной из двух (кстати, менее красивой) дочерей известного либерала. Но Матушка Сойла знала и другое о своем Руперто. Она знала, что в поезде жизни именно невестке принадлежит билет первого класса. В этом символическом поезде благополучия доктор Руперто занимал место пассажира лишь третьего класса, и в большую политику он въезжал в незаконно занятом им вагоне.

Сеньора невестка, сеньор тесть-либерал, сеньоры свояки, тоже либералы, одобряли речи Руперто и его процветание. Только поэтому они и прощали ему мать-прачку, правда при условии, что сын не будет с ней даже здороваться. Лишь таким образом поезд доктора Руперто мог продолжать свой путь.

Матушка Сойла глубоко заблуждалась, когда, размышляя о тех, кто двигался вместе с ее сыном в поезде благополучия, представляла их себе такими, какими были когда-то ее собственные спутники Ну разве что у друзей доктора Руперто были в припасах лишние курица или гроздь бананов. Она, естественно, и догадываться не могла, что нынче его сподвижниками были люди совсем иного склада.

Доктора Руперто окружали теперь личности типа Добряка Флореса [1], метиса или мулата по цвету кожи своих предков, давшего множество аристократов в своем потомстве, основателя прекрасной традиции демонстрировать чудеса невежества как на поле брани, так и на президентском посту. Встречались в жизни доктора и другие, среди которых попадались, как говорится, люди прогрессивные; эти, прежде чем расстреливать, придумывали соответствующий закон.

В длинной галерее лиц отсутствовали два-три современных президента, единственный грех которых состоял в том, что они стремились сохранить стране мир и покой. Такие люди и не могли находиться в непосредственной близости к доктору Руперто, ибо, как он выражался, «путь истинных патриотов требует размежевания на друзей и врагов».

Среди тех, кто окружал адвоката, были, например, юристы из провинций, прибывавшие отметить серебряный юбилей прекрасных усов кого-либо из друзей-сенаторов. Прибывали и сами сенаторы, дабы отблагодарить тех, кто придумывал и издавал сотни законов и тысячи реформ, погребенных в томах с переплетами из разноцветной кожи. И хотя предполагалось, что предназначены они для народа и написаны во имя народа, чаще всего эти реформы оставались в архивах, помогая пребывать на своих местах прекрасным сенаторским усам, как, впрочем, и всей системе.

Руперто с уважением и постоянно упоминал эту вереницу примерных патриархов общества — и с трибуны, и в своих трактатах. Но он боялся признаться самому себе в том, что нарождался новый социальный слой, отмеченный особой хваткой, ловкостью, цепкостью. Такими были братья его жены.

В силу всех описанных выше причин Матушка Сойла глубоко заблуждалась относительно того, что́ за люди окружают доктора Руперто в его жизненном поезде. Она так стремилась появляться на перронах, где он задерживался, в надежде, что он заметит ее в толпе, такую маленькую по сравнению с его величественными речами.

Матушка Сойла уже различала черную изгородь и крышу неопределенного цвета на доме доктора Руперто. Тонкие занавеси в высоких окнах спальни защищали сеньору невестку от утреннего солнца. Для невесток восемь утра — это еще заря, а для тех, кто стирает чужое белье, восемь часов — уже опоздание.

Матушка Сойла решила дважды обойти вокруг дома сына, потратив на это еще несколько минут, прежде чем следовать к особняку дона Родольфо. Она произносила слово «сын» и будто сама с собой играла в прятки — ей так хотелось сказать еще и «внуки».

В это утро ей повезло. Из пяти детей доктора Руперто в нескольких метрах от забора крутился вокруг фонаря самый младший.

«Поговорю с тобой, отставший мой мотылек»,— решила про себя Матушка Сойла.

Она подошла как можно тише, «мотылек» продолжал вертеться, не выказывая никаких признаков страха. Недалеко стояли и разговаривали его братья, поглядывая в сторону, откуда должен был появиться автобус с крупными буквами названия колледжа на голубой полоске.

«Эй ты, юла, пошли, автобус подходит»,— вот-вот прокричат старшие братья, на них лежала обязанность опекать маленького.

— Р-р-р! — подражал тот мотору; на указательном пальце его вертелась, как пропеллер, бумажная вертушка.— Р-р-р! — звук оборвался, игрушка остановилась: перед ребенком возникла старуха. Два круглых черных глаза — она никогда не видела их так близко — смотрели на нее в упор, рот был тоже круглым, словно губы произносили букву «о».

— Вы еще... не... в школе? — произнесла Матушка Сойла, верная своей привычке задавать неуместные вопросы в моменты, наименее для этого подходящие.

«Нет»,— крутанулась черная голова, но слов не последовало.

Глаза и рот по-прежнему оставались круглыми и широко открытыми. Маленький, как у птицы, язык то и дело облизывал губы.

Матушка Сойла понимала, что обращение на «вы» отдаляло от нее ребенка, но ведь близость рождается, если внуков качаешь на коленях, покупаешь им конфеты, становишься их другом. Поэтому «вы» не звучало фальшиво.

[1] Автор имеет в виду генерала Хуана Хосе Флореса, первого президента Эквадора, провозглашенного в 1830 г.

— А ваш папа? — вопрос дался ей с трудом.

— Он уже ушел. Он всегда раньше нас уходит.

То была правда, Руперто всегда вставал с зарей, и ничто не могло изменить эту привычку. «Мой Руперто, мой доктор Руперто!»

— Как себя чувствует ваш папа?

— Мой папа? Хорошо,— взгляд задержался было на старухе, но тут же вновь обратился к бумажной вертушке.

Матушка Сойла поискала в кармане юбки завалившиеся несколько сентаво, но остановилась Что ответит ребенок, если братья спросят, где он взял деньги?

Откуда-то донеслась незатейливая мелодия яравй [1], выводимая на тростниковой дудочке, потом появились ослик и погонщик.

— А учителя в школе у вас хорошие?

— Хорошие,— мальчику явно становилось скучно.

Матушка Сойла положила руку на черноволосую голову, как обычно делают епископы, но в отличие от святых отцов сделала это с большой робостью. Мальчик резко отшатнулся — ему не понравилось, что кто-то помешал ему забавляться.

Мелодия затихала в конце улицы.

— Пошли, опаздываем! — закричали дети, стоявшие у калитки дома.

Двое слуг, провожавшие детей, посмотрели на Матушку Сойлу с удивлением. Мальчик-юла, прокричав «до свидания», убежал. Больше здесь никого не оставалось, только дом, готовый окончательно проснуться Из выхлопных труб автобуса вырвались серые струи с пепельными завитками. Силуэт Матушки Сойлы растаял за деревьями.

Сдерживая утреннюю дрожь, полная воспоминаний о сыновьях, Матушка Сойла стояла над тазом в доме дона Родольфо. Дон Родольфо обладал достаточным количеством высоких титулов, чтобы быть среди тех, кто распределял блага в этом городе. Его отец выстроил дом с шестью внутренними двориками, где проживала старуха, и еще несколько похожих зданий.

Старуха разгладила обеими руками носовой платок. «Вышивать буквы еще труднее, чем стирать Для этого зоркие глаза нужны»,— сказала она себе.

Дон Родольфо умудрялся жить, избегая общения с окружавшими его людьми. Своей прачке, например, он ни разу не сказал: «Как поживаете, сеньора?» или: «Как дела, Матушка Сойла?» У него был человек, который мог за него это делать,— Рафаэль, парень на побегушках.

Когда все намыленные вещи были разложены рядом с вышитым платком дона Родольфо, Матушка Сойла приняла отчаянное решение: она попросит дона Родольфо сделать все возможное для ее Мельчора. Ей ответили, что принять ее дон Родольфо не может: во-первых, он еще не встал, во-вторых, должен был «лететь» по своим срочным делам Но сеньорита Лус могла бы ее выслушать.

— Добрый день, сеньорита Лус.

— День добрый Матушка Сойла. Папа просил передать, чтобы вы, так уж и быть, изложили мне вашу просьбу а я потом ему все передам.

— Вот что, деточка, уж и не знаю, к кому броситься за помощью. Кости моего покойника хотят либо сжечь, либо выбросить с кладбища.

— Не может быть?! Правда, мы очень мало знаем об окружающих нас людях, но мы предпочитаем уважать их. Какой ужас! Выбрасывать прах усопших! Какое кощунство! И что же мой отец может для вас сделать?

— Не поговорит ли он с сеньором комиссаром? А может, и мне что присоветует? Сеньор комиссар сказал, что мой старший сын — доктор Руперто — может всего добиться, но трудность в том, что вот уже сколько лет сын со мной даже не здоровается. А главное — невестка: она и знать-то ничего о нас не хочет.

— Матушка Сойла, я очень вам сочувствую, но думаю, что первым делом стоит вызвать ваших сыновей. Уж коли вы не знаете ничего о своем Луисе, вызовите близнецов. А если комиссар сказал, что ему необходимо встретиться с доктором Руперто.— чего же больше? Ну а если адвокат под каким-либо предлогом откажет в помощи, пусть к нему отправляются братья. Неужели он может остаться равнодушным?

— Бог воздаст вам за доброту. Передайте дону Родольфо, что, мол, большое от меня спасибо.

[1] Жанр сольной лирической песни, зародившейся в инкскую эпоху. Яравн исполняют и как инструментальные наигрыши.

Она опять вернулась к каменной стиральной доске, сложила белье в две корзины. Грустно погладила маргаритки, плавающие в баке, и, колотя по белью, посмотрела на свой холм, откуда длинные и широкие трубы разносили воду по всему городу.

Матушке Сойле было известно, что даже самые большие дома где-то кончаются, души — тоже. Наверное, после вступления в брак душа доктора Руперто стала очень значительной, но матери хотелось взять ее за рукав и сказать что-нибудь очень нежное, подать кофе с нерастворенным на дне чашки сахаром, чтобы подсластить последние глотки. Вот тогда бы они могли поговорить.

Старуха полагала, что братья-близнецы оставили свой адрес старшему и богатому. Естественно, Луис своего адреса никому не оставлял, его адрес — там, где живет мать. Но близнецы оставили. Она будет просить доктора Руперто чтобы он вызвал младших братьев и не утруждал себя более ничем Зато таким образом Матушка Сойла, которая считала, что она все очень ловко продумала, могла просить младших сыновей, чтобы те по приезде постучались в душу доктора Руперто.

«Прости, что я смогла дать тебе лишь начальную школу»,— скажет она одному из них.

«Прости, что я дала тебе высшее образование»,— обратится она к другому.

«Прости, что я оставила тебя неграмотным», — извинится перед самым младшим.

Возвращаясь, она вновь пришла к дому доктора Руперто. Сад, аромат цветущих магнолий — все было на месте. Не хватало лишь бумажной вертушки и самого «юлы».

Она разглядывала металлическую калитку, вспоминая сказки об осажденных замках,— эти книжки приносили ей сыновья, пока они были ее детьми, пока они росли На звонок вышла сама невестка — к ней должны были зайти приятельницы.

— Что вам угодно? — высокомерный взгляд и аромат тонких духов. И лай, заставивший старуху сжаться, когда заскрипела массивная железная дверь.

— Мне ничего не надо.

— Так в чем же дело?

Собачонка лаяла с завидным упорством.

— Мне бы узнать адреса других моих сыновей. Срочно надо написать им.

— Вот как!

Это «вот как!» сильно поубавило у старухи надежды. Она поникла.

— Руперто пришлет вам адреса близнецов, но вы предупредите их, чтобы они у нас не появлялись.

— А когда мне можно будет зайти?

— Я же сказала: Руперто сам отправит вам бумагу. Зачем же вам приходить сюда?!

За спиной Матушки Сойлы остановился автомобиль, пахнуло духами, кто-то крикнул «быстрее, опаздываем!», и старуха вновь осталась одна перед воротами дома. Магнолия уже не была видна, но запах ее цветов она ощущала даже спиной, когда повернулась, чтобы бежать отсюда.

— Матушка Сойла, к вам пришли!

— Матушка Сойла! Матушка Сойла!

— Ну и крик подняли эти озорники. Следовало бы с большим уважением относиться к пожилым.

— Получите. Распишитесь. Всего хорошего Не за что...

— Конверт без марки, для коллекции не годится.

— Прочти-ка, соседка, я уж сама не могу, глаза с годами устали.

— В письме адреса ваших сыновей, двоих из них. Подписи нет Какой же хам мог отправить вам бумажку, даже не приписав пару строк?! Да, только адреса: один — на севере, другой — на юге страны.

Матушке Сойле не пришлось уезжать, чтобы разыскать своих сыновей Она купила четыре листка в линейку и четыре конверта, которые до этого долгое время валялись на витрине лавчонки. С помощью лавочника она составила текст письма.

Буквы у нее получались огромными и круглыми. «Как узлы на пальцах»,— подумала старуха.

Матушка Сойла выводила свои каракули на бумажке, лежавшей прямо на при-

лавке. Вот таким образом при помощи письмеца, нацарапанного рядом с мешками маиса, и были приглашены оба близнеца.

— Как же мне подписать? — спросила Матушка Сойла.— Как вы считаете, если я напишу: «Твоя старая мать»?

— Звучит неплохо, но еще лучше, если вы припишете им свое благословение.

Благословение получилось несколько кривым: начиналось оно крупными буквами, которые в конце каждой строки сокращались до минимума. Приглашения были отправлены.

Лавочник решил, что теперь можно и пошутить:

— Вы, Матушка Сойла, слишком торжественные письма написали.

Но старуха уже не слушала его. В душе она надеялась и на того, что находился на юге, и на того, который скитался на севере. Ее усталое сердце положилось на судьбу.

Первым приехал Улисес с севера. Он был контрабандистом. Следом за ним прибыла его подруга. Дети контрабандиста не приехали, ибо каждый из них жил со своей матерью.

У него было несколько домов в разных деревнях, где он обычно скрывался. «Дома» в данном случае означало «женщины». Днем они вязали или готовили еду, ночью, ожидая его, спали.

Матушка Сойла показалась Улисесу очень постаревшей. Он бережно вынул из чемодана черную шелковую шаль и флакон духов, пахнувших молодостью.

— Простите, мама, что так мало.

А она, обнимая сына, положила ему руки на шею и только сказала: «За что же тебя прощать?» Она простила ему все и давно.

С юго-востока со связкой золотых бананов, сочными ананасами и бутылками с соком сахарного тростника пожаловал грешник — Пабло Саул. Голос его был незнакомым, низким и хрипловатым, в горах он постоянно простужался. Пабло Саул — наиболее светлый из близнецов — уехал еще совсем ребенком под предлогом, что его влечет религиозная деятельность. Уже будучи главным помощником аптекаря, он узнал, что оба его имени — из Евангелия. В качестве главного помощника он развозил на велосипеде по горам полоскания и пластыри с бальзамом из травы матики. Или караулил грузовичок, в то время как его хозяин вел долгие и пространные разговоры с кумовьями.

Пабло Саул заявился в сопровождении супруги, происходившей родом из субтропиков, и шестерых детей, даже не объяснив своего длительного отсутствия, бросив лишь «привет, Улисес» и «как жаль встретить тебя в таком виде, мама».

После этого, не передохнув и минуты, он убежал и вернулся с двумя матрацами, набитыми волокном дерева сейбы, которые купил в ближайшей мастерской. Носильщики — индейцы, в шляпах, надвинутых на потные лбы,— получив плату, поцеловали монеты.

— Устроимся сегодня так, а там посмотрим,— пояснил Пабло Саул, показывая на матрацы. Они были огромны: один предназначался для шестерых детей, другой — для любого из присутствовавших, неважно для кого.

С наступлением ночи все расселись по матрацам. Пабло Саул отметил, что, мол, очень холодно, а его субтропическая супруга растянулась на ложе — так ей было удобнее беседовать. Все, за исключением детей, погрузились в беседу и наслаждались ею, пока не забрезжил рассвет. Матушку Сойлу сморил сон, она прикрыла глаза.

— Бедная мать,— в один голос сказали сыновья.

— Но теперь она выглядит очень довольной,— уточнила невестка, которая до того дня никогда не видела своей свекрови.

Пробило четыре часа утра...

КНИГА МАТУШКИ СОЙЛЫ

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Матушка Сойла оглядела население своей комнатушки, раскинувшееся на матрацах. С высоты своих лет она могла глядеть спокойно на все что угодно.

— Я знаю, тебе нравится опускать голову в таз с водой,— обратилась она к еще спящему контрабандисту, наливая маленькой металлической кружкой огромную лохань, пока та не заполнилась водой до голубой полоски. После этого она почти два часа продолжала хлопотать по хозяйству.

Первой проснулась супруга, женщина родом из субтропиков.

— Какой холод,— пожаловалась она и, натягивая одеяло, задела голову мужа. Жалоба сменилась любовным воркованием. Покрутившись на месте и стараясь успокоить свой пыл, она легла на живот, спина ее завлекательно прогнулась, круглые ягодицы обрисовались под простыней.

«Тебе еще надо поспать»,— мысленно приказала Матушка Сойла; она боялась, что проснутся внуки, что проснется и сын-контрабандист, приоткрывшийся глаз которого уже отметил происходящее.

Женщина продолжала лежать лицом вниз. Ее дети спали.

— Не шуми,— приказала Матушка Сойла дремлющему сыну-контрабандисту в надежде, что его не смутит полуобнаженная женщина и что он сумеет остаться тем мальчишкой, которым ушел отсюда, а не быть сорокалетним мужчиной, которым вернулся.

«Хорошо»,— ответила кивком встрепанная голова.

— Прекрасные волосы у моего сына,— вслух подумала мать, и он улыбнулся.

Теперь он окончательно проснулся. Мать и сын глядели на распластавшееся на матрацах маленькое племя. Оба наконец покончили со своим одиночеством — она радостно, он с некоторой горечью.

— Который час? — спросила невестка.

— Действительно, который час? — переспросили сыновья.

— Скоро уж занятия в школе кончатся,— сообщила старуха, что означало: «Поднимайтесь, так долго мы еще никогда не спали». Последней встала супруга Дети уже одевались, взрослые говорили о самочувствии, а она лениво поднималась, придерживая простыню рукой, чтобы прикрыть загорелые груди.

Супруг смотрел на дверь, а дети ждали, что скажет мать, она же позевывала, будто приглашая еще поваляться.

— На таком холоде хорошо бы еще поспать.

— Какая прекрасная вода, спасибо, мама.— Контрабандист глубоко погрузил голову в таз с водой.

Дети тоже захотели искупаться.

— Идите к колонке,— приказала мать и пошла первой.

Матушка Сойла следила за ее сильными босыми ногами, смотрела на простую рубашку женщины; окруженная черноволосыми, как у нее самой, головами, она наклонилась под струю воды — той самой, что еще накануне предназначалась для стирки поплиновых и кружевных платьев и которая сейчас, пусть хоть на несколько мгновений, доставила ей радость.

Как всегда, безо всякого предупреждения появился Рафаэль. Он остановился еще во дворике и, чтобы особо не затруднять себя прокричал что-то от имени дона Родольфо. Но в этот раз Матушка Сойла отвечала ему и от себя, и от имени внуков, ползавших рядом, и от Мельчора:

— Скажи дону Родольфо, что я приду, обязательно приду, пусть не беспокоится.

— И еще скажи, что это будет в последний раз,— добавили оба сына — и грешник и контрабандист. По их тону было ясно, что и с севера и с юга привезены по паре-тройке сотен на прожитье.

— Не могу же я бросить белье дона Родольфо недостиранным!

— Ясно, поэтому и говорим, что в последний раз.

Рафаэль решил, что паутина, в которой билась Матушка Сойла, мало-помалу начинает распутываться, что сквозь нее уже пробиваются лучи света. Он не знал, каким образом рассказать об этих новостях дону Родольфо, и в растерянности даже перестал насвистывать. Но тут же сделал вид, что ничего не произошло, и отправился назад, насвистывая модную песенку. Ее мелодия привязалась и к Саулу-грешнику, и к Улисесу-контрабандисту, и к невестке, и к детям. Весь день они мусолили ее, пока дождь опять не свел их всех под крышей Матушки Сойлы.

С разницей в две минуты последовали два визита: лавочника и сеньора коадъютора. Первый еще можно было бы ожидать, второй же — его преосвященства — никоим образом. Но чудеса ведь непредсказуемы!

— Прошу прощенья у присутствующих. Пришел, чтобы поприветствовать вас,— послышался от двери голос лавочника.

Все были заняты тем, как бы получше принять его, когда снова послышалось «разрешите?», на этот раз произнесенное голосом коадъютора. Он был еще совсем молод, но несмотря на это чувствовалось, что его ближайшие друзья — это сумерки и одиночество.

— Проходите, ваша милость, пожалуйста!

Был выбран стул, на некотором расстоянии от него расположили скрученные матрацы, которые теперь служили скамейками. Сеньор коадъютор, устроившись у стены, произнес: «Не беспокойтесь». Субтропическая супруга извинилась перед ним за то, что ее шестеро дьяволят столь грязны.

— Чумазые, но такие славные малыши,— Матушке Сойле нравилась даже грязь на щеках внуков.

— Все дети таковы,— выступил в защиту детей всего мира сеньор коадъютор, который только что читал в церкви отрывки из первой книги Бытия.

После первых слов все ощутили необходимость представиться друг другу. Послышалась непременная в таких случаях фраза: «К вашим услугам», и звучала она много раз.

У сеньора коадъютора никогда никто не спрашивал имени, по крайней мере до этих детей. Видимо, в силу того, что ребята проживали где-то за Великими водопадами, у самой восточной границы, они не имели возможности общаться с почтенными людьми. Им неоткуда было набраться приличных манер, они спросили у коадъютора его имя. Улыбаясь и поводя в воздухе указательными пальцами обеих рук, будто перед ним стояли классные доски, он объяснил:

— Мое имя — Иеремиас, но иногда меня называют Давид.

Дети растерялись. Там, где они жили — в мягком и теплом климате,— им были известны многие, но гораздо более простые имена: Петронио, Фелисиано, Симплисио, в окрестностях доминиканского монастыря они играли с педро, томасами, предикадорами, хуанами, но никогда им не встречался Давид и тем более Иеремиас.

— Как идет дело? — вежливо спросил коадъютор у контрабандиста.

— Невозможно работать, придираются. Дерут все больше.

Все объяснялось просто: те, кто «придирались» и все больше «драли», составляли две категории — полицейских и пограничников. Первые носили форму, вторых же часто трудно было отличить от их жертв: серая рубаха, куртка на молнии — вот и все. Иногда звучали пистолетные выстрелы. Полицейские брали мало, зато их было много. Пограничники брали много, потому что их самих было мало.

— Значит, плохи дела.

— Пожалуй, скорее плохи, ваша милость.

Неожиданно в дверь всунулась голова Рафаэля, он обратился к коадъютору:

— Сеньор священник просит передать, что он — у дона Родольфо, что он задержится у него и чтобы вы, ваша милость, заперли церковь после отправления общего благословения.

Его милость сеньор коадъютор как никогда ощутил сопричастность с судьбой своего тезки — извечно преследовавшегося библейского пророка Иеремии. Он так уютно чувствовал себя в этой комнатке, да и каждого может взбесить, когда прерывают его беседу.

— Скажи, пожалуйста, сеньору священнику и дону Родольфо, что ты нашел меня в церковном приделе, что приду я вовремя, дам благословение, а сейчас я тоже отправляю свои прямые обязанности. Только смотри не ошибись.

Взаимное соглашение было достигнуто После этого Рафаэль отправился через дворик, забитый детьми, насвистывая песенки — то веселую, то грустную Мелодии затихли, когда парень стал спускаться по тротуару, прижимаясь к стене, куда не попадал дождь.

Один из сыновей контрабандиста нашел в сарае стебли тростника сиго которыми здесь обычно подметают земляные полы. Ребенок на бегу сдувал белый пух с отцветших метелок, белые облачка плыли в воздухе, и он забавлялся, рассекая их стеблем.

— Положи на место, это чужое,— крикнули мальчику.

— Продолжайте, ваша милость,— попросила Матушка Сойла.

— Будьте так добры,— добавила младшая невестка.

— Нет, я пришел сюда для того, чтобы послушать, а не говорить. Рассказывайте-

ка лучше вы. Дон Улисес, вы как раз собирались рассказать, как идут ваши дела, мы готовы вас слушать.

Все присутствующие уселись вокруг дона Улисеса, промышлявшего контрабандой, который вернулся сюда много лет спустя и который знал, что такое море, по крайней мере побывал на его ближних берегах.

За дверью слышался шум дождя. Даже дети знают, что, когда идет дождь, в воздухе пахнет пылью. Играть на улицах, площадях и ступенях собора можно до того пока не ощутишь этот запах, а потом лучше забраться куда-нибудь в угол и смотреть на собственный мокрый двор.

Ребята, толкаясь, протиснулись в комнатку, места для них здесь не было, но они расположились среди старших. Отец Давид пытался тронуть головы двух малышей, но дети уклонились от ласки.

— Пусть меня простят за откровенность, но я ведь в свое время чуть было не стал семинаристом, ваша милость, а потом стал торговцем только для того, чтобы не быть священником.

Его милость увидел в глазах странника искренность и веру, но промолчал, чтобы при всех не благословить его. Матушка Сойла после приезда своих сыновей еще глубже осознала, какие неожиданности доставляли они ей в эти последние годы.

— Не болтай глупостей, у меня и денег-то не было, чтобы отправить тебя в семинарию.

— Верно говорю. Чуть-чуть не попал в семинарию, а отделался от нее, простите, святой отец, потому что осиротел.

У поверхности земли стелились молнии.

— Полосатые тигры! Пум-пум! — указательным пальчиком стрелял младший из внуков.

— Это горы разговаривают, папа? — спросил кто-то из детей.

Пришли к заключению, что нет: если бы это беседовали между собой горы, их нельзя было бы услышать при дневном свете, ибо горы предпочитают переговариваться по ночам.

— Пум-пум! — повторил победоносно малыш.

— Я уже говорил, что бежал из дома очень рано, но отец ушел от нас первым Мать об этом знает лучше нас всех.

— Вот история! Так что вы чуть было не попали к нам в церковный клир? — с вопросительной интонацией заметил сеньор коадъютор.

— Из меня бы вышел отвратительный священник. Лет мне было мало, а охота бродяжничать — велика И знаете, трудно промолчать: я вижу себя в своих племянниках. Они тоже из другого теста замешены, не получится из них семинаристов.

— Не надо обладать особыми качествами, чтобы стать им.

— А вы, ваша милость? Тоже не обладаете?

— Никто не обладает.

— Я, ваша милость, мало в этом понимаю. Единственно, что могу твердо сказать — лично я никогда не мог жить, замкнувшись на чем-нибудь одном. Наверное, я как дикий зверь, бродящий по горным перевалам. Мне нравится засыпать там, где меня свалит усталость.

В комнатушке, забитой людьми, становилось душно. За стеной по-прежнему шумел дождь. Было слышно, как тяжелые капли падали в углубление изъеденного водой камня. А самые легкие капли улетали с ветром. Потом эти капли осядут на железных петухах крыши собора, на цинковых листах школьной крыши, на воротах мэрии, на жестяных венках кладбищенских памятников, а если ветер усилится, вновь сорвутся и полетят дальше. Дождь порой превращался в плотную завесу, и тогда от фундаментов зданий сырость ползла вверх, к окнам, проникала через них.

— Я всегда говорила, что ты сам ушел из дома, по своей воле, — пожурила Матушка Сойла своего вновь обретенного кормильца.

Ее голос, изуродованные старостью руки свидетельствовали, что для старухи эта черноволосая голова с непослушной прядью на затылке оставалась той же, что и прежде. Кудри буйствовали вокруг лба, и причесать их должным образом Улисесу никогда не удавалось.

— Нет, мать, не по своей воле я ушел. По правде говоря, торговля — это у меня в крови. Вы, наверное, и не догадываетесь, ваша милость, как мы еще в

детстве менялись картинками из святого писания. Я, например, отдавал три изображения первого причастия за футбольного вратаря. Поэтому-то я и ушел. Прости меня, мама. Простите и вы, ваша милость.

— Долго не возвращался!

— Как ты думаешь, насколько я опоздал вернуться?

—Почти на целую жизнь. Но сейчас-то мне кажется — всего на пару дней.

— Нет, не настолько! Я еще себя чувствую молодым.

— И вы не боялись, что вас убьют, дон Улисес?

— Как же! Было очень страшно. С полицейскими можно общаться, лишь когда ведешь милую беседу, тогда у него, как у всех людей, два глаза. Но как только он берется за винтовку и прицеливается в тебя, у него остается всего один. Бах! А все во имя чего?! Чтобы отобрать у тебя карманный радиоприемник или одеяло. Страх? Да, конечно, испытываешь страх.

— До каких пор ты будешь совершать глупости, сынок?

— Пока меня зовут Улисес и пока у меня есть свой ангел-хранитель. А если кто будет целиться в мою рубаху, получит камнем по зубам. У меня ничего нет, я все бросил, чтобы заплатить все долги.

—Я всегда говорила, сынок, тебя так и тянет бродяжничать.

Через улицы и дворы в комнатку проник вопрос: соседка Роса спрашивала, не собирается ли вернуться Фелисиано.

Нет, Фелисиано, видимо, бродит по иным краям, и соседка Роса знает об этом лучше других. Поэтому-то она и задавала вопрос: чтобы скрыть правду.

Матушка Сойла произнесла:

— Где он теперь, бедный парень? Я-то лучше других знаю — по своему Луису, — как тяжко уходить из дому в такой ливень.

Улисес, которому, видимо, кое-что все же было известно, посмотрел на дверь, встал у притолоки, вскинув руки, будто подпирая ее, и вдохнул воздух, пахнувший дождем.

— Он вернется. Когда-нибудь вернется, — пробормотал он. — Не так ли, ваша милость?

Но его милость не ответил. Честно говоря, на некоторые жизненные вопросы у него не было ответа.

— Светлеет, — произнес со своего места контрабандист. Он стоял спиной ко всем, но оторваться от радуги не мог. «Светлеет» означало, что дождь утихал.

В городе, где дожди сменялись ярким солнцем, все знали повадки радуги. Обычно она взбиралась на крыши, возвышавшиеся по обеим сторонам двора, и была похожа на ручку от больших продуктовых корзин, в которых жены каменщиков и штукатуров носили на стройки обеды.

Священник изучал в сумраке комнаты силуэты своих прихожан, их руки и головы, прорисованные тонким лучом, проникавшим со двора. Жена контрабандиста, сидя на полу, лущила зерна с початка маиса.

— Вы состоите в браке? — уточнил он. Вопрос более относился к женщине, чем к дону Улисесу, так во всяком случае они поняли его.

— В этом только он разбирается, — извиняющимся голосом ответила она.

Дети, озабоченные известием, что исчез кто-то из друзей, опять убежали: им не хватало одного игрока для футбольного матча против соседских мальчишек из глинобитного дома. А с другой стороны: чего же сидеть взаперти, если дождь прошел?!

— Он об этом никогда не распространяется, — добавила Матушка Сойла. Она знала, что сын будет благодарен ей за эти слова, покончившие с щекотливой темой.

— Кажется, дождь перестал, я загляну к вам как-нибудь, — сеньор коадъютор уперся руками в колени, поднимаясь; полы сутаны раскинулись, открыв до блеска начищенные черные ботинки.— Я сам себе чищу обувь, но и подол сутаны мне отлично для этого служит,— пояснил он, заметив, с каким восхищением окружающие разглядывали сияющие носки его ботинок.

— Я провожу, если ваша милость позволит, — смиренно обратился к нему Улисес.

Сеньора коадъютора удивила подобная смиренность. Он тем более поразился, когда контрабандист приказал жене следовать за собой.

Они вышли.

— Иди вперед,— приказал Улисес женщине,— я хочу поговорить со святым отцом.

Они пошли по мокрым улицам, она — впереди, мужчины — сзади, и женщина ощущала спиной их взгляды, о чем свидетельствовало покачивание ее бедер.

— Мне бы хотелось посоветоваться с вашей милостью по одному вопросу.

Походка молодой, но уже зрелой женщины, идущей впереди монаха — брата Давида, не выдавала и тени беспокойства. Скорее обратное — от нее веяло здоровьем, годы хотя и смазали линию в прошлом тонкой талии, но сделали уверенным ее шаг. Сандалии четко выстукивали в тиши улицы, и тело женщины наполняло воздух каким-то особым ароматом созидания.

Сеньор коадъютор остановился — они находились уже недалеко от церкви. В женщинах для него таилось то же смущение, которое он испытывал при чтении первых главок Бытия. А их глаза были для него как субботний отдых после трудовой недели. Именно в силу этого, пока на нем монашеское одеяние и дабы избежать первородного греха, отец Давид предпочитал смотреть женщинам в глаза.

— Говорите, дон Улисес.

— Не знаю, как и начать, ваша милость.

— Вы хотите сказать, что вот уже годы живете с нею и до сих пор не обвенчаны.

— Иди, жена, подожди у церкви. Нет, ваша милость, — теперь он обращался к монаху, — не годы, всего лишь несколько месяцев.

— Мне было известно, что вы прожили со своей супругой многие годы и что у вас даже есть двое детей.

— Вам, пожалуй, не соврали, ваша милость. Дело в том, что ни с одной из жен я не был обвенчан. Детей-то у меня гораздо больше, и все они растут. А это женщина — новая жена.

— Новая?

— Как вам втолковать?! Так обычно говорят. Я счастлив с ней. Будто я вновь на свет родился. Вот об этом-то я и хотел спросить вашу милость: что делают люди, когда они счастливы?

Его милость посмотрел на улицу, изгибавшуюся при спуске к городу. После ливня вновь стал ощутим запах цветов мелких кустарников. «Новая» с минуту поиграла ручкой двери дома, где проживали священники, и теперь направлялась к ним; по ее неспешности было видно — она понимала, что мужчины говорили о ней. Со страхом она смотрела на отца Давида, с истомой — на своего Улисеса. Глаза ее были чистыми, широко открытыми, будто она каждую секунду удивлялась тому, что видит дома, людей, возвышающиеся вокруг стены.

— Мне придется крепко подумать, дон Улисес. Если бы я повторил то, что обычно говорится в проповедях, я бы вам ответил: бегите от соблазнов, бегите от мира, станьте на путь раскаяния, вернитесь к своей прежней жене. Но мы, коадъюторы, не епископы. Мы, конечно, наизусть знаем, что такое грех, и даже сами грешим. Я, например, считаю, что бог существует скорее для грешников, чем для святых. Мы — молодые священнослужители, многие из нас заблуждались, но при этом всегда оставались честными. Так вот, мы утверждаем в порядке самозащиты, что основой веры должен быть не страх, а сострадание.

— Не могли бы вы объяснить все это попонятнее? Я спрашиваю: что положено делать человеку, когда он счастлив?

— Я и попытался вам ответить, дон Улисес, но мне придется еще долго думать, потому что я не знаю, что такое счастье. И, возможно, ваше счастье не должно зависеть от того, к какому решению приду я.

Святой отец грустно улыбнулся. Его призывал звон колоколов, оповещающий людей, что они могут получить его благословение. Из улочек появились первые старушки. Пожатием руки он простился с контрабандистом. «Новая» на прощание произнесла: «Всего вам хорошего, святой отец» — и при этом прикрыла глаза веками.

СЧАСТЬЕ

— Ты хочешь отвязаться от меня, — упрекнула «новая».

— Совсем наоборот.

Он догнал ее и правой рукой обхватил за талию.

От церкви, точнее от домика священника, к военному госпиталю можно подняться по каменной, поросшей травой тропинке. И на траве, и на камнях — скользко. Но выше, там, где склон становился более крутым, уже шли ступени-глыбы, и подниматься по ним было удобно. Любой военный госпиталь всегда окружен парком, но этот особенно нравился Улисесу: край холма был огорожен перилами, здесь можно было опереться на балюстраду и смотреть вниз на город. Они направились в самый тихий уголок. Женщина сильно прижала своей рукой руку мужа, покоившуюся на ее животе, чтобы он почувствовал ее великое желание. Оба смотрели вниз, и только железные поручни отделяли их от бездны.

— Похоже, будто стоишь на корабле, — сказала Мария Магдалена.

— Похоже, будто стоишь на корабле, — эхом отозвался ее спутник.

Оба лгали, ибо никогда никто из них не бывал на больших кораблях. У их ног в тумане плавали зеленые холмы и долины, их овевал ветер, и мужчина чувствовал себя настоящим капитаном. Они плыли на высоте двух тысяч семисот метров над уровнем моря, плыли на борту своего холма.

— Пошли домой, — попросила женщина, тесно прижавшись к своему капитану.

Они оглянулись. Чуть выше виднелся госпиталь, из его окон выглядывали недавние призывники — загипсованные руки, ноги. Они, наверно, тоже смотрели на город, вернее на то, что называлось городом, ибо надо же было как-то называть лощины, ущелья, реки, между которыми были разбросаны дома.

За госпиталем шел лес. Чтобы добраться до него, надо было пройти по последним улицам и подняться еще на шесть-семь кварталов.

— Пойдем туда, — хрипловатым шепотом предложил контрабандист.

Она ответила жестом согласия, отдавшись руке своего кормильца — бродяги и авантюриста. Оба затерялись в лесу. Здесь не было никого. Только листва шелестела.

С этого дня они стали искать для себя жилье.

— Всего одну комнату, — объясняла Мария Магдалена владельцам, сдававшим внаем квартиры.

Вопрос был решен очень скоро. Через несколько домов от Матушки Сойлы, там, где улица уже упиралась в гору, они нашли приют своей любви. От остальных домиков его отделяли красные перила, укрепленные прямо в камне. Затем они обогрели свою любовь плитой, топившейся углем, и керосинкой, за этим последовали два стула — один колченогий, другой целый, — стол и кровать, достаточно широкая для того, чтобы одному спать нормально.

Их новый семейный очаг салютовал им в первый же день грохотом взрыва. «Новая», уже орудовавшая кастрюльками, взмахнула руками, пропахшими сельдереем, и стала креститься. То мог быть выстрел крепостной пушки, которым ежедневно в двенадцать часов дня отмечалось получение государством независимости. Делалось это из чистой склонности к торжественности. Нет, это не пушка, отметила про себя «новая»: было совсем рано, даже луковицы не успели свариться в супе. Только тут они осознали, что живут у самого подножия Анд, что их домик стоит над каменоломней, за которой начиналась городская застройка. Они решили, что в конце концов можно привыкнуть к этому шуму и примириться с тем, что глыбы, оторванные от нашей планеты, взлетают и рассыпаются в воздухе. На контрабандисте была трикотажная майка, он только что умылся модным мылом марки «Золотой орел». Его голые плечи и шея призывали, чтобы кто-нибудь обнял их. Женщина выплеснула из тазика воду прямо на отроги Анд, налила свежей, чтобы отмыть тем же мылом назойливый запах сельдерея. Она почувствовала, как он потянулся к ней. Тело ее вновь отдалось его объятиям, позволило увлечь себя на тесное ложе.

Потом они лежали, успокоенные и благодарные друг другу. Она думала о том, что оба они выжили в этой жизни по двум причинам. Во-первых, потому, что Улисес сам — частица вселенной, как птица в саду, как камень в горах. Его жизнь не за-

висела от того, силен он или нет. Зависела она, скорее, от того, насколько меток был враг, от того, насколько настойчиво он искал покоя, который одновременно был передышкой и для других.

Думая о жизни, всегда легче вспоминать о смерти.

— Не забудь, тебе еще предстоит сделать то, что ты должен сделать.

— Что же я должен?

— Я полагаю, мы приехали сюда ради праха твоего отца.

— Верно.

Два брата, один — бродяга, другой — уважаемый житель Города-на-Холмах, встретились на улице у ворот. Чтобы не произносить «Добрый вечер! Могу ли я видеть доктора?» — Улисес предпочел бродить от одного угла квартала до другого, засунув руки в карманы брюк. Они посмотрели друг на друга так, будто принадлежали к разным подвидам фауны. Улисес только что вышел из трущоб «крысиного города», раскинувшегося над каменоломней, и только что лежал с любимой женщиной. Он еще переживал это ощущение, и ему казалось, он покорил частицу вселенной. Многие годы он пил дешевую тростниковую водку чичу, пил пиво, ключевую воду, он знал жажду, голод, усталость. Он знал, что означает делить контрабанду с солдатами; женщин он не делил ни с кем. Он бродил по постоялым дворам, где старухи заговаривали его от гибели, а девушки поили его приворотным зельем, настоянным на траве чамико. Его кулаки ныли, когда не было против кого их следовало использовать.

— Откуда ты?! Что тебя принесло?

Как ответить? Улисес не совсем понимал, что означают эти «откуда?» и «что?» И никогда не понимал такого рода вопросов, поклонниками которых были его брат-адвокат и другие просвещенные люди.

Он стоял и смотрел на брата, который уже перестал им быть, а превратился в гвоздику в петлице. Он чувствовал зуд в руках — руки сейчас способны на все. Однако он отдавал себе отчет, что в данный момент следует воздержаться от агрессивных действий.

— Мне кажется, ты очень зол,— последовало предупреждение Руперто.

Да, он был зол. Руки сами собой выдрались из карманов брюк и вцепились в лацкан с гвоздикой.

— Черт побери! Ты даже не знаешь, как себя чувствует мать, вот как давно не виделся с нею

Но брат пришел из иной — своей собственной — жизни. Он был мужем своей жены, зятем собственного тестя, стал племянником чужих дядюшек Ему были известны самые различные формы убеждения, ответы «городские», «цивилизованные», из тех, что вырабатываются долгой практикой.

— Я ведь могу позвать и полицию, если не уберешь руки. Как тебе такое понравится?

Контрабандист все еще не опускал рук — полицейские его никоим образом не волновали Но прошло мгновение, и Руперто добился желаемого: кулаки уступили ловко сказанному слову.

— Я знаю, на твоей стороне и полицейский комиссар, и епископы, и власти.

— Мораль, Улисес. Ты забыл: на моей стороне — мораль.

Улисес разжал пальцы, выпустил пиджак брата. Он стоял перед адвокатом, перед великой силой искусства речей.

— Мы сможем побеседовать, если ты будешь вести себя разумно.

Улисес слушал.

«Мораль» облаченная в серый костюм с красным галстуком, уже готова была торжествовать победу, но откуда-то вдруг прозвучал голос его супруги, племянницы важных дядюшек Здесь надо отметить, что на встречу с братом Руперто вышел не из объятий супруги а из возвышенного состояния: он как раз репетировал перед зеркалом свое предстоящее публичное выступление Следуя мудрым наставлениям свояков и шуринов он декламировал и декламировал заранее написанную речь, добиваясь того чтобы голос звучал твердо, а жесты были уверенными Все это делалось, чтобы быть достойным благоприобретенных важных родственников.

Вполне возможно, что адвокат и выиграл бы битву у контрабандиста, если бы из окна настоятельно не позвал этот небесный голосок:

— Руперто! Руперто!

Высокомерие адвоката сникло. В глазах мелькнуло нечто вроде тоски. И контрабандист вдруг ощутил прилив нежности и сострадания.

— Руперто, не говори мне, что ты счастлив.

Услышав голос матери, зовущей отца, дети кинулись к нему. Один хватал за колени, другие теребили за руки.

— Нет, Руперто, не уверяй меня, что ты мог бы быть счастлив.

Руперто целовал своих детей, а Улисес вдруг понял: если перед ним и стоял победитель, то как же он был жалок! Более жалок, чем друзья-контрабандисты. Более жестоко, чем они, он обделен справедливостью! Улисес испытал боль оттого, что случайно, против собственной воли, оказался прав.

— Не знаю, счастлив ли я. В браке, думаю, нет. Но когда меня встречают дети, я почти... почти счастлив.

Руперто почувствовал внезапно родившуюся в младшем брате солидарность и решил воспользоваться ею.

— Пожалуй, ты мне понадобишься. Сегодня я выезжаю в политическое турне. Почему бы тебе не поехать со мной? Тебе понравится.

И Улисес, исполненный доверия к старшему брату, согласился.

«Народный лидер», «человек, который видит наше будущее» — так называли доктора Руперто провинциальные политики. Окончательно поверив в свое предназначение быть пророком, адвокат посещал их по воскресеньям, а на неделе, в ответ на их расположение, давал им краткие аудиенции в своем офисе. К нему шли с новостями, чаще с требованиями, просьбами, приказами, комплиментами и при этом приносили мелкую домашнюю живность — в жертву кухне адвоката.

Сознавая важность своей исторической миссии, пророк для каждой из таких поездок тщательно продумывал костюм, он «стряхивал» с себя город — снимал галстук, вынимал из петлицы гвоздику, после чего обращался к довольно смутным теперь уже воспоминаниям школьной юности, его устами должны были вещать великие личности национальной истории. Их мудрость он черпал из еще сохранившихся учебников.

Многочисленные городишки, где бывал Руперто, отличались бедностью и однообразием ансамбля — пыльная главная площадь, квадратный сквер, башенные часы, отставшие на полвека, и школа. В каждой из них непременно имелось два учителя, один из которых всегда был очень молодым, почти однолетком школьников, а второй — пенсионером, одержимым постоянным страхом перед грядущим расставанием с жизнью и отличавшимся памятью столь же цепкой, как плющ на школьном дворе.

Городишек было много, и все, как уже говорилось, — на одно лицо. Отличались они лишь достопримечательностями северной, южной, восточной или западной частей. Так, в каком-то из них северная часть славилась тем, что здесь находился дом знахаря (он, правда,сам был очень болен и обладал способностью предсказывать болезни окружающим). В южных кварталах зачастую располагались церковные приходы — отсюда доносился аромат цветущих яблоневых и апельсиновых деревьев. А вот на западе городка с целебными водами находилась Тропа Христа-младенца, проще — мостик, через который круглый год текли прихожане, обмениваясь рождественскими открытками с изображениями ангелов и дьяволов.

Что же касается востока, то ясно, что во всех городишках отсюда вставало солнце. Север, юг, восток, запад — всегда и везде вращались вокруг дома священника, школы с двумя учителями и крестильной купели с водой цвета мха.

Такие черты отличали избранную — согласно пророчествам доктора Руперто — нацию, которую ему предстояло вести к земле обетованной.

Однако и самому адвокату, и шедшим за ним людям не хватало того, что называют алтарем отечества. Конечно, свою службу мог бы сослужить прах предков, но кости отца доктора Руперто пребывали в полнейшем забвении, адвокат и не вспоминал о них. К тому же не исключалась возможность скорой смерти матери, страдавшей ревматизмом, и с этой смертью окончательно утратились бы последние воспоминания о родителях. С уходом в вечность Матушки Сойлы угасли бы последние угли семейного очага, олицетворением которого она была, а дети и не замечали, еще тлеет ли угасающий костер материнской любви.

Итак, обладая способностью читать книгу ближайшего будущего, адвокат-пророк остановил свой взор на брате. Доктор Руперто был мастером ведения умиротворяющих

бесед на манер епископов, священников и политиков-либералов; нередко он даже позволял себе выступать покровителем тех, кто во время конфликтов палит с баррикад по зеркальным витринам и окнам особняков. Но главное заключалось в том, что благодаря своему браку он приобрел редкую возможность служить связующим звеном между шуринами-радикалами, племянниками-социалистами и дядюшками-консерваторами — родственниками своей супруги. Пророк жил сознанием того, что провидение определило ему быть посредником между ними.

У доктора Руперто была врожденная способность создавать сочетания из взаимоисключающих элементов — миссия тех, кто ведет за собой людей, чьи судьбы предопределены. В пламенных речах, произносимых им в городских трущобах, он распространялся о своем более чем скромном происхождении; в беседах с власть имущими придавал анафеме невежественных бедняков; в мастерские столяров и портных всегда входил с готовым рассказом о своих предках; в дни предвыборных кампаний выступал на публичных митингах, изрекая затасканные истины, извлеченные из гороскопов, рассчитанных на обывателя. Однако в последнем случае доктор Руперто предпочитал являться в сопровождении супруги — столь светской, столь снисходительной и так божественно благоухающей.

Куртка из грубой ткани, полученная адвокатом от Мельчора еще в дни, когда они оба — отец и сын — вырубали на беломраморных и гипсовых кладбищенских плитах овечек, служила доктору Руперто для встреч с рабочими-строителями, он надевал ее, направляясь на текстильную фабрику. На это предприятие он всегда стремился попасть в субботу или воскресенье, ибо в будни ему пришлось бы прежде всего наносить визит вежливости его владельцу — племяннику дона Родольфа, кузену своей супруги, основателю и благодетелю местного церковного прихода, личному другу самого господа бога, на последнего фабрикант возлагал большие надежды, ибо исправно платил небесам положенную дань.

Доктор Руперто жил в городе, вокруг которого еще жили потомки тех,чья история уходит на тысячелетия в глубь веков,но о них он не вспоминал. Его выступления отличались удивительной пустотой и легковесностью: некие таинственные и невнятные намеки перепархивали из одной речи в другую.

И вот случилось же: в дополнение ко всем душевным мукам адвоката совершенно неожиданно явился брат-неудачник, Улисес, проклятый контрабандист! Проклятый не потому, что контрабандист, а потому, что мелкая сошка в контрабандном деле. Мореплаватель без корабля! Охотник за иллюзиями! Продавец барахла! Нарушитель порядка!

И все же доктор Руперто нашел выход, сумел воспользоваться неожиданным приездом брата в собственных интересах. А вдруг Улисес сможет стать тем свидетельством, которое доктор так жаждал представить своим соратникам?!

— Ты мне нужен. Поедем со мной.

И Улисес, веривший всем, кроме солдат, поверил брату.

Руперто вез Улисеса по-воскресному оживленной дорогой, забитой пешеходами. Между городом и окрестными деревнями тянулись нескончаемые людские потоки, с высоты холма они казались движущимися стежками или цепочками муравьев в шляпах.

На церковной площади — главной и единственной — Руперто вместе с встречающими его поднялся на самый длинный балкон, испокон веку предоставляемый для выступлений всем политикам. Здесь председатель только что созданного комитета повернул к стене два огромных фотопортрета кандидатов-соперников и водворил на их место изображение доктора Руперто. Местные жители, балкон, портреты слушали возвышенные слова в адрес стоящего здесь же пророка, которого накануне отсюда же проклинал пророк предыдущий. Слушатели дона Руперто были те же, что приходили сюда вчера, оркестрик был тот же, спиртное — того же сорта, разве что посильнее разбавлено водой. Другим был лишь тот, кто нес в этот день расходы.

После выступления доктор Руперто был приглашен в зальчик, где его приветствовали местный священник, отцы города, наименее застенчивые из вдовиц и девиц; вдоль стен, как на поминках, стояли стулья, по залу в лучах заходящего солнца, которые мягко проникали через стекла широких окон и решетчатую дверь, мелькали силуэты дам, наполнявших бокалы.

Доктор был настолько красноречив и на балконе, и в зале, что контрабандист испытал чувство восхищения и даже укорил себя за то, что не знал, как самоотверженно,

не щадя живота, Руперто боролся за него, Улисеса, за их старую мать, покойного отца, за всех бедняков и униженных, как знакомых, так и незнакомых.

В ходе последовавшей беседы с директором школы — одновременно руководителем местного профсоюза работников просвещения — доктору Руперто пришло в голову, что на ремонт фундамента школы и окраску канцелярии требуется не менее двух квинталов извести и шесть «мулов» — то есть шесть поклаж — камня. Адвокат обещал похлопотать об этом перед руководителем соответствующего департамента.

В разговоре со священником Руперто поддакнул несколькими извечным истинам-угрозам, извлеченным из Евангелия и произнесенным в качестве благословения:

— Да будут счастливы те, кто предается размышлениям денно и нощно.

— Да будут, святой отец.

— Да будут благословенны мужи, кто не внемлет злым наущениям.

— Да будут, святой отец.

Улисес про себя отметил, что его-то касается оборотная сторона благословения — проклятие. Доктор же Руперто был достойным мужем и радетелем закона.

— Да возрыдают те, кто избрал путь греха.

Контрабандист подумал о том, сколько же из его детей, подрастая, будут рыдать.

Священник помянул тех, кто не стремился занять «кресло» искусителя, и Улисес счел возможным спросить, что означает это слово. Святой отец колебался мгновение, а затем привел выдержки из толкового словаря. И контрабандист понял, что среди его знакомых не было искусителей, за исключением тех, кто открыл в себе призвание стать политиком или оракулом. Однако, осознав это, он не ощутил горечи, скорее наоборот — почувствовал радость за своих племянников, за своего покойного отца, за свою пока еще живущую мать, за своих детей.

Час спустя Руперто спросил Улисеса, будет ли брат сопровождать его и в дальнейшем в поездках по провинциям. Ответом ему было молчание. При прощании, уже в городе, доктор Руперто вновь обратился к брату. И тогда контрабандист сказал: «Нет».

Улисес брел задумчиво и рассеянно, будто неизвестно куда нес сохранившуюся в душе музыку детства, будто в пустынных улицах города искал место, куда ее можно было бы спрятать. Казалось, стояла глубокая ночь.

Он остановился на мосту, построенном еще в колониальную эпоху. Под ним по улице, похожей на реку, плыли тени прохожих; они то уменьшались, то росли в свете низких фонарей, пока не терялись вдали вместе со звуком затихающих шагов.

Музыка зазвучала в нем сильнее, подступила к горлу. В конце квартала он увидел башни церкви святого Воскресения и испугался, что молчание будет нарушено.

— Не бейте, часы,— приказал он, опасаясь, что их бой спугнет его смутную грусть. И часы действительно еще долго молчали. «Наверное, у моей «новой» уже и постель постлана, и простыни чистые»,— подумал он.

Но сначала он решил зайти к Матушке Сойле. Постучал, ему открыла субтропическая супруга брата, остальные члены семейства уже вповалку спали на тюфяках. Женщина уставилась на Улисеса вопросительно. Принесенные им новости были адресованы Матушке Сойле:

— На Руперто надеяться не приходится. Он стал другим человеком. Действовать надо самим.

Он ушел, оставив жену грешника, ушел, чтобы не смотреть на нее, чтобы сохранить и унести с собой музыку, все звучавшую в нем.

Подруга ждала его возле дома, скрывшись в густой тени у подножия каменной лестницы.

— Ты вернулся грустный, расскажи, что с тобой?

Ему хотелось повторить: «На Руперто надеяться не приходится... Действовать надо самим» Однако ночь показалась ему слишком прекрасной, и тогда, попросив прощения у памяти отца, он шепотом пожаловался:

— Я очень устал. Ты бы принесла мне горячей воды с корицей.

Женщина поняла, что за этими словами скрывалось желание помолчать. Ничего не сказав, она направилась к очагу. Ее шаги, бульканье кипящей воды, всплески от бросаемого в чашки сахара были последними звуками ночи.

Матушка Сойла утверждала, что с той поры, как Улисес ушел из ее комнатки, всем стало не хватать радости. Дети Пабло Саула восполняли эту потерю частыми

взрывами смеха, да и субтропическая женщина, если бы ее не угнетало постоянное молчание супруга, также могла дарить веселье. Но ведь Пабло Саул слепо верил в чистилище. Оно было ему обещано и даже подарено еще в те далекие годы, когда они вместе с Улисесом совершали мелкие грешки, после чего всю неделю готовились к воскресным проповедям.

В те годы был жив отец. Мельчор смотрел на мир из своей мастерской с покорностью, в которой были и прощение, и усталость. Он мастерил надгробные плиты либо из мрамора, либо из гипсовой кашицы. Мрамор он покупал у рабочих, когда сносились старинные, колониальной постройки дома; гипс — в хозяйственных лавках, на фунты. У дверей останавливались клиенты, заглядывали в мастерскую, и, прежде чем произносили первое слово, Мельчор уже знал, купят ли они пасхального агнца из дешевого гипса или закажут крест из зеленоватого мрамора.

Тогда помощником отца был Руперто Он очень гордился этим своим званием, гордился и другими своими преимуществами: он был старшим среди братьев, не был «близняшкой», у него была уверенная в работе рука. В семье на Руперто возлагались особые надежды, потому что ему нравилось «выбиваться в люди».

Клиенты заходили в мастерскую раз в год. Входили, здоровались: «Добрый день» или «Добрый вечер, маэстро». Те, кто вместо «маэстро» говорил «сеньор», покупали гипсовые барельефы. Были такие, что надоедливо торговались из-за каждого сантиметра мраморной плиты. Близнецы, наблюдавшие за этими переговорами, обычно спорили, каким будет следующий покупатель — толстым или худым. Они забирались на скамейку, приставленную к окну комнаты, и заглядывали в мастерскую; выигрывал всегда тот, кто чаще залезал, так как именно он и сообщал другому о ходе событий.

Мельчор не всегда зарабатывал на жизнь ручным трудом. Небольшой доход он имел еще и от молитв Это происходило в дни поминовения покойников, то есть за три дня перед вторым ноября Когда взгляд Мельчора начинал блуждать по улице, было уже ясно, что он несколько приустал. К вечеру он чувствовал, как немеют руки, у Руперто руки тоже становились неловкими, он портил уже сделанное и уподоблялся отцу, когда тот пребывал в плохом настроении Мельчор появлялся в дверях мастерской, поднимался по трем ступеням на тротуар, внимательно рассматривал улицу, делавшую через сто метров крутой поворот, и начинал разоблачаться здесь же, у порога: сначала засовывал в карман шпатель, потом стаскивал с себя комбинезон и натягивал габардиновую рубаху и хлопчатобумажные штаны. Одежду он бросал на скамью, где работал; взгляд его при этом становился меланхолическим. Ему хотелось уйти куда-нибудь, скрыться, и чаще всего дело кончалось тем, что он оказывался на кладбище, перед урнами с прахом незнакомых ему людей. В одиночестве он оставался недолго, обычно к нему подходил кто-нибудь из посетителей, чаще всего крестьян-индейцев, и спрашивал, не знает ли он поминальных молитв. Мельчор отвечал утвердительно, и тогда его вели к могилам. Он читал одну молитву — «Отче наш», дважды — «Верую», еще одну о воскрешении божьем, которые он выучил, еще будучи служкой священника. После этого крестьянин клал ему в руку несколько монет с благодарностью от души покойника, ибо последний, по подсчетам родственников, уже витал вне чистилища, готовясь к полету в блаженную вечность. Первый из подошедших зачастую приводил второго, третьего и так далее. Помин души того или иного покойника, считалось, мог помочь душам и других скончавшихся — все зависело от того, сколько молитв было прочитано.

Мельчор и следовавшая за ним невдалеке Сойла — она ободряла его и придавала определенную солидность — приходили на кладбище после того, как оттуда уходили сломленные усталостью священники, которым на заре вновь предстояло отправлять службу, в момент, когда сторожа уже собирались запирать тяжелые ворота. Вот тогда-то и встречали они своих клиентов, которые давали им деньги, и это придавало им уважения на день-другой.

— Возьми, Сойла, купи ребятам корзинку чиримойяс [1].

— Хорошо ли это, Мельчор, что ты молишься за упокой? Может, это только дело святых отцов?

Ее наполняла гордость, что у нее такой муж, что он так славно умеет читать поминальные молитвы,— она так боялась потерять его! Она обещала ему купить лучшие чиримойяс — совсем черные снаружи и ослепительно белые изнутри, а потом благодарила бога от имени всех душ за то, что ее супругу дана благодать представить ему — господу богу — еще несколько незнакомых покойников.

[1] Тропические плоды.

То были годы, когда Руперто после занятий и работы в мастерской исчезал неизвестно куда, когда головы близнецов мелькали то тут, то там: один помогал Матушке Сойле на кухне, обдирая зерна с початков маиса, другой метался вокруг водосброса и звал на помощь, так как в воде плавал кусок тетради, содержащей данные о том, сколько движений крыльями делает мокрая пчела, прежде чем обретет способность летать под ноябрьским солнцем.

Пабло Саул, будущий грешник, никогда не сидел сложа руки: это был обаятельный пройдоха, способный отправиться в путешествие одновременно в четыре части света, уплыть на бумажном кораблике, залезть в водохранилище перед домом и наблюдать за разбегающимися кругами, представляя, как уходят и возвращаются, избороздив все океаны мира, корабли.

Улисес, будущий контрабандист, в те дни был, как говорится, самым обыкновенным озорником. Он постоянно спрашивал родителей:

«Мама, я на этой неделе грешил?»

«Папа, я согрешил?»

Родители отвечали:

«На этой неделе ты подрался с Пабло, поэтому ты останешься дома, а мы пойдем на праздник».

«Ты кричал на мать, поэтому ко мне в мастерскую не приходи».

Еще не став контрабандистом, Улисес уже знал, что такое быть грешником.

Привычный уклад жизни был сломан смертью Мельчора. Уже близилось второе ноября, а двери мастерской продолжали оставаться закрытыми. Матушка Сойла теперь вязала из ниток кроше покрывала и дорожки, и ей очень хотелось вышить головку ягненка: она полагала, что было бы гораздо лучше, если бы на кладбищах вместо камня, мрамора и гипса ниши с урнами были бы украшены вязаными покрывалами.

Для могилы отца Руперто выбрал лучший из имевшихся в мастерской крест — зеленый, мраморный; внизу он выбил инициалы матери, братьев, свои собственные. То была его последняя работа.

Головы близнецов больше не мелькали в самых неожиданных местах, и старший брат перестал быть для них просто старшим братом: первые курсы университета, с такими жертвами оплаченные отцом, позволили Руперто обрести поддержку нескольких стряпчих, шнырявших в основном вокруг полицейских комиссариатов и тюрем. Другими словами, изо дня в день Руперто все далее отходил от отчего дома, пока не исчез окончательно.

Матушка Сойла очень гордилась первенцем. Еще больше она стала гордиться им потом, хотя они занимали совершенно разные положения в жизни: сын теперь стоял неизмеримо выше ее.

Потом Руперто влюбился, и его будто одурманило: он возжелал титулов, крахмальных рубашек, подобострастия. Закончив образование и получив диплом, он стал «доктором Руперто». Бывший лучший студент, бывший лидер нескольких студенческих организаций, этот выходец из бедняков очень хитро выдержал еще один экзамен — вступление в законный брак.

Пабло Саул, пунктуально посещавший воскресные чтения в церкви, почувствовал, как старший брат с каждым днем отдаляется от них, и сердцем понял, что не всегда чистилище находится за порогом смерти. Именно в этот момент в квартале появились миссионеры, поставившие себе целью отвоевать во имя блага души обитателей бедных предместий. Одновременно с ними появились контрабандисты.

Матушка Сойла, в ту пору уже вдова,— правда, мысль о том, что ее супруг своими молитвами облегчил загробную жизнь многим душам, несколько смягчила ее скорбь — утверждала, что миссионеры — спасители мира. Пабло Саул решил уйти с ними, так привлекли его громкие голоса с амвона и божья благодать, обещаемая ими. Но если бы вместо миссионеров пришли цыгане, или циркачи с учеными попугаями, или солдаты — Пабло Саул все равно ушел бы из дома. «Святые отцы» приняли его, обнаружили в юноше твердую веру в небеса и возблагодарили господа бога за силу этой веры.

Следует напомнить, что и проповедники, и контрабандисты появились в поселке Матушки Сойлы почти одновременно, с разницей в несколько недель. Миссионеры со всеми своими духовными ценностями обосновались в доме священника.

Контрабандисты узнали о миссионерах через родственников: двоюродных братьев, шуринов, племянников, дядюшек — и пришли послушать проповеди. У контрабандистов

было явное преимущество перед проповедниками: для них всегда гостеприимно открывались любые двери. Не повезло же им в другом: контрабандистам пришлось первыми убраться из квартала, так как с их появлением немедленно взлетели цены в лавках.

Итак, контрабандисты, а с ними и Улисес, скрылись первыми. Пабло Саул, оставшись в тоскливом одиночестве, последовал за миссионерами.

Но еще задолго до этого Улисес чувствовал, что брат уйдет. Он хорошо знал Пабло Саула, знал его одержимость и увлечение иконками, молитвенниками, церковными ритуалами и понял, что миссионеры без труда уведут его. Так появилась у него привычка исчезать первым.

Состояние полнейшей меланхолии, овладевшее всеми в ходе этих событий, не позволило отметить, что незыблемыми в этом мире оставались лишь бедняцкий квартал, его белая площадь и каменный крест на ней, шум дня и мелодия одинокой ночной гитары. Это всегда здесь было и останется навсегда, даже если люди уйдут отсюда. С давних веков квартал имел такую особенность: он пустел и ждал.

Без всякого удивления квартал отпустил двух смуглых парней — и того, кто решил покинуть его, чтобы увидеть мир, и того, кто ушел, чтобы этот мир спасти.

В отличие от миссионеров, чьи надежды зижделись на доброте простого люда и власти епископов, контрабандисты сами добывали себе хлеб насущный, или, как они выражались, «финансировали себя». «Финансировать» в данном случае означало иметь связи с ростовщиками столицы и порта, которые ссужали любые суммы предпринимателям, судьям, представителям власти. Ростовщики строили фабрики — настоящие и фиктивные; на первых действительно изготовлялись товары, вторые служили прикрытием для ввоза тысяч метров контрабандных тканей и всякого рода изделий домашнего обихода. Все это прибывало в страну в контейнерах, где якобы находилось оборудование для промышленной рекламы. А затем открывались лавки для продажи всех этих товаров беднякам. Торговцы с удовольствием давали в долг деньги покупателям, естественно, под проценты, зато не заставляли клиентов краснеть у стоек долговых банков. «Доброта» оплачивалась: должники обязаны были покрывать долги в кратчайшие сроки, да и проценты с кредита намного превышали допускаемые законом.

Процентщики происходили из семей, традиционно занимавшихся ростовщичеством и поставлявших стране блестящие плеяды патриотов. Среди их предков были президенты республики, немало из живущих претендовало на этот пост. Ростовщики имелись среди сенаторов, членов всевозможных «патриотических хунт». Но самое интересное, что этими типами от имени «здоровых пластов нации» был выпущен манифест, объявлявший открытую войну контрабанде и требовавший от властей-исполнителей большей бдительности на обеих границах.

Не следует заблуждаться: действовали они с полным знанием дела, ибо прекрасно знали всех своих клиентов, в том числе и мелких контрабандистов, против которых так страстно выступали в сенате и которых при всем том не лишали кредитов. Их философия толкала их на контакты не с грешниками, а с их доходами. Таким образом, ростовщики оказывались и инквизиторами, и кредиторами контрабанды, развертывая кампанию по искоренению этого зла.

Такими были годы, когда Пабло Саул ушел с миссионерами в земли индейцев-язычников и когда Улисес, множа свои ошибки, метался от одного ростовщика к южной границе, от другого — к северной, от одного процентщика к другому, пытаясь предугадать при этом, откуда грянет выстрел солдата-пограничника, испытывая страх и продавая ему же бутылку вина или одеяло высоко в горах, где вечера теплы, а ночи так холодны.

Действовали они одновременно, но контрабандисты — по всей стране, монахи — преимущественно в сельских местностях. Воскреснув из исторических хроник средневековой Европы, святые миссии через века вновь превратились в реальность в Андах и с новой силой повели борьбу за души «заблудших». Наставляя их, святые отцы учили индейцев нескольким истинам, например: воздержание, хотя и делает без того тяжкую жизнь еще тяжелей, зато облегчает смерть. Они утверждали, что запах воска в алтаре — это запах бессмертия. Когда монахи уходили, среди домов еще недели две витал аромат оплывших восковых свечей. Старики и дети несли его с собой, возвращаясь к домашнему очагу. Неповторимое благоухание земли и жизни святошам удавалось на некоторое время заглушать благовониями, напоминающими о могилах и смерти.

Их считают кочевниками и бродягами, но души их отличают привязанность и постоянство. Контрабандистам хочется счастья, пусть совсем скромного. Они понимают, что где-то в мире есть места, где такое даже возможно, понимают, что от их желаний ничего не зависит, поэтому они предпочитают не пускаться на поиски, а продолжают скитания в надежде, что когда-нибудь встретят женщину, которая им скажет: «Здесь оно, твое счастье». И что возникнет семья, и что она заставит их ощутить чувство блаженства или вины.

Как и все другие люди, контрабандисты знают реки по их бродам, воспоминания — по их музыке, деревни — по бедным постоялым дворам, комнаты — по кроватям. Они никогда не знают, какой ночью и где им удастся или придется вытянуть ноги.

Родственники, обучившие Улисеса ремеслу контрабанды, в один прекрасный день обнаружили, что он познал женщину, услышали, как зазвучали в его голосе хриплые ноты, увидели, что взгляд его стал отрешенным и настолько, что даже мог показаться вызывающим, если бы не был столь меланхоличным. Тогда они решили, что и все остальные тайны жизни он должен постичь сам.

«Капитан» контрабандистов, старик, который в жаркие дни снимал пончо, чтобы продемонстрировать под мокрой рубахой, насколько хорошо сохранились его мускулы, однажды рассказал, что у северной границы страны начали производить дешевые музыкальные записи. Его седая борода касалась пончо, и хотя он был человеком городским, его нисколько не смущал этот сельский наряд.

— Конечно, записи намного хуже, чем у гринго, зато по цене вполне подходят.

«Капитан» был глух, как бревно, на правое ухо и чуть поменьше — на левое, поэтому в разговорах с женщинами он оборачивался к ним именно этой стороной. В свое время он служил старшим сержантом в армии либералов. Свое пончо он носил не столько из-за прохладного климата, сколько из-за того, что некогда оно принадлежало ополченцу-консерватору, тело которого он предал земле еще в эпоху первой из национальных революций, влепив ему пулю в лоб. Похоронив его, он бросил на могилу горсть земли.

— Я оставил при нем четки, покойникам такая вещь нужна. Но для чего ему пончо?! — говаривал «капитан» после второй чашки чая из цветов апельсинового дерева с добавлением спиртного.

Он был не только старшим, но и самым выдержанным. И отряд относился к нему с полным доверием. Группа состояла из молодой подруги «капитана», двух его зятьев, племянника без определенных занятий и ученика электромонтера. «Племянником без определенных занятий» и был Улисес, которого главарь очень ценил.

— Грампластинки можно продавать на ярмарках, а не только поставлять в магазины.

Они занялись торговлей музыкой, продавая грампластинки рядом с хлебом и картофелем, став пионерами уличной торговли «дисками», охватившей впоследствии все города страны.

Сподвижники «капитана» не знали его пристрастия к музыке. Правда, позднее они вспоминали, что когда были куплены легкая радиола и проигрыватель с тяжелым диском в середине, старик стал другим, теперь он предпочитал останавливаться на ночлег в постоялых дворах, где уже имелось электричество, и спать в одиночестве: всем становилось ясно, что сейчас он воткнет в розетку вилку проигрывателя и поставит пластинку со старыми песнями, из тех, что, возникнув однажды, исчезают навсегда.

В такие ночи полнейшего одиночества подруга не ревновала старика к музыке, наоборот, оправдывала:

— Что-то он все-таки слышит! Да ему все равно, ведь он знает все эти песни на память.

Однажды произошло то, что и должно было произойти. У поворота дороги, после того как контрабандисты миновали несколько пограничных постов, шесть раз садились в автобус и пять раз высаживались из него, их задержал таможенный патруль. Один из блюстителей закона занялся пластинками. Рядом стоял «капитан» с проигрывателем в руках и парой самых любимых пластинок, оставленных лишь для ночных прослушиваний. Солдат никак не мог уразуметь, что контрабандисты делят музыку на предназначенную для продажи и на ту, что спасает их от одиночества. Обыскав всех, он приказал пассажирам выйти из автобуса и встать на обочину дороги. Неподалеку стояла служебная автомашина, ходили таможенники. Рядом пенился невысокий водопад.

Согласно кодексу контрабандистов, солдат явно нарушал нормы сосуществования. Он мог отобрать все новые пластинки — пожалуйста! Но он должен поверить тому, что две из них — друзья глухого «капитана». Что же будет со стариком, если у него отберут его музыку?! Старик лишится самого дорогого — воспоминаний.

Глаза Улисеса налились кровью, он сжал кулаки и с ругательствами бросился вперед, но его порыв был усмирен десятью здоровенными кулаками, ударами сапог в лицо, кровью изо рта и треском выстрелов в чистый утренний воздух. В этот момент из-под пончо «капитана» появилось дуло старого пистолета, похожего на мушкет. Курок был взведен, черная мушка установлена на уровне шевелюры солдата.

— Сволочь! Я тебя проучу!

Но... Все, кроме «капитана», видели, как сзади и сбоку в него прицелились сразу несколько ружей. Ему закричали, предупреждая об этом, да кричали со стороны глухого уха. Он ничего не услышал. Прогремел выстрел, запахло порохом. Старинный пистолет упал рядом с мертвым телом.

После смерти вожака контрабандисты поделили между собой обязанности и разошлись. На долю зятьев «капитана» выпало мстить таможенникам, но зятья, как известно, не сыновья; мщение они понимали по-своему — как забвение.

— Солдаты — те же марионетки. Они получают два жалованья: одно — от правительства, второе, более солидное, от портовых торговцев, от тех же, кто дает нам деньги в рост. Мы ведь не занимаемся большой контрабандой — так, пустяками, дешевкой. А крупные дельцы — это те, кто сидит в городах. Кто платит и нам, и тем, кто нас преследует,— так прокомментировала происшедшее подруга «капитана». Она попрощалась с теми, кто уходил в горы, и осталась с зятьями.

Улисес хорошо запомнил эти слова и четко определил то, что он должен делать в будущем. Он поставил перед собой две задачи. Кроме мщения, ему предстояло еще расплатиться с ростовщиками.

Он побросал в чемодан немногие принадлежавшие ему лично и не предназначавшиеся для продажи вещи, стыдливо обнялся и поблагодарил за все тех, с кем прощался и надвинул шапку, которую извлекал из своего сундучка каждые полгода или раз в три года, то есть тогда, когда испытывал желание уехать.

Свершить акт возмездия над ростовщиком не представляло больших трудностей, чем любой другой такого же рода. Контрабандист и предположить не мог, как «вовремя» он явился для возвращения долга. Он пришел именно в тот момент, когда кассир — доверенное лицо хозяина лавки — только что убил и ограбил своего патрона, доказав тем самым, что наставления последнего относительно непреходящей ценности денег не пропали даром.

Прикончив собственного хозяина, прилежный ученик продемонстрировал, что хорошо усвоил преподанные ему уроки. Однако убийца все же допустил ошибку: он излишне доверял патрону. Откуда ему было знать, что именно в этот день — такого раньше не бывало — весь сбор кассы был переведен в банк и что на эти деньги хозяин собирался открывать филиалы своего предприятия на имена сыновей. Вопреки привычкам хозяина ничего, ну абсолютно ничего,— даже завещания! — не нашлось в ящиках стола. А может быть, намерения ростовщика — мог же он предполагать, что старость у него будет нелегкой и в силу этого заняться благотворительностью? — тронули господа бога, и он отнял у старика только жизнь, сохранив ему деньги?

В ту ночь, когда Улисес шел к лавке от площади, где останавливались сельские автобусы, ростовщик выпученными глазами уставился на своего помощника, а тот всаживал в него одну пулю за другой.

— Вы... ты...— пытался еще бормотать умирающий. Он никак не мог поверить, что бог допустит, чтобы его прикончили столь знакомые руки.

Выстрелы ускорили шаги контрабандиста. Он подоспел в момент, когда убийца убегал, трусливо пытаясь скрыться в улицах темного города. На несколько минут Улисес оставался в лавке один на один с закатившимися глазами умирающего, с деньгами, которые он принес в счет своего долга (плюс проценты!), с телом, безвольно склонившимся над огромной счетной книгой. Минуту спустя через боковую дверь в помещение проникли еще два субъекта, то были братья лавочника — фабрикант и юрист. Им было ясно, что человек, на руках которого висело тело, не причастен к убийству, как ясно и то, что он им понадобится в качестве свидетеля. Тогда-то Улисес

и решил, что наступил момент отмщения. И не просто отмщения. Возмездие не должно было быть грубым и банальным, оно должно было сочетать жестокость и доброжелательность, и главное — быть справедливым. В голове контрабандиста родилась великолепная идея: он вынул из кармана деньги и поднял их к глазам ростовщика — веки последнего еще трепетали. Убедившись, что сознание не окончательно покинуло жертву, Улисес вложил деньги в правую руку покойника. Потом он прикрыл глаза своего кредитора и сжал уже холодеющие пальцы. Братья убитого пытались приблизиться, но Улисес удержал их жестом, они поняли, что этот человек созовет людей и объявит, что причина смерти не столько пули, сколько корысть. Так он стоял и сжимал скрюченную руку мертвеца. Удостоверился, что, окоченевшую, ее нелегко будет разжать, а потом ушел. Братья погибшего просили его остаться, он отказался. Они просили его быть свидетелем, обещали уплатить за это, он все равно отказался.

— Если бы мне пришлось выступать свидетелем, я заявил бы, что хорошо знаю его: он обирал бедняков,— Улисес говорил мягко, но в голосе его звучала уверенность, что он — орудие и земного и небесного суда.

Улисес становился мужчиной. Он менял города. Он бродил вдоль стен — каменных, глиняных, кирпичных; иногда ему бывало грустно, и тогда он пел, стараясь, чтобы слышала его лишь ночь. Были у него и друзья, делившие с ним хлеб и кров; прощаясь, они обычно спрашивали, скоро ли он вернется, и Улисес, в стремлении быть честным, никогда не давал точного ответа.

Ему нравилось по ночам подниматься на вершины холмов и следить за миром: считать удары башенных часов, слушать, как падают звезды в таинственную бесконечность; порой его одолевало одиночество, и тут возникало желание разделить его с кем-нибудь. Именно одиночество помогало ему находить подруг. Он никак не мог понять, что же происходит с человеком, когда к нему приходит любовь. Единственное, что Улисес усвоил четко,— это то, что все приобретения в жизни бывают временными, а потери — окончательными. И еще: самой великой из потерь была потеря женщины. Как каждый мужчина, контрабандист считал, что, если одиночество мужчины сложить с одиночеством женщины, непременно родится любовь.

В день, когда он встретил чужестранку, ему явно не хватило необходимой прозорливости. Кто-то тронул его за плечо, он повернул голову, увидел отрешенный взгляд, губы женщины произнесли:

— Который час?

Голос был глубоким и мягким, он рождался откуда-то издалека — из будущих воспоминаний; руки женщины — одна из них отважилась лечь на его плечо — трепетали в воздухе; они были крупными, сильными, движения их были замедленными, эти руки были похожи на крылья птицы, которая ищет место, чтобы сесть.

— Который час, парень?

Он почувствовал, что лжет, ответив:

— Половина седьмого.

А ему хотелось ответить совсем другое, например:

«Нет, сейчас не половина седьмого. Сейчас я встретил то, чего ждал долгие годы: руки — более крупные, чем у Матушки Сойлы; ноги — более длинные, чем у моих землячек; черные волосы и яркие губы — более красивые, чем у моих прежних подруг. Но, главное, я ждал этих глаз — темно-серых, но более светлых, чем у тех, кто живет в моем квартале».

Нет же! Улисес будто одеревенел, он еще не осознавал, какой привлекательностью для женщины обладает голос мужчины. Потому-то он и не сказал: «Ты пришла вовремя».

Он предпочел произнести лишь:

— Половина седьмого.

Он смотрел на удалявшуюся фигуру, высокую, стройную и в то же время крепкую, и вдруг обнаружил, что рядом шел ребенок. Вместе им было не более сорока лет: что-нибудь за тридцать матери и лет восемь — десять мальчику.

С мудростью, присущей жителям Андских гор, которая учит юношей не огорчаться от каждодневных потерь, Улисес задумчиво смотрел на удалявшиеся силуэты, потом закрыл глаза.

«Женщины моей земли,— подумал он,— не так высоки, да и взгляд у них не такой отрешенный».

Он решил как можно быстрее забыть грусть этой встречи, как вдруг женщина, пройдя полквартала, остановилась и обернулась. Глядя юноше в глаза, она, казалось, утоляла жажду; Улисес с ранних лет был бродягой, и во взгляде его уже было достаточно усталости.

— Иди сюда,— приказала женщина, протягивая к нему свои руки-крылья, будто в этот момент она решила жизнь за себя, за своего ребенка и за него, Улисеса,— за всех.

Он позволил ей взять себя за руку.

Так уж случилось, что самая первая женщина Улисеса была, как ни странно, самая мудрая, самая отважная, спокойная, неторопливая. Оставалось неизвестным, точно ли ей было за тридцать: точным было лишь то, что уже пять лет она была вдовой.

Улисес так и не узнал, когда, с каких пор его подруга приобрела привычку ждать его, с каких пор она так просто и открыто стала разговаривать с мужчинами. Медленно, с каким-то отчаянием он учился у этой женщины находить ложе любви среди лугов и на постоялых дворах. Когда через несколько месяцев он сказал ей, что ему надо уходить, она уже знала об этом.

— Уходишь? — спросила она, и Улисес подумал, что сейчас нужно было именно это слово.

— Да, ухожу, мне надо идти дальше.

Его ответ был пустым. Она-то ведь спрашивала его о более важном, о том, что мужчина не может решить: вместо слов «я любила тебя» она произнесла «уходишь?». Узнав о расставании, она спешила предупредить его: «Я буду ждать тебя всякий раз».

— В любом случае ты уходишь.

Этими словами «в любом случае...» говорили ее мудрость и вдовство. Одиночество она делила с малышом, семенившим рядом с нею по дорогам жизни. Мудрость она приобрела в объятиях мужчин.

Женщина уже знала, что такие расставания были великим сокровищем двух человеческих существ. Улисес этого еще не знал, поэтому спокойно, гордо и с несколько показной грустью он сложил чемодан и распрощался с женщиной и ее ребенком. Большие руки женщины обежали лицо юноши, а потом сжали воздух, будто его черты и воспоминания о них уместились в одном носовом платке, маленьком, еле заметном в ее влажных пальцах.

Улисес возвращался к ней еще не раз, но женщина хорошо знала: тот, кто однажды ушел, всегда готов исчезнуть вновь. Поэтому она установила между собой и контрабандистом некую дистанцию, смотрела на него отчужденно и держала его на расстоянии от своего сердца даже в те моменты, когда тело ее с благодарностью ему отдавалось.

— Мы постоянно прощаемся с тобой. Наверное, впервые мы простились с тобой в день, когда встретились.

Однако Улисес считал — и считал ошибочно,— что они распрощались позже, когда он устал от нее. К тому времени имя женщины, записанное на скрижалях его души, потускнело и выцвело. Однажды на провинциальной улочке — из тех, что всегда упираются в центральный скверик — возникла фигура той, что заменила первую, что стала еще одним из его потрясений.

Кофейного цвета платье, высокие каблуки, делавшие походку девушки-подростка неуверенной, постоянное удивление во взгляде — такой смотрела Анунсиасьон на свой город.

Было десять часов воскресного утра; была его страна — голубая, прозрачная...

Ему никогда не нравились коричневые платья, тем более если на ветру развевались воланы воротника (положение мог бы спасти лишь цветастый платок на голове). В данном случае речь шла о старшей дочери портнихи, покупавшей у него ткани. В тот день он испытывал крайнюю усталость. Ему требовалось где-то приклонить голову. Хотелось лечь на спину и откинуться на чьи-то колени. Он жаждал обновления. Он снова стал юношей. И чтобы убить воскресенье, он во второй раз убил свое одиночество.

Мать-портниха не отрывалась от швейной машинки. Молчаливая, тихая, малость «тронутая», хотя мыслила вполне разумно, постоянно моргавшая, она приняла сторону старшей дочери. Старухе понравился зять, отличавшийся добротой, трудолюбием, пышными волосами, мягкими манерами. Не нравилось только, что он «шатун». Млад-

шие сестры — одна с кожей лица цвета темного хлеба, другая — школьница с русыми косами, молотившими ее по плечам во время бега, как тугие канаты,— только и судачили об Улисесе. Он чувствовал себя их пленником — и этих женщин, и собственной гордости, родившейся от ощущения, что они рядом. И только отец-пенсионер пугливо проскальзывал в дверь крохотной гостиной, чтобы скрыться в своей комнатке. И хотя на нем лежала печать смирения, наложенная долгой и трудной жизнью, старик предпочитал держать зятя на расстоянии, дабы сохранить в себе хоть крупицу недосягаемости.

Однажды Улисес совершенно неожиданно увез девушку из городка. Младшие сестры — они были свидетельницами их отъезда,— родители, вся семья дождались возвращения парочки и потребовали от Улисеса официального вступления в брак Контрабандист посмотрел в глаза своей возлюбленной и прочел в них — широко открытых, что подобные церемонии мало волновали ее; главное — чтобы он ее любил. И они продолжали жить вместе, не отягощая себя обрядами, гостями и крахмальными скатертями.

Улисес занимался своими делами — куда-то уходил и приносил штуки тканей. В такие дни Анунсиасьон помогала матери в мастерской и ночевала на родительской половине дома, по другую сторону патио. Муж возвращался, и она опять спала с ним, семья собиралась вместе лишь за едой.

Так и текла их жизнь некоторое время. Правда, только отец изменил своим привычкам: ел в одиночестве, за полчаса до того, как за стол садились остальные члены семьи. Этим жестом он пытался сохранить свое достоинство, которое, как он считал, умалял не оформленный должным образом брак старшей дочери.

Вскоре у парочки появились два сына. Появились в силу естественной потребности детей являться на свет божий. Потом родился еще один — Улисес очень хотел еще ребенка Маленький рос отшельником и нередко сам придумывал свои игры.

— Он будет таким, как я,— повторял Улисес.

— Немного бродяга,— уточняла мать, не замечая, что в их пророчествах звучит нотка печали.

В страхе за сына Улисес поправлял ее:

— Возможно, но он будет знать то, чего я не знаю.

Удивительным было, как быстро росли сыновья и как скоро они ощутили пропасть между родителями. Они видели безумную любовь матери к отцу и подсознательно догадывались, что их — детей — существование нужно было лишь для того, чтобы привязать к очагу мужчину. Незаметно для себя они приняли сторону матери.

Улисес, предчувствовавший такую ситуацию и покорившийся ей, оставался с семьею ровно столько, сколько мог. Он дождался, пока сыновья закончат школу, обучатся ремеслу Но однажды нужда, а скорее — неуверенность в его любви заставили женщину потерять над собой власть: она кричала, потрясала руками, проклинала жестокость Улисеса. Тогда-то он твердо сказал себе, что настало время уходить. Самое время уходить Как всегда.

Итак, Улисес отказался от общества своих детей и смиренно пошел навстречу тому, что оставалось от отведенного ему судьбой счастья. Он поцеловал детей в лоб и ушел, не сказав ни слова. Конечно, после нескольких часов негодования жена будет плакать, но плакать не одна Он посмотрел на маленький домик с белыми окнами и старыми цветочными горшками на них. Вполне может случиться, что когда-нибудь он сюда вернется, но только в случае, если дети не будут возражать против его присутствия, а женщина простит его исчезновение.

Из привычек, свойственных мужчинам, наиболее частая, пожалуй,— это уносить с собой сердце, разбитое на куски. И Улисес, страдавший этой привычкой, предпочел уйти тогда, когда куски эти были еще совсем свежими. И потом: как хорошо, что у него пока еще не было другой, которая заменила бы ему мать его детей, пока уход еще сохранял некую красоту, поскольку это был уход без ожидания, без уверенности в счастье.

ВТОРОЕ ПРИБЕЖИЩЕ КОНТРАБАНДИСТА

СЧАСТЬЕ И ГРУСТЬ

Естественно, счастье Улисеса, как и каждого человека, совершенно от него не зависело и к тому же хранило в себе довольно богатый запас горечи. Например, со

временем контрабандист обнаружил, что дети — не просто кулечки, которые рождаются и растут, не только кудряшки, куда можно запустить пальцы и приласкать их. Из всех его проступков этот был самым тяжким О нем не надо было заявлять во время перехода границы, за него не надо было давать взяток. Улисес носил это бремя глубоко скрытым в душе и ежедневно казнил сам себя. И вот в тот самый момент, когда его сердце, измученное тоской, уже решило вопрос о возвращении к семье и он стал покупать сыновьям рубашки неподходящих размеров и отмерил на платье жене переливчатый шелк, затканный тропинками и домиками, в момент, когда ему не с кем было перемолвиться словом и он, задыхаясь, пытался выжить, появилась «новая».

Это произошло в деревенском автобусе, в «гостиной» на колесах, в месте встреч для тех, кто непрестанно путешествует. Он заметил ее еще тогда, когда она пробиралась по площади, договариваясь с грузчиками о своей поклаже, а потом — с водителем автобуса, чтобы он погрузил ее на крышу. Ее тонкие руки поднимали свертки и баулы, дожидаясь, пока вещи будут привязаны к багажнику. Глядя на ее устремленное вверх тело, Улисес подумал, что эта женщина могла бы утолить его давнюю, несколько притупившуюся, но вновь вспыхнувшую жажду. Поднятые вверх руки, вытянувшееся тело позволили ему увидеть, как тонка ее талия, как крепки мышцы, как тверды маленькие упрямые груди, стремящиеся вырваться из-под ткани платья. Взгляд женщины даже не задержался на контрабандисте, когда он искал место в автобусе. Улисес все еще был робок — он всегда был и оставался таким Она сидела перед ним, ее черные волосы, свободно распущенные, были заброшены назад и перевешивались за спинку скамейки, не касаясь ее плеч. Сделав над собой усилие и совершенно неожиданно проявив талант стратега, Улисес предложил соседям сигареты. Пожилой мужчина поблагодарил: «Нет, спасибо». Тогда он протянул пачку женщине и встретил мягкий взгляд, будто говоривший: «Я знаю, что ты существуешь, но я очень устала». С этого момента они ощутили, что оба — живые существа. Все еще измученная борьбой с собственным багажом, женщина откинула голову назад, хотя прекрасно сознавала, что смутит сидевшего позади нее мужчину. Черная грива свесилась еще ниже, глаза закрылись. Открыв их, женщина обнаружила, что сосед продолжает на нее смотреть, что автобус по-прежнему бежит вперед, что за окнами мелькают деревья и благодатный воздух Андских гор бьет в ноздри, заставляя их трепетать. «У нее ноздри дрожат, как крылья бабочки».

Улисес молчал. Он пытался запечатлеть ее образ, чувствуя скопившуюся в душе грусть. А женщина, догадавшись о его одиночестве, вертелась, крутила головой, взглядывала на него.

Он рассказал ей, что торговал всякой мелочью, но по хорошей цене А она сообщила ему, что родом с юга, из провинции, где плетут шляпы, что никогда не ездила так далеко, что ей уже довелось испытать разочарование, и не одно, и что городок, где выделывают шляпы, вполне заслуживает того, чтобы он, Улисес, с ним познакомился. Улисес ответил: да, заслуживает, сказал, что он уже знаком с ним, что город этот, выстроенный из мрамора, имеет с ней много общего, что оба — и она, и город — прекрасны и молчаливы Она молчала, чтобы доставить ему удовольствие, и продолжала разглядывать его. Он спросил, где же можно будет ее найти, поблагодарил, услышав название гостиницы,— при этом она покраснела — и задумался.

И так случилось, что контрабандист занял комнатку дешевого отеля. В ту ночь он обнаружил, что он — все еще дитя. Как и другие женщины, «новая» пришла к нему поиграть в любовь. Она сетовала на расставания и высказала опасение, что и на этот раз произойдет то же.

— Не знаю, думаю, не произойдет,— с некоторым страхом ответил контрабандист.

«Новая» была младшей в семье. Она жила с родителями и братьями, пока все члены семьи не разбрелись в разные стороны, обретя спутников жизни Отец ушел с другой женщиной, мать осталась наедине со старостью, пока не нашла себе верную спутницу — смерть.

Недостаток родительской ласки постоянно ощущался в том, как «новая» доверялась пожилым людям, особенно тем, у кого манера обращения отличалась отеческим добродушием. Ранняя юность девушки была отравлена тем, что она была постоянной мишенью местных сплетен; росла она без отца, дружбы сверстников не знала, потому и предпочитала симпатии зрелых мужчин. Женщина прикидывалась, что ей скучно, а на самом деле она просто нуждалась в том, чтобы любовь, хоть однажды,

не оборвалась сразу. Потому-то и искрились, сияли ее глаза. Оставалось неизвестным, владели ли ею в ее ранней юности беспардонные гости из столицы или из главного порта, забыли ли они ее. Сама «новая» не отрицала ничего, но и не утверждала. Жила она легко, без усилий. Такое ощущение испытывает человек, несущий пустой чемодан.

— Меня постоянно спрашивают о том, что никого не касается. Поэтому я сама никому не задаю вопросов.

Он предложил ей покончить с торговлей шляпами, приведя ряд аргументов:

«Сегодня никто не покупает шляпы, сплетенные вручную. Клиенты предпочитают шляпы фабричного производства — они же дешевле».

«Мне кажется, ты не создана быть торговкой».

«В нашей стране не бывает лета, как не бывает и зимы».

«Утреннее солнце в горах греет, но не обжигает».

«Мало кто купит твои шляпы. А если и купит, то только потому, что ты хорошенькая».

«Шляпы служат для того, чтобы хранить запах реки и камыша. Ты же не можешь предлагать такой товар, как речные запахи?!»

«Шляпы, плетенные из влажного тростника, берут за душу. К ним привязываешься, как к собакам: страдаешь, когда плетение умирает».

Однако истинных доводов Улисес не привел. Честнее с его стороны было бы предложить ей: «Давай вместе будем нищими». Потому что его ремесло — бродяжничество по городам и селам — едва давало ему возможность ежемесячно посылать деньги детям и прокормиться самому. Поэтому, когда женщина повисла у него на руке, когда они отправились дальше вместе, он понял, что это будет означать увеличение расходов и что он может рассчитывать на сострадание.

В углу комнаты, снятой в аренду на северной границе городка (ведь надо было говорить, что они где-то живут), Улисес сложил оставшиеся от продажи шляпы — с красными, черными, зелеными ленточками. Он следил за тем, как на шляпах растет слой пыли, ибо толщина этого слоя говорила ему, сколько уже длится их любовь.

Эта любовь, естественно, не отличалась какими-то особыми качествами, за исключением того, что возникла между двумя человеческими существами, находящимися в расцвете лет. Возникла в момент, когда они оба уже были не способны верить, что такая любовь существует, когда оба могли отличить ее от сострадания, от одиночества, от надежд, потому что любовь объединяет все это.

Он отправил Матушке Сойле три письмеца, чутко уловив, что «новая» способна разрушить и без того непрочные его отношения с семьей. Опустив в ящик конверты и вспомнив, что все три послания состоят из одних и тех же фраз, Улисес вообще перестал писать матери. Ему хотелось отправить ей немного денег, чтобы как-то компенсировать свое молчание. Но так как их не было, он испытал чувство облегчения и благодарности к своей подруге, привязавшейся к его сильной руке и его веселой бедности. Однако по чистой случайности он не сообщал свои временные адреса брату-юристу, которого, кстати, это обстоятельство совершенно не печалило.

Получив умоляющее письмо Матушки Сойлы, Улисес решил, что может явиться в отчий дом в сопровождении «новой»; к тому времени благодаря собственным детям он многое узнал о жизни, узнал, что такое жертвовать собой, приходить на помощь, нарушая забвение, в котором мы все пребываем. Он всегда был склонен относиться к другим доброжелательно. Хотя иногда — нет. Иногда у него появлялось желание закурить сигарету, подумать о себе самом, затеряться где-нибудь далеко-далеко, чтобы никто из окружающих его не слышал и не видел. Никто, за исключением любого из его сыновей.

КНИГА ГРЕШНИКА

ГРУСТЬ И ЕЩЕ РАЗ ГРУСТЬ

Пабло Саул отметил, что края его коротких штанишек поднялись еще выше над коленками. Он начинал испытывать стыд, что колени грязные. Штаны были латаны-перелатаны и, согласно указаниям Матушки Сойлы, переходили от него к Улисесу и обратно. Теперь они навсегда остались у него, эти штаны. Остались на одного и бумажные кораблики, которые они в сумерках ставили на причал в цистерне с водой.

Теперь эти кораблики принадлежали ему без всяких споров и драк. Пабло Саул понял, что с уходом брата он потерял половину своего «я». Он еще не знал, что братьям, даже если они близнецы, судьбы не всегда выпадают одинаковые.

Улисесу, например, повезло — он ушел с контрабандистами. Ему же — Пабло Саулу — оставались миссионеры. Однако никто не мог сказать, что его видели грустным, и не потому вовсе, что он выглядел веселым, а потому, что в то время он предпочитал одиночество. Поэтому принятие решения для него не было мучительным.

Матушка Сойла, которая так ошибалась, считая, что она прекрасно разбирается в душах своих сыновей, обезумев и от счастья, и от печали, благословила грузовичок, увозивший Пабло Саула и проповедников. А сын, забравшись на пожитки своих патронов, глядел, как уменьшалась фигурка матери, рядом с которой стоял самый младший брат — Луис. Смотрел, как расстояние растворяло его квартал, пока весь город не скрылся за холмами.

В кабине грузовичка рядом с шофером виднелись длинные носы миссионеров, на сиденье лежало слово божие, отпечатанное на захватанной руками бумаге. В кабине помещались надежды на обращение в истинную веру неизвестных ему людей. В кузове под ногами новоявленного послушника брякали ночные горшки, проржавевшие кофейники, сундук с ритуальными принадлежностями и скатертями, чемодан с сутанами, жесткими подворотничками и носками и матросский мешок, в который святые отцы сваливали церковные чаши и неосвященные облатки для причастия. В нем же позвякивали бутылки сладкого вина. От всего этого исходил запах нищей часовни. Сидящие рядом с шофером миссионеры восхищались открывавшимися перед ними пейзажами. Озера, долины, силуэты бредущих людей — все вытягивалось в единую линию и приводило святых отцов в экстаз. А за колесами грузовичка вздымались такие облака пыли, что Пабло Саул не имел никакой возможности восхищаться красотами пейзажа, если только не считать проявлением восхищения его оглушительное чихание. Как явствует, в новом крестовом походе за веру на долю послушника выпало смотреть на убегающую дорогу, повернувшись спиной к ветру и прижавшись к стеклу кабины, где блаженствовали его наставники,— на его долю выпали печаль и растерянность.

Пабло Саул, раскачивавшийся на скарбе святых отцов, был местным парнишкой из квартала, потерявшим брата-близнеца. Вместе они карабкались по глиняным стенам, вместе ворошили ульи и наблюдали за рассерженными пчелами. В те дни Пабло Саул получил первые представления о смерти: среди надгробных плит, вырубленных его отцом, он находил изображения ада и небес.

В годы ранней юности Пабло Саул наблюдал и слышал, как семинаристы развлекались на уроках Священного писания и во время богослужений рассматриванием сцен, изображавших чистилище, где всегда преобладали кроваво-пурпурные краски. Сам же он отдыхал взглядом на изображениях божьей матери в голубых одеяниях и волновался, рассматривая красные пятна крови на иконах с распятием Христа. В такие минуты Пабло Саул ощущал, что его юной, земной душе чего-то не хватает. Он не мог определить, чего именно, и поэтому предпочитал блуждать среди непонятных слов проповедей в ожидании, что вот-вот найдется объяснение сути его тоски.

Стоя рядом с Матушкой Сойлой, Пабло Саул — более взрослый, чем младший Луис, но далеко еще не мужчина — слушал переговоры, которые решали его судьбу.

— Я бедна, ваше преподобие, а как овдовела, так уж совсем нищей стала. По мне, чудом будет, если сын пойдет в священники, да денег у меня на это нет. Говорят, чтобы стать святым отцом, большие средства нужны.

— Ты, сын мой, полагаешь, что у тебя есть призвание?

— Да, святой отец, думаю, есть у него такое призвание. После того как из дома ушел его брат, второй близнец, Пабло Саул и знать ни о чем не хочет. Почти есть перестал. Но сын у меня хороший, святой отец. Хороший сын вырос.

— Пусть он сам отвечает. Так ты считаешь, что у тебя есть призвание к духовному служению, сын мой?

— Да, святой отец.

Видимо, «призвание» и было его загадочной душевной болезнью. Всю неделю миссионеры твердили в проповедях, что лучшая дорога к счастью — это покинуть все земное и следовать за Христом. Главное же, Пабло Саул просто не знал, что ему делать: он остался один, без брата, и квартал показался ему огромным. Это обстоя-

тельство, однако, не помешало ему всю жизнь носить в груди память о нем. У юноши не было никаких сомнений, когда он ответил: «Да, святой отец».

Миссионеры решили изучить местность. Грузовичок прыгал у края пропасти, а водитель в это время любовался вершинами гор. Наконец колеса покатились под уклон навстречу ожидавшей их равнине. Она ждала их четыреста или четыре тысячи лет — никто не знает,— ждала любого, кто сюда придет.

Святые отцы решили малость размять ноги. Пабло Саул сполз с горы скарба и тоже вылез из кузова, пытаясь обратить на себя внимание патронов. Но все они были заняты красотами пейзажа, и ему не оставалось ничего иного, как тоже обратиться к его созерцанию.

Далеко-далеко внизу расстилалась гладь озера. Его спокойные воды напоминали шерсть лежащих голубых овец или застывшие, сложенные в пасмы, кружева.

Пабло Саул закрыл глаза и расставил вокруг воды домики.

— Нет,— сказал он вслух.— Без домиков лучше.

— Что? — спросили его водитель и брат Хуниперо.

— Ничего,— ответил Пабло Саул и не солгал, ибо все остальные смотрели лишь на озеро, а не на рожденные его воображением домики.

Участники крестового похода трясли подолами сутан, обтирая пыль с башмаков, и дважды подряд выразили восхищение прелестями окружающего мира.

— Как здесь называется? — спросил Пабло Саул, который никак не мог научиться правильно выражать свои мысли.

Святые отцы огляделись вокруг, подыскивая название. За долинами они обнаружили вулкан.

— Это место называется по имени вулкана.

— А кто здесь живет?

Миссионеры знали названия местных крестьянских общин.

— Но здесь живут и другие, святой отец. Плохо то, что они совершенно невежественны,— громко объяснял водитель, за тридцать лет изучивший все выбоины на этих дорогах.

— Многие из них пребывают в грехе и заблуждении, но слову божию послушны,— добавил брат Хуниперо, продемонстрировав знание привычек возможной паствы, приобретенное им в последние дни.

Пабло Саул подумал, что быть послушным — всегда хорошо. Он не совсем ясно понял, что означает «пребывать в грехе», однако догадался, что это связано с женщинами.

— А сколько им здесь лет?

Пабло Саул понял, что его вопрос не доходит до взрослых. «Здесь» означало «всем этим долинам».

— Кому сколько лет?

— Тем, кто здесь живет.

Воинство Христово переглянулось. Сколько лет тем, кто здесь проживает? Пабло Саул, видя их замешательство, испытал к ним чувство сострадания и даже готов был взять свой вопрос обратно. Любой ребенок, любой парень понял бы его. Как же они отправляются убеждать людей в том, чтобы те не крали и не лгали, чтобы те страдали на земле и вступали в законные браки, если им неведомы земли, куда они держат путь?!

— А люди здесь длятся долго?

Святые отцы начали терять терпение. Они не понимали, что Пабло Саул закрывал глаза и — раз! — на берегу озера уже стояли хижины, а в них жили индейцы-ткачи, и их длинные волосы были заплетены в косы. Он открывал глаза и видел перед собой проповедников, сутаны которых трепал ветер.

— Похоже, эти добрые люди нуждаются в нашем слове.

Пабло Саул подавил в себе новый вопрос. Ему хотелось спросить: «А сколько длится это слово?»

Священнослужители, конечно, отвели бы от него взгляд: «Это зависит... Слово божие вечно».

Такой ответ ничего не дал бы ему. Возможно, миссионеры добавили бы: «А вот другие слова, которые не божии, они смертны».

Закрыв глаза, Пабло Саул размышлял, соглашаясь с тем, что в грузовичке, при-

бежавшем издалека, действительно прибыло слово божие. Возможно, где-то далеко оно обосновалось давно, но в эти долины прибыло только теперь. Он открыл глаза и удовлетворенно отметил, что все — и пейзаж, и автомашина, и водитель, и проповедники — были готовы фотографироваться. Клик! — звякнул затвор фотоаппарата, доверенного Пабло Саулу отцом приором. Таким образом, рука юноши запечатлела для последующих поколений миг вечности; в объективе между стрелками оптических указателей, за силуэтами в очках и трепещущих на ветру сутанах он увидел мирный пейзаж, с зелеными пятнами полей тут и там, с иконной голубизной небес и фигурками добрых тружеников земли.

Пабло Саулу понадобилось совсем немного времени, чтобы уяснить, что жители этой долины делились на две категории: ткачей и земледельцев. Первые смотрели свысока, вторые — нет.

Колокола всех окрестных церквушек сообщили радостную новость о прибытии святых отцов, добравшихся сюда через скалы и леса по пыльным тропинкам. Из каждой хижины выскакивали на дорогу собаки и люди. Первые лаяли, вторые крестились. От борозд поднимались головы, руки снимали шляпы. Вначале тонкий людской ручеек рос и ширился, из боковых улочек и проулков в него вливались все новые притоки, наконец бурным потоком он вылился на дорогу и потек за грузовиком. Машина, сразу обретя достоинство и даже какое-то величие, сбавила ход и двигалась все медленнее. К этому моменту святые отцы, покинув кабину, взгромоздились в кузов рядом с Пабло Саулом. Как изваяния, не шелохнувшись, стояли они на своих пожитках, раскинув руки крестом, готовые творить благословения.

Перекрывая колокольный перезвон, над вершинами гор пронесся звук индейского рога. Поднялся невообразимый шум, кричали старики и старухи, но, внешне беспорядочный, этот концерт, казалось, был предусмотрен от сотворения мира. Домашние животные, получив свободу, ринулись к ручью утолить жажду, к траве, в тень деревьев.

Забытый миссионерами, предоставленный самому себе, Пабло Саул сделал то, в чем более всего нуждался: он уснул. Парень прекрасно понимал, что оруженосцы нужны лишь до момента вступления их рыцарей в сражение. Юноша выбрал укромное местечко, свернулся, как щенок, клубком и задремал под все замедлявшийся бег машины. Сквозь дрему он слышал, как где-то собирались людские ручейки, как потом они превратились в реку и как она затем вылилась на площадь.

Уснул он крепко, даже колокольный звон не смог разбудить его. Ему снилось, что он совсем ребенок, что он последовал за святыми отцами миссионерами и что теперь он знает панацею от всех бед и зол. Снилось, что он лежит на кровати, над которой сияют тысячи звезд — белых и голубых. Все звезды были огромными, и все они двигались с быстротой молнии. С небосвода на него глядели карие глаза, кто-то укрыл его шалью.

— Спасибо,— сказал Пабло Саул, пытаясь справиться с отяжелевшими веками.

Карие глаза улыбнулись ему.

Проснулся Пабло Саул в комнате со стенами землистого цвета, на кровати, пропахшей воском. Через окно, притененное ветвями орехового дерева токте, виднелось бездонно голубое небо. На маленьком, почти вдавленном в стену комодике он обнаружил две шляпы. Одна из них — небольшая, с грязными пятнами — показалась ему ничьей.

— Я могу ее надеть? — спросил он, встретившись при выходе в патио с братом Хуниперо.

— Не знаю, чья она, но надеть можешь.

Пабло Саул осмотрел новые владения. Перед комнатой, из которой он только что вышел, маячил ствол дерева. Снаружи он увидел грубо сколоченную дверь. Он разглядывал скошенную крышу, бак, служивший для сбора воды в период дождей. Балки и поддерживавший крышу брус покосились, одна из стен потрескалась.

Жилище это находилось на некотором расстоянии от домика, предназначенного для священника, рядом с которым располагались сад, часовня, монастырь. Все это составляло единый комплекс. Пабло Саул понял, что ему достались лишь дерево и хижина. Ему начинала нравиться эта заброшенная, никому не принадлежащая хибарка, побеленная снаружи и обмазанная глиной изнутри.

Голос брата Хуниперо лишил юношу его нового мира.

— Ты ищешь что-нибудь, Пабло Саул?

Он ничего не искал. Он просто направился к домику священника — как раз поднял ногу, чтобы переступить с мощеного дворика на тропу, выложенную широкими плитами, как обычно делали в монастырских переходах. Поэтому юноша ответил, как ему подобало ответить:

— Ничего, святой отец.

— Тебе следует чаще общаться с богом. Вчера ты заснул в машине, сегодня провалялся в постели до позднего утра.

Пабло Саул признал, что все это — правда, в знак чего дважды кивнул головой.

— Ты — участник крестового похода и находишься среди избранных богом, так что пора тебе готовиться к битвам за души людей.

— Да, святой отец.

Он посмотрел на ветви дерева — на них не хватало качелей, которые он помнил в своем квартале.

— Святая миссия — это битва, падре?

— Да, битва.

— Против кого вы боретесь?

— Против греха.

— Что такое «грех»?

— Ты прекрасно знаешь: грешить — это совершать проступки против бога.

— А грешить больно?

— Не знаю, стараюсь этого не знать.

— Совсем ничего, ничегошеньки не знаете?

— Я пытаюсь знать о грехе как можно меньше. А сейчас пора тебе приниматься за дело. Вымой руки и достань принадлежности для богослужения. Если возникнут вопросы, задашь их настоятелю часовни Придешь к нам, если не ответит.

Пабло Саул посмотрел на дверь придела, за которой для непосвященных всегда скрывалось нечто таинственное. Ему приятно было думать, что сейчас он вступит в мягкий сумрак ощутит его тишину и покой. Он покрутил шляпу, повесил ее на изгородь. Потом открыл дверь и зажмурился: из всех углов часовни лились потоки ослепительного света, извергаемого прожекторами, неоновыми трубками, полыхающими канделябрами. Вся внутренность церквушки до последнего закоулка была залита их сиянием, которое, казалось, усиливала музыка.

На несколько секунд Пабло Саул остановился. Когда он привык к свету, то обнаружил, что помещение забито людьми. Прихожане заполнили не только неф и прилегающие притворы но и ступени ведущие к главному входу. По этим же ступеням толпа спускалась в квадратный садик, также заполненный верующими. Со своего места Пабло Саул не мог видеть всех пришедших, от алтаря ему были видны лишь те, кто стоял внутри церкви, и частично те, кто стоял в дверях. Тех же, кого он не видел, он угадывал по великому гулу Да, именно так: по великому гулу. Гул поднимался от парка, от домов, от долин и в церкви перерождался в молитву. В молитву или псалом.

Пабло Саул вспомнил, что в афише, извещавшей об их приезде, указывалось, что темой первой проповеди будет кратковременность человеческого бытия. По этому вопросу в его голове не имелось определенных мыслей.

Несколько минут он действовал как примерный служка, в руках его должным образом звенел колокольчик, и в один прекрасный момент он даже пал на колени. И тут свершилось чудо: все присутствовавшие последовали примеру Пабло Саула. Возможно, ни он сам, ни другие не поняли, что именно в этот момент он принял великое решение — стать миссионером. Есть крестьяне, которых важные господа из городов пытались объединить с помощью всевозможных «фондов», здесь они последовали примеру простого церковного служки, сколько же их последует за ним, когда он станет проповедником?!

С высоты своего юного возраста Пабло Саул принялся изучать шестидесятилетнего брата Хуниперо, склонившегося перед алтарем; семидесятилетнего приора, преклонившего колена; сорокалетнего, воняющего перегаром настоятеля часовни, схоронившегося за органом.

— Да пребудет с тобой бог,— пели праздничные голоса.

— Et cum el espiritu tuo...[1] — отвечал голос, и вокруг завоняло перегаром. Голос был тот же, что приветствовал Пабло Саула при входе в монастырь. Юноша отметил тогда еще сильно покрасневшие глаза настоятеля.

Не отдавая себе отчета в том, что следует привычке матери, Пабло Саул стал сравнивать возрасты присутствовавших. Святые отцы были стары, это ясно. А вот стоявшие рядом прихожане — им сколько лет? Он случайно повернул голову и через дверь увидел высокое и такое голубое небо. Может, этим людям по четыреста лет? А может быть, и по десять тысяч? Где пребывала вечность? Похоже, там, где стояли миссионеры, ибо все остальные им послушно внимали.

Проповедник говорил о завтрашнем дне: вечность, по его мнению,— это и есть завтра. И тут Пабло Саул вспомнил, что в его распоряжении имеется колокольчик и что он тоже может кое-что совершить. Брат Хуниперо не успел закончить самую трогательную из своей взволнованной проповеди фразу, как Пабло Саул с силой тряхнул правой рукой.

— Ти-линь! Ти-линь! Ти-линь! — раздался неожиданный звон. К удивлению приора и органиста, никак не ожидавших такого вступления, прихожане дружно упали на колени. Повода к тому не было никакого: проповедник как раз спускался с амвона, чтобы подняться к алтарю и стать на колени рядом с теми, кого он стремился очистить от греха.

После окончания службы Пабло Саул, справедливо полагавший, что его выступление с колокольчиком прозвучало не ко времени, предпочел выйти из церкви в тесной толпе верующих. Позади, где горели свечи и неоновые трубки, осталась жара, а над площадью, несмотря на солнечный день, веяло горной свежестью. Органист запирал на засов свои владения.

Было совершенно очевидно, что прихожане не задумывались над тем, которая из многочисленных вытекавших из площади дорог ведет к вечности. Часть их семьями шла по четырем главным улицам, большинство же продолжало оставаться на площади в ожидании, что вот-вот прозвучат трубы музыкантов, либо будет объявлено о прибытии знахарей, либо послышатся крики торговцев. Устрашенные знахари не явились. Вместо них появились торговцы сладостями: они продавали тягучую, накрученную волокнами на палочки розово-белую сахарную вату. Пабло Саулу хотелось попробовать воздушную сладкую массу, но он хорошо понимал, что просить об этом святых отцов не следует. Ведь, если он незаметно вернется домой, его не будут упрекать за колокольчик, но если он попросит сластей, его наверняка отругают за то, что он сорвал возможность спасения стольких человеческих душ.

Площадь пестрела черными накидками пончо и белыми шляпами, яркими цветными поясами на талиях девушек, черными женскими косами, уложенными под белую кружевную косынку- кофию, повязанную совершенно неповторимым способом. У мужчин из-под шляп висели косички, косы. День превращался в праздник, ярмарку, отдых, общение. Пабло Саул чувствовал, как из него выветривается дух его старого квартала, как улетучиваются запахи пота, рынка, лавок, грузчиков, еды, как их вытесняют новые, сильные и здоровые ароматы. Видимо, это его состояние длилось долго, ибо на его розыски отправились самые старые из проповедников, которые, обнаружив его, тут же прочитали ему долгую нотацию.

Доверясь учебникам истории, Пабло Саул полагал, что все сельские жители одинаковы. Здесь же он обнаружил, что у всех был разный цвет кожи, между собой они были незнакомы, причесывались каждый на особый манер. Даже смех у них был разный. Но он обнаружил также, что все эти столь разные и незнакомые между собой люди тем не менее связаны: единый порыв привел их сначала в церковь, потом на площадь. Никто из них не хотел уходить.

— Почти все они — ткачи,— сказали ему. При этих словах Пабло Саул очнулся, увидел рядом с собой органиста и нескольких его друзей и отметил, что от них тоже пахнет спиртным.

«Вы простили меня за колокольчик?» — хотел он спросить, но удержался. Только уточнил:

— Что ткут?

Тот, от которого сильнее всего пахло спиртным, предпочел промолчать. Во дворик, куда пришли Пабло Саул и его спутники, проникли двое, на плечах у них лежали

[1] И с духом твоим... *(искаж. лат).*

домотканые куски. Оба были молоды — старшему не более тридцати, младшему лет двенадцать. Пабло Саул подошел к ним поближе.

— Добрый день,— очень вежливо произнес старший из индейцев. Он был из тех, кто до сих пор носил одежду покроя тысячелетней давности и цвета — яркого и чистого. Именно такие вот люди оплачивают учебу в университетах своим соплеменникам, продавая продукцию древних ткацких станков.

— Добрый день,— мягко повторил младший.

— День добрый,— вынужден был ответить Пабло Саул.

— Не хочешь ли купить чего-нибудь?

— Нет.

Пабло Саул никогда не знал, хочет ли он чего-нибудь. Поэтому он только спросил:

— Как зовут вас?

— Это Мануэль, а меня зовут Педро.

— Мануэль — а дальше? Педро — а дальше?

— Просто Мануэль и Педро, нам здесь хватает одного имени. Но нас зовут Мануэль и Педро Ткачи, это из-за нашего ремесла.

— Вы пришли на богослужение?

— Какое богослужение?

— Сюда прибыли святые отцы миссионеры, я при них — служка.

— Да, нам рассказали, что сюда приехали проповедники, но мы здесь мимоходом.

— А куда вы идете?

— В столицу,— попытался вмешаться младший, старший его поправил:

— Пока в столицу, а дальше — кто знает.

— Как это «кто знает»?

— Конечно, кто знает. Сейчас будем спускаться вниз, в долину.

— А потом?

— Потом вернемся. Каждый человек всегда возвращается. Мы уходим и приходим сюда. Понимаешь?

— Почему же вы сейчас уходите?

Педро Ткач улыбнулся:

— А почему путешествуют отцы проповедники? И почему ты ходишь с ними?

Пабло Саул, предчувствуя близкое поражение, предпочел ответить вопросом:

— Педро кто твои родители? Мануэль, а твои родители — кто?

— Мои родители тоже ткачи, а он — сирота. Я закончил среднюю школу, занимаюсь ремеслом, Мануэль мне помогает.

Пабло Саул помнил, как в школе они читали отрывки из книг. Одна книга так и называлась «Страна ткачей», и главными персонажами в ней были Педро и Мануэль. Первый был образованным художником, второй состоял у него в учениках. Но юноша и не предполагал, что история из книги может превратиться в реальность. И вот едва Пабло Саул покинул город и ступил во владения лагун и ветров, он встретился с удивительными человеческими существами — фантастическими, но реально существующими, для которых в жизни были важны лишь традиции предков. Существа эти предлагали на продажу ткани, коврики, пончо с вытканными рисунками, за которыми стояли века человеческих жизней. Они пришли из мест, которые другие люди называли волшебными, а места эти были просто туманными кордильерами, протянувшимися вдоль дорог.

Пабло Саулу очень хотелось сказать что-нибудь, но его собственный, городской мир казался ему таким мелким по сравнению с этим. К тому же язык, которому его учили священники, был языком проповедей. Поэтому он спросил:

— Вы понимаете миссионеров?

— Понимаем, понимаем.

— Тогда почему же вы не остаетесь?

— Когда ты обращаешься к нам на «вы», мне кажется, что ты обращаешься ко всем,— при этом рука Педро как бы облетела всю площадь.

— Я спрашиваю вас обоих.

— Да, понимаем. Конечно, есть люди, которые ищут вечность в слове.

— А вы где ищете?

— Мы ее ищем в странствованиях.

Несмотря на то, что Пабло Саул был еще практически ребенком, да к тому же одиноким, он понимал, что и Мануэль и Педро Ткачи пришли издалека, но издалека не в смысле расстояния, а в смысле времени.

Юноша, на долю которого благодаря миссионерам выпало странное ремесло — кричать «Спасение! Спасение!» на манер, как это делают бродячие торговцы или ткачи (правда, последние кричат при этом: «Шали! Ковры! Пончо!»), почувствовал, что жизнь его теряет ясность. Взгляд его затуманился, сердце колотилось.

Оба ткача затерялись в толпе... Пабло Саул поднял взгляд к звоннице церкви. Над ней летели облака. Ему показалось, что дали эти, вошедшие в его сердце, смущают его, навевают грусть.

Миссионеры брели от одной горной вершины к другой, переходили от долины к долине. То тут, то там звучала горячая проповедь брата Хуниперо, соперничавшего с воспоминаниями о последнем святом отце, «случившемся здесь шесть лет назад». Патрону Пабло Саула удалось растрогать немало «очерствевших сердец, похожих на старые зубы, еще сидящие во рту, но уже разрушенные болезнью и нуждающиеся лишь в легком толчке, чтобы покинуть свое место и отдаться в руки божьи».

Проповедники часто повторяли подобные фразы, они были абсолютно уверены в необходимости насаждения «святого духа» среди этих людей. Кроме того, они постоянно твердили, что поиски чистой души схожи с поисками горчичного зерна в чистом поле и что их слово падет на благодатную почву лишь в том случае, если к этому слову обращены уши тех, кто верит во всемогущество господа бога.

Естественно, для индейцев подобные выражения были лишены какого-либо смысла и звучали сугубо абстрактно, люди лишь улавливали упоминания о крепкой вере, прислушивались к отеческому тону проповедников, ощущая их превосходство. Однако не подлежит сомнению, что все прихожане относились к святым отцам с глубоким уважением. Горе тому, кто посмел бы отрицать всесилие несомого ими слова! Он был бы немедленно осужден ближними и не после его смерти, а тотчас, при жизни. Что же касается горчичного зерна, то у Пабло Саула с ним были связаны любопытнейшие воспоминания. Выслушав из уст миссионеров сотню раз эту метафору, он испытал настоятельное желание снять свои разбитые на резиновой подметке ботинки, сбросить рубаху, штаны, отделаться от собственного носа и шевелюры и превратиться в зернышко, способное вызывать добро в ближнем. Однако повторенная сотни раз притча навела юношу на мысль, что ведь никогда в жизни он не видел горчичных зерен. Он хорошо знал все разновидности перца — красного, желтого,— плоды которого ему так нравились. Он знал и горький перец ахи, маленькое домашнее растеньице, за которым ухаживала Матушка Сойла, пока был жив Мельчор, и которое после его смерти было заброшено и чахло в зарослях у внешней стены дома. Естественно, перец ахи был более близок и понятен Пабло Саулу, чем горчица. Миссионеры же не утруждали себя размышлениями на подобные темы. В один прекрасный день они решили спуститься с гор к морскому побережью. Пабло Саул уловил, что в определенной степени и образ жизни, и проповеди святых отцов зависят от высоты и климатических условий. По мере того как они спускались все ниже, по мере того как растительность освобождалась от горных туманов и вместо стручков фасоли возникали гроздья бананов, менялись и проповедники. Еще с большим вдохновением повторяли они привычные слова, но старались произносить их более громко, будто обращение к истинной вере в тропиках зависело от силы голоса, а не от истины, содержащейся в их поучениях. Здесь, у моря, шире шла торговля свечами и образами, святые отцы надеялись, что изображения святых будут водворены и в изголовьях супружеских кроватей, и над узкими топчанами подростков.

Исходя из того, что он слышал от других,— а Пабло Саул имел возможность слышать гораздо больше, чем миссионеры,— юноша знал, что это так и в то же время не так. Так, потому что изображения святого Висенте и святого Антония (жители побережья почему-то очень доверяли второму) будут повешены над кроватью лавочницы, проживавшей в одиночестве. «Она повесит святого Антония вниз головой, чтобы он благословил ее любовь, а потом омоется водой, окунув туда прежде святого Висенте»,— судачили прихожане. Не понимая до конца смысла сказанного, Пабло Саул понимал тем не менее, что уколы эти направлены не столько против лавочницы, сколько против представителей религии. И ему было больно от этого. Дело в том, что его сердце, как плющом, было обвито новым грехом, который назывался отчуждением. В нем

все время звучало «прощайте! прощайте!», но он продолжал идти с миссионерами, и рука его не осмеливалась подняться в прощальном жесте.

Со своей стороны святые отцы после того, как прошла первая радость от завоевания души подростка, стали привыкать к мальчику, а привыкать означает обнаруживать недостатки. Им не нравилось, что он держится отдаленно, что он задумчив, что всегда готов стать другом любого встречного. Но более всего их сердило, что «мечтатель» забывал об отданных ему приказаниях. Тем более если речь шла о заботах материальных: за исповеди и освящения браков миссионеры собирали обильную жатву.

Пабло Саул, попав в тропики, отметил, что местные женщины носили намного меньше одежды, чем жительницы гор. Внимательно разглядев прихожанок, он решил, что они становились особенно прекрасны, когда преклоняли колена. Через несколько месяцев в поисках новых заблудших душ святые отцы вновь забрались высоко в Анды, и Пабло Саул испытал сожаление, расставаясь с теплыми краями. Он понимал, что пышущие здоровьем молодые женщины тропиков каким-то образом связаны с его собственным счастьем. И хотя он с ними почти и не разговаривал, робость его ушла. Однако участники крестового похода и их юный оруженосец испытали на побережье некоторые трудности: здесь все было не так, как в горах. Самое главное — те, кто не ходил на исповеди и не освящал свой брак церковным ритуалом, отнюдь не подвергались остракизму со стороны окружающих. Миссионеры, естественно, извергали угрозы в адрес заблудших, но следовало помнить, что последние отличались могучей, как нос баркаса, грудью, крепкими руками и тяжелым взглядом карих глаз. Они носили рубахи навыпуск, причем сбоку сквозь разрез виднелась рукоять длинного ножа-мачете. От этих мужчин шел запах амфибий. В море они были моряками, на земле — землепашцами.

Дон Сейбалес, например, с уважением посмотрел на походную часовню проповедников, но прошел мимо твердым шагом. Он всегда шел от своей лодки прямо к гамаку. Ему доставляло удовольствие, лежа в нем, вести отсчет дням и ночам и слушать дыхание сельвы.

Дон Сейбалес, как уже было сказано, прошел мимо, но на некотором расстоянии за ним последовал брат Хуниперо.

— Мне кажется, эта душа нуждается в сближении с Христом.

Слова эти, произнесенные на ухо Пабло Саулу, означали приглашение юному служке примкнуть к акции. За доном Сейбалесом последовали две тени. За их спинами уходило на покой солнце.

Прибыв домой, дон Сейбалес, дабы сохранить извечную традицию, закричал с порога:

— В чем дело? Почему меня никто не встречает? Разве вы не видите, что я уже здесь?

А члены семьи, проявляя знаки глубочайшего уважения к главе, уже собирали ужин, опускали сетки от москитов, раздували угли под жарящейся рыбой, запах которой всегда доставлял ему такое наслаждение. Через минуту дон Сейбалес уже смаковал тщательно уложенную на тарелке между дольками тушеного банана и в приправе из земляных орехов рыбу корвину.

Неизвестно почему брат Хуниперо намекнул Пабло Саулу о желательности помощи со стороны последнего. Провидению виднее, каким образом проповедник упустил важнейшую деталь, которую никогда бы не забыл простой местный житель: визиты в тропиках наносятся не для того, чтобы прервать качание хозяина в гамаке, а, наоборот, сделать это качание еще приятнее.

Дон Сейбалес прекрасно дружил и с сельвой, и с морем. И, естественно, со своим гамаком. Он занимался возделыванием пашни в период засух и рыбной ловлей в редкие солнечные дни периода дождей. Что он ловил? Да все, что давало ему море,— от крабов за которыми он охотился у прибрежных скал, до нежнейшей корвины, переливающейся золотом, ее он брал у мыса, где пенились неукротимые волны.

Приветствие брата Хуниперо не доставило присутствовавшим большой радости.

— Откуда, дон Сейбалес?

Дон Сейбалес перебывал во множестве мест. Если речь шла о данном дне, то вначале он пришел с моря, потом — с берега, где продавал моллюсков, морских ежей и прочее, пытаясь как можно меньше спорить о ценах. Именно в силу последнего обстоя-

тельства дон Сейбалес очень устал, устал от сражений с людьми больше, чем от борьбы с морем.

Если же речь шла о его жизни вообще, то дон Сейбалес побывал всюду: уничтожал в горах злобных муравьев, прорубал с помощью мачете тропы от хижины к морю, от хижины к реке, от хижины к деревне. С жизнью дона Сейбалеса неразрывно связана лодка: он заливал ее водой, он вытаскивал ее на сушу во время приливов, закатав мокрые штаны, держал руками, чтобы не унесло; лодка для него была наполовину лошадью, наполовину женой, он даже разговаривал со своим каноэ как с закадычным другом. Внизу по течению реки жили его дети. Здесь, в хижине, они оставались до того момента, как забеременела нынешняя подруга дона Сейбалеса, та самая, которая сейчас возится на кухне. К нему обращаются торговцы материей и украшениями, причем не за долгами — он пунктуален, как никто другой! — а потому, что он сразу покупал помногу, хотя и не часто, раз-два в год. «Накануне рождества и перед днем святого Хасинто, а также на свой собственный день рождения, чтобы знали, кто я есть».

Именно после такого рода забот вернулся дон Сейбалес домой, когда брат Хунипе-ро в сопровождении весьма малочисленного эскорта оторвал его от управления семьей, гамака, ананасного сока, покоя в сумерках, от любования пейзажем, даже не дав утолить жажду.

Выйдя из кухни, беременная жена отвесила глубокий поклон брату Хунипе-ро и ласково кивнула Пабло Саулу. Потом пошла на крыльцо, остановилась перед девушкой, скорее всего служанкой. Уставившись на женщин меланхолическим взглядом, Пабло Саул спрашивал себя: кто эта девушка — младшая сестра или дочь подруги дона Сейбалеса? В памяти юного служки навсегда запечатлелись светлые девичьи глаза, тело, похожее на молодое деревце, платье, летящее по ветру.

— Хасинта, принеси стул его преосвященству. Садитесь, оба садитесь,— пригласил гостей после приветствий дон Сейбалес.

Пабло Саул не нашел, куда ему можно сесть,— все места уже были заняты, хотя брат Хунипе-ро примостился на краешке скамейки. Хозяин дома откинулся в гамаке, свесив босые ноги. Внимательно осмотрев жилище, Пабло Саул обнаружил позади стола отполированные бревнышки и уселся на них, укрывшись таким образом от всех присутствующих, от гамака, кухни, разговора взрослых.

— Я пришел сюда потому, что вы, дон Сейбалес, лицо заметное в этом селении.

Краем уха Хасинта слушала разговор, взбивая при этом ананасный сок. Она знала: от решения дона Сейбалеса будет зависеть судьба трех, вернее, четырех душ — ее собственной, девушки со светлыми глазами, мужа и того, кто находился у нее под сердцем. Женщина отметила тот факт, что дон Сейбалес обратился к пришедшим на «вы». То, что он не обратился к ним на «ты», означало, что он придает этому визиту большое значение. Однако в то же время хозяин стремился уйти от разговора, делая вид, что собирается с мыслями и вообще намерен молчать несколько дней. Наконец он высказался:

— Вот что, ваше высочайшее святейшество! Не буду вам толковать, что помню, как меня мать родила, однако могу заверить, что я всегда, как и мой отец, режу правду, не люблю ходить вокруг да около. Скажу вам одно: я не ввязываюсь в дела святой церкви, пусть и она не лезет в мои.

Мачете, вытянутое из ножен, сверкнуло на солнце, хотя, возможно, хозяин просто решил пошутить, когда начал точить его о тонкие деревяшки. И хозяин, и Хасинта знали, что они служили для того, чтобы на них срывать зло.

— Я знаю, что вы не общаетесь с богом, потому и решил, что мне следует заглянуть к вам.

Уж лучше бы брату Хунипе-ро помолчать: рука рыбака-землепашца замерла на рукоятке мачете, взгляд он устремил куда-то вдаль.

— Ваше преподобие, вы просите, чтобы я шел непременно под ваше благословение. Я тоже мог пригласить вас выйти в море на моей лодке.

— Не отвлекайте меня. Вы прекрасно знаете, что у меня нет свободного времени, хотя я с удовольствием покатался бы с вами по морю. Но дела боговы — вечны, и души ваших сограждан требуют моего присутствия, так что я не могу терять ни дня из моего краткого пребывания здесь.

— Вот видите, святой отец! Поэтому я вас и не приглашаю.

Вошли соседки Хасинты, у некоторых на голове были корзины с чистым бельем,

женщины насвистывали, бедра их покачивались. Брат Хуниперо был достаточно мудр, чтобы отметить это. Он протянул руку к горизонту:

— Уже солнце заходит, дон Сейбалес. Пора мне идти готовиться к исповеди и отпущению грехов.

— Выпейте еще стаканчик сока,— откликнулись хозяин и Хасинта. Служанка в этот момент молча взирала из двери кухни на Пабло Саула. Они выпили сок и ушли. У юноши опять дернулась рука, чтобы подать знак прощания брату Хуниперо. Но вместо этого поднялась другая — обращенная к Хасинте, дону Сейбалесу, девушке со светлыми глазами. Она тоже помахала рукой, как бы говоря «прощай, прощай, прощай».

Занимаясь проповедями и богослужениями на морском берегу, миссионеры тем не менее не забывали о душах тех, кто оставался в горах. В дни же обращения к богу горных индейцев у них много времени уходило на размышления о тех, кто проживал вблизи морских волн. Вселение смутных надежд в каждого, кто ходит по земле, было для монахов привычным делом.

Святым поборникам веры пришлось одолеть не одно искушение, в частности, жить на пляже и постоянно созерцать океан. Но еще хуже им приходилось в Андах: трудно было расставаться с чудесным климатом солнечных гор. Однако залог спасения душ состоял именно в постоянных переездах миссионеров.

Стремясь выиграть свое трудное сражение, они всегда торопились, будто в спины им дули таинственные ветры. Торопливость монахов исчезала по прибытии в селения, но едва лишь души заблудших, по их мнению, были очищены от скверны, а поведение сочетающихся браком выверено и отмечено, миссионеров начинало лихорадить. Часто их просили продлить свое пребывание, многие при этом плакали, роняя слезы сквозь дрожащие пальцы, и это давало святым отцам основание считать, что их присутствие необходимо каждому. Но пастыри нетерпеливо стремились посетить как можно больше уголков этого мира, где так много соблазнов и который так нуждается в спасителях.

Как это ни парадоксально, но при возвращении миссионеров с побережья в горы их потребовали к себе не рядовые, случайные грешники, а вполне уважаемые граждане — владельцы затерянных в горах огромных поместий. Вера этих господ находилась в прямой зависимости от цен на их продукцию, а также от требований их работников о повышении заработков. Именно поэтому помещики просили задержаться пророков хотя бы на два-три дня и посвятить свои проповеди пользе смирения и благонравия.

Святые отцы обнаружили в этих местах непочатое поле деятельности. Они встретились с совершенно невежественными, забитыми людьми, остатками неизвестных индейских племен, единственным преступлением которых были грязь и бесконечная усталость.

Надо отдать должное святым отцам — у них все же было доброе сердце: они простили индейцам грязь и даже сумели сдерживать приступы гнева, ощущая едкий запах человеческого пота. Этот запах миссионеры пытались заглушить, омываясь святой водой, настоянной на цветах флорипондио.

Святые отцы вели пространные беседы об аде и чистилище, с легкостью обещая их крестьянам. После такого напряженного труда новоявленные крестоносцы, естественно, чувствовали усталость, поэтому с удовольствием принимали приглашения помещиков отдохнуть в имениях. Тихие прогулки, созерцание пейзажей приводило в норму их самочувствие.

Путешествуя по высокогорью, миссионеры слышали от индейцев рассказы об озере Осоготе, куда ежегодно прилетали искать смерти тысячи птиц. Они летели сюда издалека с единственной целью — выполнить свое странное желание.

Экскурсия, организованная одним из помещиков, направилась к озеру. Ревнивые хранители вод, индейцы, проживавшие на берегу и неохотно пускавшие сюда чужаков, на этот раз благодарили хозяина и священников за их посещение.

Трудно было предположить, что климат здесь так капризен: с утра день был ясным, прозрачным, но, прибыв к месту назначения, монахи обнаружили, что и небо, и воды в ожидании бури стали серого цвета. Склоны гор, где смешались голубой, желтый и зеленый цвета, напуганные северным ветром, также приняли пепельный оттенок. Неожиданно из-за облаков появились птицы — десятки, сотни, тысячи! В природе произошла великая метаморфоза: все вокруг из серого стало черным. Крылья птиц едва можно было различить по чуть заметному трепетанию.

— Вообще-то они летят с Северного полюса, убегая от зимы. А сейчас спасаются

от бури,— пояснял равнодушным голосом владелец всех местных земель и всего, что здесь происходило.

— Из какой части полюса? — уточнил Пабло Саул. На всех картонных глобусах, виденных им в школе, Северный полюс находился там, где закручивался винтик, чтобы удержать землю на железном стержне. Юноше не верилось, что птицы могут лететь из центра этого шурупа. Скорее всего, думал он, они летят из лесов, из-за морей, из городов с цветными крышами, покрытыми снегом, какие были изображены на рождественских открытках.

— Может быть, из Соединенных Штатов, может быть, из Канады,— ответил помещик, который в вопросах, касающихся государственных границ, отличался бездумной неточностью.

Ураган уже настигал птиц. Заметив зеркало озера, они устремились к нему. Ни секунды не колеблясь, стая ринулась к воде, чтобы никогда более из нее не появиться. Грохот грома, ржание испуганных лошадей было побеждено наступившей тишиной. Никто не произнес ни слова. И только индейцы голосами, охрипшими от туманов перевала, дали простейшее объяснение:

— Птицы прилетели, чтобы отдать дань.

— Какую дань?

— Кому?

Святые отцы, правда, тут же раскаялись в своих вопросах, ибо поняли, что ответа ожидали именно от них. Заметив удивление в глазах окружающих, монахи потупили взоры.

Что-то неясное, смутное, непонятное мучило с некоторых пор юного церковного служку. Он вспоминал женщин тропиков, и огонь разливался по каждой клеточке его тела. Это ощущение мучило его, наполняло одиночеством; к вечеру оно не утихало, наоборот, настоятельно заявляло о себе необъяснимой горечью. В его коротких воспоминаниях то и дело возникала птица с подрезанными крыльями, пытавшаяся улететь в бесконечность. Но смысл понятий «вечность» и «бесконечность» для этого подростка с Андских гор был пока еще непостижим.

Несколько позже, на пути к одному из крупных городов на востоке страны, брат Хуниперо заметил отрешенность юноши.

— Ты уже не уверен более в своем призвании?

Пабло Саул промолчал. Его спросили, не хочет ли он остаться в городе, стать служкой в соборе — в конце концов, это тоже занятие на пользу общине. Он спросил, что означает «община».

— Община — это народ.

Он ответил согласием. Ему было все равно где, лишь бы остаться. Добродетельным отцам стало ясно, что их намерение превратить Пабло Саула в избранника божьего рухнуло.

Пабло Саула отправили служить в радиопункт собора. Он должен был помогать монаху-диктору во время передач на религиозных церемониях.

На всех углах центральной площади были укреплены динамики, из которых неслись приглашения посетить храм. Зазывания перемежались всякого рода советами, но чаще — рекламой различных товаров. С особым усердием монахи расхваливали содовые таблетки (платила компания «Финалин»), которые якобы помогали при головных болях, а также при ломоте рук и ног, колотье в сердце, спазмах желудка и прочих недугах. Пабло Саул помогал диктору во всем, а во время кратких музыкальных антрактов ставил старые граммофонные пластинки, при этом должен был проявлять особое внимание, поднимая мембрану с иглой в самых затертых местах.

Постепенно Пабло Саул все более постигал искусство общения с микрофоном, голос юноши все чаще звучал над площадью, все увереннее размышлял он о радостях и печалях прихожан, потом его стали узнавать, а чуть позже он стал популярен. За несколько лет этот голос превратился в наставника, вразумлявшего грешников, и даже явился причиной бессонницы некой скромной девицы из тех, кто осмеливаются влюбляться лишь в радиогероев.

Первые духовные учителя Пабло Саула исчезли, на новом поприще их заменили другие. Неожиданно для себя он осознал, что молод, обнаружил, что проповедники оставили ему наследство — некоторые заветы и опыт, который он сам называл «подарком миссионеров». Одно время он не решался прибегнуть к нему. По-прежнему крутил

заезженные пластинки, возился со старыми микрофонами, приобретенными на распродажах, учился заботиться о здоровье прихожан, предлагая им по сходной цене волшебные таблетки. Но в конце концов он отважился ввернуть в свои рекламные объявления несколько фраз, заученных у миссионеров. В одном из таких выступлений — речь шла о каком-то ходком товаре — Пабло Саул осудил плотское вожделение. Его слова не вызвали ни упрека, ни осуждения. Несколько позднее и с большей долей решимости он заклеймил позором «вожделение духовное» — первые успехи Пабло Саула в новом амплуа относятся именно к этому периоду. Вдовушки, непременные посетительницы монастырской церкви, не преминули поздравить юношу, после чего он счел необходимым проконсультироваться с карманным словариком, который, надо отметить, мало в чем помог ему.

В один прекрасный день к нему обратился аптекарь, он тоже просил о радиорекламе. Между ними завязалась дружба. Отныне по утрам Пабло Саул помогал в аптеке — бегал с поручениями, завертывал в пакетики порошки, приготовлял растирания. По вечерам и до поздней ночи его голос несся из репродукторов попеременно с голосом святого отца диктора. Эта деятельность помогала Пабло Саулу увязывать духовные проблемы ближних с их телесными недугами.

Наблюдая за успехами неофита в обеих областях его деятельности, священнослужители сочли разумным отойти на задний план. Аптекарь же, движимый житейской мудростью, все более завоевывал того, кто умел врачевать и душу и тело. Да и бывший оруженосец проповедников все более тянулся к аптеке, отмечая про себя, что голубой изнутри купол часовни, под которым парили облака благовоний, стал для него почти чужим.

Было бы несправедливо утверждать, что в победе над Пабло Саулом аптекарю принадлежала главенствующая роль. Дело объяснялось тем, что он был крестным отцом почти всех детей городка, был врачом и фельдшером соседей, кумом местных кумушек, их родственников и подруг; на крещения, лечения, на праздники и даже на похороны — всюду аптекарь таскал за собой бывшего церковного служку. Дружбы врачевателя, кумира всей провинции, искали не только местные политики — перед ним заискивали сенаторы, представители городских властей и даже кандидаты в президенты, посещавшие городок во время своих кампаний. Постепенно среди местных жителей и у наезжавших гостей рос и авторитет молодого диктора, которому опорой в жизни стала аптека, а не литургия.

Начав свои жизненный путь с чистой, незапятнанной душой, Пабло Саул теперь не мог отделаться от ощущения своей греховности: он презрел призывы господа бога, избрал путь от непорочности к сладостям искушения. Он смутно припоминал, что первое ощущение утраты счастья было связано с тем миром, который он оставил, то есть со своим родным посёлком. Вторая потеря крылась в том, что медленно, но верно он терял небеса, обещанные ему миссионерами.

В те дни несколько жителей городка решили основать собственную газету. Пабло Саул был приглашен в ней сотрудничать. Правда, у него не было никакой практики — ни редакторской, ни авторской,— и со времени окончания школы он не притрагивался пером к бумаге, если то не были аптекарские счета. Что же касается чтения, то читал он много — читал все, что попадало под руку, начиная требником и кончая старыми, пожелтевшими газетами.

Те, кто предложил Пабло Саулу сотрудничество в печатном органе, предусмотрительно не сообщили ему, что провинциальными газетчиками соглашались работать очень немногие, так как вознаграждение было сугубо символическим. На вопрос юноши, о чем ему придется писать и какие статьи редактировать, основатели издания лишь пожали плечами, как бы говоря «о чем угодно».

Он решил подписывать свои статьи псевдонимом «Пабло Грешник» — на большее его фантазия не была способна. Таким образом, публично заявив о собственной сути, унаследованной от Адама, Пабло Саул превратился в рупор совести сограждан. Проблемы этой совести излагались полустертыми шрифтами местной типографии.

Провал Пабло Саула как газетчика был настолько велик, что читатели даже не заметили его, статьи исчезли с полос так же, как и появились,— тихо и незаметно. И тем не менее еще довольно долго, несмотря на то, что окружающие никак не реагировали на его стилистические упражнения, Пабло Саул тщился быть общественным моралистом и цензором. И если бы не память об аптекаре, скончавшемся в полной нищете и забвении, если бы не его увещевающий голос, Пабло Саул со временем превра-

тился бы неизбежно в карающего ангела. Он действительно решил стать на земле его воплощением. Произошло это с ним в дни, когда с севера прибыли представители нефтяной компании. Одновременно с ними появились над городком вертолеты, под брюхом которых на цепях раскачивались вагончики, а в кабинах сидели американцы, окруженные теодолитами, приборами и проститутками.

Для того чтобы открыть аптеку на самой окраине городка, у Пабло Саула имелось две причины. Во-первых, нищета, обеспеченная всем провинциальным журналистам: как правило, читатели обращались к письменным творениям сограждан лишь единожды в неделю — по воскресеньям. Взяв в руки плохо отпечатанный листок, они рассеянно просматривали его, предпочитая диалог с владельцем экземпляра газеты — чистильщиком обуви, располагавшимся обычно у входа на площадь.

Вторую причину объяснить труднее. После смерти аптекаря Пабло Саул почувствовал, что ему не хватает окружения, где его руки — руки лекаря — были бы оценены должным образом. Да, он врачевал души и для их излечения нередко рекомендовал компрессы, спирт, бинты; между ним и его клиентами возникала атмосфера дружелюбия, но все же она не была столь глубокой, как между миссионерами и дамами, получавшими очищение от грехов с помощью индульгенций. В те годы он понял, что среди наиболее уважаемых профессий лишь одна доступна беднякам: профессия кума. Она требовала доброжелательства, постоянства и долгого проживания на одном месте. А он был лишен корней, и лучший наставник умер в ту пору, когда молодой человек, казалось, нашел свое призвание.

Он был подростком, когда им руководили миссионеры, прекрасно разбиравшиеся в делах небесных и совсем плохо — в мирских, скитания с ними почти стерли воспоминания о родном городе в Андах. Юность же была отмечена печатью меланхолии, свойственной каждому провинциальному аптекарю. Момент, когда Пабло Саулу представлялось, что он нашел нечто свое, подлинное, был отмечен такой утратой! Он пережил смерть аптекаря как свою собственную. В поисках лекарства от одиночества юноша, вместо того чтобы окружить себя соседями и отдаться общению с ними, закопался в тех немногих дарах, что остались ему от миссионеров, и в многочисленном хламе, доставшемся по наследству от бывшего патрона.

Дары святых отцов годились любому труженику: то были три книжных тома в тяжелых переплетах, от которых исходил запах влажной кожи. Наследие приверженца лекарств состояло из невообразимого количества банок и склянок цвета старой губной помады.

Ни одно из полученных наследств не принесло счастья Пабло Саулу. Результаты были плачевными. Занятия с книгами лишь усиливали его одиночество, а аптечные колбы никак не могли облегчить его будущее — их содержимое лишь губительно сказывалось на здоровье стариков. Банки и склянки пахли прошлым, прятали в себе его тайны. Каждая из них на свой манер пахла детством любого из местных жителей, и это плохо скрывали незатейливые этикетки, надписи на которых — «борная кислота», «фруктовая соль», «мыло», «масло какао» — совершенно не соответствовали действительности.

И тем не менее было бы несправедливым рассматривать положение вещей лишь пессимистически. Не было ничего более заметного среди местных событий, чем открытие Пабло Саулом своей лавки в домике между городом и полями. В этом полусельском очаге и произошла встреча незаметного служки с Данте, величайшим из поэтов средневековья, основателем теологических учений. Пабло Саул совершил два подвига: открыл самую отдаленную и наименее посещаемую аптеку-лавку и прочел «Божественную комедию».

СЛУЖКА В АДУ

По дороге, на которую выходили никому не нужные двери новой аптеки, шли грузовики и пробегали бездомные собаки. Последние останавливались, смотрели на Пабло Саула, опускали головы и вновь продолжали свой бег в бесполезных поисках хозяина.

Отсутствие клиентов давало возможность бывшему служке просматривать тяжелые тома, подаренные проповедниками. Первый заключал набор испанских драм и стихов. Он читал и перечитывал их, добираясь до смысла звонких, но пустых словосочета-

ний, пока усталость не валила его с ног. Вторым томом была «Божественная комедия» с иллюстрациями. Естественно, победителем вышел Данте.

Здесь, в домике у дороги, юный выходец с Андских гор познакомился с Беатриче из Флоренции. В своих путешествиях по воображаемым мирам Пабло Саул был более удачлив, чем изобличитель с посохом, явившийся к нему из западной цивилизации. Оба они хранили надежду найти в загробных палестинах душу Беатриче. Но в блужданиях по кругам ада церковного служку сопровождали земные и весьма отзывчивые женщины.

Открытие аптеки на восточной окраине города, почти у самого горизонта, там, где улица переходит в тропинку, было не таким уж ненужным начинанием. Тем более если учесть, что по этой тропинке в сельву предстояло направляться инженерам, говорившим на незнакомом языке, рабочим, нанятым местным подрядчиком, бродягам, которые вечно шатаются в местах скопления людей, где продаются горячие пирожки, жареная колбаса, взбитый в виде воздушного облачка сахар, печеный маис, прохладительные напитки из початков морочо, лепешки с рисом и женщины.

Короче, план Пабло Саула был почти великолепным и, кроме того, хотя он сам этого и не знал, полностью совпадал с правительственной программой промышленного развития страны. Он врачевал, вспоминая наставления своего учителя и значительно расширив свою методику за счет местных обычаев и поверий. Так, он применял порошок из высушенных и растертых крыльев богомолов, заостренными павлиньими перьями наносил рисунки на животы девиц во время прихода первых болей, при воспалении легких ставил вместо банок металлические кружки.

Вооруженный перечисленными выше врачебными реалиями и «Божественной комедией», Пабло Саул ждал, что к нему потечет клиентура с просьбой прописать таблетки перед путешествиями и примочки по возвращении из них.

Первым прилетел ночной ветер. Ветры в этой части света редко бывают бурными. Они хлопают дверями, если видят, что они открыты, а если нет — то просто стучатся в них.

— Тук, тук, тук!

Но это были уже костяшки пальцев:

— Тут, тук, тук! — робко повторился стук в дверь.

Он шел из ночи, украшенной хорошо различимым сквозь ветки деревьев силуэтом вулкана, настойчиво пробиваясь в маленькое убежище Пабло Саула. Настольная лампа освещала его самого и Вергилия, чело которого было украшено венком, а тело покрывалс некое подобие пижамы, более пригодной для отходящей ко сну дамы, чем для провожатого по кругам ада.

Служка отворил дверь и обнаружил двух женщин. Не говоря ничего, они вошли и уселись на два стула, имевшихся в аптеке.

Пабло Саул узнал их. В раскрытой перед ним книге были их портреты: они были изображены на рисунке второго Дантова круга. Только на картинке у ног женщин рождалось пламя, переходившее в крылья. Пламя взлетало за их спинами, освещало лица, искажало рот, расширяло ужасом глаза. Однако эти две, усевшиеся на стулья, дрожали и скорее всего от холода. Конечно, наступит день, когда обе будут корчиться на костре за свои грехи, а пока старшая попросила таблетку от головной боли, а младшая поинтересовалась, не может ли Пабло Саул приготовить им горячую канелу[1].

Юноше не пришлось самому хозяйничать, наливать воды в чайник, накладывать сахар в чашки. Женщины обежали крохотные владения аптекаря, перенюхали все баночки, отобрали подходящие кастрюльки, а потом защебетали — ах, ах, ах! — радуясь тому что вода так скоро закипела.

Юноша полагал, что женщины такого рода не умеют готовить и понятия не имеют, как варить канелу. Полагал, что они не умеют даже улыбаться. Более того, он считал, что одинокими вечерами, когда нетронутая пыль на холмах напоминает о забытых детских играх, именно такого рода дамочки, в арсенале которых лишь песенки и посвистывания, выходят охотиться на мужчин, потерявших свои души в кабаках. И тем не менее они находились у него — простые и милые, и их болтовня порхала над дымящимися чашками с корицей. «О-о-о! А-а-а!» — восклицали женщины, наслаждаясь горячей канелой.

— Откуда вы?

[1] Напиток из воды, корицы с добавлением сахара и тростникового или маисового спиртного.

— Из лагеря.

— Почему ночью?

— Это не мы, это шофер отправился сюда ночью.

Женщины упорно глядели ему в глаза и, видимо, откровенно забавлялись этим. Обращаясь друг к другу, они добавляли самые грязные и оскорбительные клички, но произносили их так ласково, будто говорили: «Милочка, дорогая», будто омерзительные ругательства были их собственными именами.

— Сегодня у нас был неважный день.

— Да, неважный.

— Почему?

— Гринго работали сверхурочно, мы и зависли.

— Что означает «зависли»?

— Ко мне, правда, подошел один, да игра не стоила свеч: местный, из прорабов, а они всегда бешено спорят, когда приходит время расплачиваться.

Пабло Саул закрыл том «Божественной комедии». У него была привычка закладывать страницы, где рассказывалось о небесах, чтобы постоянно держать их под рукой.

— Что ты читаешь?

— Ничего.

— Как это «ничего»?

Старшая обнаружила Данте в первых строфах, где поэт, окончательно потерявшись и запутавшись, взывает о помощи. Руки женщины побежали по страницам. Две пары глаз уставились на строки поэмы, но затем предпочли беседовать лишь с картинками. Они увидели поэта, пробиравшегося в сельве, узнали Вергилия, вооруженного мачете, чтобы проложить дорогу, пришли в восторг от Беатриче, похожей на младшую из пришедших. Единственное, что отличало их, так это белое воздушное платье возлюбленной поэта, какие, видимо, носили в потустороннем мире. Женщины испугались, увидев трехглавую гиену. Однако они перестали доверять книге после того, как рассмотрели в пламени ада и чистилища монархов и даже папу римского по имени Бонифаций, который жил в книге гораздо дольше, чем сидел на своем престоле.

— Для чего читать подобную книгу?

— Разве вы не понимаете, что это священная книга?

— Священная?

— Конечно.

— А разве не Евангелия считаются священными книгами?

— Да, Евангелия. Но эта книга тоже священная.

Женщины вновь открыли богато иллюстрированный том.

— Пожалуй, так оно и есть. Уж очень красиво здесь изображены и небеса, и чистилище.

— Да, очень красиво.

Перелистывая книгу, Пабло Саул демонстрировал им главные человеческие грехи и соответствующие кары. Он вспомнил проповедников, изрекавших такие же истины, унаследованные ими скорее всего от еще более старых миссионеров. В их проповедях часто встречались цитаты из Евангелия, особенно те, где слова Иисуса Христа призывали к смирению и состраданию. Однако эта тема была мудрейшим образом побеждена поэтом Данте, его предшественниками и последователями, убедившими мир, что прощение находится в полном соответствии с возможностью наказания.

В ночь, когда ветер постучал в жилище Пабло Саула и вместо ветра он встретил двух иззябших проституток, его одолели сильнейшие сомнения. Вызваны они были велениями его доброго сердца, потребностью к общению, робостью, страхом, пророчествами «Божественной комедии», строфы которой он изучал с таким тщанием.

Женщины не обращали внимания на молчание аптекаря, проявляя интерес лишь к собственным рассказам или задавая вопросы. А он испытывал усталость, его начало клонить ко сну, и он закрыл глаза.

— Ты не будешь против, если мы здесь переночуем?

Видимо, на лице его отразилось такое удивление, что старшая поспешила добавить:

— Не беспокойся, мне достаточно маленького места на полу.

Так и произошло: улыбнувшись подруге, она растянулась на голых досках. Молодой аптекарь сделал жест, как бы предлагая свое ложе младшей. В знак благодарности

она направилась к нему. Он вздрогнул, когда его лица коснулись женские руки. Чтобы удержать их, он задал совершенно бессмысленный вопрос:

— Разве вам не нравится чтение?

— Я очень мало читала.

Руки женщины продолжали скользить по его телу.

— А какие книги?

— Только комиксы по телероманам. И еще прелестный рассказик. Мне его дали почитать клиенты.

Слово «клиенты» испугало юношу.

— А что за прелестный рассказик?

— Называется «Дафнис и Хлоя». Но я ведь до сих пор не знаю, как тебя зовут.

— Пабло Саул, к вашим услугам.

— Нет, нет! Для меня ты не Пабло Саул. Для меня ты будешь пастырем, маленьким, маленьким пастырем.

Его глаза молили о пощаде, руки — тоже, он показывал на спящую на полу женщину, будто говоря: «Нет, нет, не в ее присутствии». Но все его мольбы оставались втуне. Старшая крепко спала, а младшая все шептала, прижимаясь теснее и теснее:

— Мой пастырь, мой маленький, маленький пастырь...

Когда он проснулся, на дворе уже стоял ясный день. Он был в доме один, вокруг все прибрано. В душе возникла боль, она росла бурно, как южное растение. Ему хотелось, чтобы эта боль была результатом содеянного им греха, долгого и сладостного, но дело обстояло иначе. Его горечь называлась не укором совести, она носила другое имя — утрата.

Таким образом, Пабло Саул продолжал учиться одиночеству. «Это утрата,— говорил он себе.— Одиночество не означает жить в одиночку, не означает ухода от других. Одиночество — это когда ты теряешь кого-то».

У него оставалась надежда, что женщина вернется к нему, но не мимоходом, по пути из лагеря нефтяников. Она вернется к нему, очищенная чудом любви, готовая отринуть весь мир.

Она действительно вернулась. Каждую неделю женщина стучала кулаком в дверь. Для нее стало обычным приходить сюда. Для него — ждать ее. И вдруг все резко оборвалось. Она покинула его в момент, когда Пабло Саул так нуждался в ней. Он даже забросил «Божественную комедию». Чтобы принять решение, потребовалось несколько недель ее отсутствия. Он запер аптеку, дождался проходящего мимо автобуса и направился в лагерь инженеров-нефтяников.

В путешествие с Пабло Саулом отправилась не только «Божественная комедия», с ним отправился саквояж с инструментами и лекарствами. Автобус тарахтел, и саквояж подпрыгивал у ног аптекаря.

Путешественнику не нравился такой способ передвижения. Настоящие сельские аптекари никогда не пользовались общественным транспортом, считая недостойным ездить с другими пассажирами. Им полагалось выезжать в крытой повозке, дергать вожжи, торопить коней и, объезжая деревушки, сообщать о своем прибытии песнями, прерываемыми у каждой хижины лаем собак и криками женщин. Но повозки у Пабло Саула не было. Кроме того, он не знал музыкального репертуара покойного шефа, который так ловко изготовлял мазь из копыт буйвола, примочку из перламутровой раковины, растворенной в уксусе, бесцветную йодовую настойку, приворотное зелье для несчастливых в любви, используя в качестве ингредиентов распущенную в соке лимона скорлупу яйца куропатки и растертые стебли чамико, настоянные на слезах.

Перед повозкой открывались любые двери. Распродав здоровье, она возвращалась домой, освобожденная от груза лекарств. Она знала улицы, тонувшие в солнечном свете, и погребенные в ночных сумерках дома.

Пабло Саул отправился в сельву. Где-то вдалеке слышались крики попугаичьих стай, они мешались с резким воем испуганных обезьян. Человек, прибывший заботиться о здоровье людей, поселившихся в сельве, мог быть с большой натяжкой назван медиком. На самом деле он был просто учеником аптекаря с книгой, саквояжем и непривычной для его возраста грустью.

Он не искал клиентов, хотя привез лекарства, он не рекламировал последние, хотя и намеревался их продать. Он не умел и не хотел этого делать. Все его салицилки, хлор-

ки, борки — все это был лишь предлог, чтобы бродить по сельве, заглядывать в парусиновые палатки, задавая один и тот же вопрос: «Марта здесь?»

Если бы он как следует вдумался, то понял, что вопрос его был никчемным.

«Меня зовут Марта, но мое боевое имя — Нанси».

«Боевое имя», «битва»... Женщине пришлось не раз объяснять Пабло Саулу, что это означает. Он знал несколько имен, связанных с войнами: Аттила, Гитлер,— но трудно было в один ряд с ними поставить имя «Нанси». Он решил, что погиб окончательно, когда понял, о чем она ему толкует. Бессмысленно было спрашивать: «Здесь ли Марта?» Пришлось произносить: «Нанси здесь?»

Ему хотелось, чтобы ответили ему, где она, сказали, куда исчезла женщина с длинными волосами, сбежавшая из второго круга ада.

Мудрые наставления его прежних учителей привели Пабло Саула к заключению, что он осужден. Краеугольным камнем педагогики проповедников, фундаментом ее являлась мысль о том, что каждому живому существу уготована в вечном мире своя доля. Пабло Саулу запомнилось, что все их поучения сводились к тому, что некоторые деяния не должны свершаться. Но никто не научил его, как вести себя, если таковые все же свершались. Естественно, как всегда, имелось два выхода: первый — бежать, исповедаться, очиститься, второй, более легкий,— скользить далее вниз, по наклонной плоскости.

Болезнь юноши, его путь к небесам звались Нанси, а может быть Марта, а может быть Нанси — в конце концов какое это имело значение! Смутные страдания Пабло Саула имели вполне конкретное человеческое имя, и среди регистрационных листков венерических больных отдела здравоохранения это имя легко можно было бы разыскать.

В душе Пабло Саула, как настырный плющ, росла новая тоска. Она поднималась от низа живота, разливалась по всему телу, ярким огнем полыхала из глаз, иногда срывалась с уст. Юношу трепала непрекращающаяся лихорадка. Тоску звали Нанси. Плющ тоже звался Нанси. Весь он был частью Нанси. Юноше было ясно, что пока он не найдет эту женщину, он будет спрашивать о ней у птиц в сельве, будет стучать в двери каждого своего соперника — ее клиента. А пока длились поиски, он готовил себя к тому, как тронет ее тело и как оно станет для него вратами к падению.

Данте на небесах продолжал любоваться своей непорочной Беатриче, а здесь, в сельве, на заросшей тропинке, перед глазами юноши постоянно маячил образ его случайной подруги.

Пабло Саулу повезло меньше, чем великому флорентийцу, подруга которого была бессмертной: женщина служки была просто женщиной, а значит — смертной. Классик мировой литературы — так полагал аптекарь — продолжал встречаться с Беатриче в их нескончаемом перемещении по городу, называемому Провидением; Марта-Нанси совершала нескончаемые перемещения по дорогам просторного земного мира. Исстрадавшийся и окрыленный надеждой юноша даже не подумал, что он отправился в сельву, дабы поддержать извечный порядок коловращения. Пабло Саул, вспоминая некоторые моменты своей любви, понял, что два человека могут слиться в единое и неделимое целое, и пришел к выводу, что если такие моменты и не являются вечностью, то, по крайней мере, очень близки к ней.

Из размышлений экс-служки любой профессор логики сделал бы ряд великолепных выводов, например: человеческий род сохраняется благодаря отклонениям, нарушениям, заблуждениям. Однако Пабло Саулу были неведомы тонкости искусства специалистов в области логики. Впервые его размышления толкали его к действию. Как раз в этот момент он подошел к лагерю. Стихли крики попугаев. Слышался непонятный шум, гул моторов покрывал голоса людей. Юноша попрощался с автобусом. Он спешил. Нетерпение, как это бывало испокон веку с каждым влюбленным, разливалось в нем, не давало покоя. Взяв саквояж, он спрыгнул на землю. Ему трудно было отогнать все еще одолевавшие его мысли, поэтому он даже потряс головой. Он узнает все о Нанси, он расскажет всем, что ищет ее. И никто не будет спрашивать его, почему он охотится за ней. А если спросят? Он не знал, что ему следует отвечать. Очень трудно произнести: «Я хочу гибели».

Сельва еще была освещена солнцем, когда Пабло Саул вышел из автобуса, но не успел он пройти и несколько шагов, отделявших остановку от гостиницы «Провидение», как дневной лес был вытеснен ночным. Ему довелось увидеть стремительный за-

кат, он отметил в местном пейзаже неизвестную ему доселе неистовость. Видимо, в течение дня не обошлось без дождевых облаков, поднимавшиеся от земли испарения делали тени гуще, туман более плотным, в нем плавало имя «Нанси». В воздухе струились особые — тропические — запахи.

Прежде чем войти в гостиницу, Пабло Саул осмотрел площадь. Ни церкви, ни фонтана. Зато виднелась высоченная металлическая башня, прошитая, как строчкой, лестницами. Он разглядывал ее в некоторой растерянности. И решил осмотреть подробно на следующий день.

Он тронул занавес из бамбуковых палочек, подумал, что не совсем к месту прозвучит вопрос: «Знаете ли вы Нанси?», поэтому предпочел прибегнуть к вежливой уловке и осведомился, сколько стоит снять комнату. Когда его повели по узкой лестнице, заставленной перегородками из тростника, и показали нору, где ему предстояло поселиться, аптекарь решил, что низкая цена вполне обоснованна. Серые простыни, серое покрывало. А может быть, виной было недостаточное освещение? Мрак, окутавший все вокруг? Вторая попытка выяснить ситуацию вопросом, обращенным к сопровождавшему Пабло Саула парню, выглядела уже совершенно глупо:

— Где живут женщины?

— Каждая — у себя дома.

— Не те. Я имею в виду тех, которые живут одни.

— А-а!

— Так где же они?

— Некоторые здесь.

— А Нанси ты знаешь?

— Нанси? Та, которая...

— Которая что?

— Которая гуляет с гринго.

— Где она живет?

— Там, где они спят. Но сюда тоже иногда приходит.

— А сейчас?

— Сейчас ее нет. Давно уже пропала.

Пабло Саул решил, что день, в конце концов, был счастливым: он хоть что-то узнал о ней. Боль вновь начинала расти. Слово «гринго» разбудило в нем прежнюю робость, узнанную еще в годы жизни в родном поселке. Он ощутил нечто вроде поражения. прежняя самоотверженность сменилась усталостью. Но хуже было бы, если бы ему сказали, что Нанси вообще не существует. Он будет жить здесь, куда она время от времени возвращается. Рано или поздно ее шаги прозвучат.

Шаги действительно прозвучали. Шаги многих людей, и по ним он пытался определить, где находится комната того или иного постояльца. Их было не менее двадцати. Пабло Саул прослушал шаги каждого, но шагов Нанси среди них не было. Она не вернулась.

Ночь длилась бесконечно долго. Из-за жестоко длинной ночи, а может быть, и от дорожной усталости юноша буквально упал на бедняцкое ложе. Где-то там вовне остались сельва, башня отель. С ним и в нем осталась Нанси. Он заключил ее глубоко в себя очень глубоко туда. где не так болезненно ощущается физическое отсутствие где скрывается — пускай маленькая — надежда.

В одиннадцать утра Нанси пришла. Он понял, что это она, еще до того, как ее увидел.

— Почему ты так поздно?

Пабло Саул стоял в коридорчике слева от входа. Она взглянула на него, вгляделась. Вспомнив, улыбнулась.

— Ах. это ты! Ты ведь живешь в аптеке, в городе. А здесь что делаешь?

Было заметно. что она провела нелегкую ночь. юноша видел это. Женщина смертельно устала; она считала что это усталость последних нескольких часов, но усталость насчитывала уже много лет.

Нанси взяла его за руку и попросила:

— Прости, но сейчас я лягу спать. Возможно, позднее поговорим.

Пабло Саул наклонил голову отметил на ее лице ранее незамеченные морщины. Он смотрел, как она удалялась: стройная фигура так не соответствовала тяжелым мешкам под глазами.

Он решил, что подождет до вечера и проведет эти часы в одиночестве. В это время он познакомился с расположением унылого лагеря. Только здание гостиницы имело два этажа, все остальное — хижины; вдоль заросших тропок стояли вагончики, в центре лагеря — нефтяная вышка. По мнению птиц, место для нее было выбрано сугубо неудачно, хотя согласно расчетам инженеров конструкция была возведена на должном участке.

Из бесед, в которых Пабло Саул убил утро в отеле, он узнал короткую биографию этого поселка. Вначале сюда под брюхом вертолета прибыли железки, потом они были сварены в определенном порядке и стали похожи на башню, которую можно видеть на парижских почтовых открытках. Сооружение вздымалось на голом месте — вся растительность вокруг была истреблена,— внутри его вращался огромный пестик, который люди называли «иглой» или «сердечником» и который месил, разбрызгивая, грязную глину.

Далеко от вышки, почти у самых зарослей, вырос «вагонный городок». Его называли так потому, что собранные домики были похожи на комфортабельные вагоны поезда, сошедшего с рельсов. Домики тоже прибыли сюда на железных стропах под вертолетами. Как рассказывали Пабло Саулу, издалека эти летающие машины были похожи на хищных птиц, уносивших в когтях яйца из чужих гнезд. Только потом местные жители обнаружили, что это — домики. Они были выкрашены снаружи и изнутри в светло-кремовый цвет и по ночам светились в сельве.

Сразу же за деревьями протянулся «крысиный город» — хибарки. «Город» — это если говорить языком, привычным для всех, ибо люди прекрасно знали, что вышка, вагончики и хижины были тремя составными частями лагеря. Вокруг вышки располагались мастерские, в вагончиках было жилье и конторы, «крысиный город» был переполнен человеческими существами.

Два вагончика служили больницей. И справедливости ради надо отметить, что сюда стекались больные из всех трех районов поселения.

Пабло Саул мог бы продать еду и одежду, если бы привез их с собой. Но он привез только лекарства, никому не нужные здесь: владельцы компании опасались эпидемий, поэтому в медпункте оказывали помощь каждому, в том числе завербованным местными подрядчиками рабочим. Последние и составляли население самой нищей части лагеря. Аптекарь понял, что его бинты и притирания не найдут здесь сбыта. До этого момента правительственные планы развития и содержимое его саквояжа находились в полной гармонии. Но с давнего момента пути их разошлись. Бывший служка, ныне фармацевт, ринулся на завоевание лагеря, движимый стремлением к благополучию. Правда, это слово следовало понимать своеобразно: он не желал благополучия ради благополучия, он искал его как путь к собственной гибели. На этом пути он собирался найти и спасти женщину, увезти ее отсюда куда угодно, устроить ей тихую и спокойную жизнь, оплатив этот героизм собственной душой.

Что же касается веры, то по данному вопросу между Пабло Саулом и его правительством имелись существенные расхождения. Философия власть имущих была элементарной: добывать нефть и продавать необработанный продукт, с тем чтобы потом покупать за рубежом нефть обработанную.

Пабло Саул отдавал себе отчет, что его действия противоречивы, и сознательно шел на это. Правительством двигали другие мотивы, хотя о противоречивости их вслух никогда не говорилось. Вслух, в многочисленных публичных заявлениях, навязших в зубах каждого, в том числе и экс-служки и фармацевта, представители власти призывали сограждан опасаться корысти и алчности других — особенно соседних — стран. Далее, естественно, следовали утверждения о необходимости защиты своего национального богатства — нефти. А еще дальше — по логике вещей — вставал вопрос о необходимости закупки оружия за рубежом.

Вся эта грубая риторика обнажалась в просеке сельвы благодаря любовному приключению бывшего служителя культа, благодаря случайности, которая сплела воедино его грустное настоящее с тревожным, но полным надежд будущим его родины.

Дебаты, в том числе ненужные и нескончаемые, всегда требуют передышки. Для Пабло Саула эта передышка звалась «Нанси». Убедившись, что прошло уже несколько часов, он решил, что наступило время возвратиться в гостиницу и встретиться с женщиной. Если она еще не проснулась, размышлял он, можно подождать ее в вестибюле. «Вестибюлем» называлось крохотное пространство у стойки с ключами. Но когда Пабло Саул вернулся и спросил о Нанси, ему пришлось убедиться, что поведение женщин

непредсказуемо. Нанси его не ждала. Она ушла. Куда? Служащие гостиницы ничего не могли сказать по этому поводу. И ничего никому не просила передать. А что касается дня ее возвращения, то тут можно строить лишь предположения.

— С такими женщинами никогда ничего неизвестно. Уходят куда-то. С кем-то. запираются.

— С кем? Разве мужчины не работают?

— Работают, посменно. Так что у некоторых выдаются свободные вечера.

В нем заговорила стыдливость. Было бы глупо ходить по домам, стучать в двери, спрашивать о Нанси у соперников. И в то же время он страстно желал поступить именно так, удерживало его только то, что он не верил в результаты подобных поисков. Предлогов постучать в дверь, правда, нашлось бы предостаточно. Во-первых, стремление действовать по-христиански: спасти душу женщины. Мало того, содействовать спасению других заблудших. Тот, кто с отрочества и юношества запомнил, что церковь служит врачеванию духа так же, как аптека — тела, не мог размышлять иначе.

Пабло Саул был в отчаянии. И, возможно, он побежал бы в лагерь, если бы не начался дождь. Вместе с дождем начался лягушачий концерт.

— Долго будет лить?

Он все же надеялся, что погода его не подведет. Ответ погасил все его порывы.

— Достаточно. Ливень как начнется, тут уж...

— На весь вечер?

— На весь вечер.

— А ночью?

— И ночью будет лить...

— И сколько же он будет длиться?

— Для нас — несколько дней, а для приезжих — пока не уедут.

Дождь лил и лил. Пронизывающий, бесконечный, непохожий на городской. О таких дождях нет упоминаний в европейских литературах, зато в прозе, созданной в тропиках, еще очень небогатой, он всегда присутствует.

Хозяин гостиницы за стойкой, служанка-заика с метлами, мальчик-посыльный и попугай в патио перебрасывались словами со странным, малоподвижным постояльцем. Входили и выходили молодые женщины, иногда поодиночке, иногда группами по две-три. Сменив мокрые платья, они брали в руки туфли и босиком выбегали на тропинки, заменявшие улицы. Потоки воды несли обломки деревьев, и женщины прыгали по ним. Прибыв из города, они постигали теперь тайны сельвы.

Пабло Саул смотрел на дождь первого дня и первой ночи. На дождь второго дня и второй ночи. Третьей ночи... Нанси не появилась ни в один из этих дождей. Он все еще хранил надежду: вдруг она вернется, когда прекратится ливень. Вновь стал осаждать вопросами, сколько же еще будет длиться потоп.

— Долго, сеньор. Долго.

Пабло Саул чувствовал себя пленником воды. Стены его жилища были сотворены из воды. За ними и над ними тоже была только вода. Еще выше, куда не доставал взгляд, видимо, находилось небо. Лес с трудом выдирался из огромного болота, временами ветер сотрясал деревья, и тогда гнилые ветки ломались, издавая звук лопнувшего железа. Ветки и поваленные стволы загородили тропинки, по многовековой грязи, замешенной на гнилой коре, скользили люди и животные.

Так как у Пабло Саула не было другого занятия, кроме ожидания, он затеял игру в карты с заикой, посыльным и даже хозяином гостиницы. Сдавая грязную колоду, они подолгу глядели друг на друга и всячески честили очередного счастливчика. Однако этого развлечения не хватило, чтобы заполнить бесконечно тянувшееся время. И Пабло Саул в поисках последнего утешения вновь обратился к Данте, творение которого теперь казалось ему дневником путешественника по гостиницам, называемым адом, чистилищем, Беатриче. Занятие это оказалось бесполезным, потому что новые знакомые аптекаря ничем не походили на тех, кого заставлял страдать великий флорентиец.

Ад Пабло Саула оставался пуст. Точнее, почти пуст, ибо одного из его обитателей он знал — себя самого. Только себя самого. Естественно, кандидатов на пребывание в нем было много и все они — на виду, но бывший ревнитель церкви, усвоив премудрости проповедников, избегал осуждать ближних. Ни владелец гостиницы, ни служанка-заика, ни мальчик-посыльный не заслуживали кар ада, несмотря на то что злоупотре-

бляли грязными ругательствами, жалуясь на свою собачью жизнь. Пабло Саул засомневался лишь в отношении супруги хозяина, сидевшей на деревянном троне перед печью, так она мерзко орала.

Проститутки, конечно, тоже годились в качестве претенденток на отправку в чистилище, особенно если исходить из тезиса святых отцов, утверждавших, что истинным источником греха является женщина. Но Пабло Саул не видел их «за работой», он видел их, когда они возвращались смертельно усталыми. И вполне обоснованно полагал, что эта усталость может когда-либо послужить толчком к раскаянию. И мог ли этих женщин осуждать тот, кто находился здесь в поисках сладкого падения?!

В то же время прощения, пожалуй, заслуживали и корыстолюбцы, то есть владельцы нефтяной вышки: они потребляли заграничные сигареты, но отечественных проституток.

Обойдя в сопровождении Данте владения дьявола, Пабло Саул узнал, что среди корыстолюбцев имеются и пришлые, случайные, но факт, кто есть подлинный владелец вышки, установить было трудно. Никто об этом не мог сказать с точностью, никто ничего не знал. Было известно, что хозяева ее находятся далеко, очень далеко, что их немного, что только они решают все, касающееся лагеря, и что зовутся они «анонимное общество». Так что вполне объяснимо, почему ад Пабло Саула оставался незаселенным, почему он сам, участвуя в этой игре, сам пребывая в чистилище, ощущал себя одиноким.

Постепенно женщины, возвращавшиеся в гостиницу, чтобы за рюмкой стряхнуть усталость тяжкой ночи и отдохнуть до полудня, стали обращать внимание на странного квартиранта. Они обнаружили, правда, что у него слегка кривоват нос, но зато прекрасен лоб, обрамленный красивыми волосами, печально ниспадавшими на первые морщинки. Женщины узнали, что юноша ждет Нанси, после чего некоторые из них, проходя мимо, улыбались, другие ехидничали, третьи — протягивали руку. Одна из них — с постоянно полуоткрытым ртом, будто готовая откусить воображаемое яблоко,— осведомилась у Пабло Саула, где находятся те неведомые ей небеса, с которых юноша спустился. Пабло Саул не считал, что спустился с небес. Интересно отметить, что юноша, начавший с осуждения пороков этих женщин, кончил тем, что заинтересовался их добродетелями и более всего — их склонностью к дружбе. Какая-то из проституток даже пыталась склонить его к любви, просила увезти ее с собой. Так аптекарь узнал, что у ловцов душ есть свои преимущества, но его интересовало спасение лишь одной души — Нанси и никакой другой.

Стоило ли говорить, что великое начинание служки закончилось полным провалом, и все из-за хитрости женщины, которая умеет быть сильной, когда ей приходится защищать свою слабость.

В те же дни в гостинице появились двое мужчин. Вначале появился американец. Его грязный джип останавливался у входа, слышалось «Jalо!»[1], потом он выскакивал из машины и направлялся к стойке, украшением которой служили голова хозяина гостиницы, ключи от комнат и несколько бутылок. Американец клал на стойку банкноту и ждал. По ту сторону стойки хозяин совершал свой ритуал: менял деньги на виски. Осушив стакан, иностранец уезжал в подпрыгивающем джипе, считая, что выпивка вполне удалась.

— Jalo, boy![2] — иногда приветствовал он Пабло Саула, заметив его в уголке.

Потом в гостинице появился тот, кто охотился за американцем. Здороваясь, он тоже говорил «хелло», демонстрируя при этом плохой английский язык, затем вынимал авторучку и записную книжку. Человек притворялся, что с удовольствием принимает от американца стакан виски, и ждал, пока преследуемый им опьянеет, чтобы задать ему совершенно немыслимые вопросы. Пабло Саул отметил, что гринго не интересовал интервьюера ни пока был трезвым, ни после того, как окончательно пьянел. Вопросы поступали между третьим и пятым стаканами.

Американец выполнял свой ежедневный ритуал точно на стоимость выложенной денежной купюры, деньги он с такою же точностью всегда выкладывал на одно и то же место стойки. После этого брал стакан с виски и обнюхивал его с таким видом будто то были выкопанные из могилы останки.

Задача журналиста после этого становилась много проще.

---

[1] Привет *(искаж. англ. hello).*

[2] Хелло, парень *(искаж. англ.).*

— Моя есть подземный путешественник,— говорил американец.— Я есть плавать в масле в центре планеты. Мы есть плавать на остатке растения и остатке человек в океане воды. Воды бить по нефть и нефть бить по вода. Я есть исследователь. Я есть новый Марко Поло. Но, но! Лучше — помощник Марко Поло! Мой материал есть помогать великий Рокфеллер, его помощник. Великий, а не that young man so called David[1]. Я есть играл в старая Филадельфия,— продолжал разглагольствовать гость.— Я бросал свою шляпа по следам пионеров Америка, я брал драгоценность, играл с хвост белка. Я есть бурить, где шляпа, и драгоценность испачкался. Там я открыть нефть. Я есть друг взрывать грязь, а моя рука есть друг зажигать мотор, город, поезд, пароход.

Иногда американец устремлял свой взгляд далеко, по ту сторону стакана с виски, и тогда его голос действительно звучал как из-под земли:

— И я также хотеть выявлять лицо наш общий враг. Я давать деньги индейцы, чтобы они покупать керосин и чтобы покупать винтовка. Я есть верить машине, чем человек: верить больше спирт, чем разум. До пяти час — машина, после пяти час — спирт.

Иногда он кашлял и вытягивал руки:

— Вы меня видеть, и вы меня спросить: кто есть мой босс? Я есть инженер, мой босс есть тоже инженер, и хозяины боссов тоже есть инженеры. А там, выше,— никто, там есть хунта директоров. Кто есть хунта? Я тоже хотеть знать, кто есть хунта директоров, чтобы им сказать: «Сукины дети, зачем вы меня так долго держать в проклятой сельве?!»

После этих слов иностранец хлопал журналиста по плечу, говорил «boy, boy, boy», садился в джип, заводил мотор, запускал очистители стекол, делал всяческие попытки протрезветь.

Пабло Саул догадался, что Нанси — содержанка этого многоименного и многоликого путешественника. Грустный и молчаливый, он решил дождаться ее, чтобы распрощаться.

Нанси пришла в гостиницу неожиданно, может быть случайно, может быть для того, чтобы сменить платье. Она удивилась, увидев юношу:

— Все еще здесь?

После этих слов она вновь попыталась уйти.

— Я приехал, чтобы увезти тебя.

— Знаю. Поэтому избегала тебя. С твоей стороны было глупостью являться сюда.

— Я изменил свое мнение. Больше не буду просить тебя ни о чем.

— Так лучше. Я иду своей дорогой. И пусть каждый топает своей.

— Мне не хотелось уезжать, не поговорив с тобой.

— Я буду слушать тебя, если ты будешь говорить мне о приятном.

— Не знаю, приятно это или нет. Просто я хотел тебя поблагодарить.

— За что? За что ты можешь меня благодарить?

— Может быть, не за что. Может быть, за эти дни.

— Чудак! Я тебя не понимаю.

— Во всяком случае — спасибо.

— Мне кажется, ты рехнулся!

— Возможно. Говорю тебе, твоя жизнь помогла мне.

— Ну вот и хорошо. Хоть я не вижу, что может быть хорошего в жизни такой женщины, как я.

— Не знаю, хорошо ли все это, но только помогла. Я ничего не знал, когда познакомился с тобой. Теперь же, я уверен, нечто от тебя будет жить во мне, например, печаль. Конечно, мне хотелось бы увезти с собой и другие воспоминания, не только боль.

— Другие воспоминания? Например?

— Я даже не знаю твоего имени, полного имени.

— Я же тебе сказала, что все меня зовут Нанси. Сказала, что на самом деле мое имя — Марта.

— Нанси, а дальше что? Марта — а дальше?

— Я ведь тоже не знаю твоей фамилии. Что мне с того, если ты назовешь ее?

[1] Тот молодой человек, так называемый Дэвид *(англ.)*.

У тебя есть имя, чтобы называть меня, и хватит. Скажи: «Нанси!» — и я оглянусь. Для чего же полное имя, да еще и фамилия?! Для чего?

— Чтобы знать.

— Ну тогда зови меня Нанси Перес или Нанси Диесаньос. Вот именно: Нанси Диесаньос[1].

— Почему Диесаньос? Несправедливо издеваться надо мной только потому, что я спрашиваю твое имя.

— Я не знаю своей фамилии — у меня не было отца. Хочешь — зови меня Нанси Диесаньос, хочешь — Марта Диесаньос, мне решительно все равно.

— Но почему именно Диесаньос?

— Видишь вышку? Посмотри на нее: она покажется тебе мощной. Не знаю, покажется ли она тебе прекрасной, но мощной — обязательно. Так вот, через тридцать лет, нет, меньше — через двадцать! — из нее вытянут все соки, и она более никому здесь не будет нужна. Тогда ее демонтируют, часть железок бросят, потом на этом месте снова вырастет лес. Кто знает, где мы будем в то время?..

— Я тебя не совсем понимаю. Что общего между этой нефтяной вышкой и твоей фамилией?

— Подойди. Посмотри на мое тело. Я знаю, оно кажется тебе прекрасным, а я могу тебя заверить, что это не совсем так. Говорю тебе: посмотри на меня, вглядись как следует! Видишь, я сжимаю мышцы на ноге, и становятся видны маленькие белые пятнышки. Это островки болезни, будущие язвы. А эти голубые ручейки — начало болезни вен, они тоже причиняют мне боль. Я знаю, что мне осталось десять лет. И то, что я заработаю за это время, позволит мне тянуть жизнь, пока меня не выбросят, пока не похоронят под моим ли собственным именем, под «боевой кличкой» или под фамилией, которая кому-нибудь придет в голову.

— Ты говоришь со мной, будто я — враг. Ответь только одно: почему ты в этом лагере? Почему?

— Хорошо, я расскажу. Не думай, что мне приятно сидеть в этой сельве, что мне мила эта дыра. Я часто вспоминаю о городах, многие из них помнятся мне. Я скучаю по детству, по юности, которых не знала. У некоторых людей, конечно не у всех, жизнь богата воспоминаниями. У меня тоже. Города — что мужчины. В городе я пошла на панель. Ты не поймешь меня, не знаю, для чего я тебе все это рассказываю. Священники борются, прославляя небеса. Ну, а мы? Мы боремся за улицы, за углы, где можно заработать. Я имела успех, я была самой красивой, и мужчины предпочитали приглашать меня. Они не знают, что красота моя скоро исчезнет, а если бы и знали, никого это не взволновало бы. У меня сердце сжимается, как подумаю... Не хочу я никого связывать. Я люблю бога за то, что он не возжелал меня. Но он ждет меня. И примет к себе, когда я стану старухой. Вот поэтому я буду искать спасения, когда потеряю красоту вовсе. А тебе скажу: приходи ко мне через десять лет, если тебя волнует моя душа. Я знаю — ты не придешь. Но все равно зову.

Рано утратив надежду на завоевание царства небесного, вернувшись из ада, где ему не позволили задержаться, Пабло Саул опять обратил взгляд к аптеке, где крестьяне торговались из-за медяка, покупая лекарства. Земля для него стала перевалочным пунктом между раем и чистилищем.

Нечего было бы вести этот рассказ, если бы, найдя и потеряв Нанси, юноша не вспомнил о матери. Теперь время от времени он посещал ее. Гладил, трогал руками морщины. Лицо старухи сохранялось в памяти дольше, чем образ Нанси. К тому же воспоминания о матери не были столь горьки. Уезжая от Матушки Сойлы, он не оставил своего адреса, да его у Пабло Саула и не было. Сердце его хранило воспоминания о мелькнувших городах. Там же хранился и городок, где он проживал сейчас.

Пабло Саул испробовал разные варианты на своем жизненном пути. Он закрыл аптеку на выезде из города и открыл другую — в центре, которая без всякого на то разумного объяснения тут же зачахла. Скорее всего, теперь она стояла не на месте.

Вот тогда-то Пабло Саул понял, что утешение и поддержку он найдет только среди таких же, как он,— обездоленных перекати-поле. Он зачастил в семейные дома и среди женщин этих семей избрал ту, что захотела быть избранной. Однажды он вспомнил птиц, преследуемых бурей и искавших смерть в водах озера. Размышления о том,

[1] Diez años *(исп.)*. — десять лет.

что никогда не знаешь, где найдешь свое счастье, закончились тем, что он народил шестерых детей, которые росли, как трава в поле.

Избранное им занятие бродячего торговца не всегда давало ему возможность прокормить многочисленное семейство, которым он оброс за годы скитаний. Когда приходилось совсем туго, он обращался к старшему брату, проживавшему в столице. Последний оказывал кое-какую помощь, но требовал, чтобы Пабло Саул не являлся к нему в дом, а лишь сообщил адрес и чтобы вообще не показывался на глаза, пока не покончит с бродячим образом жизни. А так как Пабло Саул из-за своей нищеты расстаться с подобным образом жизни не мог, то и был представлен в кабинете доктора Руперто лишь почтовым адресом.

Для Матушки Сойлы Пабло Саул по-прежнему был сыном, ее мальчиком. Призывая к себе сыновей, зачастую матери и не знают, откуда они прибудут. Матушка Сойла тоже не знала этого. Когда же она увидела их всех вместе около себя, таких взрослых, да еще с такой многочисленной молодой поростью, она ощутила великое счастье. Контрабандист предпочитал рассказывать о северной границе. Бывший служка — о юго-востоке. С собою он привез отголоски колокольного звона и мечты о сельской аптеке.

ЛИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ АВТОРА

Каждый раз после бесед с Матушкой Сойлой я задавал себе вопрос: верно ли (как она меня убеждала), что я храню в себе забытыми множество воспоминаний? Я сам этого до сих пор не знаю. А старуха уже тогда поняла, что я, как и другие, приходил к ней со своими горестями, для которых не было серьезного повода.

То, что во мне могло показаться гордыней, на самом деле было глубоко запрятанным ото всех сердцем, остатками никому не нужной совести. Я возвращался после плаваний по морям, из путешествий по городам, после пустых попыток удержать и вновь растратить время. Бездумное созерцание пейзажей и раскладывание из них пасьянсов — это только стремление победить тоску.

— Мне кажется, есть что-то в твоей душе, что не дает тебе покоя,— пыталась угадать Матушка Сойла.

Мне всегда было просто общаться с Матушкой Сойлой и ее сыновьями. Чистые и светлые воспоминания моего детства — а их у меня предостаточно — помогали мне понимать этих людей. В то же время я приезжал, отягощенный познаниями — ныне сильно устаревшими,— которыми не мог с ними поделиться. Покинув родной квартал, я потерял следы, ведущие к нему, потерял слова, бывшие в обиходе его жителей. Чуть позднее я обменял свое отрочество на диплом колледжа. Еще несколько позже мне представилась возможность взамен юности получить дальнейшее образование. С тех пор я брожу по миру, посещаю страны, университеты, научные кафедры. Жизнь преподала мне множество уроков, но в памяти удержались только те, что оставляли в душе боль. Я узнал, что ученые уходят из жизни, а законы, открытые ими, продолжают править и после их смерти. Я понял, что священники должны обладать душой, открытой для земных слабостей. Я постиг, что поэт отдает людям свое творчество, чтобы в нем прозвучали и многоголосые хоры, и стон одинокой гитары.

Иногда со мной здоровались незнакомые мне люди, мои читатели. Я предпочитал их звать своими друзьями.

Цепко собирал и хранил в памяти все, что касалось не меня лично, но существовавшего до меня моего народа. Повествование о нем — не просто мои слова, цель его — сохранить на страницах моих книг пережитое незнакомыми мне людьми. Не могу жаловаться — жизнь моя складывалась благополучно, но в то же время я постиг, что искусство вообще, и литература в частности, есть и благодать и наказание. Призвание связало меня по рукам и ногам, я не принадлежал себе, а лишь оттачивал зрение.

Вот с таким багажом я и блуждал, когда завернул во дворик Матушки Сойлы. Много раз я беседовал с ней. Входя и выходя из ее комнатки, я непременно задерживался, чтобы поболтать. Мудрая старуха понимала, что ее жилище в бедняцком квартале — мое пристанище между двумя этапами моей жизни. В этом убежище она залечивала мои раны.

С холма, где проживала Матушка Сойла, я видел свою страну, видел наш с ней город, изъеденный морщинами гор. Лоб старухи был прорезан более глубокими морщинами, город выглядел моложе, свежее, чем она, у наших ног тянулись сады цвету-

ших эвкалиптов, среди них белели домики. Казалось, город открывает себя для каждого из своих жителей, пытаясь смягчить нашу общую древнюю горечь, родившуюся то ли от нас, то ли от наших детей.

— Хорошо бы, вы нам рассказали о своих путешествиях.

Она произносила «нам», будто заставляя меня угадывать, от чьего имени говорила. Но, движимый собственным эгоизмом, я проявлял бóльший интерес к Городу-на-Холмах, чем к беседам с нею. Сегодня я думаю, что хотел слишком много для себя одного, получал, не давая ничего взамен, ошибочно полагая, что писателю, одиночество которого выставлено напоказ, уже нечего сказать другим.

Я ничего не рассказывал Матушке Сойле о своих мимолетных встречах со счастьем. Только кое-что о своих детях, время от времени слетавшихся под родительское крыло. Мне не хватало слов высказать, во что обходилась мне любовь к ним. Возможно, из желания не показаться надменным, я не рассказывал Матушке Сойле, что единственным праздником для меня была полка с книгами. Не мог я ей объяснить и того, что для меня культура может быть представлена одной из таких книг, слова которых способны вызывать надежду, убежденность, разочарование.

Естественно, я не говорил, что, возможно, когда-нибудь напишу о скромном квартале и его жителях, молчаливо созерцавших горы, из-за которых, казалось, появлялись Мельчор, сыновья и — чаще всего — Матушка Сойла. Маленькая, сухая, вечная, она будто приросла корнями к этим холмам. Внешне слабая, похожая на согнутый стебель тростника, который легко можно сломать одной рукой, Матушка Сойла в то же время обладала внутренней силой, уверенностью, что живой ее никто не может вырвать. Только мертвой вместе с ее оловянными и деревянными ложками, глиняными плошками, ее тряпками, грудью, раздираемой постоянным кашлем, ее вениками (у Матушки Сойлы их было два — один из прутьев, перевязанных бечевкой, служил для праздников, второй – из камыша — на каждый день).

Женщина была стара и слаба, но как же ловко и быстро орудовала она всей утварью. С годами все изнашивалось, кончало существование, а старуха жила и работала.

— Веники уж сносились,— говорила она, будто оправдываясь,— лет сто, как ими полы подметаю.

Я вспомнил фразу из Корана о том, что аллах заставляет человека умирать целый век, а век — всего лишь мгновение. Стоя около двери, осторожно, чтобы не сломать, опираясь на один из своих веников и обретая уверенность в этой хрупкой опоре, Матушка Сойла говорила, часто прерывая себя. Я слушал, боясь потерять ее навсегда. Ложки ее от времени делались ломкими, внуки царапали ее глиняные плошки — Матушка Сойла легко прощала им все их проступки.

— Уж очень беспокойными получились мои детки.

«Мои детки», как легко можно было догадаться,— это дети ее детей, внуки.

Время от времени старуха прибегала к маленькой хитрости: говорила о своей предстоящей смерти. То была уловка, попытка воззвать к совести сыновей. Пряча глаза в морщинистых веках, она произносила с загадочным выражением:

— Когда меня не будет с вами...

— В любую ночь, когда меня не станет...

— Недалек уже тот день, когда...

— Вот уж и взрослыми стали мои сыновья...

Ее уговаривали:

— Ну, что это за разговоры, мама?! Зачем они?!

— Я еще должен тебе привезти платок, мама! Не лишай меня этой возможности.

— Тебе доставляет удовольствие, мама, так говорить, потому что ты знаешь, что у тебя еще много сил.

Однако было заметно, что их оставалось все меньше. Все знали, что это так, что она готова ко всему, но никому не хотелось признавать, что подарки нередко опаздывают. Мать улыбалась, счастливая от их протестов, от того, что она такая маленькая рядом со своими детьми, что они — у ее очага.

Однажды я нашел ее грустной, точнее, более встревоженной, чем обычно. Она была одна.

— А ваши дети?

— Говорят, опять уйдут. Когда это будет? Уйдут — и все тут. Вы ведь сами знаете, как это бывает.

Я знал, потому что сам много раз уезжал. Меня мучил вопрос: сможет ли моя беседа успокоить ее? И решил — нет. Поговорив с ней еще минуты две, я покинул старуху. С ее сыновьями я встретился на улице. Они сообщили новость о приезде Луиса. И догадались, что я собираюсь в путь.

— Уезжаете?

— Пока не решил окончательно когда, но в один из ближайших дней. Вас ждет мать. Как всегда, сидит на камне.

— Она всегда там нас ждет,— прозвучал ответ.

«И опять, наклонившись низко, писал на земле»...
(От Иоанна, гл. 8, ст. 8.)

Позже я вернулся, Матушка Сойла продолжала сидеть на своем любимом месте— на камне в уголке двора. Я приветствовал ее, отметил, что она чем-то взволнована, поэтому не стал торопиться, начав разговор издалека. Однако с ней можно было говорить только о том, что ее задевало за живое.

— Говорят, вы уезжаете?

— В один из ближайших дней.

— Жаль. Все уезжают. У каждого своя жизнь.

— Это верно.

— А со мной остается только мой добрый Мельчор. Навсегда.

— К сожалению, мы так и не смогли подробнее поговорить о доне Мельчоре.

— Вы знаете его сыновей, это одно и то же.

— Действительно. Я спрашивал себя: чего бы захотелось дону Мельчору, если бы он увидел всех своих сыновей вместе?

— Захотелось? Чего бы ему захотелось? Жить.

— А что бы он мог сказать? Что он вам говорил?

— Он говорил мне: когда будешь думать обо мне, лучше тебе сидеть в это время на камне. Но только не на высоком. И еще он говорил: пиши, жена, пиши на земле, а камень не должен быть высоким, потому что тебе будет легче стереть написанное. Когда ты встанешь, когда будешь уходить, все должно быть стерто.

— И вы много писали? Много стирали из написанного?

— Да нет. Я ведь с трудом и писать-то умею. Зато у меня осталась привычка искать низкие камни.

— А что вы теперь пишете на земле?

— Ничего. Я уже кончила, но мне нравится повторять.

Правая рука с узловатой веточкой эвкалипта продолжала с трудом выводить по земле огромные, нетвердые, неразборчивые буквы, которые немедленно стирались подметками туфель.

Я подумал: с кем она ведет беседу? Возможно, с Мельчором. Возможно, с внуками. Не желая беспокоить ее, я стал прощаться.

— Не уходите. Не надо уходить.

Но я должен был уйти. Матушка Сойла для всех — и для меня в том числе — останется прачкой, которая ходит по улицам в поисках клиентов и ждет от них ответа с опущенными глазами. Я знал, что в девять утра она обычно садится под солнечные лучи на низкий камень. Но я ничего не знал о ее молодости, о молодости ее матери. И, главное, мне не хватало способности прочитать ее пророчества, нацарапанные на земле эвкалиптовой веткой. Пророчества столь эфемерные, что их легко можно было стереть подошвой старого башмака.

О ее детях сведения мои были отрывочными. Я ничего не знал о каменщике Луисе, ему бы следовало писать о своей жизни самому и собственным языком. Мне были известны лишь последние приключения контрабандиста. Что же касается Пабло Саула и его страха перед жизнью, то и в данном случае мне не хватало сведений.

Матушка Сойла уронила веточку, прикрыла глаза, наслаждаясь мягким горным солнцем. Закрытые глаза означали согласие: я могу уходить, старуха не заметит моего исчезновения.

Так я и расстался с камнем, на котором много лет провела Матушка Сойла. Он остался после нее и жил еще миллионы лет. Это был тот самый камень, который нашли древнейшие поселенцы здешних мест — карас, по легенде, вышедшие на землю из моря. Тот самый, что несколько позже обнаружили инки, когда они забыли войны, стали мирными пахарями и научились по нескольку раз в год снимать урожай маиса.

Несколько мгновений я еще наблюдал старушечью фигуру, восседавшую на Андах, усталое, спокойное лицо. Отсюда пойдут корни будущего. Растут внуки, и жизнь будет продолжаться вечно, пока рождаются дети.

Мой город, квартал моего детства, его шумы, его запахи, запахи старых шалей, рынков, уличных торговцев едой — все это будет жить во мне и вне меня.

Я записал последние беседы, привел в порядок наброски о возвращении Луиса и его воссоединении с семьей. Все, что я мог увезти с собой, были записная книжка и чей-то полузабытый образ.

Я пересек внутренний дворик, попытался закрыть за собой дверь, вспомнил, что на ее грубых досках нет никакого запора, и укрепил ее с наружной стороны камнем.

КНИГА КАМЕНЩИКА

ДВА СНА В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Посмотри-ка, Луис идет! Точно он. Виднехонько виден.

— И велосипед ведет рядом.

— И приемник. Смотрите, он привязал его веревкой.

— Матушка Сойла! Почему вы молчите? Разве не слышите? Мы же вам толкуем: Луис идет.

— Слышать я слышу, но если я уж очень буду радоваться, вдруг обидятся другие мои сыновья?!

— Да кто же будет обижаться, мама?! Глупости говорите! Просто вам поплакать хочется.

— Добрдень, мам.

— Здравствуй, сынок. Вернулся. Иди уж, неблагодарный.

— Ты бы лучше приемник отвязал. Интереснее его слушать, чем обрывки твоих слов, вместо приветствия.

— Подойди, подойди, неудачник! Господи боже, благодарю тебя за сына. Благодарю!

Братья в упор разглядывали его, Луис нахмурил брови. На лбу парня уже обозначились ранние морщины. Однако под этими свидетельствами вины Луиса можно было угадать и его некоторую печаль.

Разглядывали пришельца и племянники. Было очевидно, что к одежде его дети отнеслись неодобрительно. Вся она была забрызгана известью, будто школьная доска — мелом, только пятна эти не отмывались. Высоко над ботинками — они были такими же, как у бабушки,— болтались латаные-перелатанные штанины. Рукава рубахи закатаны, и по-разному: это шло от привычки держать в одной руке мастерок, в другой — ведро с раствором. А может быть, и от того, что в минуты отдыха Луис постоянно держал одну руку в кармане.

Глаза Луиса с трудом можно было различить под набрякшими веками. Они выдавали бурную, проведенную за бутылкой ночь, но были готовы в любой момент наполниться слезами раскаяния. Более всего в костюме Луиса привлекали внимание локти: рукава в этом месте представляли сложный узор из заплат и прорех, кое-как и не там, где надо, перехваченных бечевкой.

Подруга контрабандиста смотрела на свояка грустно и доброжелательно, и грусть все более уступала место расположению, ибо в каменщике легко можно было узнать брата ее любимого Улисеса.

Матушка Сойла дольше, чем обычно, хранила молчание. Наступил ее черед высказаться. Взор старухи был устремлен на флюгер соседнего дома. Маленький, вырезанный из черного железа флюгер указывал, что на севере находится небо, на западе — стена, на востоке — плющ, на юге — мох.

— Когда ты появился, шел сюда, показалось мне: это Мельчор идет. Как же ты похож на Мельчора! Вылитый отец!

Луис поблагодарил мать взглядом, остальные промолчали. Никто не возражал, не оспаривал, так ли уж похож Луис на Мельчора.

— Потом будешь походить на братьев.

Луис подумал: почему бы нет? Братья должны быть похожи между собой. Он должен быть немного контрабандистом, немного грешником. Но дело в том, что они от него уже оторвались, и знал он их плохо.

Весь день Луис молчал, потом высказался:

— Пришли ко мне оттуда, с холма, где дом дона Родольфо, говорят: тебя зовут, крыша течет, надо отремонтировать. Я и говорю: что за дом проклятый?! Что за работа моя проклятая?! Руки не разогнешь от цемента и известки. Нет, думаю, лучше уйду. Уйти — это не значит обидеть. Конечно, мать плачет, она всегда пользуется случаем, чтобы пореветь, для нее слезы ничего не стоят. Короче, сказал я сам себе: все здесь дерьмо. Лучше мотай отсюда. Лучше сказать: «Нет, спасибо, дон Родольфо, пусть у вас другие надрываются».

От Луиса шел особый запах, и братья ощущали его: красками, известью, спиртным, следами омерзительной ночи пахло.

— Откуда ты пришел, Луис? — спросили его братья.

— Отсюда.

— Как это — «отсюда»?

— Да вот так. Отсюда, и все тут.

Луис ушел, и братья поняли, что он сказал именно то, что сказал. Остальное — о чем промолчал — он скажет позднее, когда вернется домой. Если вернется.

Луис не возвращался. По долине вот уже несколько дней плыла страстная неделя, плыла под звуки колоколов. Канун вербного воскресенья. Мать и сыновья размышляли о своем, о главном, каждый предлагал свой план действий. Вопреки всем традициям первой высказалась Матушка Сойла:

— Пойду трону сердце Руперто мольбой.

— Ты уж так надеешься на Руперто, мама!

— Я думаю, что Луис может помочь, у него одного руки приспособлены к ремеслу.

— Пожалуй, Луис мог бы договориться о цементе. Какое значение, где будет могила отца, ну хотя бы в углу кладбища, где лежат бедняки.

— Понадобится и кузнец, с железом придется возиться.

— Подтянем к холму лестницу, укрепим в нем нишу.

— На кресте лучше было бы выбить буквы.

— Как это «буквы»?

— Конечно, буквы. Разве вы не обращали внимания, что на некоторых крестах буквами отмечены север, запад, восток.

— Значит, юг на кресте не будет отмечен. Внизу, ниже кладбища, уже идут дома.

— Значит, без юга.

Со стороны, где устроилась «новая» — подруга Улисеса, раздался голос контрабандиста. В свойственных ему выражениях, которые, кстати говоря, мало кто понимал, он разом разрушил все планы:

— Самое плохое, когда все это дело начинается, ну, строительство, так это то, что мы мало понимаем в нем. Я лучше пошлю на могилу отца искусственные цветы, те, что никогда не умирают.

Из этих слов Улисеса можно было понять, что он уже готовился в путь, и Матушка Сойла его поняла.

— Их могут украсть. Не надо искусственных цветов. Лучше настоящие.

Колокольный звон возвестил, что церкви открыты, что вот-вот на своем осле должен появиться Иисус Христос, что Сад Олив пустынен[1]. И что длится все это веками.

Матушка Сойла покрыла голову платком, перекрестилась и преклонила колена. Перед глазами стояло ее собственное божество: то ли Луис, то ли Улисес, а может быть, и Пабло Саул. Лик, представший перед нею, скорбно улыбался.

Возможно, где-то очень далеко от них шелестели под ветром неведомые им оливковые сады, в которых, наливаясь, зрели плоды. Но вокруг них под ветром в сумерках только вздрагивали кипарисы.

Старухи, особенно одинокие, знают, что в дни, предшествующие страстной неделе, церковь следует посещать ежедневно. Матушка Сойла посовещалась с детьми:

[1] Здесь и далее автор имеет в виду распространенную в Латинской Америке народную традицию разыгрывать в страстную неделю на улицах мистерии на библейские сюжеты.

стоит ли ей совершать этот ритуал. Аргументы ее звучали не очень убедительно. К тому же Пабло Саул заметил, что гораздо большую силу имеют молитвы, сотворенные в кругу семьи. Но Улисес убедил принять предложение Матушки Сойлы:

— Около церквей всегда можно перекусить, поесть свежие сырки с ежевичным мороженым. Мама это любит.

Женщины согласились с этим доводом. Дети, которые только что висели вниз головой, зацепившись ногами за стрехи под потолком, тут же спрыгнули и повисли на руках отца. Собираясь на прогулку, они притихли.

Семейство обошло несколько церквей, отведало мороженого, затем отправилось наносить визиты друзьям. Тем, кто еще оставался в живых. Первым был лавочник.

— Конечно, конечно, я помогу вам выпутаться из долгов. Будто я не одалживался у дона Мельчора.

Но они ничего не просили у лавочника, они пришли к нему, чтобы рассказать о положении вещей. Только рассказать.

После лавочника семья отправилась к сеньору коадъютору. Доброе, но глубоко опечаленное чело его могло бы подсказать Матушке Сойле и ее чадам, что они выбрали не самый удачный день для посещения.

Коадъютор чистил накидку, видно было — он только что вернулся домой.

— Что с вами, ваше преподобие?

— Что произошло, доктор, хороший вы наш?

— А произошло то, что сеньор епископ отстранил меня от службы. Решил, что излишне мягок я и доверчив, что превратился в одного из прихожан.

— Непонятно, ваше преподобие.

— Вы обо мне не беспокойтесь. Какое у вас ко мне дело?

— Мы вот что подумали: не могли бы вы похлопотать за нас перед священником, обещать, что мои сыновья вовремя отдадут долг.

— Я бы рад, но как я буду с ним говорить? Я ухожу из прихода.

— Уходите?

— Да. И святой отец не прислушается к словам несчастного коадъютора. Как я могу хлопотать за вас, когда ни сам за себя, ни за своих прихожан не могу заступиться?!

Очки коадъютора запотели — слезы его были вполне земными, глаза часто-часто моргали. У Матушки Сойлы в ответ задрожали губы, и она уже не могла произнести ни слова о своих планах и предложениях — так ей было жаль его преподобие.

— Очень нам грустно, ваше преподобие. Очень. А где же вы будете ночевать?

— Не знаю, пока не решил. Вначале надо свои дела привести в порядок.

— Приходите ко мне,— быстро сказал контрабандист, но тут же понял, что ему не следует делать подобные приглашения: в его доме священник наткнулся бы на ложе «новой».

Матушка Сойла поправила положение:

— Приходите к нам, доктор,— таким образом, повторив слово в слово сказанное сыном, старуха поставила все на место.

— Спасибо, у меня есть друзья, значит, будет и кров над головой. Но если мне понадобится, приду к вам.

В конце дня семейство решило коллективно посетить Руперто. Своими затейливыми речами он совершенно их потряс. Такого они не ожидали. От него они вышли в полнейшей растерянности. Это уже превратилось в семейную традицию при общении с первенцем.

Затем была сделана попытка поискать счастье в монастыре, где находился штаб миссионеров,— здесь Пабло Саула знали и ласково принимали. Каждый из членов семьи понимал, что их план абсурден, но разве можно было отказаться от возможности ходить всем вместе?

Их приняли уважительно. Отец приор и отец эконом пришли в великое изумление, узнав, в какую сумму обойдется установка надгробия, перенос могилы. Наследники Мельчора находились в глубоко подавленном состоянии. Священники терпеливо объясняли им, какую сумму они могут дать в долг и на какой срок, ссылались на стесненность в средствах, указывали на невиданно длительный срок погашения долга.

— Так за какое время я должна буду выплатить долг? — настаивала Матушка Сойла, остальные хранили молчание.

— Мы бы легко расплатились, если можно было бы рассчитывать на Руперто,— произнес Пабло Саул, чтобы хоть что-то сказать и этим рассеять охвативший всех ужас перед грандиозными цифрами.

Подсчитали сроки возможного погашения долга.

— Больше ста лет,— подвел черту Улисес и отрицательно покачал головой.— Не будем обманывать ваши преподобия своими корявыми подписями.

С корзиной из камыша субтропическая подруга Пабло Саула отправилась за покупками. Чуть позже она вернется, нагруженная плодами ачиоте, соком которого она сдабривала еду, шестью связками лука, двумя унциями соли, четырьмя — сала и букетом злого перца ахи. Суп будет щедро заправлен нарубленной петрушкой и кинзой — их зелень покачивалась над краем корзины.

В это же время «новая» — подруга Улисеса — скорее всего еще застилает постель, подметает комнатку, уже вымыв пару чашек после кофе, поштопав носки, замочив нижнее белье и выгладив немногочисленные рубахи мужа. А перед тем как заняться всеми этими делами, женщина, возможно, долго стояла, склонившись у перил, и прислушивалась к замирающему стуку колес поезда, ползущего по ту сторону горизонта. Она выпрямилась только после того, как простукал последний вагон, после того, как затих звон колокола, которым машинист приветствует сторожки, затерянные в бесконечных Андах. Женщина слушает другую сторону света, ту, где плетут соломенные шляпы...

В доме Матушки Сойлы в этот час не хватало только невесток, все остальные были в сборе: внуки, Пабло Саул, Улисес, она сама. Все сидели на солнышке во внутреннем дворе. С нижней части улицы послышалось посвистывание Рафаэля.

— Доктор Руперто приказал передать, что он сейчас у дона Родольфо. Что он шлет вам привет и что вы — бессовестные, потому что обиваете у всех пороги,— бесчестите доктора Руперто. У всех просите милостыню, а кто вам ее подаст?! Только на смех вас поднимут. Доктор возьмет долги на себя. Пришлите ему бумаги, он сам их подпишет. Только бумаги.

Послание было длинным, и это обстоятельство, видимо, злило Рафаэля. В ожидании ответа он поглядывал на небо, прилаживался языком, приоткрывал рот, вытянув вперед губы трубочкой, готовый каждую минуту пустить трель.

Пабло Саул поискал взгляд Матушки Сойлы, та в свою очередь — контрабандиста, и последний почувствовал свое право за всех ответить «нет».

— Нет. Не можем мы сейчас ответить. Не пришел Луис. Когда он вернется, тогда подумаем.

Была половина десятого утра. Они узнали об этом по тому, что рядом проплыла корзина соседки, снедь источала удивительные ароматы. Корзина отличалась пунктуальностью, по возвращении домой ее оставляли греться на солнышке.

Луис вернулся в вербное воскресенье. Видели его только Улисес и Пабло Саул: он до полуночи снился братьям.

Пабло Саул рассказывал мне потом, что в этот приход Луис говорил ему об отце-покойнике, но ведь отцы всегда готовы воскреснуть в каждом из своих сыновей.

Луис говорил: «Чего ты ищешь, Пабло Грешник? У тебя есть все, чего не хватает мне, все, а ты грустишь; дерьмо, видно, твоя жизнь, если тебе надо сначала помереть, чтобы что-нибудь понять: ты не радуешься, когда берешь свою жену за руку, живешь рядом и спокойно глядишь, как она стареет, думаешь, она — глина, пепел; а я вот знаю, что такое известь — из извести сделаны кости; и зачем знать, сколько ты проживешь на белом свете, пусть лучше дети твои живут бодрыми, здоровыми; мне легко, я знаю, кто я есть, я могу все рассказать тебе о своем поселке; утром загудит колокол, и часовщик откроет свое окошко, чтобы посмотреть на башню церкви святого Воскресения, у часовщика плохое зрение, вот он и нацепит очки, чтобы узнать, который час, потом разбудит свою канарейку, покормит размоченными крошками хлеба, по комнатам понесется запах кофе; а другой сосед — хозяин самого старого в квартале автобуса, утром он полезет под брюхо машине осмотреть и полечить ее, он думает — у нее просто горлышко болит, ангинка, а у машины камнем маслопровод пробило, тут хозяин начнет материться: «Так-то и эдак, жена, погибли мы, нет у нас больше кормильца»,— начнет вспоминать все свои тяготы, а тут механик подойдет: «Добрый день» — и тоже полезет под машину, подойдут дети механика, спросят, где отец, а помощник

покажет на ноги, торчащие из-под железок; видишь в жизни всякое бывает, и башмаки механика, и железки, и всякий народ — все это сидит во мне, как свинцовая пломба в зубе,— увидишь ее, если я только повалюсь с открытым ртом. Если бы, Пабло Саул, не было в твоем сердце аптечки для всех, если бы ты не ходил прежде спасать людей, я не пришел бы к тебе сегодня ночью, не рассказывал бы, что происходит у тебя в груди и что ты намерен сделать не сегодня завтра; однажды ты встанешь и скажешь своей жене: «Настал час расправить нам крылышки»,— а она замурлыкает-закурлыкает, руки раскроет, дети к ней бросятся, и все вы вернетесь в провинцию. Ты думаешь, что ничего отсюда не увозишь с собой, даже не знаешь, будет ли твой отец лежать на своем месте на кладбище, где ты его оставил; но ведь с тобой поедет то, что ты никогда не оторвешь от себя, без ущерба для других ты возьмешь с собой наш поселок, дом, квартал. Помнишь, что сказал отец Мельчор, когда уходил от нас: «Оставляю вам мою мастерскую и мою улицу, не загубите их»,— папа знал, что твоя аптека уже провалилась, знал, что тебя вылечит только твой родной дом,— место, где ты родился и вырос, ты вернешься в провинцию с новыми силами, подзаряженный, как батарейки в моем радиоприемнике, там ты сможешь применить свои силы, там многого не хватает, твоего странного ремесла — узнавать, что такое вечность,— тоже не хватает, почему бы тебе, Пабло Саул, не поговорить обо всех этих делах с отцом, наступило вербное воскресенье, и он пришел к нам, я говорю тебе все это не для того, чтобы обидеть, прости, если что не так, прости, что я такой, как все, иногда на несколько дней пропадаю и даже выпиваю — и пиво и ром, — выпивка задерживается во мне дольше, чем деньги в кармане, говорю тебе: я пью не для того, чтобы напиться, мне ром не нравится, но без него чем бы я заглушил свою печаль?! Мама ругает меня, говорит, что я старею, а я говорю, что всегда был старее ее, что новорожденные хуже стариков, она смотрит на меня и не верит; прости, брат, что я пришел поговорить о тебе, о том, что с тобой произойдет, ведь ты живешь с половинкой сердца, тебе не хватит ее, твое сердце неизлечимо, а что будет, когда отец призовет тебя и спросит, что ты помнишь об этом кусочке земли, ведь покойникам так нравятся воспоминания. Папа захочет узнать хоть одну-единственную новость с земли, захочет узнать, что тебе приятнее всего унести с собой из жизни, и ты подумаешь: «Что же мне хочется взять с собой?» И тогда отец Мельчор и все, кто ждет новостей с земли и кто никогда не сердится, очень расстроятся, станут совсем-совсем грустными, ты даже не можешь понять, что такое эта большая-большая печаль, я сам обо всех этих делах знаю только по своим снам, ты сам все узнаешь после смерти, когда ты сядешь у ворот, как все они, умершие, в шляпе и с палкой в руке и будешь существовать ожиданием вестей с земли».

Улисес был молод, но достаточно мудр, чтобы услышать той ночью в голосе Луиса голос своего отца Мельчора, голоса многих предков.

Голос этот шел от знакомого моря, от песчаных пляжей, омываемых волнами, от дедов, живших некогда под невозмутимым солнцем, привычно висящим на своем постоянном месте.

Голос шел от приливов и прибоев. От дуновения ветра по зыбучим пескам. От следов мужчин и женщин, лежавших на этом песке.

Голос шел от забытых каноэ на забытых берегах. Лодки приходили сюда затем, чтобы чуть позже в глубине материка были открыты голубые цепи гор с плодородными склонами.

Голос взмывал, благодарил теплый климат. Он стремился затвердить имена диковинных морских птиц, чтобы удержать их в памяти поколений: пусть потомки через тысячелетия вытку рисунки этих птиц на коврах. А потомки в это время уже побеждали снежные перевалы в горах, познавая, что есть усталость, и это открытие было самым лучшим из всех, сделанных ими.

Голос шел от ожидавших тысячелетиями на освещенном солнцем камне, куда обыкновенно ровно в десять утра садилась Матушка Сойла. Внизу, под ее ногами, раскинулась долина. Она тянулась насколько хватал глаз; здесь жили те, кого отличала покорность рук и смирение сердца.

Голос шел от далекой, незабвенной памяти. Он очень устал: ему пришлось пересекать морские течения, разделявшие материки. И все же голос был достаточно силен, чтобы, зацепившись за влажные корни, укрепиться между домами там, где бушевали ураганы.

Голос шел от мирного города, заложенного на высоте двух тысяч семисот метров над уровнем моря и выстроенного из мягкого белого камня. Дороги, ведущие к нему, были некогда украшены символами, означавшими «добро пожаловать», эти символы встретили и воинственных инков, уничтоживших город. Те из символов, что остались, встречали вместе с возрожденным из руин городом других неизвестных пришельцев — конкистадоров, которые также стерли его с лица земли.

В голосе звучали спокойствие и сила.

Легко понять, почему голос, забытый и где-то столько времени блуждавший, был услышан Улисесом. В свою очередь, голос понял, что означают краткие путешествия контрабандиста, понял, что его счастье — обретение постоянного очага и крова.

Луис пришел к вечеру. Было вербное воскресенье. Улисес вспомнил, что все в их семье отличались мастерством в плетении украшений из листьев пальмы, без которых не обходится этот праздник. Никто не мог превзойти семейства Матушки Сойлы в изготовлении тончайших колечек из пальмового волокна, из которых сооружался венок тирану Ироду. Из того же волокна плелись и подушечки в виде полумесяцев, они были гораздо удобнее жестких — из ивняка,— продававшихся на ярмарках. Браслеты для женщин, звезды, укреплявшиеся на потолке (только жили эти звезды недолго),— все плелось из пальмы.

Улисес понимал, почему Луис пришел прежде, чем толпы верующих разбрелись от главной площади по маленьким церковкам. Каменщик и его отец, несомненно, наслаждались видом своего города и поселка. Маленького Вечного города, где вились узкие улицы — как это и полагается красивым улицам,— где облака и колокольни заслоняли небо, но где не было ни крепостных стен, ни врагов. Таким выглядело это человеческое пристанище с высоты тридцати холмов, на которых оно раскинулось: спокойное, чистое, покачивающееся на Андах. Животные, люди, шляпы — сверху все это виделось как пузырьки кипящей воды, готовые вот-вот вырваться на волю.

Чьи-то руки — то ли Луиса, то ли Мельчора, а может быть «новой» (по подушечкам пальцев он не понял),— тронули Улисеса, погладили по вискам, прервали тяжкое дыхание, нарушавшее молчание ночи.

— Что тебе снилось? — спросила «новая».

И Улисес, чтобы не лгать, ответил:

— Разное.

Луис не появился на пасху. Вместо него пришла девушка; живот ее имел явно увеличенные размеры. Девушка твердила, что любит Луиса, и в доказательство плакала.

— Бедняжка, куда же ей деваться?! Оставайся у нас.

Субтропическая жена Пабло Саула по сантиметрам вымеряла ширину матрасов, рассчитывая, сколько пространства она выгадает, если засунет их между стеной и чемоданами.

— И где же она будет спать?

«Новая» пришла на помощь:

— Пусть спит у нас, там есть пустой чулан. Приходи, устраивайся, если не боишься взрывов в каменоломне.

Нет, девушка не боялась. Так что семейство контрабандиста за несколько недель резко увеличилось.

Луис появился позже, когда атрибуты пасхи — ослы и пальмовые ветки — уже сыграли свою роль в святое воскресенье и теперь валялись на улицах, как это бывает после праздника. Из соборов улетучивались последние облачка запахов. Город был окутан ароматом роз и тубероз. Пахло также и праздником бедняков.

В дворики перед домами выносили просушивать на солнце шали и одеяла, в задних же пытались высушивать пятна сырости. На вторых этажах еще кое-где можно было видеть увядшие листья пальм, их оставили до следующего года, а может быть до скорых дождей.

Луис шел по дороге, устланной выброшенными пальмовыми листьями, но без велосипеда. Братья обрадованно твердили ему, что, мол, как хорошо, что он вернулся, а то они собираются уезжать.

Пабло Саул добавил, что им жаль бросать брата в такой ситуации. Что вместо того, чтобы поддерживать мать, он станет ее обузой. Луис предпочитал не защищаться.

Он просил у братьев прощения за своего будущего ребенка, обещал заботиться о Матушке Сойле. Мимоходом он бросил, имея в виду прах отца:

— Я все устроил.

Выяснилось, что он перенес останки из сектора тех покойников, за которых платили налоги, туда, где бесплатно покоились бедняки. Луис вырыл прямо в земле могилу, отлил из гипса цветы и установил их перед окошечком надгробия, а на вершине его водрузил крест, отполировав до блеска.

— Хочу вам сказать, что меняю ремесло,— добавил он.

— Не хочешь быть каменщиком? — расстроилась Матушка Сойла.— Что же ты будешь делать?

— Мы откроем мастерскую папы Мельчора, но только будем заниматься гипсовыми украшениями.

Произнося слово «мы», он показал на девушку с вздутым животом; та наклонила голову в подтверждение его слов.

Пабло Саул и Улисес пришли в мастерскую Луиса прощаться. Здесь они высказали ему свои опасения:

— А если у тебя родится двойня, как мы?!

— В таком деле нельзя ни в чем быть уверенным.

Близнецы расцеловались с каждым по очереди: с Матушкой Сойлой, с Луисом, его подругой.

Квартал вновь терял близнецов, но в этот раз он почти не заметил этого.

■

ГОРДОН ПАРКЕР

Омут

РОМАН

Перевод с английского В. АШКЕНАЗИ и С. МАЙЗЕЛЬС

9

Марк шел по тротуару мимо начальной школы на Ригли-роуд. Проклятый Даттоновский пруд! Альфи Троттер все-таки утонул. Утонул, несмотря на вечные предостережения матери, несмотря на то, что однажды ему удалось выкарабкаться. А ведь и сам Марк чуть было не утонул там, но ему урок пошел на пользу. С тех пор он и близко к пруду не подходил.

Он шел медленно, думая о горе семьи Троттеров, перенося его на себя с Евой, точно Альфи — один из их сыновей. Ева... Какой прием она ему устроила после возвращения из Германии — больно вспоминать. Первым делом сказала, что Альфи утонул в тот вечер, когда он должен был бы отправиться в детский клуб... если бы клуб еще существовал. Зачем ей это было нужно? Марка подмывало рассказать Еве об Анне. Нарочно, чтобы сделать больно. Но он так и не решился. Хорошо бы Ева была такой, как Анна. Чтобы не побоялась стать рядом с ним, когда он схватил Грэнтон за шиворот и встряхнул его. Но нет. По вечерам в их гостиной все тот же визгливый смех Бетти Холлоуэй. И все тот же хриплый вкрадчивый шепоток ее мамаши. А что, если Ева вполне искренна? Он никогда до сих пор не думал о такой возможности. Его потрясла мысль о том, что теперь всю оставшуюся жизнь они будут вызывать друг у друга только раздражение. Нет. Так нельзя. Он ускорил шаг, перешел дорогу и повернул назад к дому. Как бы вырвать хоть несколько часов спокойной жизни! Одна улыбка и теплый взгляд Евы — больше ничего ему сейчас не надо. Так он достиг вершины Уиллоу-хилл. Он пытался убедить себя, что место, которое он занял в муниципальном совете Грэнтона, стоит трещины в личной жизни. У него были такие грандиозные планы. Но после неудачной поездки в Мистбург и того, что предшествовало ей, всему настал конец. А тут еще Матти. Даже он радовался их детскому крику на гамбургской лужайке...

Марк вздохнул. Его выводило из себя завывание зимнего ветра и стук голых ветвей, ударявшихся друг о друга, точно кости скелетов на виселице. Где-то там, внизу, лежал Даттоновский пруд. И вдруг его осенило. Он даже остановился. Из множества мыслей, терзавших его, вдруг родилась идея. И сразу же его подхватило, понесло... Вот его позитивная программа. Вот способ раз и навсегда уничтожить Даттоновский пруд и заставить всех завидовать Грэнтону, завидовать впервые за всю его историю. Ева... надо бежать домой, к Еве, увидеть ее, поговорить, сделать их отношения прежними, пусть хоть на один день. Вечером они вместе сходят куда-нибудь. Уж один-то раз Ева может поужинать со своим мужем, а не с Бетти Холлоуэй. В каком-нибудь первоклассном ресторане. Да, да! Он втайне от всех отпразднует рождение нового Грэнтона!

Александр Смитсон глотнул мутно-зеленого перно, и кубики льда зазвенели о стенки бокала.

— Ох,— вздохнул он,— сразу полегчало.

Мартин Кейн тоже поднес бокал к губам, понимающе улыбнулся и взглянул сначала на свою жену Мэри, а потом на сидевшую рядом с ней Веру — жену Смитсона. Они были заняты пустой дамской болтовней, и Кейна это обрадовало.

© Gordon Parker, 1978.

Окончание. Начало см. в № 11.

Смитсон огляделся вокруг, рассматривая интерьер «Фицджеральда». Ресторанчик был шикарный, маленький, для избранной публики; бар и столики покрыты итальянским мрамором, ковер толстый, светло-коричневый. Мягкое, интимное освещение, атмосфера благородной роскоши.

— Красиво,— негромко сказал Смитсон и одобрительно кивнул.— Дорогая игрушка, Мартин. Трудно поверить, что год назад это была всего лишь старая забегаловка.

Кейн просиял.

— Я так и думал, что тебе понравится, Алекс. Для друзей — только самое лучшее.

Смитсон вскинул брови и хитро улыбнулся.

— Для друзей, Мартин? А мы и в самом деле друзья?

— Конечно,— убежденно ответил Кейн.

— Мы больше чем друзья, Мартин. Мы оба заинтересованы в нашем общем... процветании, потому что каждый из нас хочет жить лучше. В этом мире очень важно, когда рука руку моет. Ну-ка, много ли у тебя обычных друзей, которых ты пригласил бы сюда?

Кейн покачал головой.

— Ну, ты угостишь их пивом... Пошлешь жену похлопотать насчет ужина. Может, даже подкинешь пятерку до получки.

Кейн на минуту задумался.

— Да,— неуверенно сказал он.

— Но вот так встретиться — это уже другое дело, совсем другое.

Смитсон сделал еще глоток и весело посмотрел на Кейна в ожидании ответа. Он понимал, что Кейн с мучительным трудом подыскивает слова.

— Алекс, я пригласил тебя с Верой сегодня, чтобы поблагодарить за оказанную услугу.

— Ты имеешь в виду «Барко»?

— Безусловно.

— А не в расчете на будущее?

Кейн приуныл. Смитсона непременно нужно приручить, пока он, Кейн, будет искать замену Леггу. Придется ухаживать и обхаживать. Но деваться некуда. Уиттон больше не дает заказов, и работы хватит на какие-нибудь пять-шесть месяцев. Смитсон это знает и играет с ним как кошка с мышью.

— Я был бы признателен за все, что ты сможешь мне предложить, Алекс, и это естественно, но сегодня я с большой благодарностью...

— Да брось ты,— засмеялся Смитсон.— Если ты и думаешь сейчас о чем-то большом, так это о грэнтонской штуковине.

— О грэнтонской штуковине?

— Господи, ну о мусоросжигателе!

Кейн поджал губы.

— Ладно, Алекс. Тут я тебе мало чем могу быть полезен, но мне позарез нужна работа. ТУК идет ко дну. Уиттон знать меня не желает. Ему известно, что мы продали его, когда решался вопрос о строительстве «Барко» или расширении уиттоновского склада. Легг нарочно стушевался, а Сибли... Сибли прибежал и начал рыдать на плече Уиттона. А я уже убедил его, что главный злодей — Элдридж.

— Элдридж,— сказал Смитсон, выпуская клуб дыма.— Элдридж мог бы спасти нас в деле с мусоросжигателем.

— Элдридж? — Кейн был ошеломлен.— Ты хочешь сказать, что он готов нам содействовать?

— И не он один.

— Ты точно знаешь? — спросил Кейн, понимая, насколько чудовищно то, что сейчас сказал Смитсон.

— Пожалуй,— хмыкнул Смитсон.— Но время не ждет. У Пратта уже готова окончательная калькуляция. Как только совет даст добро, начнут заключать контракты.

Кейн открыл было рот, но движение в дверях заставило его замолчать.

— Боже мой,— выдавил он.

Смитсон проследил за его взглядом.

— Кто это?

— Марк Белфорд с женой. Какого дьявола их сюда принесло?

— Ты имеешь в виду советника Белфорда, своего непокладистого чертежника?— вполголоса спросил Смитсон.— Ты должен хорошо платить ему, Мартин.

— Конечно. Я так и делаю. Послушай, Алекс, я хотел тебе еще кое-что сообщить...

— Пригласи его к нашему столу,— резко оборвал Смитсон.— Я ставлю шампанское, о'кей?

— Но...

— Никаких «но»! Покажем ему, что мы умеем быть радушными. А потом поедем ко мне...

Марк подошел; он был удивлен и растерян.

— А-а, Марк! Подумать только, и вы здесь,— затараторил Кейн.— И Ева. Вот уж не ожидал...— Он обнял их обоих.— Алекс, Вера, Мэри, познакомьтесь с одним из самых способных моих ребят... и с его красавицей женой.

Все оживились, начали знакомиться с вновь прибывшими. Вскоре Вера повернулась к мужу:

— Алекс, может быть, закусим? Я проголодалась, и Ева с Мэри наверняка тоже.

Смитсон щелкнул пальцами, и старший официант торжественно поднес ему огромное меню в тисненой кожаной папке.

— Вы составите нам компанию, Марк? — спросил Кейн.

— Нет-нет, спасибо...— попытался отказаться Марк.

— Обязательно,— перебил его Смитсон.— И слушать ничего не хочу.

Марк пожал плечами и, поблагодарив, согласился.

— Итак,— начал Кейн,— что мы закажем? Я хочу, чтобы всем нам запомнился этот ужин...

«Мерседес» Мартина Кейна так плавно летел в сторону Грэнтона, что возникало ощущение, будто шины не касаются дороги. Марк с Евой сидели сзади, тесно прижавшись друг к другу и утопая в мягкой обивке. Ева отыскала руку мужа и держала ее, положив голову ему на плечо; Марку стало тепло и радостно, весь мир казался добрым и безмятежным. Он отдыхал, вспоминая роскошь, окружавшую их сегодня вечером Ужин в «Фицджеральде», потом вино, бренди и сигары. Дом Александра Смитсона — настоящий дворец. Вначале Марку и Еве было не по себе, словно они не имели права находиться в такой компании. Но непринужденная беседа и ударившее в голову шампанское быстро смыли их робость. Это был фантастический вечер; Марку выпала редкая возможность — наблюдать, как Ева расцветает от удовольствия.

— Теперь направо?

Марк всмотрелся в ночную темень.

— Да, направо. Только вы остановитесь на углу, мы сами дойдем.

— И не думайте,— сказал Кейн.— Промокнете до костей.

«Мерседес» плавно свернул направо и прибавил скорость.

— Вон там, там. Сразу за фонарем. Отлично. Спасибо.

Кейн бегло оглядел муниципальный дом и сказал:

— Ну вот вы и на месте. Кончился наш чудный вечер. Марк, Ева, спасибо за компанию, мы получили большое удовольствие. И я не сомневаюсь, что Вера и Алекс — тоже.

— Это был потрясающий вечер,— проговорила Ева.— Сказать спасибо — это не сказать ничего.

Кейн усмехнулся.

— А вы ничего и не говорите. Просто мы рады, что провели его с вами. А знаете, Марк, вы оказали мне услугу.

— Услугу?

— Конечно. Старина Смитсон — хороший клиент. А стол и выпивка могут делать чудеса. Так сказать смазывают колесо бизнеса И сегодняшняя вечеринка ускорила кое-что, о чем я давно подумываю. Загляните ко мне утром, ладно?

— Обязательно,— ответил Марк и открыл дверцу. Несмотря на предостережение Кейна, они не бросились бегом к дому, а стояли обнявшись и махали вслед машине. Когда они шли по дорожке, Марк поцеловал Еву в ухо, с наслаждением вдыхая запах ее теплой кожи, ее духов.

Она прижалась к нему и прошептала:

— Вот это настоящая жизнь, правда, Марк?

На ноябрьском заседании комиссии по здравоохранению царила необычная атмосфера. Свободных мест не было. Присутствовали все до единого. На галерее для прессы сидели два репортера и веснушчатый юнец, глядевший вниз с благоговением и страхом. Председатель Ричард Эрп открыл заседание. На повестке дня были обычные вопросы: канализация, зловоние, дымящие трубы и никуда не годная грэнтонская больница. Наконец Ричард Эрп предоставил слово Бертону Пратту. Все напряглось и застыло в ожидании. Пратт откашлялся.

— Как вам известно, в капитальной смете этого года были запланированы издержки на разработку и предварительные исследования, связанные с сооружением муниципального мусоросжигателя. Ввиду отсутствия в городе общей свалки мусоросжигатель необходим нам как средство, которое даст возможность быстро, полностью и без вреда для здоровья уничтожать отбросы и другой мусор, скапливающийся в черте города. Я и мои коллеги много потрудились, чтобы предложить городу мусоросжигатель, который и явится таким средством, причем не будет загрязнять атмосферу выбросом большого количества продуктов сгорания. В Великобритании есть четыре фирмы, специализирующиеся на сооружении мусоросжигателей. Я рекомендую включить в программу расходов следующего года необходимые ассигнования и предложить всем четырем фирмам подать заявки на производство работ с дополнительной оплатой за сооружение дорог, водоснабжение и так далее. Затем для координации всех работ должен быть назначен консультант. Фирма консультантов, названная в докладе, рекомендована после совещаний с тремя представителями местных властей: одним — в Шотландии и двумя — на юге Англии.

Пратт улыбнулся, очень довольный собой. Фирма консультантов хорошо знала, какими способами гарантируется успех. В неловких намеках тут не было необходимости. Пратт и Планкетт признавали только такие деловые переговоры, когда их личное вознаграждение рассматривалось как одно из условий контракта. Члены комиссии одобрительно загудели.

— Господин председатель,— сказал Элдридж,— надеюсь, что выражу мнение всей комиссии, если скажу, что мистер Пратт информировал нас коротко и ясно и что ассигнования на мусоросжигатель в сумме... э-э... около двух с четвертью миллионов фунтов будут истрачены с пользой для общества в целом. Позвольте узнать, может ли назначение консультанта быть отложено до одобрения проекта муниципальным советом или же его услуги понадобятся раньше для проведения подготовительных работ, чтобы к основным работам можно было приступить сразу же после утверждения сметы?

Пратт обнаружил не меньшее рвение, чем Элдридж.

— Господин председатель, консультант должен быть назначен немедленно.

Марк Белфорд собрался с духом. Пора, подумал он, теперь пора. Чуть не три недели готовился он к этой минуте. Он никому не рассказывал о своем решении, даже Матти. Ассигнования на мусоросжигатель обсуждались уже больше года; теперь их утвердят автоматически. Но в тот памятный день на Уиллоу-хилл Марку Белфорду пришла в голову одна идея. Он кинул взгляд на представителей прессы. Они ожидали разоблачений и сенсаций. По телефону он анонимно сообщил им, что на ноябрьском заседании грэнтонской комиссии по здравоохранению произойдет событие чрезвычайной важности. Что будет предложен план, принятие которого поможет наконец перетащить Грэнтон в двадцатый век. И теперь он стоял как равный среди людей, имеющих вес и облеченных властью. Этому способствовал Мартин Кейн. Заведующий отделом сбыта! Какой успех! Взлет опьянял его. Машина и значительное повышение оклада. Ева душила его в объятиях. Отныне ничего невозможного для него нет. Исчезли все непреодолимые препятствия. Раньше он недооценивал себя и свое место в мире. Он много работал, собирал факты и цифры, но теперь — теперь настало время выступить против этих людей, сбить с них спесь.

— Господин председатель,— произнес Марк.— Я против назначения консультанта. Я предлагаю не обращаться к фирмам относительно подачи заявок, перечеркнуть смету и отказаться от плана строительства мусоросжигателя стоимостью в два с четвертью миллиона фунтов.

Упругая тишина словно заколыхалась в зале. У Пратта, Планкетта, Диксона и Бога разом отвисли челюсти. Матти схватил Марка за руку, тщетно пытаясь остановить его. Элдридж начал косить. Веснушчатый репортеришка сломал два каранда-

ша — он строчил с такой бешеной скоростью, как будто речь шла о высадке марсиан на Главной улице.

— Два с четвертью миллиона,— продолжал Марк,— ненужное бремя для налогоплательщиков нашего города, даже при государственной дотации.

— Ненужное? — взвизгнул Элдридж.— Но теперешней свалки по приблизительным подсчетам хватит всего на два года. Господин председатель, советник Белфорд несет черт знает что.

Оппозиция немедленно бросилась в образовавшуюся брешь. Если повезет, дело может дойти до смертоубийства.

— Советник Белфорд прав! — выкрикнул либерал Даусон.

— К порядку! К порядку! — призывал Эрп.

— Господин председатель,— продолжал Марк, когда шум прекратился и члены комиссии перешли на возбужденный шепоток,— мусоросжигатель — это роскошь, которую мы не можем себе позволить...

— А куда же мы будем девать мусор через два года? — прервал его красный от злости Элдридж.—Сваливать в кучи на улицах?

— У нас есть полная возможность вывести свалку за черту города на территорию вокруг Даттоновской угольной шахты. Я читал доклад, который был представлен на рассмотрение муниципалитета почти двадцать лет назад. Места для свалки там хватит лет на пятнадцать, не меньше. Я предлагаю отказаться от плана постройки мусоросжигателя, приобрести землю вокруг Даттоновской шахты и использовать ее под свалку — тем самым мы сразу избавимся и от свалки, которая город нисколько не украшает, и от опасного пруда, который только что унес одну жизнь — не в первый раз и, скорее всего не в последний.

Все замерли в страхе и растерянности.

— Это все, что вы хотели сказать, советник Белфорд? — спросил наконец Эрп.

— Я прошу комиссию и должностных лиц Грэнтона проверить мое заявление, если они сомневаются в его точности. Доклад находится в архиве муниципалитета.

— Ой, Марк, Марк,— прошептал Матти.

Но Марк не слышал его. И не видел злобного лица Элдриджа. Взволнованный и счастливый, он сел, ожидая возражений, которые не заставили себя ждать. Пратт яростно защищался. Проект двадцатилетней давности был им отвергнут как не отвечающий сегодняшним требованиям. Что касается пруда, то он, Пратт, вместе с председателем Диксоном и еще тремя членами муниципалитета, лично его обследовал. Пруд окружен высоким и крепким забором. Наконец Эрп по сигналу Элдриджа приготовился закрыть прения.

— Советник Белфорд, вы хотите что-нибудь добавить?

— Я предлагаю отказаться от сооружения мусоросжигателя,— повторил Марк, надеясь на поддержку.

— Поддерживаю! — рявкнул Даусон из чистого озорства.

Проголосовали. Двое — «за», двадцать три — «против».

После заседания его поджидал кипевший от ярости Элдридж.

— Что это за фокусы, Белфорд?

— Это не фокусы.

— Не фокусы? А что же тогда? — Он повернулся к Матти.— Ты знал, что он собирается выкинуть такой номер?

Матти отрицательно покачал головой.

— Боже мой. Белфорд,— выдохнул Элдридж,— как у тебя язык повернулся предложить эту бредовую идею! Да кто ты такой вообще?!

— Я член муниципалитета, ваша милость. Скромный представитель жителей Грэнтона, если вы помните

— Ну, не всех жителей Всего лишь одной поганой горсточки. Нашему городу нужен мусоросжигатель, и он его получит И заруби себе на носу, сынок. Я — хозяин этой лавочки и твой хозяин пока ты здесь сидишь. Посмей только еще раз открыть свою вонючую пасть, и ты пожалеешь, что когда-то тебя вытащили из вонючей лужи, о которой ты нам сегодня рассказывал.

— Вы — мэр мистер Элдридж Вы больше не директор школы. Что вы со мной сделаете — излупите, как Эдди Джонса?

Элдридж застыл. Злобно вращая глазом, он придвинулся вплотную к Марку, так что их носы едва не соприкасались.

— Белфорд,— прошипел он,— я как-то сказал тебе, что из тебя ничего не выйдет. Еще может оказаться, что я прав.

— А может — что ошибаетесь,— отрезал Марк.— Мусоросжигатель нам не нужен. Нам нужно убрать это бельмо на глазу, чтобы у Даттоновской шахты было чисто и безопасно.

— Чушь!

— Доклад здесь, вы можете прочесть его. Посмотрите, на чьей стороне правда.

— Белфорд, ты видел результаты голосования. Мусоросжигатель все равно что построен. Послушай, Матти, вправь-ка ему мозги и заодно... научи хорошим манерам. Нам не нужны примадонны. У нас здесь — команда, сплоченная команда, которая работает исключительно в интересах процветания города, руководствуясь лучшими традициями лейборизма. Так вот, либо ты с нами, либо против нас. И если против, то в два счета вылетишь... это я тебе обещаю! — Элдридж повернулся и захромал прочь.

Марк вез Матти домой; за всю дорогу тот не проронил ни слова.

— Ты должен был сказать мне,— выговорил он наконец.

— И что бы ты ответил?

— Конечно, посоветовал бы не вылезать с этим.

Марк стукнул кулаком по рулевому колесу.

— Я так и знал. Но почему, Матти? Если говорить начистоту, чем плоха эта мысль?

Матти открыл дверцу машины.

— Мысль хорошая, Марк.

— Так почему же?.. Ты хочешь сказать, что Элдридж с дружками все равно добьется своего? Так, что ли?

— Примерно так.

— Ладно, гори они огнем. Еще не вечер, Матти. Великий план Элдриджа еще должен получить одобрение всего муниципалитета. Сегодня там были представители прессы. Они меня слышали. Этот вшивый мусоросжигатель нам не нужен. А нужно нам избавиться от того, что творится вокруг Даттоновской шахты.

— Брось, Марк. Зря время потеряешь.

— Ну уж нет. Мне бы только получить голоса... твой и других. И тогда мы их так пить дать завалим.

Матти втянул воздух сквозь стиснутые зубы.

— Нет. Не мешай Элдриджу, пусть делает по-своему. Он может быть тебе очень полезен.

Марк передвинул рычаг на первую скорость.

— На кой мне Элдридж. А вот ты мне очень нужен, Матти. Ты же знаешь, что я прав. Скажи, ты будешь мне помогать?

— Я... я не могу, сынок.

— То есть не хочешь.

— То есть не могу. Спокойной ночи, сынок. Поверь, я знаю, что говорю.

— Я тоже, Матти.

Марк укатил; колеса подпрыгивали на блестящем булыжнике. Никогда в жизни он не чувствовал такой непоколебимой решимости. Борьба только начиналась.

10

Роберт Хилсон прошагал через главную контору с таким видом и так быстро, что стало ясно: настроение у него неважное. Все служащие съежились от страха. Элдридж загородился стопкой бумаг и украдкой наблюдал за Хилсоном, с ужасом думая о предстоящем разговоре. Хилсон читал грэнтонскую «Газетт», и Элдридж сразу угадал, какая статья приковала его внимание. Еще несколько секунд — и он вызовет Элдриджа на ковер. И все из-за Марка Белфорда. Надо же, чтобы именно Белфорд оказался главной занозой! Черт его дернул послушаться Матти Добсона!

— Элдридж!

— Иду, мистер Хилсон,— отозвался Элдридж сдавленным голосом. Он встал и медленно заковылял в кабинет хозяина.

Хилсон оперся ладонями о стол и, наклонив голову, глядел на сложенную газету, лежавшую на углу стола.

— Элдридж,— прошептал он,— вы уже видели?

— Что именно, мистер Хилсон? — простодушно спросил Элдридж.

Хилсон толкнул газету, и она легко скользнула по полированному дереву.

Элдридж сделал вид, что читает, хотя знал статью почти наизусть. Во всю ширину газетной полосы растянулся заголовок:

ЖЕЧЬ ДЕНЬГИ?
СОВЕТНИК ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРОЕКТА МУСОРОСЖИГАТЕЛЯ.
НОВЫЙ ПЛАН ВСТРЕЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ.

Советник Белфорд утверждает, что с помощью современного измельчителя землю вокруг Даттоновской угольной шахты можно будет использовать для свалки на протяжении тридцати лет или более, причем цена ее составит лишь незначительный процент стоимости предложенного мусоросжигателя, сооружение которого, по предварительным подсчетам, обойдется в три миллиона фунтов. Вчера вечером на заседании муниципалитета советнику Белфорду удалось отсрочить официальное утверждение проекта мусоросжигателя, что вызвало весьма оживленную реакцию.

Предложение прошло большинством в три голоса.

ВОЛНЕНИЕ

Советник Белфорд председатель комиссии по делам спорта и досуга, только что снова взбудоражил муниципалитет своим сообщением о возможности создания в Грэнтоне спортивного центра. Он сказал, что район Даттоновской угольной шахты, расположенный вблизи от города, но далеко от будущей свалки, может оказаться идеально подходящим местом, если его благоустроить. Он выступил за создание центра на осушенных землях вокруг печально знаменитого Даттоновского пруда; пруд этот долгие годы лишает спокойствия родителей и совсем недавно стоил жизни Альфреду Троттеру, который взобрался на забор и утонул, свалившись в воду.

Редакционную статью «Мятежник Белфорд потрясает основы старого муниципалитета» читайте на стр. 4.

— Вот сволочь! — искренне сказал Элдридж.

— Это известно,— махнул рукой Хилсон.— Но что нам теперь делать? Уиттон совсем взбесился... Он не поглядит на контракт с «Барко»... если дело с мусоросжигателем сорвется, он мою лавочку прикроет. Ему этот заказ позарез нужен, и нам тоже. Теперь выкладывайте. Что вы намерены предпринять?

— Не знаю,— выдохнул наконец Элдридж.

— А надо бы знать, приятель. Вы должны добиться утверждения проекта. Подкупите его. Я войду в долю, и Уиттон тоже...

Элдридж покачал головой

— Теперь уже ничем не поможешь. Он слишком круто завернул. И самое ужасное, что этот сукин сын прав.

— Да плевать я хотел, прав он или нет! Этот чертов мусоросжигатель означает целую кучу красивых, жирных нулей в цифрах нашего дохода. Пошевелите мозгами, должен же быть какой-то выход.

Элдридж медлил с ответом. Надеяться не на что. Так и надо сказать.

— Посмотрю протоколы выступлений... вот все, что я пока могу сделать... И буду молиться о чуде.

Хилсон с презрением поглядел на него.

— Ну, Элдридж, и удружили же вы мне. Провалили весь бизнес. А ведь могли бы стать крупной фигурой и в городе и даже в графстве. Могли бы получить медаль от королевы...

— Медаль от королевы?

— А почему бы и нет? Несколько писем от влиятельных людей в комитет по наградам...

Элдридж начал грызть ноготь. Все этот Белфорд, грязная свинья! Внезапно в нем вспыхнула решимость.

— Ну нет, это еще не конец. Мы еще поборемся...

— Эгберт, если вам удастся...— Хилсон обхватил Элдриджа за плечи.— Уж будьте уверены, я в долгу не останусь. И Уиттон тоже. Как бы вы отнеслись к директорскому креслу, а?

— К директорскому? — ахнул Элдридж. Глаза его разгорелись.

— Именно,— подтвердил Хилсон.— Шевелите мозгами, Эгберт! Вас ждет директорское кресло.

— И медаль от королевы?

— Да, Эгберт. Это можно сделать. У Уиттона есть друзья

Элдридж вернулся к своему столу и вперил невидящий взгляд в старые стенные часы. Секунду назад он был готов действовать, бороться... Но внезапно осознал, что все это самообман. Что положение безнадежно. Скоро о нем забудут. Он может даже потерять место в муниципалитете. Нет! Этому не бывать! Он этого не допустит! Время! Вот во что все упирается. Еще на год остаться мэром? А почему бы и нет? Если уговорить Флинна, лидера местных лейбористов, то вдвоем они могли бы убедить и остальных переизбрать его. А пойдет ли Флинн навстречу? Конечно, пойдет. Надо только растолковать, что за труды и благожелательность ему воздастся.

Мартин Кейн закурил сигарету — тринадцатую за это утро — и глубоко затянулся. Из корзины для бумаг торчали обрывки номера «Газетт». Он прочел ее и не поверил. Перечитал еще раз, держа газету на расстоянии, с опаской, словно мог от нее заразиться дурной болезнью. И когда наконец убедился, что ему не померещилось, то в дикой ярости порвал ее в клочья. Белфорд! Боже мой, что он наделал! Нет, он просто спятил! Кейн с ненавистью посмотрел на растерзанный номер «Газетт». Конечно, Смитсон будет винить его, Кейна: почему он до сих пор не связал Белфорда по рукам и ногам? Но, видит бог, он же пытался! Смитсон хотел, чтобы Белфорд кормился из его рук — не прямо, а через Кейна,— и именно ему, Кейну, выпало на долю пускать опасные пробные шары.

Кейн потер лоб, в последний раз решительно затянулся и раздавил окурок в пепельнице, уже зная, что́ ему делать. Все, Белфорда надо рубить под корень. «К сожалению, вы не справляетесь, Марк... м-м... к клиентам требуется особый подход... Мне очень жаль, но я должен оставить Джонсона заведующим секцией... он прекрасный работник. Боюсь, что придется вам вернуться обратно рядовым чертежником. Впрочем, если вы пожелаете попытать счастья в другом месте...» Нет, это не пойдет: мышиная возня! А что еще он может сделать? Внутри у него все перевернулось, и прежде чем нажать кнопку селектора, он закурил следующую сигарету.

— Лиз, Белфорд здесь?

— Нет, мистер Кейн. Он будет во второй половине дня. Я вам уже говорила.

— Да-да, конечно! Просто... просто, когда он появится, сразу же дайте мне знать.

— Хорошо, мистер Кейн.

— И... вот еще что, Лиз: как только он придет, возьмите у него ключи от машины.

— И что с ними делать?

— Принесите их мне, о'кей?

— Хорошо, мистер Кейн.— Голос ее сразу стал деловым и серьезным.

Кейн откинулся на спинку стула и забарабанил по столу пальцами. Уиттоновского субподряда на трубопровод ему не видать как своих ушей, это ясно; но теперь вообще перспектива получения заказа от Смитсона или от кого-либо другого покрылась мраком пугающей неизвестности. Над ТУК нависла страшная тень банкротства. Зазвонил телефон, и Кейн тут же схватил трубку.

— Мистер Кейн, вас мистер Хилсон.

— Соедините, Лиз.

— Это ты, Мартин? — слабым голосом спросил Хилсон.

— Да, Боб.

— Уже видел этот вонючий листок?

— Да.

— Каков сукин сын, этот Белфорд! Он, кажется, у тебя работает?

Кейн знал, что за этим последует, и, не выдержав, взорвался.

— Да! Да! Работает. Вернее, работал. Он еще не знает, но я его сейчас выш-

вырну к чертовой матери,— выпалил Кейн тоном человека, принявшего окончательное и бесповоротное решение.

— Я тут вызывал Элдриджа. Убеждал его не складывать оружия. Теперь это наша единственная надежда.

— Никакой надежды, Боб. Поверь мне.

— Господи, что ты говоришь! Уиттон прикроет мою контору... Мартин, ну почему ты все-таки не перетянул Белфорда на свою сторону? Почему?.. — И, помолчав, Хилсон тихо добавил: — Зима будет долгая, холодная...

Кейн медленно кивнул, положил трубку на рычаг и долго сидел неподвижно. Потом испустил тихий стон и затряс головой. Что им движет, этим Белфордом? Какая мания величия лишила его остатков разума? Он представил себе, что это он, а не Белфорд ведет кампанию, беседует, уговаривает, стучится во все двери, распространяет пачки листовок... Листовки! Кейн нажал кнопку селектора.

— Лиз, у вас там есть ксерокс. Белфорд им пользовался?

— Да, мистер Кейн.

— Часто?

— Да, очень часто.

— Для чего?

— Толком не знаю.

— И много делал копий?

— Он там бывал подолгу, — не сразу ответила Лиз.

— Ну и что он оттуда выносил, черт возьми?

— Кипы бумаги.

Кейн выключил селектор и снова откинулся на спинку стула. Теперь Марк в его руках. Наглая скотина, он печатал свои объявления на бумаге компании! Теперь его можно уволить за воровство Боже, что из этого состряпают в «Газетт»! Зазвонил телефон, и Кейн взял трубку, все еще радуясь сделанному открытию.

— Мистер Кейн, вас мистер Смитсон.

Кейн сразу сник и прикрыл глаза.

— Доброе утро, Алекс.

— Доброе, Мартин.

Смитсон ответил сухо, отрешенно и умолк. Это было верным признаком того, что от Кейна ждут объяснений.

— Послушай, Алекс, я... э-э... вполне понимаю, каково тебе. Я сам провел жуткое утро. Алекс, я пробовал честное слово, пробовал.. но Белфорд как с цепи сорвался, скотина Но ты не тревожься, Алекс, он у меня получит под зад коленом. Ты знаешь, что сделал этот подонок...

— Знаю — он сделал из тебя круглого дурака, и лихо сделал!

Кейн даже рот открыл.

— Но он же обобрал нас. Мы потеряли тысячи фунтов.

— Я восхищаюсь им.

— Восхищаешься?

— Восхищаюсь его стойкостью. Его мужеством. Он — настоящий бульдог. И если вцепится, то уж не выпустит.

— Ну так что? Ведь он вцепился в нашу задницу!

— Неважно. Раз с мусоросжигателем покончено, он возьмется за что нибудь другое.

— За другое? Например?

— Терпение, Мартин Не сковывай его инициативы. Пусть будет доволен. Успокой его. Поговори по-доброму Как отец родной Я даже думаю... Я думаю, ты мог бы выразить благодарность...

Кейн улыбнулся.

— Алекс, ты, кажется, все уже взвесил и рассчитал?

— В общем да.

— Алекс я тебе обязан по гроб жизни!

— Ну ладно...

Кейн услышал громкий веселый смех, а вслед за ним — короткие гудки. Он положил трубку и включил селектор.

— Лиз!

— Да, мистер Кейн?

— Лиз, когда Марк придет, не берите у него ключи от машины. И забудьте о том, что я вам говорил. Ясно?

— Да, мистер Кейн.

— И как появится, пошлите его ко мне.

— Хорошо, мистер Кейн.

Кейн встал и не спеша подошел к тиковому шкафу в дальнем конце кабинета. Он открыл шкаф и достал зеленую матовую бутылку «Реми Мартен» и две рюмки.

Марк Белфорд приехал домой около половины восьмого, с трудом вылез из машины и пошел по дорожке. Он был как выжатый лимон, глаза болели, безумно хотелось спать. Не помогли ни четыре рюмки бренди, ни возбужденная трескотня Мартина Кейна. Всю неделю он жил в страшном напряжении: эта кампания заставила его начисто забыть об отдыхе. И еще — Ева... холодная, непримиримая Ева. Она была вечно недовольна, и он заставлял себя выносить все ее язвительные замечания, все насмешки, внезапные слезы, приступы ярости и раскаяния. Он решил идти по линии наименьшего сопротивления до тех пор, пока... пока не одержит победу.

Но вот пришла победа, а Марк не чувствовал себя счастливым. Сейчас ему, изнемогающему от усталости, больше всего нужен был отдых и спокойный понимающий взгляд Евы. Но ее не оказалось дома.

В гостиной слышался смех — смеялись дети. Марк сразу понял, что там Матти Добсон. Матти с трудом поднялся на ноги и растерянно улыбнулся.

— Привет, сынок, я не слыхал, как ты вошел. Уже собрался уходить... ждал тебя целый час. Вот возился с ребятками.

— А где Ева?

— У соседей. Только что ушла... Твой ужин в духовке. Скажи... ну... ты не обиделся?

Марк пожал плечами.

— Матти, я делал то, что считал правильным. Я хотел одного — чтобы в этом городе кроме заводов, дыма и денег было что-то и для моих ребятишек. Посмотри на них, Матти, посмотри, как быстро они растут.— Он наклонился вперед, и в глазах его вдруг засветился живой огонек.— Здесь у нас будет такое, чему позавидует сам Лондон. Такое, о чем никто и не мечтал. Я добьюсь создания этого центра, Матти. Для спорта и отдыха, для блага каждого. Здесь, в Грэнтоне.

Матти медленно покачал головой.

— Умерь свой пыл, Марк. Не жди слишком многого. Не торопись, чтобы потом не разочаровываться.

— У меня нет времени ждать. Город на моей стороне, Матти, и победа будет за мной.

Матти ответил не сразу.

— Тебе понадобятся друзья, и друзья влиятельные. Куда сильнее, чем я. Пока ты нажил только врагов Будь начеку, Марк,— прошептал он, уходя. В дверях ему повстречалась Ева, и они вполголоса перебросились несколькими словами. Она вошла в комнату и взяла Дэвида на руки.

— Пошли, разбойник, тебя пора купать,— сказала она нежно.

— Прости, детка, что я так поздно. Кейн задержал,— пустил Марк пробный шар.

— Ужин в духовке.

— Я знаю.

— Ты еще не забыл, где у нас кухня?

Он на мгновение задумался.

— Тебе понравилось в «Фицжеральде»?

Она кивнула.

— И я обещал повести тебя туда еще раз, верно?

Она сразу оттаяла.

— Поведешь?

— Когда, сегодня?

— А почему бы и нет? Миссис Скелли как раз сидит без дела.

Марк чуть было не согласился, но вдруг вспомнил, что у него в кармане нет и трех фунтов. Он помрачнел.

— Сегодня я... я не могу, Ева. У меня мало денег.

Она пошла к двери с Дэвидом на руках.

— Постой, Ева, — сказал он в отчаянии. — Денег можно перехватить у Матти. Я догоню его. Будь готова, мы едем в город.

Он побежал по дорожке. Усталость куда-то пропала, ее оттеснила надежда увидеть Еву довольной и счастливой. Да и ему самому было что праздновать.

— Осторожней, Марк! Не гони так,— уговаривала Ева, трогая его за руку.

— Все в порядке, детка, не волнуйся. Дорога прямая миль на пять вперед.

— Но ничего же не видно в таком тумане.

Марк взглянул на жену.

— Ну как, получила удовольствие?

— Чудесно было...— кивнула она.

— Ты чудесно выглядишь, Ева.

— Смотри лучше на дорогу.

— А ты бы хотела быть замужем за миллионером?

Она улыбнулась и блаженно вытянулась на сиденье.

— Нет. Ты бы тоже подошел, если б у тебя карман был потуже.

— Вот зараза,— прошептал он.

Вдруг Ева резко выпрямилась. Сквозь клубящуюся завесу тумана она увидела впереди два крошечных зеленых огонька, и в колючих лучах фар сразу обозначился неясный контур.

— Кошка! — взвизгнула она.

Марк уже туго соображал, но привычная реакция сработала, и он резко нажал на тормоз. Колеса замерли. Машина вильнула, потом выправилась. Но он перестарался, крутанул руль, их занесло и боком потащило сквозь слепую серую стену. Это длилось несколько секунд. Без шума, без толчков. Они сидели молча, потрясенные, ожидая неминуемого сокрушительного удара.

— Ах, дьявол, — прошептал Марк. — Ева, ты цела? — Через ветровое стекло и боковые окна он огляделся по сторонам. — Господи, мы стоим как раз поперек дороги.

Он повернул ключ зажигания. Мотор всхлипнул, фары потускнели. Попробовал еще раз — тот же результат.

— Ну-ка. Ева, быстро выходи,— крикнул он.— Послушай, не идет ли машина. А то в этом тумане кто-нибудь врежется нам прямо в бок!

Не успела Ева выйти, как тьму прорезали мощные лучи рассеянного света. Послышался и тут же смолк шум мотора. Хлопнула автомобильная дверца. Звуки шагов падали тяжело и твердо. Из тумана вышел полицейский.

— Вы употребляли сегодня вечером спиртное, сэр? — спросил он.

— Да, да, — ответил Марк. — Понимаете, мы ездили ужинать в Ньюкасл.

— Сколько времени прошло после этого?

Марк пожал плечами.

— Минут тридцать — сорок. Но...

Полицейский, отчеканивая слова, прочел им небольшую нотацию. Потом их с позором повезли в грэнтонский полицейский участок. Дежурный сержант, высокий, жилистый, скуластый, с прилизанными черными волосами, взглянул на них без особого интереса. Пока полицейский излагал обстоятельства происшествия, он стоял неподвижно, с непреклонным видом и только поводил желтоватыми глазами, изучая результаты пробы на алкоголь. Наконец он что-то сказал себе под нос и вышел, беззвучно прикрыв тяжелую зеленую дверь.

— Садитесь, если желаете, — улыбнулся полицейский. — Мы для верности сделаем вторую пробу.

Они сели. Ева сопела и терла нос платком.

— Ну-ну, милочка,— пробурчал полицейский.— Это еще не самое страшное.

Марк сгорбился и повесил голову.

— Кто знает? Если отнимут права, я потеряю работу.

Сержант возвратился с прибором для вторичной проверки. Он что-то говорил бесстрастным голосом, а сам тщательно и неторопливо заполнял казенные бланки. Зеленая дверь отворилась, и вошел круглолицый румяный человек в выцветшем габардиновом плаще. Марк сразу узнал инспектора Маллери. В день выборов они познакомились в доме Элдриджа.

— Марк Белфорд, если не ошибаюсь? Ну, что он натворил?

Сержант ответил.

— Обе пробы на алкоголь положительные, Фред.

— Стыдно,— проворчал Маллери. Он медленно повернулся и пошел в свой кабинет. Посидел с минуту, барабаня по столу пальцами и глядя на телефон. Наконец снял трубку и набрал номер, почти надеясь, что ему не ответят. Но после дюжины гудков ему ответили.— Это я, Фред Маллери... Знаю, что поздно, но тут кое-что стряслось... Нет, до утра ждать нельзя... Конечно, уверен, иначе не стал бы звонить в такое время... У нас тут твой друг оказался... Похоже, что его осудят за вождение в нетрезвом виде. Белфорд... Марк Белфорд... Точно.— Маллери рассмеялся.— Я так и думал, что ты будешь доволен...

Маллери положил трубку и поскреб подбородок. Потом зевнул, с удовлетворением сознавая, что действовал совершенно правильно. Однако в хорошенькую историю влип этот Белфорд! Где-то в глубине коридора зазвонил другой телефон, но инспектор не обратил внимания; дверь открылась, и в комнату заглянул дежурный.

— Тебя, Фред.

Маллери снова зевнул и выбрался из кресла. За плечами у него был долгий день.

— Да? — рявкнул он.— В чем дело?..— И тут же его сонливость как рукой сняло.— Да... совершенно верно... он здесь. Да, конечно. Но черт возьми... вы бы еще попросили луну с неба... Ладно, попробую... Я ведь вам кое-чем обязан... Я же сказал, попробую... Ну, честное слово, сделаю все, что смогу.

Разговор был окончен. Маллери грохнул трубку на рычаг.

В комнате для задержанных Ева встала, заслышав шаги.

— Ева, все в порядке,— сказал Марк,— меня отпустили.

Сержант начал рвать бумаги.

— Считайте это предупреждением. И смотрите, больше не попадайтесь.

Марк готов был расцеловать его.

— Что вы, никогда в жизни! Нам можно идти?

Сержант насмешливо улыбнулся.

— Идите. Только вашу машину закатили туда, во двор. Заберете утром. А сейчас доедете на такси. Инспектор Маллери как раз вызывает.

В такси они сидели, взявшись за руки, и каждый пытался убедить себя, что все происшедшее — не сон.

— Марк, каким образом? — шепотом спрашивала Ева.— Почему? Просто так?

Марк покачал головой. Потом задумался, и на лице его появилась самоуверенная, почти надменная улыбка.

— Все дело в том, что я член муниципалитета. Тогда у Элдриджа мы с Маллери нашли общий язык. Я, Ева, теперь кое-что значу в городе. Я ведь говорил тебе, что так оно и будет.

11

«Бунгало» Александра Смитсона поражало не только своими размерами и архитектурой, хотя уже по внешнему виду можно было представить себе великолепие внутреннего убранства. Стоило Еве увидеть это сооружение, услышать, как гулко, отчетливо звучат ее шаги по широкой подъездной аллее, и у нее дух захватывало от удовольствия при мысли о том, что сейчас она окунется в самое настоящее высшее общество. Теперь она часто бывала здесь. Значит, Смитсоны признали их своими, сумели оценить их человеческие достоинства и убеждения.

Ева взглянула на Марка. Все еще злится. Домой он сегодня приехал раньше обычного: видно, чтобы не опоздать в гости. Но она сразу поняла, что он чем-то расстроен.

— Марк, что случилось? Ведь утром ты уходил такой веселый.

— Ничего не случилось.

— Ну я же вижу. В чем дело?

— Ни в чем! Ничего не случилось... Отстань, а?

Она ушла на кухню, боясь, как бы он в таком настроении не раздумал идти к Смитсонам. Выждала немного, а потом робко просунула голову в дверь.

— Хочешь заморить червячка или будешь терпеть до смитсоновского пира? Могу пока что дать тебе сандвич.

— Только чаю.

Ева сразу повеселела. Он не сказал, что не идет! Значит, идет — это главное. Она подала Марку чай и улыбнулась.

— Хочу показать тебе подарок Вере ко дню рождения, тебе должно понравиться...

Марк уставился на нее.

— Сколько заплатила?

Ева замялась.

— Двадцать два фунта.

— Что? Двадцать два фунта на подарок ко дню рождения?

— Это шкатулка из оникса,— поспешно перебила Ева.— Очень красивая. Мне неудобно дарить Вере какую-нибудь дешевку...

— Вот что, Ева,— резко сказал Марк.— Мне на работу звонил Бринкберн, директор банка. Мы перебрали почти три сотни. Он закрывает наш кредит. И этот чек он нам вернет неоплаченным.

— Но... но...

— Послушай, Ева, мы живем не по средствам. Пока не выплатим перебор — никаких расходов, кроме еды и платы за жилье.

— Но, Марк, я купила новое платье... и тебе рубашку. Мы не можем ходить, как оборванцы...

— О, господи! Да кто мы такие, по-твоему? Меня же засадят в тюрьму за долги, пойми ты наконец!

— Прости, Марк,— захныкала она.— Я ведь только хочу, чтобы у нас... у всех... были хорошие вещи.

Он не слушал. Мысли унеслись далеко — надо было переварить еще одну сегодняшнюю новость, по сравнению с которой все его личные неприятности — мелочи жизни.

Александр Смитсон закрыл дверь и повернулся к гостям. Секунду назад он широко улыбался, но сейчас был абсолютно серьезен.

— Порядок,— сказал он.— Женщины там, где им и положено быть, на кухне. Теперь поговорим о делах.

Двое сидевших на диване заерзали и уселись поудобнее, как бы приведя себя в боевую готовность. Мартин Кейн поставил пустой бокал и потер ладонью лоб.

— Не нравится мне это, Алекс. Он может поднять крик!

Смитсон покачал головой, на лице у него снова заиграла уверенная улыбка.

— Не поднимет. Перестань дергаться, Мартин.— Он повернулся ко второму гостю.— Ну что, Гил? В кабинете все готово?

Гилберт Уиллоуби вынул трубку изо рта, выпустил струю дыма и кивнул. Это был высокий, хорошо сохранившийся пятидесятилетний человек, стройный и изысканно одетый.

— Все готово,— сказал он.

— Макет? — спросил Смитсон.

— Готов к демонстрации,— ответил Уиллоуби.

— Отлично. Мартин, а ты уверен, что Бринкберн звонил ему?

— Звонил, звонил.

— А Элдридж распустил слух?

— Все сделано.

Смитсон внимательно оглядел обоих и поднес бокал к губам.

— Ну, за удачный вечер.

Марк держал в руке рюмку бренди — пятую за этот вечер — и чувствовал себя превосходно; он был в ударе и выдавал остроты по любому поводу. Он болтал, шутил и танцевал, разгуливал в обнимку со Смитсоном по просторной гостиной. Внимание Смитсона льстило Марку.

А где Ева? Он отыскал ее взглядом. Она танцевала с сыном Эрика Тренчарда. Совсем юнец — лет двадцать пять... от силы тридцать. Он видел восторженное лицо Евы, ее полузакрытые глаза. В начале вечера он тоже наблюдал за нею, но еще трезвый и озабоченный. Она выглядела как ребенок на елке.

На его плечо легла чья-то рука. Справа из клубов дыма выплыло лицо Смитсо-

на, красное, вспотевшее.

— У меня для тебя сюрприз, сынок.

— Сюрприз?

— Ага.— Он поманил его пальцем и прижал палец к губам.— Тсс. Пошли со мной.

Смитсон вывел его в холл, втолкнул в какую-то дверь и пьяно хихикнул.

— Ох, уж ты будешь доволен, Марк Белфорд!

Марк улыбнулся в радостном предвкушении. Увидев, что Смитсон запирает дверь на ключ, он нахмурился, но спросил беспечно:

— Что, такой большой секрет?

— Да, Марк,— отчетливо произнес хорошо поставленный голос.

Это был голос Гилберта Уиллоуби. Несколько секунд все молчали.

— Идите сюда, Марк. Садитесь,— сказал Смитсон.

Это больше походило на приказ, чем на приглашение. Марк сел.

— Ну так где же ваш сюрприз?

Смитсон сел напротив. Наклонился вперед, не сводя глаз с собеседника.

— Марк,— сказал он холодно и твердо.— Вы мне нравитесь, и это вам известно Вы хотите построить для города спортивный центр. В ваших глазах — это первый шаг к превращению Грэнтона в самый настоящий Ксанад [1], ведь так? И с тех пор, как мы познакомились, я все время вижу, как вы харкаете кровью, добиваясь поддержки своего плана.

Марк подпер голову рукой.

— Все ясно, Алекс. Ваш сюрприз — это беспроцентная ссуда, которую вы выхлопотали у правительства. Деньги начинают поступать с завтрашнего дня.

Смитсон заставил себя улыбнуться.

— Не совсем так, Марк. Но сегодня я слышал одну новость. И не очень радостную.

— Вы насчет предварительного обследования? Насчет того, что Планкетт рекомендует прикрыть его из-за отсутствия поддержки?

— Так мне сказали.

— И мне тоже. Как раз сегодня. Они кривятся с того дня, когда я предложил эту идею. Нигде не откликнулись. Ни в Совете по делам спорта, ни в министерстве просвещения.

— Марк, я вам сейчас кое-что покажу.

Уиллоуби взял со стола пачку документов и передал Смитсону.

— Это спецификации по спортивному центру. Я не сказал вам сразу, но Гил — архитектор с именем. Тут подробнейшим образом изложены данные проекта обширного центра для занятий всеми видами спорта. Вот что может получить Грэнтон.

— Как, Алекс? Ради бога, скажите как?

— Сейчас скажу. Подойдите сюда и взгляните.

Марк последовал за ним в дальний угол комнаты. Смитсон стянул белое покрывало с какого-то предмета на столе.

— А вот как он будет выглядеть.

Макет был выполнен отлично. Марк гладил пальцами крышу, стены. Потом стал на колени и обвел миниатюрное сооружение глазами, восхищаясь благородной простотой линий.

— Господи, Алекс, если бы нам удалось!..— взволнованно прошептал он.— Что надо сделать, чтобы добиться этого?

— Вы не прочь построить такой центр у Даттоновской шахты, а?

— Все на свете отдам!

Смитсон взглянул на него с усмешкой.

— А ведь это возможно, Марк. Я полагаю, это вполне достижимо. Мы с Гилом могли бы нажать кое-какие кнопки... То есть получить одобрение там, где нужно.

— Вы можете это сделать?

— Надеюсь. На Уайтхолле есть люди, которых можно заинтересовать, если к ним подойти по-умному. Да и здесь кое-кого можно обратить в нашу веру.

— Зачем, Алекс?

— Что «зачем»?

Марк махнул рукой в сторону стола.

[1] Сказочный город из неоконченной поэмы С. Т. Кольриджа «Кубла Хан».

— Зачем вы мне это показали? Вы же знаете ситуацию... С какой стати вам нажимать кнопки в высоких сферах? Ради меня?

Смитсон покачал головой.

— Нет, Марк. Я хочу, чтобы центр был построен, не только ради вас, но и... ради себя тоже.

— Вы хотите получить подряд на строительство?

— Да.

На миг наступила тишина — глубокая, звенящая. Наконец Смитсон положил руку Марку на плечо.

— Давайте сядем,— негромко сказал он.

Марк сел. Уиллоуби расположился перед камином, спокойно и безмятежно посасывая свою трубку.

— Так вот,— продолжал Смитсон.— Все, что было и будет сказано, должно остаться здесь. Я со своей стороны торжественно вам это обещаю. Обещайте и вы.

Марк кивнул, побуждаемый каким-то непреодолимым любопытством.

— Итак, все очень просто, Марк. Вы хотите, чтобы в Грэнтоне был спортивный центр. С мусоросжигателем вы добились своего. И выиграли. Но на сей раз у вас ничего не выйдет — мы оба это знаем. Вы сделали все, что могли. Голосованием занимается Планкетт, а значит, отрицательный результат вам обеспечен. Есть только одна возможность... Мы, Гил и я, знаем нужных людей. Только мы в силах это сделать, Марк. Мы можем добиться того, что в Грэнтоне будет спортивный центр. Но взамен мне нужен подряд на его строительство.

Марк повернулся к Уиллоуби:

— А вы? Чего вы хотите?

Уиллоуби иронически улыбнулся:

— Я проектировал этот центр. Естественно, я хочу, чтобы меня назначили архитектором.

Голова у Марка шла кругом. Он вконец растерялся. Ведь он может получить этот центр и с ним все, о чем мечтал: славу, удовлетворение, счастье, исполнение желаний. Но за все надо платить. Смитсон прав. Это его последняя ставка. Но цена.., какая цена!..

— Алекс, не надо пользоваться моим положением. Вы толкаете меня на противозаконные поступки. Мне покоя не дает этот проклятый центр, Алекс, но не таким способом... Ради всего святого, скажите, что вы пошутили.

Смитсон медленно покачал головой.

— Нет, Марк, это не шутка. Это — единственный путь. И вы увидите, что я умею быть благодарным. Мы оба будем вам благодарны... верно, Гил?

Уиллоуби кивнул.

— Черт возьми, Алекс... только не деньги. Я надеюсь, вы не вздумаете предлагать мне деньги.

Смитсон открыл ящик стола и вытащил конверт. Он положил его между Марком и собой.

— Марк, я ваш друг. Спросите Кейна, по чьему совету вас повысили вместо того, чтобы уволить. Спросите у Маллери, кто вытащил вас из полицейского участка. Маллери позвонил Элдриджу, Элдридж мне, а я... ну, скажем, мы с Маллери легко находим общий язык.

Марк беспомощно переводил взгляд с конверта на лицо Смитсона и чувствовал, как силы покидают его. Значит, он ничто. Сам по себе он ноль.

— Я опекал вас,— продолжал Смитсон,— и впредь буду опекать. Вы далеко пойдете, и вы, и Ева. Я умею делать жизнь нужных мне людей намного... комфортабельнее. В этом конверте триста фунтов. Возьмите, их Марк. Бринкберн, директор банка, обрадуется при виде их, верно ведь?

Марк медленно поднял голову. Снова остановил взгляд на макете.

— Алекс,— прошептал он.— Я больше всего на свете хочу чтобы в Грэнтоне был этот спортивный центр.

— Он будет, обещаю вам.

— Но... как я раздобуду для вас этот подряд на строительство? Я один не в силах это сделать.

— С вами будет Элдридж. Вместе вы сможете.

— Элдридж! Что вы, только не это!

— Элдридж поддержит вас. Он — мой человек. Незадолго до того, как окончится прием заявок, мне должны быть известны все предложения конкурентов. Свою заявку я подам в последнюю минуту, конечно, на меньшую сумму, а затем в течение договорного срока потребую увеличения ассигнований ввиду непредвиденных, а потому не включенных в смету расходов. Видите, как все просто, Марк. Подумайте хорошенько. Подумайте о том, что все это может значить для вас, для Евы и для всей вашей семьи.

— Алекс, я не знаю. Это чертовски опасно.

— Спросите Элдриджа, насколько это опасно. Спросите его, портит ли ему кровь мысль об опасности, когда он загорает в Испании на моей вилле.

— На вашей вилле?

— Да, это еще один знак благодарности... Более того. Я сейчас покупаю землю у Артура Уиттона. Если наша сделка состоится и я получу разрешение на проектирование, то мы построим двенадцать домов на Уиллоу-хилл.

— На Уиллоу-хилл?

Смитсон кивнул.

— Архитектором будет Гилберт Уиллоуби. Что, слишком шикарно для вас? Теперь уже нет. Подумайте, что скажет Ева, если вы упустите такую возможность.

— Уиллоу-хилл,— шепотом повторил Марк.

— Я позабочусь, чтобы вы сумели приобрести один из этих домов после того, как будет получен подряд на строительство спортивного центра.

— А я прослежу, чтобы его отделали по вашему вкусу,— вставил Уиллоуби.

— Хорошо, я это сделаю, — быстро проговорил Марк.

Слова жгли язык. Его душило отвращение к себе.

У Смитсона отлегло от сердца.

— Марк, вы отличный парень,— сказал он.

— И мудрый,— добавил Уиллоуби.

Оба рассмеялись — тихим сухим смехом. Марк криво улыбнулся и взял конверт.

12

Марк Белфорд не обращал внимания на мелкий, пронизывающий ноябрьский дождь, моросивший с хмурого неба. Марк не чувствовал ни холода, ни мокрых капель на щеках. Охваченный воспоминаниями, он молча стоял рядом с Александром Смитсоном. Годы ничего здесь не изменили. Только громадная гора шлака приобрела еще более мрачный и угрожающий вид.

Но вот вдалеке, где-то за высоким каменным гребнем послышался механический скрежет и низкий, дребезжащий гул мотора. К первому присоединился второй. Два белых облака взвились в серое небо. Шум усилился, перешел в тяжелый, беспощадный грохот — грохот надвигающейся стали Гора яростно вспучилась, на миг словно стала еще выше, но вдруг осела из-под самой вершины. Огромная масса камней и шлака рванулась вперед и вниз — прямо в Даттоновский пруд. Бульдозеры возвращались снова и снова, раздирая омертвелое подбрюшье холма — то самое, которое когда-то поглотило Фредди Джексона и Томми Пайпера. Марк смотрел в упоении, не отводя глаз. Он мог бы стоять тут весь день, втайне ликуя при каждом новом набеге машин. Даттоновский пруд доживает последние мгновения, и пощады быть не может. Скоро он исчезнет с лица земли.

— Ну, нагляделся? — спросил Смитсон.

— Сколько времени уйдет, чтобы засыпать его?

— Два-три дня.

— И тогда мы начнем?

— Тогда начнем.

Марк медленно повернулся.

— Алекс, но вы сделаете это быстро? Вы не станете тянуть?..

Смитсон рассмеялся мягко и насмешливо.

— Тут работы на год с лишним, Марк, запасись терпением. Ты ведь долго ждал. Наблюдай, как идет дело, и будь доволен.

Они сели в машину Смитсона и распили вдвоем бутылку виски.

— Говорят, Элдридж рассчитывает на третий срок,— сказал Смитсон, когда они возвращались в Грэнтон.

— Он все еще забрасывает удочку, чтобы центр назвали его именем.

— Но ты же не дашь ему? Это центр Белфорда. Если бы я мог...

— Алекс, я не хочу, чтобы его назвали в мою честь. Я хочу только, чтобы его построили. И пусть называется Грэнтонским центром. Вот и все.

— Не можешь дождаться появления своего детища? Но ты же не хочешь, чтобы я снял рабочих с Уиллоу-хилл. Еве это не понравится.

Марк на минуту задумался.

— Алекс, а с домом не будет неприятностей, я хочу сказать — они не могут связать наши имена?

Смитсон покачал головой.

— Сколько раз надо повторять: дело верное. Дома строятся фирмой «Ютопиа». Твои взносы по закладной будут поступать оттуда как плата за консультацию, прямо в твой банк. Ты делаешь распоряжение об автоматическом переводе денег на счет строительной компании — вот и все заботы. С этим полный порядок.

— А что собой представляет молодой Тренчард?

— Кто, Тони? По-моему, толковый юрист. Провел для меня несколько дел. Он все оформит как положено с твоим домом. А может, ты подумываешь составить завещание, ты же теперь без пяти минут землевладелец.

— Алекс, я боюсь.

— Боишься? Чего? Ну и дурья башка.

— Всего. Вопросов, подозрительных взглядов. Мне кажется, весь город только об этом и говорит.

— Ты любимец города и отлично это знаешь. «Газетт» на тебе просто помешалась.

— Алекс, я и вас боюсь. Сомнительные сделки и женщины, и... все прочее. Меня жуть берет, как я подумаю, что творилось последние полгода.

Смитсон поднял брови.

— Меня боишься? Меня? — Он откинул голову назад и расхохотался Наконец он справился с приступом смеха, вытер тыльной стороной ладони выступившие слезы и сказал:

— Ладно, идиот несчастный, заглянем на Уиллоу-хилл, а потом поедем в Мелдон. Позавтракаем в клубе.

Двадцать минут спустя они были там. Моросящий дождь загнал большинство любителей гольфа в бар. Внезапно через открытую дверь Марк увидел Тони Тренчарда. Тот наклонился вперед и что-то быстро говорил Лицо было веселое — судя по всему, он с удовольствием рассказывал невидимому собеседнику какую-то историю Смитсон, проследив за взглядом Марка, спросил:

— Кто-нибудь из знакомых?

— Тренчард.

— Ну ясно.— пробормотал Смитсон.— Должно быть, во всех подробностях рассказывает кому-то о своей последней победе.

— Любит женщин?

— Ходок, вроде своего папаши.

Бармен поднял голову от длинного ряда бутылок.

— О, мистер Смитсон я не видел, как вы вошли. В соседнем зале ваша жена. Она думала, может, вы заедете позавтракать.

— Вера?

— Да, сэр Она приехала с мистером Тренчардом.

Смитсон направился к двери, Марк последовал за ним. Они увидели Веру увлеченно слушавшую рассказ Тренчарда. Но она слушала не одна: рядом, широко раскрыв глаза, вся светясь от восторга, сидела Ева.

13

Марк видел в нем свое детище В мыслях давно представлял себе каждую линию и цвет. Каждый кирпич был словно положен его рукой Даже в таком грубом, незаконченном виде, весь в лесах, пересеченных лестницами, он вызывал у Марка благоговение.

Марк вел Матти по неровной дороге, изрезанной колеями и покрытой отпечатками огромных шин.

— Рад за тебя, сынок. Ты столько труда вложил. Очень рад, что дело хорошо подвигается.

— Отлично подвигается, Матти.

— Да, ты прошел долгий путь от старой церкви и бульвара Бентли... — Матти говорил не спеша, тихо, с оттенком грусти.— Шикарные знакомства и прочее. Новый дом... И Элдридж в качестве соседа.

— Я мог бы обойтись и без Элдриджа.

— Ты знаешь, его снова выдвинули.

— Слыхал. Теперь исполнится его заветное желание. Его имя будет написано на стене. Как раз где-то... где-то здесь.

— Ну как, Марк, ты счастлив в своем новом доме?

Марк нахмурился.

— Счастлив? Да.

— А Ева?

Ева. Марку стало смешно. Конечно, Ева счастлива.

— С Евой все отлично, Матти,— сказал он.

— Это хорошо,— кивнул Матти.

Что-то в его тоне испугало Марка.

— В чем дело, Матти? — невнятно спросил он, боясь услышать ответ.

Матти медленно поднял голову.

— Я не приду в воскресенье, сынок.

— Почему, Матти? — встревоженно спросил Марк.

Матти пожал плечами.

— Очень тебе нужно угощать в своем роскошном доме такую старую шахтерскую клячу, как я... Ева спросила, приду ли я. Раньше никогда не спрашивала. Я сказал, что приду. И она явно огорчилась.

— Ерунда, тебе показа...

Он запнулся на полуслове. Ему вспомнилось, как Ева говорила Вере Смитсон: «Значит, увидимся в воскресенье в полдень... Выпьем, а в час перекусим. Не опаздывай». Он попытался переубедить Матти:

— Мы всегда тебе рады, ты же знаешь.— И готов был откусить себе язык: так безнадежно фальшиво это прозвучало.

— Ничего, все отлично. Хорошо бы выпить.

— Я... я никак не могу, Матти. Я должен повидать...

— Алекса Смитсона?

— Да, насчет покрытия полов в основном зале.

Матти глубоко вздохнул и протянул ему руку.

— Ладно, сынок. Будь осторожен. Пока..

Синий «бентли» Александра Смитсона прошуршал вверх по Уиллоу-хилл и свернул прямо к дому Белфорда Смитсон поставил машину рядом с «мерседесом» Мартина Кейна и даже присвистнул от удивления.

— Она действительно пошла в разгул,— заметил он, обращаясь к жене.— Посмотри-ка, вон машина Уиллоуби, а «порш» Тренчарда стоит там, на дороге. Все у нее в лучшем стиле. Наша Эви не признает низших слоев общества.

Вера скривилась и сердито фыркнула.

— Нашей Эви подавай все самое лучшее... за наши деньги. Она заговорит меня до полусмерти, если только ею не займется Тони. Ой, Алекс, она такая зануда.

— А как насчет осенней поездки в Испанию?

— Я не поеду... Во всяком случае, не в этом году.

— Пока мы не можем ее отшить. Нам нужен Белфорд. И скоро станет еще нужнее. Кстати, а где подарок?

— Подарок? Еще чего не хватало. Они уже получили подарок — этот дом.

Смитсон нажал кнопку, в холле послышался мягкий перезвон. Дверь отворилась. Вера и Ева обнялись, как сестры, встретившиеся после долгой разлуки. Смитсон поцеловал Еву, потом через холл направился в просторную гостиную.

— Алекс! — обрадованно воскликнул Марк, тряся его руку.— Очень рад, что вы смогли приехать. Пошли к бару, выпьем.

Часа через два Марк, опираясь с двух сторон на дружески подставленные плечи, стоял пошатываясь на стеганом диванчике.

— Дорогие друзья,— лепетал он.— Я просто хотел сказать... спасибо, что пришли... Я... Я... Мой друг Алекс только что сообщил мне новость... Мой... мой центр будет закончен двадцатого октября. Я благодарю моего друга Алекса, потому что...

В холле зазвонил телефон. Марк под аплодисменты присутствующих скатился с диванчика.

— Кто-то просит Марка,— недоуменно сказала Ева.

Смитсон почти на руках донес его до телефона.

— Иди-ка послушай. Может, кто-нибудь хочет снять площадку для сквоша, а? Марк хихикнул и взял трубку.

— Марк Белфорд у телефона. До вторника никаких сквошей.

— Веселишься?— Голос звучал холодно и глухо.— Веселись, веселись... Это твоя последняя вечеринка. Я доберусь до тебя, Белфорд, сопливая лицемерная свинья. Вы с Элдриджем оба получите по заслугам.

Послышался щелчок и короткие гудки.

У Марка отвисла челюсть. Он застыл, не выпуская из рук трубки и тупо моргая.

Смитсон нахмурился:

— Марк, что случилось? Ты белый как мел.

Марк выронил трубку и разбил стеклянный столик. Потом повернулся, и его вырвало прямо на новый аксминстерский ковер.

Спустя еще два часа Феликс Мур, редактор грэнтонской «Газетт», в сотый раз взглянул на светящийся циферблат своих часов. Он зевнул, и его могучее тело приняло более удобную позу на сиденье автомобиля, стоявшего метрах в ста ниже по Уиллоухилл. Часы показывали без семнадцати минут два. Он потер рукой лысину и затылок.

— Давайте закругляйтесь, поскорей,— пробормотал он.

Генри Лонгмен повернулся к нему и произнес резким надтреснутым голосом:

— Теперь уже недолго осталось. Кончается гулянка.

— Никто из главных еще не уходил,— вздохнул Мур.

— Теперь могут выйти каждую минуту. Сам увидишь,— сказал Лонгмен.— Обрати внимание, куда пойдет Элдридж со своей пузатой коровой — прямо из одной двери в другую.

— У меня жена тоже толстая,— с сожалением процедил Мур и прикурил новую сигарету от окурка. Он уже докуривал и эту, когда в доме Белфорда началось какое-то движение. Зажглись фары, послышался шум моторов.

— Вот они,— радостно вскрикнул Лонгмен.

На дорогу выкатился «бентли» Смитсона. Он проехал мимо них, и они успели разглядеть головы и быстро двигающиеся губы.

— Видишь! — Лонгмен ткнул Мура в бок.— Смитсон с женой. Что я тебе говорил?

Затем проехала машина Уиллоуби. Мур оживился. Через десять минут в начале подъездной аллеи появились двое. Они медленно направились к серебристому «поршу».

— Это же молодой Тренчард,— сказал Мур.

— А с ним жена Белфорда,— добавил Лонгмен.

Оба смотрели, боясь дохнуть. Парочка остановилась у машины. Тренчард повернулся к Еве и обнял ее за талию.

— Ну и ну,— поразился Мур.— Ты только взгляни.

Наконец Тренчард разжал объятия, и Ева помахала вслед машине.

— Ну вот. Что я говорил? Уиллоуби, Смитсон, Тренчард и Элдридж. Целая воровская шайка.

— Требуется доказать,— сказал Мур.

— Надо найти доказательства. Знаешь, что это может для тебя значить, Феликс, а? Поймай их с поличным, и ты прогремишь на всю страну.

— А с чего начать? Как доказать, что они между собой связаны? Это не просто, а может, ты вообще ошибаешься.

— Нет, не ошибаюсь. Я готов поставить последний фунт, что фирма «Ютопиа» принадлежит Смитсону. Один сборщик налогов не раз видел его там. Это он свил гнездышко для Белфорда, и для Элдриджа тоже. А они в благодарность состряпали ему подряд на строительство. Иначе быть не может. А Уиллоуби? Ему что здесь надо? К чему такой шишке водиться с членами грэнтонского муниципалитета...— Лонгмен

осклабился.— Я знал, что доберусь до Элдриджа. До него и до этого выскочки Белфорда. Тони Тренчард тоже из их компании. Он у них по юридической части.

— И по части жены Белфорда,— напомнил ему Мур.

Лонгмен замолчал, пытаясь собраться с мыслями.

— Ну и банда,— прошипел он.— Воры, мошенники. Хорошо, что я заставил сына позвонить. Бьюсь об заклад, он порядком струхнул. Эта парочка проведет сегодня бессонную ночь.

Мур фыркнул и закурил новую сигарету, не сводя прищуренных глаз с дома Белфорда.

— А знаешь, это может быть дельце что надо,— прошептал он убежденно.

— Кому ты говоришь! — отозвался Лонгмен.— Я хочу увидеть, как они получат по заслугам. Все до одного.

— Придется раскапывать факты, подлинные сухие факты, а то как бы не вышло, что мы плюем против ветра.

— Ты ведь газетчик, Феликс. Ты можешь прославиться благодаря этому делу.

— Ладно, поехали,— бросил Мур.

Лонгмен тронул машину с места.

Марк Белфорд в то лето не видел солнца. Дни сбегались в недели, недели — в месяцы, а он и не замечал, как они проходят. Каждый миг он жил на грани катастрофы. Голос в телефоне не давал ему покоя, слышался во сне и наяву, тихий и зловещий. Иногда за ним следовал дикий, торжествующий хохот. Но ничего не происходило.

Строительство Грэнтонского спортивного центра стало для него наваждением. Он трижды в день проверял, как оно движется. Это было единственное утешение среди кошмаров.

Когда Марк вез Еву с детьми на аэродром, все молчали. Им больше не о чем было говорить. Он был уверен, что Ева не полетит в Испанию, узнав, что Верин доктор не советовал той лететь из-за мигреней.

— Конечно, я полечу,— заявила Ева.— Алекс сказал, что дом стоит совсем пустой. Разве я могу так расстроить детей.

В аэропорту он поцеловал мальчиков и повернулся к Еве:

— Мне будет не хватать тебя... особенно в субботу.

Она улыбнулась и прижала губы к его губам.

— Это твой день, Марк. Большой день. Будь счастлив.

В доме на Уиллоу-хилл раздался звонок в дверь. Марк вскочил. Было десять вечера. За дверью стоял Элдридж. Глаза вытаращенные, лицо расстроенное.

— Можно войти? Есть разговор.

— Конечно,— ответил Марк.— А что, какая-нибудь неприятность?

— Неприятность? — эхом повторил Элдридж.— Этот подонок Лонгмен — вот какая неприятность.

— Лонгмен? А что он сделал?

— Он ни черта не знает. Но треплет языком по всему городу. Ползут слухи о мошенничестве. Я подумал, что надо тебе сказать. Держись спокойно и — ни слова. Я говорил со Смитсоном. Он в курсе дела, и Маллери тоже.

— Еще и Маллери!

Элдридж жестом остановил его:

— Маллери давным-давно все известно. Не тревожься, вспомни, он же с нами. Он просмотрел все материалы. Ничего из этого не выйдет, ручаюсь тебе.

Марк закрыл лицо руками.

— О господи, Берт. Вот оно. Теперь они нас накроют.

— Никто нас не накроет, если ты будешь сидеть тихо. Они не могут нам ничего пришить. По документам у нас все в ажуре.

— А заявки... как быть с заявками?

— С заявками все как надо. Смитсон не такая шляпа. По срокам его заявка опережает остальные на целую неделю.

— Ох, я чувствовал, что так будет,— простонал Марк.— Этот пузырь когда-нибудь должен был лопнуть. Я...

— Успокойся! — повелительно сказал Элдридж.— Мы ответим ударом на удар. Мы возьмем его за жабры на совете. Потребуем тщательного расследования. Покажем им,

что для нас главное — установить истину. Нам нечего бояться. Я только что узнал от смитсоновского дружка в Лондоне, что меня представили к награде. Так что это мне полагалось бы раскиснуть, если бы я не был уверен, что все будет в порядке. Послушай, Марк, приди в себя, нам нечего бояться.

— Боюсь. Не могу отделаться от страха с того самого вечера, когда мы вскрывали конверты с заявками.

— Ты совсем сдурел. Сам Шерлок Холмс не смог бы пришить нам это дело. Погано выглядишь, Марк. Тебе нужно отдохнуть. Ну, выше голову, и мы всех их побьем. О'кей?

Марк неуверенно кивнул. Элдридж потрепал его по плечу и захромал к выходу.

До самой полуночи Марк не двигался с места. Потом вдруг встал и пошел как во сне. Поднял трубку и позвонил Алексу Смитсону. «Ответь, ответь», — цедил он сквозь стиснутые зубы. Но ответа не было. Страх гнал его на улицу, в ночь — страх и непреодолимая потребность найти поддержку, успокоиться. Он летел к дому Смитсона. Вот уже показались огни у дома и машины на подъездной аллее. Одна Уиллоуби, другая — самого Смитсона. Марк не отрывал палец от кнопки дверного звонка, пока на узорчатом стекле не обозначилась чья-то тень. Это была Вера.

— Марк Белфорд! Боже мой, что...

— Где Алекс? Алекс дома?— еле слышно прошептал он.

— Конечно, но...

— Так почему же он не отвечал? Почему не подходил к телефону, черт возьми?

В холле появился Смитсон. За ним — Уиллоуби.

— Марк! Что случилось, дружище?

— Алекс, Элдридж... Элдридж сказал мне о Лонгмене.

У Смитсона вырвался вздох облегчения. Он досадливо улыбнулся.

— И это все? — Он обнял Марка за плечи.— Иди сюда, давай выпьем. Лонгмен же — трепач. Он зеленеет от зависти. Ну побрюзжит еще недельки две и заткнется. Он не может навредить нам, Марк. Нам никто не страшен, если только...

— Только — что?

— Если кто-нибудь из нас не окажется настолько глуп, что запаникует. Это будет выглядеть как признание вины.

— Алекс, я ничего не могу с собой поделать. Считайте меня дураком, но я из-за этого уже много месяцев сам не свой.

— Но почему? Ведь Лонгмен не называет никаких имен... во всяком случае публично. А если назовет, то ты пригрозишь ему судом. Затем ты идешь к Тони Тренчарду и требуешь удовлетворения. Но этого никогда не будет. Погляди на нас. Нам есть что терять, и побольше, чем тебе.

— Я знаю... знаю. Но ведь... ведь это такой позор, даже если тебя только подозревают.

Смитсон поджал губы.

— Знаешь, сынок, пора бы тебе стать более толстокожим. В этом мире ничего не добьешься, если слишком чувствителен к чужому мнению. Что бы там ни болтал Лонгмен, а эта суббота — твой день, Марк. И спортивный центр — твой. Ты сделал его реальностью — тебе за это честь и слава. Кстати, Гилу дали премию за проект твоего комплекса. Большую премию, Марк, самую главную в Англии.

Марк повернул потухшие глаза в сторону Уиллоуби.

— Это хорошо,— прошептал он.— Это очень хорошо.— Он допил бокал и поднялся.— Даже Элдридж доволен. Он получает медаль из рук королевы.

— Надо и ему что-то иметь,— пожал плечами Смитсон.— В конце концов, ты же получил свой спортивный центр.

— Да, я получил свой спортивный центр,— повторил Марк сухим, надтреснутым голосом.

Дни проплывали как привидения — вне времени и пространства. Утром в понедельник Марк съездил в строительную контору и больше не решался выходить.

В пятницу вечером в дверь позвонили. На пороге стоял Фред Маллери.

— Марк... Господи, ты же на мертвеца похож. Какого черта ты заперся в этой душной берлоге? Смитсон решил, что ты запил. Он очень беспокоится, Марк.

Марк сел, стиснул руки.

— Я болен.

— Чепуха,— с расстановкой сказал Маллери.— Лонгмен пустил грязный слушок,

только черта с два он сумеет что-нибудь доказать. Ты чист как стеклышко. Давай-ка возьми себя в руки. Завтра — твой день.

— Завтра? — пролепетал Марк.

— Завтра ведь суббота. Торжественное открытие. Смитсон очень боится, что ты не придешь.— Маллери потрепал Марка по колену.— У тебя все будет хорошо. Бери пример с Элдриджа. Он стреляный воробей. И знает, что он как за каменной стеной. Смитсон своих в обиду не дает. Ты теперь член такой крепкой лиги, что плевать тебе на всех лонгменов на свете, понятно?

Марк заставил себя кивнуть. Он готов был на все, лишь бы Маллери поскорее убрался. Но Маллери просидел около двух часов и рассказал кучу историй о своей работе в полиции. Наконец он с неохотой поднялся.

— Ну ладно, надо, пожалуй, двигаться. До завтра. Позвони Алексу... И перестань психовать.

— Да, да, надо перестать психовать...

Марк с минуту смотрел ему вслед, потом перевел взгляд на дверь гаража. Ее полированную поверхность пересекали две надписи, сделанные белой краской из аэрозоля. Большие и четкие буквы — напоказ всему Грэнтону: «Белфорд виновен», а ниже — «Белфорд сволочь». Слабый стон сорвался с его губ. Он вбежал в дом и кинулся на кухню. Наполнил ведро горячей водой и стал лихорадочно шарить по всем шкафам; наконец он нашел пачку стирального порошка и щетку и трудился над этой дверью, пока руки не стали отваливаться. Но все было напрасно.

— Это правда, сынок?

Марк вздрогнул и обернулся.

— Ох, Марк,— горестно сказал Матти, подходя к нему.— Попал ты в беду, сынок.

Толстыми волосатыми пальцами Матти схватил Марка за руку.

— Пошли в дом.

— Зачем?

— Я хочу помочь тебе.

— Этот спортивный центр нам нужен. — Марк говорил странным, задыхающимся шепотом. — Он ведь нужен нам, верно?

— Да, нужен.

— Завтра мой день.

— Да, завтра — твой день,— кивнул Матти.

— Но знаешь, Матти, я ведь виноват. Там на двери написано. И знаешь, это правда.

— Знаю, сынок, знаю,— ответил Матти ласково, словно утешал ребенка.

— Я — подлый преступник. И они заберут меня... рано или поздно.

— Ты далеко пошел.— Матти грустно улыбнулся.— И слишком быстро. Ты должен был разрешить мне направлять тебя. Со мной было бы безопасно.

— То есть как?

— Ты мог бы получить все это... со временем. Ведь это я выдвинул тебя, Марк. Уговорил, чтобы тебя выбрали в муниципальный совет. Но ты залетел слишком высоко. А я все рассчитал.

— Ты?

— Да. Я брал деньги. Копил для тебя, для Евы и ребятишек. И я думал, что знаю, как помочь тебе добиться своего. Но ты сразу слишком далеко пошел...

— Ты, Матти? — задохнулся Марк.— Ты брал деньги?

— Понемногу.— Матти пожал плечами.— То там, то сям по нескольку фунтов. Я копил их для...

Марк схватился за голову.

— Матти, только не ты, нет, только не ты.

— Послушай сынок, ты не единственный, ни в коем разе. Не бери на себя вину за весь грэнтонский муниципалитет.

— Но кто же?..

— Да Смитсон, Элдридж и прочие. Мои побочные доходы к твоим услугам, если желаешь, и получены без всякого риска.

Весь мир внезапно рухнул для Марка.

— Матти, я не могу поверить. Только не ты.

— Я человек. И у меня есть свои... слабости. Прости меня, Марк.

И вдруг Марк выкрикнул, как последнюю надежду:

— Но Маллери сказал, что все будет в порядке. Смитсон и Элдридж...

Матти покачал головой.

— Лонгмен написал начальнику полиции графства. Он недоволен ходом расследования в Грэнтоне. У Феликса Мура готова статья для «Газетт» — она выйдет завтра. Убийственная разоблачительная статья — специально к открытию Грэнтонского центра.

Марк медленно подошел к окну. День был на исходе. В комнате стало темнеть.

— Я, пожалуй, лягу, Матти. Ведь завтра — мой торжественный день.

Матти кряхтя встал.

— Ты придешь?

— Это же мой спортивный центр, Матти.

— И будешь в порядке?

— Я чувствую себя отлично.

Великан положил руку Марку на плечо.

— Выше голову, сынок. Встречай свой праздник. Если бы не ты, никто ничего бы не получил: ни город, ни Смитсон, ни Уиллоуби, ни Элдридж... ни даже я.

— Это был единственный путь,— тихо сказал Марк.— Единственный путь добиться всего.

— Да, я знаю.

Стоя у окна, Марк смотрел вслед уходящему Матти. Побежать бы сейчас за ним, уцепиться, как щитом, загородиться от врагов его силой. Но по мере того, как Матти скрывался из виду, Марк понимал, что теперь может надеяться только на себя. Матти уже не вытащит его из вязкой трясины, тянущей на дно. Он отошел от окна. В доме стояла гнетущая тишина. Он искал хотя бы искорку, проблеск утешения, но утешения не было. Ему вдруг стало холодно. Он вспомнил эту комнату, полной тепла, света и счастья. Захотелось услышать голос жены и вообразить, что она рядом. Тяжело волоча ноги, он вышел в холл.

Минут через десять его вызвала международная. Он долго не решался взять трубку, боясь, что кто-то обрушится на него с бранью или оглушит новыми горькими истинами.

— Испанию заказывали? — спросила телефонистка.— Соединяю.

— Ева, это ты? — прохрипел он.

Но ответила не Ева. Женщина говорила с сильным испанским акцентом:

— Алло, алло. Сеньоры Белфорд нет дома.

— А где она?

— А кто спрашивает?

— Марк Белфорд, ее муж.

— О, сеньор Белфорд, si. Здравствуйте. Это Марианна. Сеньора Белфорд уехала на обед.

Марк помнил ее. Это была девятнадцатилетняя дочь экономки.

— Какой обед? А где дети?

— Они спят. Они весь день играли.

— Марианна, а где она обедает?

— Не знаю. Сказала, что будет поздно. Я сегодня ночую здесь.

Марк закрыл глаза.

— Спасибо, Марианна.

— Я скажу сеньоре Белфорд, чтобы она вам позвонила. Или вы что-нибудь хотите передать?

— Нет... ничего.

Он положил трубку. Постоял в темноте, стараясь сдержать слезы отчаяния. Вспомнив совет Смитсона, снова поднял трубку и набрал номер Тренчарда. Это была последняя надежда. Может, Тони Тренчард при помощи каких-нибудь юридических хитростей избавит его от мучений.

— Алло, Тони?

Ответила его мать.

— К сожалению, Тони нет.

— А когда он будет? Мне надо с ним поговорить.

— Он приедет только в воскресенье вечером. Он отдыхает.

— А не скажете где? Это Марк Белфорд. У меня очень срочное дело.

Голос сразу стал сухим.

— Ах, Марк Белфорд. Тони сейчас в Испании.

— А где именно? Он не оставил номер телефона?

— Нет, Я даже не знаю названия отеля. Где-то в Сан-Фелиу — вот все, что он сказал.

— Сан-Фелиу... Позвольте, так это же там, где... Ева... Нет... Нет, этого не может быть. Не может быть!

Он сам не знал, сколько времени простоял так. Только чувствовал холод — такой холод, которого не испытывал никогда в жизни. В костях ломило. Но впервые за многие месяцы голова была ясная, а тело гибкое и послушное. Он медленно подошел к лестнице и стал подниматься твердым, легким шагом. Постоял в спальне у окна и долго, не отрываясь, смотрел в черную пустоту. А когда под темным крылом ночи мягко обозначился первый проблеск зари, он уже знал, куда ему идти и что делать. Наступал новый день. День его торжества. Он ждал его почти тридцать лет.

Гордон Паркер из Нортумбрии

Кто не знает, что испокон веков дом англичанина — его крепость. Осмелюсь утверждать — это вполне справедливо применительно и к современной Англии. Конечно, было бы преувеличением обвинять англичан в пренебрежении законами гостеприимства, но типичный английский дом всегда живет по каким-то своим законам. Тебе их не навязывают, даже если ты провел в доме несколько дней. И все же, несмотря на вежливое расположение, приветливые шутки и заинтересованность, все время ощущаешь, что хотя ты уже за стенами крепости, во внутреннем дворе, но в саму резиденцию не попал, да и неизвестно, попадешь ли вообще.

Судьба была ко мне благосклонна. Наряду с домами-крепостями мне довелось посещать дома совсем иные. Таков дом Гордона Паркера — светлый, открытый и дружелюбный. Он стоит на краю деревушки ли, городка ли — сказать трудно; оперируя принятыми у нас понятиями, назовем Ситон Делаваль поселком городского типа. Расположен этот поселок милях в десяти от Ньюкасла, крупного промышленного центра на севере Великобритании.

Из широких окон кухни и гостиной видны луга и перелески. Природа английского Севера удивительно напоминает Подмосковье. Вьющаяся в кустах речка, по берегам которой мы гуляли, показалась родной сестрой Истры или Протвы.

Все жители небольшого уютного дома — милая, заботливая жена Гордона Энн и две веселые дочки-погодки Ким и Трейси — приняли московского гостя как члена семьи. И только единственный аристократ в семье, огромный и исполненный сознания собственного достоинства кот по имени Мармадьюк, выражал явное неудовольствие, когда я занимал его любимое кресло в гостиной.

Несколько дней, проведенных в доме Паркера летом 1981 года, только укрепили то почти безотчетное чувство симпатии и интереса, что возникло при первом знакомстве... В марте 1979 года он пришел в мой гостиничный номер из слякотного воскресного утра. Запомнилось: скромная спортивная куртка, открытое улыбчивое лицо и крепкое рукопожатие человека, знающего, что такое физический труд.

И обликом, и манерами, и озабоченностью глобальными проблемами современности он очень напомнил мне моих товарищей, московских прозаиков из «поколения сорокалетних».

Та лондонская встреча была недолгой — Гордон торопился обратно в Ньюкасл: утром на работу. Я передал ему несколько экземпляров его книги «Темное утро», вышедшей в Москве на английском языке, и спросил о том, что меня давно занимало. Почему для своего писательского дебюта он выбрал историческую тему (роман посвящен жизни английских шахтеров в середине XIX века)? Паркер дал мне исчерпывающий ответ: «Каждое утро по пути на работу я проезжаю мимо памятника погибшим во время катастрофы в 1862 году. Написать о них было моим долгом».

Летом 1981 года мне удалось воспользоваться приглашением Паркера и приехать к нему.

Паркер увлечен историей своей малой родины — графства Нортумберленд, некогда бывшего могучим и влиятельным королевством Нортумбрия. В XIX и в первой половине XX века Ньюкасл стал крупным промышленным городом. С 1800-го по 60-е годы нашего столетия в округе были сосредоточены крупнейшие на Британских островах угольные разработки, но сегодня невыработанных шахт почти не осталось. Клонится к закату и вторая ведущая отрасль — судостроение. Район переживает тяжелую промышленную депрессию — безработица существенно превышает средний уровень по стране.

Рабочий Север — давняя и признанная цитадель лейборизма. Каких только нелестных и далеко не всегда цензурных эпитетов в адрес миссис Тэтчер не наслушался я в старинном, XVIII века пабе «Тучный телец». Даже Гордон, по убеждениям, прямо скажем, не консерватор, был несколько смущен языковой изобретательностью своих земляков.

Паб — своего рода клуб, где за одним столом могут ссйтись местный подметальщик улиц и управляющий шахтой, доктор философии и инженер-строитель. Так у нас и вышло в один из вечеров. В свободной беседе, когда все тебя называют по имени и без церемоний перебивают, отразился своеобразный демократизм английского Севера.

Побывали мы с Паркером и в рабочем клубе, куда люди приходят поиграть в шахматы или бильярд, выпить кружку пива или встретиться с приятелем, а также посостязаться в метании стрелок.

Окружение писателя, его дом, те, кто изо дня в день с ним рядом,— все это помогает лучше понять его книги. Каждодневный жизненный опыт исподволь складывается в биографию.

Гордон Паркер родился в 1940 году в Ньюкасле. Отец всю жизнь работал электромонтером. Тесть — шахтер, двадцать пять лет проведший в забое. Будущий писатель учился в вечернем политехническом институте, где получил специальность судового инженера. Два года плавал на танкере механиком. До сих пор работает на заводе, производящем турбины, а пишет вечерами и в выходные — литературой на Западе прожить нелегко. Поддерживает Гордона в его творческих исканиях патриарх рабочих писателей Англии, хорошо известный советскому читателю Сид Чаплин.

Роман «Омут» — третья по счету книга Паркера и его первое произведение о современности.

Паркер — писатель открыто социальный. Сказать, что его «занимает» жизнь английского общества,— значит ничего не сказать. Он исследует, препарирует, пробует жизнь на излом, при этом ни в коей мере не жертвуя художественной убедительностью образов.

Пролог «Омута», повествующий о самоубийстве главного героя, сразу же задает роману трагическую тональность. Читатель знает итог жизненного пути героя, пути мучительных сомнений и непоправимых ошибок. Хотя начало карьеры простого чертежника Марка Белфорда должно как будто укрепить веру в прочность и незыблемость хваленой британской демократии. Он в качестве кандидата лейбористов баллотируется в члены городского совета и без особого труда побеждает бывшего депутата-консерватора. Марк — честный идеалист, мечтающий принести хоть какую-то пользу городу. В своем благородном стремлении построить в Грэнтоне спортивный центр Марк готов пойти и на разрыв со своим «благодетелем», мэром Элдриджем, и бросить вызов сильным мира сего — Уиттону, Смитсону, Кейну и другим. Его пробуют запугать, потом подкупить, но он не сдается. Однако наивному Марку далеко до хитроумного и циничного Смитсона. Пусть Марк победил и застопорил строительство мусоросжигателя. Но это пиррова победа — ведь Смитсону глубоко безразлично, что строить. Ему нужен крупный подряд и возможность беспрепятственно манипулировать со сметой.

Мы нередко читаем в газетах, что в том или ином небольшом городе какой-то капиталистической страны мэром избран лейборист, социалист или социал-демократ — одним словом, представитель левых сил. И тут же, буквально рядом, мы читаем о том, как велик процент безработицы, как плохи жилищные условия и т. д. Почему же левому мэру не удается улучшить жизнь своих избирателей? Оставим в стороне случай Элдриджа, который откровенно заботится лишь о собственном процветании. А что смог бы Марк, стань он мэром? Известно, что городской совет решает вопросы исключительно местного значения — жилищное строительство, здравоохранение, образование, охрана окружающей среды,— причем бюджет совета крайне ограничен, а потому необходимы субсидии, которые запрашиваются у правительства. Частные компании соперничают в борьбе за подряды, всячески используя «маленькие» слабости муниципальных властей. Но даже самый честный мэр, окруженный самыми неподкупными чиновниками, рано или поздно будет вынужден обратиться к «сильным» людям города.

Паркер показывает, как работает механизм управления капиталистического государства на городском уровне. Старый закон — кто платит, тот и заказывает музыку — действует без поправок и сбоев. Чиновники муниципалитета продажны и готовы протащить любой проект, выгодный истинным хозяевам города; члены городского совета либо вовсе безразличны к делам, либо, как Элдридж, преследуют собственный корыстный интерес. Противостоять этой отлаженной машине не смог бы и более умудренный политик, нежели Марк.

Он попадает в ловушку, умело расставленную Смитсоном. Их интересы в конечном счете совпадают. Марку нужен спортивный центр, эта идея делает его одержимым, ради ее воплощения он готов на все, а Смитсону нужен в городском совете человек, который поддерживает заведомо заниженную смету строительства. Реальную же сумму расходов Смитсон выставит уже после одобрения проекта муниципалитетом. Сцена «совращения» Марка Смитсоном выстроена точно. Марк никогда бы не поддался, если бы не увидел свою мечту воплощенной в макете. Но, приняв условия игры, став и взяточником, и казнокрадом, он так и не превратился в послушную марионетку Смитсона. Его мучит совесть, сознание собственного падения. И в этом сюжетном построении роман Паркера обретает поистине высокий пафос трагедии. Конфликт человека и окружающего мира усугубляется конфликтом в душе самого героя.

Внешне Марк на гребне успеха. Его знают и уважают в городе, а если кто-то и распускает про него сплетни, так это общий удел политических деятелей. Но в душе Марк не может с этим примириться — он-то знает, что все осуждающие разговоры — правда. Ему никогда не стать на стезю Элдриджа. Писатель как бы предлагает герою

еще один путь — грешить помаленьку, как его верный друг Матти, успокаивая себя тем, что в конечном счете все оправдывается благородством цели.

Однако для Марка цель вовсе не оправдывает средства. И тут на память приходит роман знаменитого английского писателя Уильяма Голдинга «Шпиль», в котором главный герой, безумный настоятель собора Джослин, вопреки здравому смыслу принося в жертву человеческие жизни, воздвигает над своим собором огромный шпиль. Выполнив свою задачу, Джослин умирает от болезни.

Не сравнивая ни масштабы дарований, ни художественные почерки двух писателей-современников, нельзя не заметить того, что ныне принято называть типологическим сходством.

Джослина искушает гордыня. Марк поддается более земным и конкретным соблазнам. Оба героя гибнут. Но в высшей степени существенно, что Марка к краю гибели подводит нравственный императив: человек органически не может существовать с сознанием того, что он — мошенник.

Кто повинен в смерти честного, порядочного героя? Смитсон, Элдридж, Кейн или жена Марка, Ева, никогда его не понимавшая и стремящаяся только к тому, чтобы иметь и потреблять? Наверное, все вместе. А это и значит, что Марка Белфорда убило общество в самом прямом значении этого слова.

Так, на примере Грэнтона Паркер выносит заслуженный и обоснованный приговор системе: честному человеку в ней нет места, он либо становится мошенником, либо погибает

Марк обречен еще и потому, что изменил своим принципам, которыми когда-то дорожил. «С первого дня своей трудовой жизни... он был лишь одним из многих. И чувство товарищества, сознание того, что вместе со всеми он делает общее дело, всегда служили ему опорой. А у боссов товарищей нет, они одинокие, странные люди, мишень для насмешек». Любопытно и знаменательно, что Марку буквально вторит Смитсон, спрашивающий у Кейна: «... много ли у тебя обычных друзей?»

Марку нужно истинное товарищество, подлинный коллективизм, а не круговая порука, которой связана правящая Грэнтоном мафия. Но ему не на кого опереться. Даже Матти добрый, бесхитростный Матти, и тот не сумел сохранить свою честь незапятнанной...

Роскошный, суперсовременный центр Грэнтона оплачен самой дорогой ценой — ценой человеческой жизни. Но великая правда диалектики в том, что герой добился своего: нет больше зловонного Даттоновского пруда, постоянной угрозы мальчишкам Грэнтона, а есть центр, где они смогут развиваться, расти здоровыми и сильными. Значит, все-таки не зря жил на земле такой наивный и трагический мечтатель — Марк Белфорд.

Особо следует сказать о жене героя. Конечно, проще всего окрестить Еву ограниченной мещанкой. Но она, как и все остальные персонажи романа, продукт определенной социальной системы, ловко направленной пропаганды. Нынешние идеологи капитализма пытаются распространить миф о стирании классовых границ и различий в современном «государстве всеобщего благоденствия». В самом деле, богатый владелец строительной фирмы Смитсон запросто принимает у себя простого чертежника Белфорда, помогает ему и советом, и делом. Наивные Марк и особенно Ева верят в то, что их одаряют искренним расположением. Бедной дурочке Еве никогда не сравняться с глубоко презирающими ее Смитсонами — хотя бы потому, что у нее никогда не будет такого бачковского счета. Но эталон счастья и процветания, стереотип «достойного» дома, «престижной» машины, туалетов и драгоценностей из журнала «Вог» — все это, умело подогреваемое модой, порождает в таких провинциалках, как Ева, непреодолимый потребительский синдром.

Грэнтона нет на карте Великобритании. Но очень знакомым предстает его промышленный силуэт — лес дымящихся фабричных труб, темно-серые, приземистые и мрачные складские помещения рядом с железной дорогой.

«В конце улицы за высокой оградой громоздились уродливые и невозмутимые газгольдеры, и воздух был щедро пропитан таинственными едкими запахами. То и дело мелькали мертвенные вспышки, похожие на зарницы. Это были огни сварки: на «Уиттон энджиниринг» работала ночная смена. На весь город разносилось сердитое стаккато отбойного молотка, эхо гулких, ухающих ударов тяжелого пресса, кующего упрямую сталь».

Это типичный облик Йоркшира и Нортумберленда, Бирмингема и Ковентри, Манчестера и Ливерпуля. И как бы ни морщились литературные снобы, индустриальный пейзаж XX века, несомненно, стал фактом литературы. В романе Паркера этот пейзаж становится символом-лейтмотивом враждебных Марку сил: вонючий пруд, угольные отвалы, мертвые шахты, свалки промышленных отходов — все это порабощает человека, засасывает его. Но для самого писателя, сына рабочего и инженера по профессии, в пейзаже Ньюкасла и ему подобных городов заключена своеобразная привлекательность.

Хочется верить, что Гордону Паркеру из Нортумбрии суждена долгая и счастливая жизнь в литературе. Сегодня, когда поток развлекательного чтива буквально захлестывает прилавки книжных магазинов, его романы не могут не вызвать интерес серьезностью и злободневностью затрагиваемых в них проблем, точностью и последовательностью социально-критической оценки.

ГЕОРГИЙ АНДЖАПАРИДЗЕ

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

С греческого

Как и двадцать лет назад, Греция отмечает «год Кавафиса» — исполнилось 120 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти поэта. Вновь литературные журналы посвятили ему специальные номера, публикуются материалы из его архива, проводятся юбилейные вечера, циклы лекций, научные конференции, издательства сообщают о выходе в свет новых монографий — не только ведущих специалистов-кавафоведов, но и целой плеяды молодых ученых.

За минувшие двадцать лет репутация Кавафиса как выдающегося национального поэта окончательно упрочилась, отчетливо проявились не только высокие нравственные ценности и новаторские стилевые открытия его поэзии, но и ее активная роль в современном литературном процессе Греции, ее воздействие на художественный поиск новых поэтических поколений. Именно эти проблемы, связанные с осмыслением места Кавафиса в греческой литературе нового времени и актуальности его литературного наследия, стоят в центре нынешних исследований и доминируют в юбилейных торжествах 1983 года.

Многое в литературной биографии поэта предопределено тем обстоятельством, что его жизнь протекала вне Греции. Кавафис родился, жил и умер в Александрии. В юности он был свидетелем установления в Египте британского колониального режима и — вместе с ним — стремительного вторжения в страну империалистической эпохи. Вступив в литературу в 80-е годы XIX века на волне романтической поэзии, смутно ощущая потребность в обновлении поэтического языка для воплощения нового усложняющегося исторического опыта, Кавафис отдает дань символистской поэтике, но его приобщение к символизму не означает вхождения в школу, полного принятия ее эстетической программы. Ориентируясь все более отчетливо не на постижение сверхчувственного, а на воссоздание реальной действительности в художественных формулах символической обобщенности, он создает свои античные маски, в которых описание «древних дней» высвечивает волнующую поэта современность.

Личные заметки, сохранившиеся в архиве поэта, свидетельствуют о том, что использование античной канвы виделось Кавафису как средство проникновения в сущность явлений. По словам одного из первых кавафоведов Г. Врисимитзакиса, исторические модели Кавафиса освещают механизм «поведения личности» и «поведения наций» и потому «приложимы как к жизни личности, так и к жизни наций». Развивая эту же мысль, современный исследователь Кавафиса Г. Саввидис пишет об остроте социального, политического видения поэта.

Недаром из арсенала истории Кавафис извлекает периоды распада общественных формаций — поздний эллинизм, позднеримскую эпоху, канун крушения Византии. Это как раз такие страницы прошлого, в которых поэт видит прямые аналогии со своим кризисным временем. В панораме эллинистического мира, попадающего во все большую зависимость от Рима, он раскрывает черты, характеризующие систему взаимоотношений метрополии и колонии: с одной стороны — беззастенчивый диктат силы, грубое попрание национального суверенитета и достоинства, с другой стороны — готовность к угодливому приспособленчеству, тщеславные попытки прикрыть свою роль марионетки внешним великолепием. Так, в стихотворении «Недовольство Селевкида» владыки эллинистических государств — царства Селевкидов (Сирии) и Египта — Деметрий и Птолемей отчетливо сознают, что «по сути дела они давно у римлян в подчиненье, те жалуют и отбирают троны, как им захочется...» Но если Птолемей открыто готов пойти на любое унижение, Деметрий пытается сохранить «остатки прежнего величия».

В 20-е годы Кавафис все чаще черпает материал уже не столько в эллинистической, сколько в позднеримской эпохе, когда столкновения христианства и язычества создают особо острые ситуации в идейной борьбе. Раздвоенность человеческого сознания становится нормой времени. Она вторгается в сферу семейных отношений, и герой стихотворения «Жрец в капище Сераписа», христианин, оплакивающий умершего отца, чувствует себя виновным перед богом в том, что оплакивает язычника, более того — языческого жреца. (В подтексте стихотворения можно усмотреть еще один аспект: христианство, проповедующее любовь к ближнему, отлучает героя от самого естественного чувства — любви к родителям.) В стихотворении «Мирис, Александрия, 340 г. н. э.» история Мириса и его друга дала возможность Кавафису показать жизнь общества, где враждующие религии разверзают пропасть между близкими людьми, внушая сомнения в самой возможности человеческого взаимопонимания. Кавафис выделяет разбивкой в тексте стихотворения слово «чужой» — отчуждение трактуется им как следствие религиозного фанатизма, как печать кризисной, переходной эпохи.

На роли своих героев Кавафис выбирает преимущественно незначительные, периферийные исторические фигуры, а также вымышленные персонажи, образы которых он разрабатывает с полной художественной свободой. Именно в них поэт имеет возможность представить рядовые и типические характеры своего времени. В стихотворении «Из школы знаменитого философа» портрет юноши, которого представляет нам Кавафис, свидетельствует об аморализме, духовной вялости «усталой» эпохи: саркастически относится поэт не только к своему герою, но и к обществу, где такие герои процветают.

Исследуя поведение личности в условиях враждебного ей несправедливого общества, анализируя возможные формы ее выбора, Кавафис безоговорочно осуждает выбор зла и насилия. Не случайно он дважды обращается к образу Нерона (в нашей подборке — стихотворение «Шаги»), неизменно подчеркивая мотив неотвратимой расплаты. Символ нравственного долга в поэзии Кавафиса — Фермопилы, которые необходимо защищать и в великом и в малом, каждым будничным поступком. Это — высокий критерий, с которым он подходит к оценке всех своих героев. Видение нравственного долга у Кавафиса достаточно конкретно и социально обусловлено. Оно предполагает развитое чувство национального достоинства и готовность ценою жизни защищать свою родину, мужество в столкновениях с социальной несправедливостью, безукоснительную верность своему предназначению.

В эпиграмме «Сражавшиеся за Ахейский союз» Кавафис воздает честь греческим воинам, павшим в битве с римскими завоевателями (146 г. до н. э.). И хотя их борьба не увенчалась победой (вину за поражение он, вслед за греческими историками, возлагает на вождей Ахейского союза — Диея и Критолея), подвиг патриотов, отважно отстаивавших свои Фермопилы, представляется поэту достойным вечной памяти потомков. Интересно заключительное двустишие эпиграммы, как бы представляющее читателю ее автора. Это ахеец, которого судьба забросила в Александрию. Кавафис недаром дает нам хронологическую ссылку — «седьмой год царствия Латира-Птолемея», то есть 109 год до н. э., тридцать с лишним лет спустя после поражения Ахейского союза. Господство Рима над эллинистическим миром казалось тогда незыблемым; эллинистические монархии, и в частности александрийские Лагиды, давно уже смирились со своим вассальным положением. В этих условиях патриотическая эпиграмма звучит как заклинание, призыв помнить подвиги предков, хранить верность национальным традициям свободолюбия.

Именно этот мотив героического стоицизма подхватит у Кавафиса современная греческая поэзия. В один ряд с Фермопилами у Кавафиса (см. стихотворение «Сражавшиеся за Ахейский союз») она поставит «Золотое руно» Янниса Рицоса и «Кошек св. Николая» Георгоса Сефериса. Как и предполагал Кавафис, его поэзия не стала «узницей библиотек», она полноправно участвует в нынешнем литературном процессе как живое и действенное явление.

С. ИЛЬИНСКАЯ

Шаги

На ложе черном, с изголовием точеным,
украшенным орлами из коралла,
так безмятежно спит Нерон, и так бесстыдно счастлив он,
и плоть цветущую румянит сладкий сон,
а также юности божественная сила.

Но в белой зале алебастровой, где было
так безмятежно, так уютно древним ларам,
божкам домашним, охраняющим чертоги,—
теперь дрожат перед погибельным кошмаром,
полны тревоги эти крошечные боги
и тельца судорожно спрятать норовят.
Слышна им поступь роковой развязки:
шаги железные на лестнице гремят,
ступени стонут в леденящей пляске.
И лары, дикие, как стадо смертных тварей,
почуяв ужас, прячутся в ларарий,
толкаясь в свалке крошечных богов
и друг на друга падая безумно.
Им ясен этот гул шагов — лишь у Эриний шаг таков,
Эриний поступь им слышна, хотя она бесшумна.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Недовольство Селевкида

Был недоволен Селевкид Деметрий,
узнав о том, в сколь жалком состоянье
в Италию явился Птолемей.
Всего с тремя иль четырьмя рабами,
в убогом платье, нищий. Так, пожалуй,
мишенью для насмешек станет в Риме
их древний род. Хотя по сути дела
они давно у римлян в подчиненье,
те жалуют и отбирают троны,
как им захочется — все это знает Селевкид.
Но пусть по крайней мере внешний облик
хранит остатки прежнего величья,
не должно забывать: они еще цари,
их все еще (увы!) царями величают.

Поэтому встревожен Селевкид Деметрий
и тотчас предлагает Птолемею
пурпурные одежды, диадему,
бесценные алмазы, свиту слуг
и самых дорогих своих коней,
как подобает Александрии монарху.

Однако же Лагид смиренно отклоняет
всю эту роскошь; он прекрасно знает,
что не она ему сейчас нужна.
Без свиты, в бедном платье он явился в Рим
и поселился в доме у мастерового.
Несчастный, жалкий, он предстал перед сенатом
и, видно, ненапрасно полагал,
что эдак больше выпросить сумеет.

Из школы знаменитого философа

Учеником Саккáса был два года он,
но и Саккас, и философия ему приелись.

Потом политикой увлекся.
Забросил и ее. Эпарх — глупец,
приспешники — болваны и чинуши,
двух слов по-гречески связать не могут.

Что, если посвятить себя религии,
принять крещение и стать христианином?
Но этот путь он сразу же отверг.
Родители его враждебны христианству,
такой поступок вызвал бы их гнев,
и что еще важнее — их подарки,
довольно щедрые, тотчас бы прекратились.

Но что-то надо делать. И завсегдатаем
притонов Александрии ужасных,
домов разврата тайного он стал.

Судьба ему на сей раз улыбнулась:
наружностью приятной одаренный,
вкушал он с радостью прекрасный божий дар.

Еще лет десять, может быть и больше,
он будет красотой своей гордиться.
Потом опять к Саккасу он пойдет,
а если между тем старик умрет,
другой философ иль софист найдется,
чего-чего, а их всегда хватает.

А может быть, вернется он к политике,
достойным образом традиции семьи
решившись продолжать и долг исполнить свой
перед отчизной — мало ли на свете громких слов.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

Жрец в капище[1] Сераписа

О добром старце, об отце своем горюю,
о милом батюшке, всегда меня любившем,
о добром старце, об отце своем я плачу,
позавчера скончался он перед рассветом.

Твоей святейшей церкви предписанья,
Христе, всегда во всем покорно соблюдать,
в моем деянье каждом, в каждом слове
и в каждом помысле — вот вечное мое
раденье. Кто же твое имя отрицает,
тот ненавистен мне. Но в горе я сейчас:
отца мне жаль, Христе, отца мне жаль родного,
хоть он при жизни был — сказать мне страшно! —
в поганом капище Сераписа жрецом.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

[1] Языческий храм.

Мирис, Александрия, 340 г. н. э.

Чуть только я узнал, что умер Мирис,
я бросился к нему домой, хотя обычно
я ни ногой в жилища христиан —
особенно когда там траур или праздник.

Неудивительно, что я остался
в прихожей,— было трудно не заметить, как родные
покойного косятся на меня:
я замешательство прочел на лицах.

Часть комнаты, в которой он лежал,
была видна оттуда, из прихожей,
где я стоял: богатые ковры
и утварь — золотая и серебряная.

Я плакал — плакал и не прятал слез.
Я понимал, что сборища, гулянья
лишатся смысла после смерти друга.
Я понимал, что больше он не будет
счастливыми беспутными ночами
смеяться рядом и читать стихи
с его завидным чувством греческого лада.
Я понимал, кого и что я потерял —
навеки, безвозвратно потерял,—
ах, сколько нежности вмещало сердце!

Переговариваясь потихоньку,
какие-то старухи обсуждали
его последний день: в руках — все время крест,
и «Господи Исусе» — на устах.
Позднее в комнату, где он лежал, прошли попы,
их было четверо, они творили
усердные молитвы, обращенные к Христу
или к Марии (я не разбираюсь в их обрядах).

Два года, как мы приняли его
в свою компанию. Мы не могли не ведать,
что он христианин. Нам это не мешало.
Он был во всем со всеми заодно.
Он меры в наслаждениях не знал
и денег не жалел на развлеченья.
Он не боялся, что его осудят,
отчаянно бросался первым в драку
на улицах ночных, когда случалось
нам повстречаться с нашими врагами.
Он с нами о религии своей
не говорил. Однажды мы сказали,
что в храм Сераписа его возьмем.
Он промолчал, но эта наша шутка
пришлась ему не по душе — теперь я вспомнил.
А вот еще два случая, к примеру:
мы как-то приносили Посейдону
дары — и наш красавец отвернулся;
в другой же раз, когда один из нас воскликнул:
«Да будет к нашему союзу милостив
великий, несравненный Аполлон!» —
«Чур не ко мне!» — отмежевался Мирис
чуть слышно (остальные не расслышали).

За молодую душу сочным басом
молились христианские жрецы,
и я отметил про себя, насколько
у христиан внимательно, до тонкости
продуман этот ритуал, который
предшествует обряду погребенья.
И вдруг невероятное открытие
меня пронзило. Появилось чувство,
как будто Мирис от меня ушел,
такое чувство, что он присоединился
к своим, и я с моим нехристианством
ему ч у ж о й. И тут еще одно сомненье
мелькнуло: неужели я ослеп
от страсти, неужели был всегда ему чужим?
Проклятый дом! Скорее прочь отсюда,
покуда Мирис в памяти живет
наперекор всем этим христианам!

Перевод ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

В церкви

Я церкви Греции люблю — их шестикрылья, звоны,
обрядовое серебро, светильники, иконы,
лампады, чаши, алтари, огни, амвоны.

И каждый раз, когда вхожу я в греческую церковь
с благоуханьями ее, сияньем, песнопеньем,
с многоголосьем литургий, священников явленьем —
само величье строгий ритм диктует их движеньям,
их жесты свыше им даны, их облаченье свято,
лампад сияньем, жаром свеч убранство их объято,—
и в этот час объят мой дух величьем нашей Византии,
культурой моего народа, великого когда-то.

Зеркало у входа

Сверкало зеркало у входа в дом роскошный,
одно из тех зеркал, огромных и старинных,
чей возраст — восемьдесят лет, по крайней мере.

Прекрасный юноша, приказчик у портного
(спортсмен-любитель в выходные дни),
стоял со свертком у дверей. Кому-то в доме
он этот сверток передал, и тот со свертком
ушел, чтоб вынести квитанцию. Приказчик
остался в одиночестве и ждал.
Он в это зеркало старинное гляделся
и галстук поправлял. А через пять минут
ему квитанцию вручили. Он взял расписку и ушел.

Но в этом зеркале старинном, которое за долгий век
уже успело насмотреться на тысячи вещей и лиц,—
но в этом зеркале старинном такая радость ликовала,
такая гордость в нем светилась, что хоть на несколько
минут
оно запечатлеть сумело, и безраздельно обладало,
и целиком принадлежало столь совершенной красоте.

По мере сил

Когда не можешь сделать жизнь такой, как хочешь,
ты попытайся быть способным хоть на это
по мере сил: не унижай ее мельчаньем
в несметном скопище сует, общений, связей,
речей, свиданий, посещений, жестов.

Не унижай преувеличенным значеньем,
и выворачиваньем наизнанку,
и выставленьем напоказ для любований
в бессмыслице собраний и компаний,—
пока она не надоест, как жизнь чужая.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Сражавшиеся за Ахейский союз

Отважно вы сражались и со славой пали,
не устрашившись тех, кто всюду побеждал.
Вас не в чем упрекнуть, и если есть вина,
Дией и Критолей одни виновны.
Когда же греки родиной гордиться станут,
«Таких она рождает»,— будут говорить
о вас. И в этом вам достойная хвала.

Написано ахейцем в Александрии
в седьмой год царствия Латира-Птолемея.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

Критика

АЛЕКСАНДР
МУЛЯРЧИК

ВЫЗОВ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

О некоторых тенденциях современной литературы США

В конце XX века, в преддверии приближающейся смены тысячелетий, кажется, что время движется особенно быстро, и возникает ощущение, будто каждому, даже небольшому хронологическому отрезку присуща известная специфика, свой собственный историко-культурный профиль. Жажда насыщенной духовной жизни нередко заставляет тут принимать желаемое за действительное, но порой предположения, выдвигаемые наблюдателями современных процессов, опираются на достаточно прочную фактическую почву.

В Соединенных Штатах рубеж 70—80-х годов — это уже новая полоса по сравнению с содержанием предыдущего этапа, растянувшегося примерно на шесть-семь лет. Вспомним, что еще раньше Америка прошла через то, что порой именовалось «самым критическим десятилетием» в ее истории (60-е годы), когда буржуазный строй испытал мощный натиск оппозиционных сил, разнохарактерных и не лишенных подчас анархического оттенка, но единых в своем резко отрицательном пафосе. Массовые движения социального протеста, захватившие и многие элементы американской культуры, пошли затем на спад, и тогда-то потянулись «семидесятые годы», которые с точки зрения своего литературного содержания представляют собой в целом весьма пестрое и едва ли не эклектичное явление.

Каждый, кто вдумывался в смысл интеллектуально-художественных устремлений этого времени, видел и выделял в них свое. С одной стороны, торжество возведенной в эстетический принцип спонтанности, сиюминутности (к чему призывала леваческая контркультура), а с другой — обращение к «корням», к традиции, получавшей, впрочем, самое различное толкование. Литературоведы отмечали как стремление американских писателей к жизнеподобным, панорамным формам отражения действительности, так и продолжение берущей в США свое начало у Г. Джеймса традиции «субъективной эпопеи». Одни говорили при этом о *возвращении* реализмом утраченных позиций в художественной прозе, другие же, с большим, на наш взгляд, основанием, настаивали на *сохранении* за реалистическим творчеством его первенствующей роли. Стало заметным снижение вклада, вносимого национальными меньшинствами, и прежде всего негритянским, в общеамериканскую культурную копилку, и тем не менее выдвигались доводы в пользу того, что удельный вес этой литературы повышается. При всей своей неброскости и сугубой «академичности» формула, фиксирующая «сложный и противоречивый облик» 70-х годов, довольно точно характеризует особенности этой литературной эпохи, когда многое в США, «переворотившись» в ходе ожесточенных социальных сражений, только начинало укладываться.

На роль своего рода «стабилизирующего» фактора во второй половине десятилетия активно претендовало идейное течение неоконсерватизма, реакционные социально-философские установки которого получили за последнее время широкое освещение в нашей научной печати. Смещение

центра политической жизни США вправо нашло выражение в результатах выборов в ноябре 1980 года, приведших к власти правительство Р. Рейгана. Стремясь развить успех и тенденциозно перетолковывая смысл некоторых произведений конца 70-х годов, буржуазная пресса поспешила возвестить о том, что «консервативный сдвиг» захватил якобы не только общественную мысль, но и литературу Соединенных Штатов.

Идеи неоконсерватизма действительно не обошли стороной американскую художественную прозу, но показательно, что безоговорочную поддержку они получили почти исключительно в «литературном полусвете» и, в частности, у таких столпов развлекательно-пропагандистской «массовой беллетристики», как Джеймс Миченер[1] и Артур Хейли. В романах «Сэнтениел» (1976) и «Чесапик» (1978) Миченер как мог обосновывал главную заботу неоконсерваторов — стремление к стабильности, к незыблемости буржуазных устоев. Писатель не скрывал, что его социальной философии близка и мила заповедь: «Закон и порядок», выдвинутый для борьбы с оппозиционными выступлениями. Слегка смягченный и «эстетизированный», перенесенный из сферы уличных конфронтаций под кущи изящной словесности, он выглядел у Миченера несколько иначе — как «уважение к традиции и авторитету».

Другое ключевое понятие неоконсерваторов использовал Хейли, сделав его названием своего последнего по времени романа (1979). «Перегрузка» — это не просто вызванное нехваткой энергии перенапряжение электрической сети, становящееся одним из слагаемых фабулы произведения, в котором рассказывалось о деятельности крупной компании по производству энергии. Героями «позднего» Хейли выступают уже не механики и менеджеры его «Аэропорта» и «Отеля», а банкиры и промышленники. Само слово «перегрузка» вырастало в символ для обозначения того, что в глазах писателя-конформиста выглядело «издержками демократического процесса». К ним относились и «чрезмерные» субсидии малообеспеченным, и «либералистское попустительство», приводящее к разгулу прессы и уличных демонстраций. С позиций, идентичных теориям неоконсерватизма, в романе осуждался «вероломный союз фанатиков и своекорыстных политиканов», объединяющий самые разнообразные элементы американского общества. Тут и федеральное правительство партии демократов, ответственное за инфляцию и неслыханную прежде бюрократизацию; и местные власти, неповоротливые и нерешительные, априорно настроенные против бизнесменов и препятствующие любым их начинаниям; и утописты-экологи, приносящие в жертву эстетическим соображениям насущные жизненные интересы миллионов; и беззастенчивые демагоги, разжигающие аппетиты толпы звучными лозунгами, но не способные, в отличие от финансистов и промышленников, удовлетворить вызванную, как считает Хейли, их же агитацией «революцию растущих требований».

[1] Подробнее о его творчестве см. статью Н. Анастасьева в «ИЛ», 1982, № 9.

Явственная ретроградность произведений, подобных «Перегрузке», резко контрастировала, однако, с основной тональностью творчества писателей, которых неоконсерваторы тщетно пытались выставить в качестве своих союзников. Твердая нравственная позиция, получившая выражение в недавно переведенных на русский язык романах Дж. Гарднера «Осенний свет» (1976) и Т. Моррисон «Песнь Соломона» (1977), была в корне отлична как от надрывных левацких эскапад в сфере культуры, так и от натужного морализаторства «новых правых». «Довольно понапрасну растрачивать силы,— таким слышался молодому темнокожему герою книги Моррисон призыв к созидательной работе, вместившей опыт минувших поколений. — Мы должны жить на этой планете, в этой стране, держаться, как Антей, за эту землю — завещать ее нашим детям». Ту же тему развивал в своих романах и ныне покойный Гарднер, но с особой настоятельностью поиск позитивных ценностей получил выражение в его теоретической работе «О нравственной литературе» (1978). Указывая на конструктивную роль искусства, которое «противостоит духовному распаду и для каждого поколения заново открывает то, без чего невозможна гуманность», писатель связывал воедино понятия о моральности и социальной значимости литературы. «Читая книги,— подчеркивал он,— мы получаем возможность пристальнее вглядеться в жизнь и с помощью великих примеров попытаться укротить и гуманизировать действительность, смягчить существующие в ней предубеждения и предрассудки».

Не сумев вовлечь в свои берега сколько-нибудь влиятельных, ответственно мыслящих литераторов, поток консервативной идеологии вместе с тем оказал известное давление на умонастроения некоторой части писательской молодежи. К началу 80-х годов многие американские критики были склонны пессимистически оценивать текущую литературную ситуацию в Соединенных Штатах. «Бригады специально подготовленных исследователей не смогли уловить какого-нибудь колыхания в ту или иную сторону, не говоря уж о тенденции,— полагал в одной из недавних статей известный критик Дж. Леонард.— Новые книги стоят недвижно там, куда их поставили, тая между крышками переплетов тысячи слов, которые складываются в не очень обнадеживающую картину». Этот обычный для американского подхода эмпиризм, а также сосредоточенность на все еще ведущихся спорах о неоконсерватизме и его влиянии на творческую интеллигенцию осложнили восприятие и затруднили вынесение должной оценки весьма симптоматичному развитию, опирающемуся к настоящему времени в США на значительную литературную общность. Речь идет о *резкой политизации* художественного мышления ряда видных прозаиков, стремящихся вывести на новый виток традицию антибуржуазного радикализма, чтобы противостоять официозным конформистским воззрениям.

Взятый в самом общем виде пример опубликованных на рубеже 70—80-х годов романов К. Воннегута, У. Стайрона, Дж. Хеллера, Дж. Апдайка, Дж. К. Оутс (ана-

лиз некоторых их аспектов последует ниже) указал на наметившийся перелом в эволюции писателей, живо откликнувшихся на острые противоречия современной идеологической и политической действительности. Этот всплеск гражданских чувств не просто привел к созданию незаурядных произведений. Он отразил уже долгое время созревавший в литературных «недрах» США протест против свойственной «семидесятым годам» идейной чересполосицы, против явно ретроградных веяний и многого другого, что породило затяжной кризис либерально-демократической идеологии после поражения «новых левых».

Многие причины способствовали повороту от разноликого, но в целом не очень выразительного и, по-видимому, переходного по своей сути исторического этапа к «новой ангажированности» очередной литературной эпохи, контуры которой постепенно начинают вырисовываться. Помимо противодействия неоконсерватизму тут сказались, видимо, и другие факторы — набирающее силу движение за мир и уничтожение термоядерного оружия, недовольство авантюристической политикой США в Центральной Америке, неудовлетворенность экономической конъюнктурой и стандартизирующим воздействием на американскую культуру электронных средств информации, наконец, опыт других литератур, в частности творчество писателей из социалистических стран.

К началу текущего десятилетия, после краха надежд на упрочение климата «разрядки», резко возрос накал идеологических битв, все чаще побуждающий писателей открыто высказываться по важнейшим политическим вопросам современности. Как справедливо отмечал в недавней статье («Коммунист», 1983, № 8) А. Беляев, «жесткая риторика пропагандистских служб Рейгана действует и на умы некоторых деятелей американской литературы и искусства». Достаточно сослаться на антикоммунистическую направленность последнего романа С. Беллоу «Декабрь декана» (1981), на нередкие случаи публицистических и журналистских выступлений, откликающихся на официозные антисоветские установки.

Вместе с тем сам ход событий современной истории, углубление ее драматизма неизбежно влекут за собой бо́льшую степень писательской проницательности, стремление к глобализации художественного видения, к укрупнению его масштабности. В творческом сознании американцев за это время отстоялись уроки «Уотергейта» и других покушений на правовые гарантии, завоеванные трудящимися в ходе многолетней борьбы. Ощущение того, что человечество живет в опасном и ненадежном мире, ближайшее будущее которого зависит во многом и от зигзагов политики правящих кругов США, с каждым годом все углубляется и все чаще находит отклик в образном строе литературных произведений.

«Особенности нашей системы... предоставили нашим писателям возможность быть тривиальными, беспечными и близорукими даже в вопросах, касающихся ключевых политических факторов»,— утверждал в 1977 году обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Х. Креймер, характеризуя ведущую тональность отечественной прозы. Спустя всего два года подобное суждение было бы несправедливым. И одним из первых сигналов того, что литературная обстановка в США меняется, послужил роман «Тюремная пташка» К. Воннегута (1979), показавший читателю, казалось бы, хорошо известного ему автора с новой, неожиданной стороны.

Всегда считалось, что самое яркое и оригинальное достоинство Воннегута состоит в смелом полете фантазии, приводящей к причудливым ассоциациям и смешению различных планов изображения. Лучше всего жанровой специфике его книг отвечало вошедшее с некоторых пор в моду словечко «коллаж»— кажущаяся вполне произвольной смесь разнородных элементов, подчиненная вместе с тем единому художественному замыслу. В романе «Бойня номер пять» (1969) еще можно было заметить известную упорядоченность при чередовании реалистического рассказа о лично пережитой автором бомбардировке Дрездена с приключениями его вымышленного героя Билли Пилигрима на вынырнувшей из глубин космоса планете Тральфамадор. Впоследствии же, в «Завтраке для чемпионов» (1973) и особенно в «Балагане» (1976), приметы действительной, зримой жизни с ее настоятельными проблемами были в значительной мере оттеснены на задний план пестрой круговертью откровенно фантастических образов.

Нужно отдать Воннегуту справедливость— пристрастие к фантасмагоричности не отменяло глубокого и искреннего беспокойства писателя за судьбы западной цивилизации, стремительно выходящей, по его мнению, на рубеж судного дня. Однако переусложненный и зашифрованный художественный язык, постепенно терявший свою новизну и привлекательность, перестал, по-видимому, удовлетворять и самого прозаика. В «Тюремной пташке» Воннегут подчеркнуто, максимально для себя «традиционен». Это сказалось и в последовательном жизнеподобии значительной части романного действия, и в заостренной социально-психологической характеристике Уолтера Ф. Старбака — центрального персонажа произведения.

Случилось так, что к старости бывший студент Гарвардского университета, офицер оккупационных войск в Германии и специальный помощник президента США по делам молодежи, оказался, как говорится, у разбитого корыта. Покрытые пигментными пятнами руки Старбака не в состоянии сдержать дрожи, штатский костюм сидит на нем вкривь и вкось, когда он выходит за двери тюрьмы для «интеллигентных преступников», расположенной вблизи Атланты, штат Джорджия. Жена его давно умерла, а единственный сын поклялся никогда больше не видеть отца. Что привело Старбака к такому состоянию? Каким образом его жизнь оказалась связанной с переломными моментами послевоенной истории Америки? Ответы на эти вопросы, имеющие самое непосредственное отношение к современной политической жизни США, составляют основное содержание книги Воннегута.

Согласно авторскому замыслу, Старбак — самый пожилой и наименее примечательный изо всех конспираторов «Уотергейта», среди которых оказались, напомним, виднейшие руководители республиканской партии и правительства. Советнику по молодежным вопросам не пришлось падать с огромной высоты, подобно другим, реальным организаторам и участникам налета на штаб-квартиру партии демократов в июне 1972 года. Старбак не был богат, когда принимал назначение и становился одной из мелких сошек в администрации Р. Никсона. Отсидев же за решеткой неполных пять лет, он обратился в форменного нищего, которого уже не могли сделать беднее 126 тысяч долларов долга адвокатам, тщетно пытавшимся выгородить своего подзащитного.

Переломным в судьбе Старбака явился 1949 год, когда после возвращения из Западной Германии в Вашингтон ему, подобно многим его реальным прототипам, пришлось претерпеть унизительную процедуру дачи показаний перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Согласие сотрудничать с этим мерзким судилищем над инакомыслящими положило начало долгому падению «обыкновенного» и даже вызывающего поначалу известные читательские симпатии американца, затянутого трясиной маккартизма и ставшего орудием его антикоммунистической пропаганды.

В какой-то своей части роман Воннегута мог бы быть назван художественным парафразом события, вошедшего в послевоенную историю США под наименованием «Дела Чемберса — Хисса». На высокой волне первого, самого сильного приступа маккартистской истерии служащий одного из правительственных учреждений Чемберс обвинил своего давнего знакомца, высокопоставленного чиновника госдепартамента Элджера Хисса, в принадлежности к Коммунистической партии США, а значит, и в «нелояльности» существующей социально-политической системе. Та же ситуация в слегка, впрочем, смягченном виде воспроизведена у Воннегута. Старбак не обвиняет, а лишь выдвигает предположение об активной роли своего бывшего друга в деятельности компартии, но запуганному обывателю и этого достаточно, чтобы поверить в мифическую угрозу «коммунистического заговора». «Дело Хисса» надолго отравило политическую атмосферу в стране, а потом само по себе оно было оттеснено на задний план более актуальными и драматичными событиями. Тем не менее почти тридцать лет спустя Воннегут счел необходимым воскресить его в художественном произведении для того, чтобы в момент оживления в США правых сил напомнить о незаживающей ране маккартизма в сознании нации и показать в лице экс-коммуниста Уолтера Старбака неприглядный образ человека, изменившего идеалам своей молодости и сыгравшего на руку реакции.

«Патриотические» показания Старбака не только погубили репутацию его сослуживца Лиленда Клюиса. Официозная пресса и начинавшее входить в силу телевидение ухватились за представившийся повод и выбросили типично маккартистский лозунг: «Не доверять интеллектуалам!» С этого момента все было кончено как для сидевшего за решеткой Клюиса, так и для его противника, к которому отныне пристала кличка осведомителя. Демократическая Америка не простила ему фискальства и слабодушия. Последовали почти двадцать лет безработицы и социального остракизма. Однако в конце концов на помощь Старбаку пришел тот, кто карьерой государственного деятеля был немало обязан преследованиям коммунистов и их «попутчиков»,— избранный в 1968 году президентом Ричард М. Никсон.

Получив в весьма зрелом возрасте пост президентского помощника по молодежным делам, Старбак превратился в еще одно колесико бюрократического механизма, обреченного на бесплодное коловращение. Он мог ходить или не ходить на службу в свой кабинет, расположенный в подвале Белого дома, но к концу положенного срока был обязан выдавать «наверх» бессчетное количество «аналитических записок», испещренных диаграммами, сносками, библиографическими приложениями. Вскоре, убедившись в том, что его «труды» никем не читаются и не влияют на формирование принципиального правительственного курса (за полным отсутствием такового), Старбак принял радикальное решение. В конце каждой недели он стал посылать начальству краткую реляцию, всякий раз гласившую: «Молодежь по-прежнему отвергает очевидную невозможность всемирного разоружения и экономического равенства. Виной тому является, по-видимому, евангельская Нагорная проповедь». Никто ничего не заметил, и никаких перемен не последовало до тех самых пор, пока Старбака не угораздило спутаться с будущими персонажами «Уотергейта» — взломщиками и шантажистами.

Заключительная часть истории персонажа не так интересна, поскольку, словно спохватившись, писатель обращался здесь к столь свойственному его предыдущему творчеству жанру социальной фантастики. Краткий рассказ о попытках Старбака придать деятельности вымышленной корпорации «Рэмджэк» альтруистический характер был нужен Воннегуту прежде всего для того, чтобы средствами художественного иносказания еще раз напомнить о своем символе веры. Во многом это те же идеи христианского социализма, что содержались в каждой из его книг 60—70-х годов и которыми вплоть до сегодняшнего дня в значительной мере объясняется противоречивость мировоззрения писателя. В «Тюремной пташке» они, впрочем, занимают подчиненное положение. Гротескный произвол сжат здесь до минимума, а жизнеописание Старбака как бы окольцовано важными авторскими отступлениями. «Знаете ли вы, что в конце концов может стать причиной смерти на этой планете? — звучит на последних страницах книги взволнованное обращение к ее американскому читателю. — Не холестерин, отнюдь, а полное отсутствие серьезности. Никто, похоже, не хочет задуматься над тем, что на самом деле происходит с нами, как мы дошли до жизни такой и чего можно ждать уже в ближайшее время!»

Слова Воннегута в финале «Тюремной пташки» несли в себе, разумеется, полемическое преувеличение. Сам Воннегут в своем следующем романе «Прямое попадание» (1982) придет к мысли о том, что причиной гибели планеты может стать безудержный рост ядерных вооружений. На рубеже 70—80-х годов и в публицистике, и в художественной прозе США накапливались примеры того, как передовая литературно-общественная мысль пыталась отвергать посягательства на демократические традиции, объединяющие вокруг себя подавляющее большинство американского народа. Возмущение авторитарностью «имперского президентства», сложившегося во времена Никсона, было настолько велико, что последующие попытки правых идеологов и моралистов «подморозить Америку» не могли найти сочувственного отклика у творческой интеллигенции. Очищению исторической истины от искажений, порожденных маккартистскими предрассудками, способствовали (при всей их идейной неоднозначности) мемуарные книги старейших американских писательниц К.-А. Портер и Л. Хеллман, памфлеты публицистов В. Ласки «Это началось не с Уотергейта» и редактора журнала «Нейшн» В. Наваски «Доносительство»; изобиловавший остро гротескными построениями роман Р. Кувера «Публичное сожжение Этель и Юлиуса Розенбергов».

«В дни моей молодости на историю рабочего движения (в США.— *А. М.*) взирали примерно как на порнографию... На рассказы о страданиях рабочих и об их ответных действиях было наложено прочное табу. С тех пор мало что изменилось»,— писал Воннегут в прологе к «Тюремной пташке». В следующем, 1980 году, однако, американская литература обогатилась двумя произведениями, вплотную касавшимися этой «запретной» темы. В романе Мери Ли Сеттл «Козел отпущения» видное место занимало описание жестоко подавленной забастовки углекопов в Западной Вирджинии накануне первой мировой войны. Уроки критического реализма Э. Синклера и Дж. Лондона явственно прослеживались в художественной структуре книги, где речь шла о классовых конфликтах, о расслоении в среде богачей, о приходе молодых американцев к принятию социализма.

Более усложненным рисунком отличался роман Э. Л. Доктороу «Гагачье озеро», несколько перегруженный символикой, отвлеченно-интеллектуальными мотивами, поэтическими отступлениями. Однако его центральная тема, сопряженная с образом повествователя, «вольного странника» по имени Джо, прямо касалась политических уроков недавнего прошлого. Участие Джо в одной из стачек «красного десятилетия» 30-х годов служило началом нового этапа идейных поисков героя, созвучных, согласно мысли автора, духовным запросам современной Америки.

Весьма далекие друг от друга по своим эстетическим приметам, названные произведения создавали вместе с тем единую идейную преграду усердно насаждавшимся во второй половине 70-х годов консервативным настроениям. Но демократическая творческая интеллигенция США была не менее критична по отношению к либеральному краснобайству политиков типа Джимми Картера, пытавшихся скрыть за дымовой завесой громких лозунгов неэффективность и непоследовательность своей деятельности. Острой сатирой на вашингтонскую бюрократию пронизан роман Дж. Хеллера «Чистое золото» (1979), которым было ознаменовано возвращение прозаика к едко ироничной стилистике прославившей его на весь мир «Уловки-22». После подчеркнутого микропсихологизма в известном нашему читателю романе «Что-то случилось» (1974) Хеллер словно вновь распахнул дверь, скрывавшую неприглядные черты общенациональной интеллектуальной и политической жизни.

«Задуманное никогда не сбывается» — такой заголовок Брюс Голд предпослал одной из написанных им статей, и этот афоризм как нельзя лучше соответствует мироощущению хеллеровского героя — унылого интеллигента-гуманитария, живущего с нелюбимой женой и с горечью ощущающего бесплодность каждого из безвозвратно уходящих дней. Член академического братства Фи-Бета-Каппа, с отличием окончивший в свое время Колумбийский университет, он сознает всю легковесность этих звонких титулов по сравнению с тем, что чтит и чему поклоняется огромная масса прагматически мыслящих американцев, включая и многих из его ближайших родственников. «Мне уже, слава богу, сорок восемь лет. Я профессор колледжа, доктор наук, я пишу книги, выступаю на телевидении, и мне платят за это деньги, а вы по-прежнему обращаетесь со мной, как с ребенком»,— в запальчивости восклицает Брюс на обеде, собравшем в его доме шумливое, не слушающее никаких здравых резонов семейство Голдов. «А между прочим, в Вашингтоне есть люди, которые мной дорожат и хотят, чтобы я перебрался к ним поближе»,— так почти невзначай, герой романа выдает заветную мечту — отбросить осточертевшую интеллектуально-литературную рутину и заняться «настоящим делом» на ниве государственной службы.

И надо сказать, что в Вашингтоне действительно ценят живой и гибкий ум нью-йоркского профессора «Все идет вкривь и вкось»,— это извлеченное Голдом из своих фразеологических запасников изречение приводит в восторг консультантов Белого дома. «Блестящая идея — за нее стоит ухватиться!» — откликается друг Голда Ральф Ньюсем, стоящий достаточно близко к тому, что благоговейно именуется «национальным руководством». И словно вступая в перекличку с образами, рождавшимися под пером романиста, в июле 1979 года послышались слова Дж. Картера, который в чрезвычайном обращении к стране возвестил об охватившем Соединенные Штаты «кризисе веры». «Это кризис, который затрагивает самое сердце, душу и дух нашей национальной воли,— говорил президент.— Мы можем видеть его в растущих сомнениях в смысле нашей жизни и в утрате единства целей нашего народа». Драматизм этих «откровений» отражал не только невротическое мировосприятие неудачливого политика, упустившего отведенное ему

время. За ним стояли и многие реальные проблемы Соединенных Штатов, получившие своеобразное освещение в романе Хеллера.

Чувство разочарования, владеющее Голдом, характерно для целой возрастной и социальной общности американских интеллигентов. Голд и его друзья с юных лет жили в мире идей; им внушали родители, и они сами твердо уверовали в то, что образование — ключ к успеху на деловом поприще. И в общем-то их студенческие планы осуществились — Либерман стал редактором «качественного» ежемесячника, Поморой дослужился до заместителя директора крупного издательства, а Голд, как и хотел, сделался преподавателем далеко не второразрядного колледжа. Но полного удовлетворения не наступило, и не только потому, что рафинированные интеллектуалы считают себя все же обойденными более пронырливыми коммерсантами и политиканами. Несмотря на свой эгоцентризм, Голд как мыслящий человек принимает близко к сердцу многочисленные беды современной Америки. «Варварские методы американской экономики всегда порождали варварство и распространяли тупоумие на всех уровнях культурной жизни. Техника и капитал во всевозрастающем объеме производили на свет массовую бедность — единственный товар, на котором не сказывались конъюнктурные колебания»,— так оценивает он общую ситуацию в стране. Но особенно поражает Голда то, чему, перебравшись в Вашингтон, он становится непосредственным свидетелем — катастрофическое падение уровня компетенции и ответственности правительственных служащих.

Противоречивость и откровенная сумбурность деятельности картеровской администрации воплощены Хеллером в том потоке парадоксов, что обрушивается на Голда сразу же по его прибытии в американскую столицу. «Мы должны говорить правду, если даже нам приходится лгать»,— вот эталон «диалектики» официального Вашингтона. Президент одновременно читал и не читал книгу Голда, жаждет с ним встретиться, но не замечает его отсутствия в толпе приглашенных. Он готов предоставить новобранцу самые широкие полномочия и вместе с тем «пока» не назначает его на какой-либо определенный пост. «Ты можешь занять любую вакансию, хотя на данный момент таковых не имеется,— разъясняет Голду его положение Ральф Ньюсем. — Ты слишком знаменит, чтобы мы использовали тебя анонимно, хотя, с другой стороны, не так уж многие знают, кто ты такой».

«В работе нашего правительства просто не может быть ошибок, поскольку никто толком не знает, что же все-таки происходит на самом деле»,— откровенничает Ньюсем. Но эта готовность «плыть по течению» в духе классических либералистских доктрин сочетается у вашингтонских чиновников с жесткой хваткой матерых беспринципных интриганов. «Можешь делать что хочешь, Брюс, если твои действия будут совпадать с нашими установками,— инструктирует Ньюсем Голда. — У нашей администрации нет никаких идей, но те, что есть, тверды и определенны. Мы станем поддерживать тебя до конца, то есть до тех пор, пока будем считать это нужным». Но в какой-то момент подобную манеру «амбивалентного» словоблудия усваивает и сам Голд. «Я собираюсь начать работать для правительства,— сообщает он своей любовнице Андреа Коновер. — Это решено окончательно, хотя я и не совсем уверен, так ли это».

Невзирая на туманный смысл полученных инструкций и неопределенность своего статуса, герой Хеллера с энтузиазмом устремляется навстречу карьере государственного мужа. Он заседает в комиссиях, которые месяцами толкут воду в ступе, заискивает перед новыми коллегами — отставными адмиралами, губернаторами и полномочными послами, пожизненно, согласно американской традиции, сохраняющими полученные некогда звучные титулы. И тем не менее Голд выглядит аутсайдером в этом заповеднике расплодившейся бюрократии, ублажающей себя привольной светской жизнью за счет налогоплательщиков. При всех своих психологических комплексах он остается интеллигентом — тонко чувствующей совестливой личностью, неспособной смириться с несуразностью и пошлостью бурлящей вокруг него жизни.

Сюжетная линия, связанная с образом Брюса Голда, главная в романе Хеллера, но в дополнение к критике вашингтонских нравов писатель подметил и отразил и новые опасные тенденции, объявившиеся к началу 80-х годов на политическом горизонте Америки. Оскудение общественной морали он связывает не в последнюю очередь с растущей агрессивностью Соединенных Штатов, питаемой идеологическими построениями быстро набиравших тогда силу неоконсерваторов. Мало кто в США сомневался в том, что в образе завистливого и мелочного владельца интеллектуального журнальчика Либермана в «Чистом золоте» был выведен редактор ежемесячника «Комментари» Н. Подгорец, который и по сей день претендует на роль одного из вдохновителей официальной внешней и внутренней политики.

«Они просто не понимают, насколько лояльным я могу быть,— восклицает у Хеллера Либерман, пытаясь заручиться поддержкой власть имущих. — Если им это потребуется, я могу за ночь переменить свою позицию по всем пунктам». Именно так и поступил в начале 70-х годов Подгорец, резко сместив вправо курс своего издания. «Я хочу, чтобы распространению коммунизма был положен конец... Я хочу предложить народам мира действенную альтернативу, от которой они не в силах будут отказаться»,— изрекает Либерман в разговоре с Голдом, и эти тезисы почти текстуально совпали с основными пунктами работы Подгореца «Сегодняшняя опасность» (1980), разрекламированной в буржуазной прессе в качестве «вполне реального плана разрешения наших трудностей».

Как известно, выработка «действенной альтернативы» идеям социализма была поставлена в число первоочередных задач лидерами республиканцев сразу же после их победы на выборах 1980 года. При этом, в

отличие от предшественников, также осознававших возрастание роли нематериального фактора, усилия правительства Р. Рейгана подвести под внешнюю политику США основательный идеологический фундамент, характеризуются заметно большей последовательностью и энергичностью. В 80-е годы руководители США стремятся к тому, чтобы в их лице видели не ординарных прагматиков, отстаивающих ограниченные цели отдельной страны или даже «атлантического содружества», а политиков дальнего прицела, духовных лидеров не только Запада, но и всего человечества.

Выступая с призывами к интенсификации идеологической борьбы, администрация Рейгана не может, однако, похвастаться прочным внутриполитическим тылом. «С каждым днем нарастает народный гнев и усиливается радикализация масс. Неуклонно увеличивается их готовность к действиям, готовность откликаться на призывы к действию. Этот процесс будет и впредь неуклонно нарастать»,— отмечал Генеральный секретарь компартии США Гэс Холл в декабре 1981 года, предвосхищая обозначившийся несколько месяцев спустя подъем движения за предотвращение гонки вооружений и корректировку экономической политики правительства. В числе антирейгановских сил, собравшихся при всей их разнородности в последнее время под одной «крышей» борьбы за уничтожение ядерного оружия, видное место занимают и многие представители литературной интеллигенции. Ее общественная роль весьма заметна, но еще большее значение имеет собственно художественное творчество, в котором — намного раньше, чем это зафиксировали опросы общественного мнения и результаты промежуточных выборов 1982 года,— нашла отражение вся относительность широко разрекламированного «сдвига вправо» и были сформулированы некоторые идейные ориентиры для вступавшей в новое десятилетие американской демократии.

Такую отзывчивость к подспудным сдвигам и только нарождавшимся общедуховным веяниям наглядно продемонстрировала известная у нас Дж. К. Оутс в романе «Ангел света» (1982). Еще в конце 70-х годов, отвечая на вопрос интервьюера, она сообщила, что работает над «огромным, в тысячу страниц мрачным готическим романом» из далекого американского прошлого. И действительно, в «Бельфлере» (1980) торжествовала заемная литературщина; по словам одного из рецензентов, «искусственность тона и сюжета подрывает эмоциональную силу произведения, превращая его в нечто, напоминающее несоразмерный ярко раскрашенный комикс». Но не прошло и полутора лет, как перед читателем возникла новая, или, точнее, почти забытая им, Оутс. Растянувшийся на целое десятилетие период увлечения экзотическими, условно-романтическими образами остался позади, и в творчестве писательницы снова, как и в ее лучших романах «Сад радостей земных» (1967) и «Их жизни» (1969), проявился интерес к злободневным, поданным в остро политизированном ракурсе проблемам современной Америки.

...Самоубийство при непроясненных обстоятельствах видного вашингтонского чиновника Мориса Хеллека, героя романа «Ангел света», случилось вскоре после того, как он был отстранен от руководства влиятельной комиссией по делам министерства юстиции, а в его отношениях с женой Айсабел произошел непоправимый надлом. В предсмертной записке Хеллек ссылался на великое множество причин, вынудивших его решиться на последнее средство. Да, он брал взятки, запутался в деловых связях, а затем пытался помешать расследованию, скрывая документы, которые могли бы его скомпрометировать. Несмотря на всю убедительность, записка таила и недоговоренность, которую сразу же увидят жена Хеллека и его дети — Оуэн и Кирстен. И они не стали довольствоваться лежащими на поверхности и, казалось бы, более чем очевидными обстоятельствами смерти своего отца. Их желание проследить ход событий, приведших к давно назревавшей трагедии в доме Хеллеков, составляет главную пружину действия в романе Оутс.

Сорокадевятилетний Хеллек был всегда известен как «недреманное око», как либеральный деятель, препятствовавший сомнительным операциям большого бизнеса. За годы своей работы в комиссии, хотя и с вымышленным названием, но имеющей вполне реальные аналоги в американском административном аппарате, он восстановил против себя могущественные силы реакции — Ку-клукс-клан в южных штатах, мафию в городах северо-востока, а главное, ряд крупнейших корпораций, задетых его скрупулезным выискиванием отклонений от антитрестовских законов. Оутс не без основания ссылается в романе на подлинные случаи скандальных разоблачений, затронувших в 70-е годы такие индустриальные гиганты, как «Локхид», «Кеннекот», «Анаконда». Вместе с руководителями этих компаний на заднем плане произведения проходят и другие «обыкновенные преступники», среди которых немало влиятельных лиц из правительственного окружения.

«Он был хорошим парнем, разве что слишком доверчивым, а это глупо — прямо-таки ягненок среди волков,— говорит о Хеллеке-старшем журналист Кролл, в котором можно видеть собирательный образ продолжателей движения «разгребателей грязи» в американской политике и общественной жизни. — Я воевал с ними многие годы, разоблачал их задолго до «Уотергейта» и совершенно вымотался, продираясь через эти джунгли». Пик славы давно пройден газетчиком, он злоупотребляет алкоголем и растерял профессиональные навыки, но зато у него появляется убежденный последователь, юный Оуэн, видящий в установлении подлинных фактов жизни и смерти своего отца лишь начало борьбы против зловещего союза бесчестных политиканов и богатеев.

Еще до фашистского путча в Чили на счету Мориса Хеллека и его комиссии было расследование махинаций крупной транснациональной компании, интриговавшей против правительства Сальвадора Альенде. Затем последовало не менее громкое дело по поводу нарушений существовавшего од-

но время в США номинального запрета на торговлю с расистской Южной Африкой. Бескомпромиссность Хеллека обошлась ему недешево, и крушение его карьеры пошло путем, хорошо знакомым каждому, вступавшему в конфликт с бюрократической машиной. Вначале возникли сомнения в его здоровье, будто бы не выдерживающем возросших нагрузок, затем — тщательно организованная «утечка» информации относительно его неудавшейся семейной жизни, а в довершение — хорошо спланированная «кризисная ситуация» в служебных делах, которые до поры до времени находились, как считалось, в образцовом порядке. Не последняя роль в таком ходе событий принадлежала давнему другу Хеллека Нику Мартенсу, играющему в этой современной трагедии роль Клавдия из шекспировского «Гамлета».

После самоубийства Хеллека Мартенсу достаются в наследство и жена покойного, которую он давно уже сделал своей любовницей, и его пост директора комиссии. Но в этом успехе были заключены семена поражения. Спустя всего три месяца Мартенс будет лежать в луже крови после нападения неопознанного убийцы, а обезображенное тело Айсабел с трудом откопают из-под развалин ее особняка, обрушившегося в ту же ночь после взрыва начиненной динамитом «адской машины».

Смерть Хеллека произошла в июне 1979 года; истоки же сложных взаимоотношений между главными действующими лицами книги отнесены Оутс к началу 50-х годов — в то кажущееся теперь иным американцам баснословным время, когда Мартенс на речной прогулке спас жизнь своему сокурснику, и, познакомившись вскоре с его невестой, сумел завоевать благосклонность Айсабел де Бенавенте, и сохранил ее симпатию на многие годы. Хеллек не отличался ни крепким здоровьем, ни атлетическим сложением, но натура у него оказалась доброй и отзывчивой, в то время как ведущей чертой личности зрелого Мартенса сделалось двуличие, замаскированное под речистую профессорскую «принципиальность».

Обрисованный в романе склад жизни четы Хеллеков типичен для вашингтонской «толпы», как в слегка ироничном и самоуничижительном духе предпочитает именовать себя столичная аристократия. Заполняя залы отелей и загородных клубов, иностранных посольств, она состоит из одних и тех же персонажей, самоудовлетворенных и внешне безмятежных, наслаждающихся обществом друг друга и ревностно ограждающих сложившийся круг знакомств от нежелательных пришельцев. Дипломаты и правительственные чиновники, политиканы из провинции и почтенные вдовы ушедших в мир иной государственных мужей, звезды кино и телевидения, журналисты, а также юркие «посредники», люди-катализаторы, которые готовы свести каждого с каждым, лишь бы их угодливым силуэтам нашлось место в театре теней, именуемом светской хроникой,— таков этот пестрый сброд, с едким сарказмом запечатленный на страницах произведения.

Идейный потенциал «Ангела света» не исчерпывался лишь критикой «верхних звеньев» американского общества. К мотивам социального обличения у Оутс присоединялся настойчивый поиск положительного, активного героя среди сегодняшней американской молодежи. Дети Хеллека, Оуэн и Кирстен, хорошо понимают, что за спиной врагов их отца стоит вся структура власти, или «истеблишмент», кровно заинтересованный в сохранении контроля над многими сторонами жизни Соединенных Штатов. Террористический акт, совершенный ими против Мартенса и Айсабел при поддержке леваческой группировки «Серебряных голубей» (Оутс явно заимствует этот образ из недавно изданного в США романа А. Белого), не означает согласия с тактикой террора как абсолютного оружия. Презирая глашатаев официальной идеологии, «Революционная армия Серебряных голубей» так же, как и ее противники, не в состоянии предложить народу Америки программу позитивных действий. Этим новоявленным бомбистам невдомек, что безоглядное разрушение подсекает корни национальной традиции и у целых поколений отбивает охоту к полноценному созидательному труду. «Вы обвиняете нас в стремлении дать «простые ответы на сложные вопросы»,— обращается лидер «Серебряных голубей» к Оуэну Хеллеку, как бы воскрешая любимую тему выступлений Р. Рейгана. — Однако суть дела совершенно в ином. Мы вообще ничего не предлагаем — ни ответов, ни целей, ни идеалов...». Думается, что более саморазоблачительную тираду было бы трудно себе вообразить.

Справедливость должна восторжествовать, не мщение, но подлинная справедливость — на этой посылке основывается идейная концепция романа. Жаждой справедливости были преисполнены, по мнению Оутс, партизанские действия капитана Джона Брауна, первым высекшего искру, из которой разгорелось пламя Гражданской войны между Севером и Югом. В середине прошлого века рабовладение представляло собой зло, которое надо было искоренить по причинам как социального, так и морального свойства. Сто с лишним лет спустя перед Соединенными Штатами стоят не менее сложные задачи, и для того, чтобы подчеркнуть преемственность освободительной борьбы разных поколений американцев, Оутс отваживается на дерзкое художественное допущение. Она не просто вводит в книгу воспоминания о Джоне Брауне, этом «ангеле света», как называл его американский радикальный мыслитель и писатель, автор памфлета «Гражданское неповиновение» Генри Дэвид Торо, но и прочерчивает прямую генеалогическую линию от аболиционистов XIX столетия к началу 80-х годов нашего века. Молодые Оуэн и Кирстен Хеллеки — потомки легендарного революционера, и так же, как их великий пращур, они объявляют свой «крестовый поход» за обновление и очищение открытого их непосредственному жизненному опыту мира.

Глубокая обеспокоенность завтрашним днем своей страны — такой видится стержневая тема размышлений американских ли-

тераторов после того, как почти десять лет назад стали затихать толки о движении «новых левых» и о связанной с ними авангардистской контркультуре. Мысль эта имела, разумеется, различные источники и разных истолкователей — как последовательных критиков капитализма, так и его скрытых апологетов, принимавших позы неумолчных и подчас истеричных плакальщиц. Тезис об «упадке Америки» использовался для разжигания шовинистических настроений и в момент вынужденного вывода войск интервентов из Вьетнама, и в разгар «уотергейтских» разоблачений, и в ходе предвыборной кампании, приведшей в Белый дом администрацию Р. Рейгана.

В противовес этой надрывно-алармистской установке, отождествляющей биение пульса нации с состоянием буржуазных институтов, а сферу американского духа со все более оскудевающей официозной идеологией, перед народом Соединенных Штатов раскрывалась перспектива, исходящая из веры в здоровые силы американской демократии. Обращаясь в 1972 году к XX съезду компартии США, Г. Холл подчеркивал, что теперь «приходит пора раздумий, время осмысления опыта. Вместе с развитием таких тенденций начинается период использования новой тактики, рождаются новые движения». Десять лет спустя он же, отмечая в речи на Второй чрезвычайной конференции компартии наступление «новой эры депрессии, самой разрушительной после 30-х годов экономической эпидемии», имел вместе с тем все основания утверждать, что «надежда по-прежнему остается господствующим настроением».

В общем хоре голосов, встречающих новое десятилетие, которое по сути еще только начинается, выделяется позиция тех, для кого «вызов восьмидесятых» означает необходимость преисполниться духом деятельности в защиту общегуманистических ценностей. По словам известного дипломата, сторонника американо-советского сотрудничества Дж. Кеннана, в 80-е годы над сознанием его соотечественников нависла «озабоченность вероятностью уничтожения и разрушения» — психологическое состояние, которое «дорого обходится нам, лишая нас благосостояния и поглощая те ресурсы, которые следовало бы употребить на устранение наших социальных бед, на обеспечение прогресса наших обществ». «Конечно же,— продолжает Кеннан,— у нас, по крайней мере у большинства, достаточно душевного здоровья, любви к жизни со всеми ее радостями и треволнениями, со всем ее риском, чтобы отбросить эту мрачную неуверенность, понять, что это — болезнь, и, стряхнув ее с себя, направить все свои силы на решение подлинных проблем, дабы возродить уверенность в себе и надежду на будущее цивилизации, к которой мы все принадлежим».

Убежденность в неистребимости гуманистических идеалов завоевывает среди американских писателей все больше сторонников. То, что теперь именуют в США «возвратом к забытым ценностям», не может, разумеется, составить весомую альтернативу четкому мировоззрению, базирующемуся на последовательно классовых критериях. Однако по сравнению с растерянностью и душевной вялостью, охватившими значительную часть творческой интеллигенции в 70-е годы, призыв быть верным нравственным обязательствам имеет несомненное положительное значение.

Здравый смысл и ясность мышления, взывающего подчас к своего рода самоограничению и консолидации сил ради достижения поставленной цели, неизменно выходили в сложные исторические моменты на передний план в самосознании демократических слоев населения Соединенных Штатов. Этический пафос художественных произведений открыто противостоял в таких случаях «морализму» старых и новых консерваторов, тесно смыкающемуся с узколобым ханжеством и с попытками социальной регламентации. Но сегодня литература, как можно было увидеть, не ограничивается порой только оборонительными действиями, и наметившееся укрепление темы нравственной ответственности при оценке острых политических вопросов современности свидетельствует о росте гражданской зрелости известной части американских литераторов.

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА

М. ШЕРЕШЕВСКАЯ

ИЗ ПИСЕМ ГЕНРИ ДЖЕЙМСА

11 ноября 1875 года американский писатель Генри Джеймс (1843 — 1916)[1] прибыл в Париж. Это было далеко не первое его путешествие за океан. Отец писателя, Генри Джеймс-старший, философ, друг Эмерсона и Торо, не жалел усилий, чтобы познакомить своих детей с культурными традициями Старого Света, стремясь привить им любовь к прекрасному и отвращение к охватившей его соотечественников долларомании. Добрая половина детства будущего писателя прошла в различных странах Европы. Генри Джеймс-младший во многом разделял симпатии и антипатии отца. Он тоже гяготился духовным климатом Соединенных Штатов, вступивших, по меткому выражению Марка Твена, в «позолоченный век» бурного предпринимательства и безудержной погони за наживой. Искусство Италии и Франции, ландшафты Швейцарии, горной Германии, музеи Англии позволяли вырваться из атмосферы стяжательства и торжествующей пошлости, нагнетаемой американским бизнесом. Молодой писатель стал частым гостем в Европе.

Но поездка 1875 года носила особый характер. Джеймс принял решение поселиться в Европе на долгие годы — потом оказалось, навсегда. Главная причина была творческая. С самого начала литературной деятельности Джеймс, и как писатель и как критик, выступил горячим поборником реализма. В американской литературе середины века реализм делал еще первые шаги. Отдавая должное талантам Готорна и Мелвилла, Джеймс видел образцы художественного постижения действительности не в их произведениях, а в романах Бальзака, а из современных писателей выше всех ставил Тургенева. Вместе с двумя другими литераторами, его друзьями и единомышленниками — Уильямом Дином Хоуэлсом, который тогда был редактором журнала «Атлантик мансли», и Томасом Саржентом Перри,— Джеймс пропагандировал творчество Тургенева среди американских читателей. С 1871 по 1875 год друзья опубликовали девять статей о русском писателе. Пять из них принадлежали Перри, три — Хоуэлсу, но самая обстоятельная и зрелая по мысли — Генри Джеймсу. Номинально значившаяся рецензией на книгу немецких переводов повестей Тургенева, она на самом деле давала полный обзор и глубокую критическую оценку его творчества. Статья эта, напечатанная в апрельском номере «Норт американ ревью» за 1874 год, начиналась словами: «Мы знаем замечательных критиков, которые на вопрос, кто лучший романист нашего времени, не колеблясь, ответят — Иван Тургенев». В Париже Джеймс надеялся встретиться с Тургеневым и с французскими писателями-реалистами, найти литературных учителей и сотоварищей.

Имя Генри Джеймса было знакомо Тургеневу. Отец молодого американца, Генри Джеймс-старший, сам большой поклонник тургеневских романов и повестей, послал

[1] См. повесть Г. Джеймса «Письма Асперна» с послесловием А. Елистратовой в «ИЛ», 1973, № 7; рец. А. Зверева на книгу Г. Джеймса «Повести и рассказы» в «ИЛ» 1975, № 3. *(Прим. ред.)*

ему статью сына «Иван Тургенев», сопроводив приглашением посетить Америку. «Право, жаль,— писал он,— что Вам совершенно неизвестно, каким огромным успехом пользуются здесь Ваши книги и какое истинное наслаждение доставляют они многим хорошим людям». Статья Джеймса-младшего понравилась Тургеневу. В письме к нему из Баден-Бадена от 26 июля (7 авг.) 1874 года он отмечал «тонкую проницательность и отчетливо выраженный вкус». Тургенев также знал, что Джеймс уже искал с ним встречи: в июне 1874 года американец, возвращаясь из Европы на родину, побывал в Баден-Бадене, очевидно, в надежде застать там Тургенева. «Здесь живет Тургенев,— писал он отцу,— и я собираюсь посетить его. Многие его повести были, надо думать, написаны здесь, а значит, место это благотворно для литературной деятельности». Знакомство не состоялось: Тургенев находился в Карлсбаде.

Прибыв в Париж осенью 1875 года, Джеймс тотчас написал Тургеневу и в ответ получил от него приглашение навестить его 22 ноября на улице Дуэ. «Я буду искренне рад познакомиться с Вами и буду ждать Вас в понедельник между одиннадцатью и часом у себя дома»,— писал Тургенев.

Встреча Джеймса с Тургеневым, несмотря на разницу в возрасте — Джеймсу было 32 года, Тургеневу 57 лет, — положила начало долгой и теплой дружбе. За первым приглашением последовали другие. Тургенев сам побывал на парижской квартире молодого американца, к которому явно почувствовал расположение. 12 декабря 1875 года он представил Джеймса Флоберу и французским писателям, составлявшим его окружение,— Э. Гонкуру, Золя, Доде. Джеймс стал постоянным гостем на «четвергах» Полины Виардо, в доме вдовы и детей Николая Тургенева[2], подружился с художником П. В. Жуковским (сыном поэта) и некоторыми другими членами «русской колонии». Обо всех этих встречах, и прежде всего о беседах с Тургеневым, он регулярно сообщал домой: отцу, матери — Мери Р. Джеймс, брату — Уильяму (будущему известному психологу и философу), сестре — Элис, тетке — Кэтрин Уолш. Нередко он пересылал им письма и записки, адресованные ему Тургеневым (всего известно 15 писем Тургенева к Генри Джеймсу; письма Джеймса к Тургеневу не сохранились). Среди американских корреспондентов Джеймса, с которыми он делился впечатлениями о Тургеневе, были также У. Д. Хоуэлс и Т. С. Перри. Из восемнадцати писем, отосланных Джеймсом из Парижа на родину за 1875—1876 годы, только в двух — сугубо деловых — нет упоминаний о Тургеневе, дружбу с которым он высоко ценил. Под знаком встреч с Тургеневым прошел для Джеймса весь его «парижский год».

[2] Речь идет о Николае Ивановиче Тургеневе (1789—1871, Париж), русском государственном деятеле, декабристе, экономисте. *(Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, прим. автора публикации.)*

Приводимые ниже отрывки из писем Генри Джеймса[3] рисуют облик Тургенева, увиденный глазами американского писателя, который с годами сам занял видное место в мировой литературе. В них чувство признательности и восхищения, которое многие на Западе испытывали к Тургеневу-человеку и Тургеневу-художнику.

Из письма к Кэтрин Уолш

3 декабря 1875 г.

Мой новый знакомец — интереснейший человек, так как это не кто иной, как великий московский романист — бессмертный Иван Петрович! [4] *(Sic) Я послал ему письмо, в котором просил разрешить мне навестить его, и он ответил в очень уважительном тоне, назначив встречу на утренние часы. Живет он на Монмартре, в боковой улочке, в доме мосье и мадам Виардо, которые, по всей очевидности, самые близкие и дорогие ему люди. Я мельком видел их обоих. Тургенев принял меня необычайно радушно, и я сразу же всем сердцем полюбил его. Замечательный человек! И куда красивее, чем на портретах.*

Мы проговорили с ним два часа кряду о самых разнообразных материях и вполне нашли общий язык. По-моему, я ему понравился, и если обстоятельства сложились бы благоприятно, мы, мне думается, стали бы друзьями. Но обстоятельства складываются неблагоприятно: он вскоре уезжает на зиму в Санкт-Петербург. К тому же, как мне показалось, общий дом с супругами Виардо делает его малодоступным для других. Виардо желают иметь его для себя — ироды! Но я постараюсь отвоевать его и повидаться с ним еще раз до его отъезда. Он обещал побывать у меня. По-английски он говорит хорошо, хотя и не без напряжения, из-за отсутствия практики; однако не преминул упомянуть, что ни один язык не может сравниться с русским. Очень мил и прост в обхождении. Лицо у него крупное, плечи — широчайшие, роста он очень высокого, и весь — как по виду, так и по характеру — куда мужественнее, чем кто-либо из известных мне литераторов. Думаю, что это знакомство будет для меня неисчерпаемым источником радости. После Виардо — так он сказал — ближайший его друг Гюстав Флобер, и предложил меня ему представить. Он также поддерживает дружеские отношения с Жорж Санд, с которой обещал меня познакомить...

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

20 декабря 1875 г.

...Как уже писал, я побывал у Тургенева и он мне очень понравился. Мы встречались с ним еще несколько раз, и я нисколько к нему не остыл. Он, по-видимому, намного старше и значительно больше утомлен жизнью, чем мне на первый взгляд показалось, но лучше его нет никого на свете. Он дважды заходил ко мне, а в прошлое воскресенье взял с собой к Гюставу Флоберу, с которым и познакомил.

[3] Отрывки из писем печатаются с разрешения журнала «Русская литература». Переводы сделаны по книге «Henry James Letters». Ed. by Leon Edel, v. II, 1875—1883, Cambridge (Mass.), 1975; v. III, 1883—1895, Cambridge (Mass.), 1980. *(Прим. ред.)*

[4] Очевидно, ошибка Генри Джеймса. Здесь и ниже имеется в виду Иван Сергеевич Тургенев.

Флобер меня тоже пленил, он совсем такой, каким представлялся мне по своим книгам...

Из письма к матери — Мери Р. Джеймс

24 января 1876 г.

...На днях был у Тургенева: он прикован к постели из-за подагры, которая его измучила. Он лежал на диване, и я час просидел возле него. Заходил к нему еще раз через несколько дней, но ему было так плохо, что он не смог меня принять и прислал сказать, что зайдет ко мне сам, как только станет выходить. Я по-прежнему в восторге от него: беседы с ним необычайно содержательны и слова его исполнены justesse[5].

Из письма к Уильяму Дину Хоуэлсу

3 февраля 1876 г.

...Да-да, я часто вижусь с Тургеневым, и мы с ним превосходно ладим. Он очень со мной мил и вызывает во мне самые теплые чувства. Он именно такой, о каком можно только мечтать — сильный, доброжелательный, скромный, простой, глубокий, умный, простодушный. Словом — чистый ангел...

Из письма к Томасу Сарженту Перри

3 февраля 1876 г.

...Я побывал у великого Ивана Петровича (Sic) и проникся к нему живейшей симпатией. Мы встречаемся довольно часто. и только вчера я провел у него часа два, слушая его высказывания о прототипе Базарова, его мнение о том, как надо писать, о Флобере, о Диккенсе и многом другом. Говорит он восхитительно, очень спокойно и очень просто, но, как сказал на днях Флобер, всегда умеет найти слово одновременно и необычное и точное. Доде: «Он чуть-чуть напоминает Сент-Бёва». Эдмон Гонкур: «Сент-Бёв умел найти выражение точное, но отнюдь не необычное...»

Из письма к Уильяму Джеймсу

8 февраля 1876 г.

...На днях снова был у Тургенева. Он прислал мне очаровательную записку (я вложу ее, если найду, для Элис), в которой сообщал, что все еще болен и просил зайти. Я пошел и провел с ним весь весьма дождливый день. Вот уж кто amour d'homme[6]. *Говорил он, больше чем когда-либо прежде, о том, как пишет, и сказал, что никогда ничего и никого не придумывает. В его рассказах все начинается с какого-нибудь наблюденного им характера, хотя часто этот характер, давший толчок рассказу, может затем оказаться второстепенным персонажем. Более того, он сказал, что никогда не вкладывает ничего придуманного ни в героев, ни в обстоятельства. По его мнению, весь интерес, вся поэзия, вся красота, все своеобычное и тому подобное уже есть в тех людях и обстоятельствах — в тех, кого он наблюдал,— причем в значительно большей мере, нежели он может придумать, и что — качество, в котором он видит ограниченность своего таланта!— черты слишком raffiné*[7], *слова и выражения слишком яркие или слишком закругленные вызывают у него инстинктивное méfiance;*[8] *ему кажется, что они не могут быть верными, а то, к чему он в конечном итоге стремится,— это верно передать индивидуальный характер. Короче, он в общем рассказал мне, как протекает у него процесс творчества, и сделал это бесподобно тонко и совершенно откровенно. В этой откровенности он весь. Искренность буквально написана у него на лице. Он также много говорил о Флобере, считая, что самая большая его беда в том, что он никогда не знал достойной женщины или, по крайней мере, сколько-нибудь интересной... В бедняге Флобере есть что-то трагическое: огромный интеллект, творческий механизм и в то же время колоссальные усилия — всегда бесплодные — выжать из себя хотя бы каплю страсти...*

Из письма к Элис Джеймс

22 февраля 1876 г.

...Несколько дней назад меня навестил Жан Тургенев, qui me raconta merveille[9] *о бале-маскараде, который давала мадам Виардо и куда я собирался пойти... но не пошел, так как у меня разболелась голова. Жан был со мной, как всегда, чрезвычайно мил, но, когда узнаешь его поближе, начинаешь понимать, что человек он слабый. Я не выношу, да и не могу понять его дружбы с этой кучкой флоберовских сателлитов, которые недостойны завязывать шнурки его башмаков...*

Из письма к Уильяму Джеймсу

14 марта 1876 г.

...К сожалению, сообщаю, что в последние дни совсем не виделся ни с Иваном Сергеичем, ни с Флобером, однако надеюсь вскоре их обоих увидеть...

Из письма к Уильяму Дину Хоуэлсу

4 апреля 1876 г.

Недавно — вскоре после получения Вашего письма — видел Тургенева, но не имел возможности передать ему Ваше послание: кругом толпилась пропасть народу. Он в высшей степени достойный человек и поистине гений...

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

11 апреля 1876 г.

...Полагаю, тебе хочется в первую очередь услышать что-либо об Иване Сергеиче. Я несколько раз виделся с ним за последние дни. Несколько часов я провел с ним в его кабинете. В другой раз видел его на вечере мадам Виардо. Она пригласила меня бывать на ее музыкальных вечерах (по четвергам) и по воскресеньям на вечерах en famille[10]. *Я посетил ряд четвергов, но только один раз (пока еще) побывал у нее в воскресенье. Сама она весьма привлекательная и ин-*

[5] Справедливости и точности *(франц.)*.
[6] Милейший человек *(франц.)*.
[7] Утонченные *(франц.)*.
[8] Недоверие *(франц.)*.
[9] Рассказавший мне короб чудес *(франц.)*.
[10] В семейном кругу *(франц.)*.

тересная женщина, хотя и некрасива из-за широко расставленных глаз и вытянутой верхней губы, но при этом весьма пикантна или, по крайней мере, как это называется у французов, très belle [11]. *На ее музыкальных вечерах занимаются исключительно музыкой, и потому для меня они исключительно скучны, тем более что сама она крайне редко на них поет. Позавчера я три часа провел там на ногах, слушая бесконечное пиликанье на скрипке, и утешался только тем, что стоящий рядом со мной Гюстав Доре скучал, по-видимому, не меньше меня... Мне было непривычно, но мило видеть, как Тургенев разыгрывает шарады. Он выступал в очень странном одеянии, закутанный в старую шаль, в маске и ходил на четвереньках. Шарады — обычное времяпрепровождение у Виардо по воскресеньям, и серьезность, с которой Тургенев, в его годы и с его известностью, их разыгрывает, просто поразительна! Мне думается, это очаровательный пример той непосредственности, которая свойственна европейцам и несвойственна нам. Ну, можешь ли ты вообразить себе, что Лонгфелло, Лоуэлл и Чарлз Нортон* [12] *принялись бы разыгрывать шарады? Да еще каждое воскресенье!..*

Из письма к Уильяму Джеймсу

25 апреля 1876 г.

...В последние дни несколько раз бывал у Тургеневых [13]*... Семья эта — оазис чистоты и добропорядочности в самом сердце парижского вавилона. Они, Иван Сергеич и еще один русский, с которым я недавно познакомился, внушают мне очень высокое мнение о русской натуре — во всяком случае, о некоторых ее образцах. Мой новый знакомец, Поль Жуковский, состоит в большой дружбе с Иваном С.; он рассказал мне много забавного о нем. По его словам, неисчерпаемую доброту и дружелюбие И. С. невозможно преувеличить, но невозможно преувеличить и его mollesse* [14] *и безволие... Он (Жуковский.— М. Ш.) также сказал мне, что Иван Сергеич отзывался ему обо мне с похвалой, «qui alla jusqu'a l'attendrissement»* [15]*, и в таком тоне, в каком он редко о ком-либо говорит. Пишу об этом, хотя и рискую показаться глупцом, чтобы доставить удовольствие нашим... Ивана Сергеича я не видел, кажется, с тех пор, как писал в последний раз...*

Из письма к матери — Мери Р. Джеймс

8 мая 1876 г.

...Самое приятное светское событие последних дней — обед «au cabaret» [16] *с Иваном Сергеичем, моим другом Полем Жуковским (о котором я уже Вам писал) и княгиней Урусовой. Пригласил нас Жуковский, и обед удался на славу. Я никогда не видел Тургенева таким веселым, разговорчивым и так умеющим развлекать других. В нем сочетаются острый ум художника и наивность ребенка — восхитительное сочетание!..*

Из письма к Элис Джеймс

24 мая 1876 г.

...Ивана Сергеича нет в Париже: он отправился на несколько месяцев в Россию, чтобы закончить роман, над которым уже много времени работает [17]*. Здесь он, мне кажется, пишет мало. Я виделся с ним три раза незадолго до его отъезда. Он посылает тебе свою фотографию, которую я прилагаю (на обороте он написал свое имя рядом с твоим). Фотография очень плохая. Мы виделись на вечере у Виардо, где он снова участвовал в шарадах — актер он никакой — и где все окружение решительно его недостойно. Второй раз — несколько дней спустя — я зашел к нему утром. Он очаровал меня больше, чем когда-либо прежде. Наивность, мягкость, благородство и приветливость — и к тому же исключительное чувство justesse,— которые живут в этом огромном казацком теле, вызывают у меня желание обнять его... В последний раз — не то назавтра, не то через день — Тургенев обедал со мной и Жуковским, но, как всегда, вынужден был отправиться домой, к мадам Виардо, в весьма ранний час...*

Из письма к Уильяму Дину Хоуэлсу

28 мая 1876 г.

...Я почти не вижусь с литературным братством[18]*, и у меня наберется с полсотни причин, почему я никогда с ними не сближусь. Мне не нравятся их изделия, а им не нравятся ничьи другие, и, кроме того, они не accueillants*[19]*. Тургенев стоит их всех вместе взятых; и он же терпит их, да так, что я только диву даюсь. Но он милейший человек и относится ко всему легко. Он воистину гений, подлинный и несокрушимый, и ему нет нужды вставать в оборонительную позицию, чтобы защитить то, что считает верным, и то, что любит. Ошибки, от которых и он не застрахован, нисколько его не огорчают. Скромен же он и прямодушен просто как ребенок... Сейчас он уехал в Россию, чтобы на два-три месяца схоронить себя в своем имении, где он попытается закончить роман, над которым уже года три-четыре работает. Всей душой надеюсь, что ему это удастся. Здесь он, мне кажется, работает мало...*

Жизнь в Париже не оправдала надежд Джеймса обрести необходимую ему литературную среду. Отношения с «внуками Бальзака», как он позже назовет французских писателей, собиравшихся в доме Флобера, не сложились. Их эстетическая программа, которая, как тогда казалось Джеймсу, отри-

[11] Очень хороша *(франц.)*.

[12] Лонгфелло, Генри Уодсворт (1807—1882) — американский поэт; Лоуэлл, Джеймс Расселл (1819—1891)—американский поэт и эссеист; Нортон, Чарлз Элиот (1827—1909)—американский критик и переводчик. Все трое в 50—60-е годы были на вершине литературной славы. Принадлежали к «Бостонской школе» которая как в жизни, так и в литературе выше всего ценила благопристойность и благовоспитанность.

[13] Имеется в виду семья Николая Тургенева.

[14] Мягкость *(франц.)*.

[15] В которой даже слышалась растроганность *(франц.)*.

[16] В кафе *(франц.)*.

[17] Речь идет о романе «Новь».

[18] Имеются в виду французские реалисты, с которыми Джеймс встречался у Флобера.

[19] Приветливы *(франц.)*.

пала необходимость нравственного идеала в искусстве, представлялась ему неприемлемой, а невнимание к культуре других народов воспринималось как непростительная узость. Пройдет менее десяти лет, и он полностью пересмотрит свои позиции в отношении Золя, и в особенности Доде, но в 1876 году он писал домой: «Странный они народ и интеллектуально очень далеки от того, что меня привлекает». Джеймс решил переселиться в Англию. Перед отъездом он побывал у Тургенева и спросил у него разрешение для Т. С. Перри перевести «Новь» на английский язык.

Отъезд Джеймса в Лондон не ослабил его дружеских связей с Тургеневым. Тургенев старался опекать полюбившегося ему американца даже на расстоянии. «Подружитесь с Генри Джеймсом,— обратился он в письме от 10 (22) января 1877 года к своему английскому переводчику и доброму знакомому У. Ролстону,— он очень славный, разумный и талантливый человек». Писатели обменивались письмами, своими новыми книгами. В апрельском номере американского журнала «Нейшн» за 1877 год появилась рецензия Джеймса на «Новь»... «Благодарю Вас за нее,— писал Тургенев Джеймсу 4 (16) мая из Парижа.— Хотя эта книга понравилась Вам меньше других, Вы отнеслись к ней очень благосклонно». Придет время, и Джеймс воспользуется художественными уроками последнего тургеневского романа в книге «Княгиня Казамассима» (1886). «Тургеневскими» во многих отношениях были и другие, более ранние его романы: «Родерик Хадсон» (1874), «Американец» (1877), «Женский портрет» (1881).

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

11 ноября 1876 г.

... Дни бегут, зима всерьез вступила в свои права, и моя жизнь в Париже близится к концу. Как я уже писал тебе, решение мое только укрепилось: еще одна зима в Париже не стоит свеч... Единственное, о ком я жалею,— это о моих русских друзьях. Они привлекательнейшие (для меня) люди; им свойственна легкость и désinvolture[20]*, создаваемая тем обстоятельством, что они, владея многими языками, держат свои окна широко открытыми на все четыре стороны света... К моему сожалению, Иван Сергеич еще не вернулся в Париж, и, боюсь, мне не удастся с ним много видеться до отъезда. Я был ужасно раздосадован, узнав, что на днях он послал Жуковскому и мне письмо с предложением вместе пообедать; письмо это до нас не дошло, и, не получив на него ответа, он не мог с нами встретиться. Какого же удовольствия я лишился...*

Из письма к Элис Джеймс

13 декабря 1876 г.

...Вот я и в Лондоне... Перед отъездом провел последнее утро с Тургеневым — у его постели, к которой он прикован из-за подагры, и мы расстались очень нежно. Он выразил лестное для меня желание переписываться со мной как можно чаще и, прощаясь, сказал мне: «Adieu, cherami»[21]*, тронув меня до слез. Мое последнее впечатление от него такое же, как первое. А этим много сказано...*

Из письма к Элис Джеймс

2 марта 1877 г.

... Посылаю тебе, вместе со своим, письмо, полученное мною сегодня утром от Ивана Сергеича[22]*, в надежде, что оно доставит удовольствие тебе и всем нашим. Пожалуйста, никому чужому его не показывай и верни в том же конверте при первой же оказии...*

Каждый раз приезжая в Париж, Джеймс навещал Тургенева либо на улице Дуэ, либо в его загородном доме — в Буживале, либо они по-прежнему встречались в парижских кафе. И Тургенев, посещая Англию, платил ему тем же. Самым памятным был обед, на который Джеймс пригласил Тургенева 20 июня 1879 года. Друзья отметили присуждение Тургеневу степени почетного доктора гражданского права Оксфордским университетом.

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

19 сентября 1877 г.

Виделся здесь (в Париже.— М. Ш.) с несколькими знакомыми... Тургенев приезжал вчера из загородной местности, чтобы позавтракать со мной, но завтрак получился грустный. Он в очень печальном расположении духа из-за все более и более роковых неудач русской армии[23] *и не скрывает, как ему это больно. Он ждет полного провала и поражения русской стороны и говорит, что при негодности их генералов и порочности системы (когда невежественные великие князья выступают в качестве главнокомандующих и т. д.) другого исхода и быть не может... Тургенев говорит, что потерял сон и целыми ночами его преследуют кошмары. Словом, он чувствует себя очень несчастным...*

Из письма к Уильяму Эрнесту Хенли[24]

28 августа 1878 г.

... Я чрезвычайно рад, что Вы собираетесь написать о нем (Тургеневе. — М. Ш.), и желаю Вам успеха. На мой взгляд, он hirge еще не получил должной — хотя бы на четверть! — оценки. Моя попытка относится к весьма отдалённым временам — 1873 году,— и если бы мне предстояло a refaire[25]*, я сделал бы это лучше...*

---

[20] Непринужденность *(франц.)*.

[21] До свидания, мой друг *(франц.)*.

[22] Речь идет о письме Тургенева к Джеймсу от 16/28 февраля 1877 г.

[23] В начале военной кампании в русско-турецкой войне 1876—1877 годов русские армии потерпели ряд неудач в районе Плевны и на Кавказе. Встреча Джеймса с Тургеневым происходила, вероятно, вскоре после штурма Плевны (11—12 сентября 1877 года) русскими войсками, которыми номинально командовал великий князь Николай Николаевич.

[24] Хенли, Уильям Эрнест (1849—1903) — английский поэт, драматург и критик.

[25] Начать сначала *(франц.)*. Речь идет о статье «Иван Тургенев» (1874).

Вы правы, говоря, что он лучше Джорджа Мередита. И насколько же лучше! Джордж Мередит, как мне представляется, превосходный пример писателя из породы совершенно противоположной Тургеневу — нереалистов — сугубо литературных повествователей. Тургенева нисколько не занимают эпиграммы и фразы. Он черпает вдохновение не в литературных изысках, а исключительно в человеческом, нравственном...

Из письма к Уильяму Дину Хоуэлсу

17 июня 1879 г.

... Не угодно ли пообедать со мной 20 июня и встретиться с Тургеневым? Как жаль, что Вам это недоступно![26] Тургенев приехал на несколько дней, и я пригласил Джона Фиска[27] и собираюсь познакомить его с И. С. Джон Вам все расскажет...

Из письма к матери — Мери Р. Джеймс

6 июля 1879 г.

...Я дал приятнейший в моей жизни обед — обед, на который пригласил Тургенева. Все замечательно удалось! ...Милейший Иван Сергеич был в ударе и сбаятелен как никогда... Его простота и обходительность не уступают его остроумию и уму, а его умение вести беседу приправлено (прошу прощения за сие кулинарное выражение) самой пленительной bonhomie... [28]

Из письма к Томасу Сарженту Перри

14 сентября 1879 г.

... Да, обед в честь Тургенева был очарователен. Жаль, что Вас не было с нами. Вскоре я его (Тургенева.— М. Ш.) снова увижу. Поеду вслед за ним за город...

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

11 октября 1879 г.

...Позавчера вместе с Гамильтоном Эйде ездил за город (в Буживаль) повидаться с несравненным Тургеневым. Он был такой же обходительный, как всегда, хотя его снова ужасно мучает подагра...

[26] У. Д. Хоуэлс находился в Америке.
[27] Фиск, Джон (1842—1901) — американский историк и писатель.
[28] Доброжелательностью *(франц.)*.

Из письма к отцу — Генри Джеймсу-старшему

24 февраля 1881 г.

...Совсем забыл сообщить тебе, что в Париже провел много времени с Тургеневым, у которого я трижды побывал и сидел подолгу. Он снова в постели из-за подагры. Мы собирались вместе позавтракать, но незадолго до назначенного дня я получил неизбежную телеграмму. Он выглядел намного старше, чем в последнее наше свидание, но был мил и человечен как никогда...

Последний раз Джеймс виделся с Тургеневым в конце ноября 1882 года. Вскоре, получив известие о тяжелой болезни отца, Джеймс уехал в Америку. Отца в живых он уже не застал, а когда 3 сентября 1883 года вернулся в Лондон, ему сообщили о смерти Тургенева. Джеймс отдал последний долг своему старшему другу в проникновенных воспоминаниях о нем, которые появились несколько месяцев спустя в январском номере американского журнала «Атлантик мансли» за 1884 год.

Из письма к Эдмунду Госсу [29]

26 декабря 1883 г.

...Очень рад, что Вы считаете мою статью о Тургеневе [30] *живой и выразительной. Он был образцом благородного, вдохновляющего других человека, и у меня такое чувство, что самого главного и характерного я о нем в своей статье сказать не сумел. Но если от нее исходит аромат восхищения и нежности, то она оправдана. Тургенев был чистый, прекрасный, очаровательной души человек; второго такого человека я никогда не знал...*

Из письма к Грейс Нортон [31]

23 февраля 1884 г.

...Как мне недостает Тургенева! Только теперь понимаю, чем было для меня его присутствие в Париже, когда я приезжал сюда...

[29] Госс, Эдмунд (1849—1928) — английский поэт и критик. Статью «Иван Тургенев» (1884) Госс, вероятно, читал в гранках.
[30] Русский перевод всех статей Г. Джеймса о Тургеневе см. в кн.: Джеймс Г. Женский портрет. М., 1981 (сер. «Литературные памятники»). Дополнения, с. 493—530 (перев. М. А. Шерешевской). Статья «Иван Тургенев» (1897) опубликована также в кн.: Писатели Англии о литературе XIX—XX вв. М., 1981, с. 191—196 (перев. В. Бернацкой). *(Прим. ред.)*
[31] Нортон Грейс — американская знакомая и корреспондентка Джеймса.

ЧУВСТВО ИСТОРИИ

«Быть черным в Америке никогда не сулило добра, но выдавались времена, когда быть черным становилось хуже, чем это бывает обычно».

— таким афоризмом открывается статья негритянского прозаика Дэвида Брэдли «Черный и американец, 1982», напечатанная в журнале «Эсквайр».

Статью, собственно, можно было бы воспринять как конспект автобиографии, и в этом отношении она тоже представляла бы немалый интерес. Ведь не часто случается, чтобы молодой писатель так быстро завоевывал известность и признание, как это произошло с Дэвидом Брэдли: в свои тридцать три года он считается не просто «подающим надежды», а сложившимся мастером — из тех, кто определяет облик сегодняшнего американского романа.

Восхождение Брэдли было стремительным. Уже «Южную улицу», книгу, которой он дебютировал восемь лет назад, заметили и поддержали наиболее авторитетные критики. А «Случай в Чейнисвилле» (1981) стал литературным событием

Преобладающей нотой в многочисленных откликах на роман было удивление. И вызывалось оно не только оригинальностью замысла, не только очевидной одаренностью автора. Больше всего удивляли приметы творческой зрелости и в особенности — присущее молодому писателю чувство истории. Оно и выделило Брэдли и на фоне традиции, и среди современных негритянских романистов, включая таких крупных, как Джеймс Болдуин или Тони Моррисон.

Причем оно не было декларативным, это ощущение обширного и сложного исторического контекста, вне которого невозможно осмыслить конфликты развертывающиеся в черной Америке сегодня. Оно возникало у Брэдли не из авторских пояснений, не из комментариев, широко раздвигающих хронологические границы действия, которое развернулось в небольшом провинциальном городке, где по окраинам гянутся «цветные» кварталы. Оно было присуще каждому персонажу, выражаясь по-разному — в зависимости от их индивидуальностей, позиций, взглядов,— но определяя самосознание их всех.

И вот, говоря о своем духовном, творческом становлении, Брэдли на страницах «Эсквайра» коснулся и проблем, с одной стороны, «вечных» для черного американца, сталкивающегося с неприкрытым или закамуфлированным расизмом, а с другой — сугубо злободневных, наполнившихся актуальностью в самое последнее время.

Размышления Брэдли об умонастроении многих сегодняшних обитателей черной Америки, да и своем собственном, объединены двумя ключевыми понятиями: «ахромизм» и «великое общество». Первое — изобретено самим Брэдли. В буквальном переводе это слово означает невосприимчивость к цвету. Но перед нами метафора, по-своему такая же емкая, как образ, когда-то предложенный Болдуином,— «метафизическая реальность расы».

Она, эта реальность, существует в США для каждого чернокожего, и для каждого постижение этой — в каком-то смысле и правда неизменной — ситуации оказывается открытием истинного порядка вещей в американском обществе. С ходом лет модифицируются формы расовых отношений, но их основы — все те же самые, и все так же чернокожий, кем бы он ни был, ощущает на себе действие системы ограничений, несправедливостей, предрассудков, которые в своей совокупности и составляют постыдный феномен расизма.

Как пишет Брэдли:

«Мою судьбу определяет общество, к которому я принадлежу по праву — или по несчастным обстоятельствам — своего рождения. И это общество таково, что в нем все мною достигнутое, усвоенное, приобретенное, унаследованное, нажитое, отданное, растраченное, все, что лично я сделал или мог бы сделать, все это никогда не перевесит самого факта моей черной расы».

В наши дни эта констатация столь же бесспорна, какой она была бы и сто, и двести лет тому назад. Может быть, она теперь даже особенно красноречива — ведь сколько потрачено официальной американской пропагандой усилий на то, чтобы создать видимость едва ли не безоблачной гармонии, будто бы приходящей на смену былому расовому антагонизму.

Об этих стараниях Брэдли отзовется с язвительностью, замешенной на горечи,— надо ли пояснять, насколько обоснованной, насколько естественной! Школьником он уже выделялся среди тех, кого в колледже стыдливо именовали «представителями меньшинства», и его поощрили бесплатной поездкой

в Вашингтон. А там он сделался свидетелем того, как

«чиновники Белого дома, отвечавшие за состояние отношений в обществе, всеми силами стремились создать видимость, будто Линдон Джонсон делает для «обездоленных» не меньше, чем сделал для рабов Линкольн, и при этом обращались с истиной, точно ее можно дозировать».

Брэдли тогда было всего восемнадцать лет, он еще не понимал механики этих демагогических ухищрений Опыт многому его научил. И сегодня он уже не обманется, слушая разглагольствования либералов

«о высоких моральных истинах, о желании изменить самые основы американской социальной жизни, о необходимости возместить черным тот ущерб, который они понесли на протяжении нашей истории,— ну, хотя бы обрушивая поток благодеяний на тех, кто молод и еще успеет ими воспользоваться».

Он знает, что расовый конфликт не исчез и не может исчезнуть, пока сохраняются социальные условия, создающие почву для его произрастания. Другой вопрос, как воспринимают уготованную им «метафизическую реальность» сами черные американцы. Болдуин говорил от имени поколения, сформировавшегося в 50-е годы. Тогда принадлежность к черной расе означала для личности бесправие в его самых грубых и неприкрытых формах. Негр был существом не только отверженным, но и принуждаемым согласиться со своей отверженностью, принять ее как непреложность бытия. И исходным побуждением для болдуиновских героев, воплощавших характернейшие черты поколения, становилась жажда вырваться из плена этой приниженности — социальной и духовной, осознать себя полноправными индивидуальностями, преодолеть замкнутость расой, чтобы обрести причастность к человечеству.

На гребне движения за равноправие, принявшего в 60-е годы такой размах, что речь шла о «негритянской революции», круто переменились и побуждения, и верования — раса стала осознаваться не как знак второсортности, навязываемой обществом, а как указание избранничества, чуть ли не как патент на особую миссию, которую призван осуществить черный американец. Это была все та же «метафизическая реальность», только переживаемая совсем по-другому, чем прежде: страх, отвращение, стыд сменялись гордостью, а то и самолюбованием. Многих — и Болдуина тоже — тогда напугала столь резкая перемена, да она и впрямь заключала в себе опасности изоляционистских, националистических крайностей, памятных по еще не остывшей хронике тех лет. Да, крайности и опасности и впрямь были на виду, но ведь тогда происходил процесс, слишком значительный для судеб черной Америки, преодолевавшей столетиями насаждавшуюся психологию «неполноценности» и отверженности. А такие процессы не бывают ни безболезненными, ни плавно поступательными в своем развитии.

Поколению Брэдли предстояло осмыслить весь этот драматический и поучительный опыт своих прямых предшественников. И, ясно увидев их иллюзии, их ошибки, это поколение не отреклось от обретенного в 60-е годы сознания неотвратимости коренной перестройки социальных институтов и норм человеческих взаимоотношений в американском обществе — так, чтобы были ликвидированы сами основания, на которых держится белый расизм. Оно не отреклось и от завоеванного в грозные 60-е чувства расовой гордости, оно уже и росло с ощущением духовной, нравственной, культурной самобытности черной Америки, и особенно возмущенно реагировало на всякую попытку принизить эту самобытность, реанимировав стародавнюю ложь о некоей врожденной неспособности черной расы к подлинному творческому созиданию. Оно презирало тех, кто, как пишет Брэдли:

«старался заглушить в себе гнев, чувство достоинства, готовность к противодействию и даже память о цвете собственной кожи,— и все лишь с одной целью чего-то достичь в мире. Это были для нас не герои, даже не жертвы. Всего лишь продавшиеся».

Для этого поколения уже не обладал ни обоснованностью, ни притягательностью и столь устойчивый в 60-е годы миф о расовой общности, будто бы являющейся фактором куда более важным и действенным, чем различия и социального, и идейного, и просто индивидуального, человеческого характера. Памятуя о тех тупиках, в которых очутилось движение за равноправие, когда верх в нем взяли настроения негритянского изоляционизма и беспочвенные грезы о расовом единстве, сегодняшняя черная Америка испытывает особую потребность в мышлении реалистическом и трезвом, опирающемся на факты подлинной истории и понимание законов, определяющих историю. По-разному выражается эта потребность, и в литературе она тоже находит многообразный отклик. Но характерно, что книги, в которых отразилась негритянская ситуация конца 70-х годов, почти всегда проводят обширные исторические параллели, восстанавливающие главные эпизоды жизни черной Америки вплоть до «красных тридцатых», как в романе Болдуина «Прямо над головой», или до гражданской войны, как у Тони Моррисон в «Песне Соломона». Или даже до тех совсем отдаленных времен, когда плыли в Новый Свет первые невольничьи корабли, а в их трюмах, переполненных живым товаром, рождались и отчаяние, и ненависть к поработителям, и скрытое упорство сопротивления, и беспомощная психология приспособленчества — весь тот и по сей день сохраняющийся комплекс настроений, который воссоздал на страницах романа «Случай в Чейнисвилле» Дэвид Брэдли.

Острее других негритянских писателей уловив сегодняшнюю особую насущность постижения истории в ее истинности, он предстал в своем творчестве как художник, обладающий способностью обнаруживать за злободневными событиями нити, подчас тянущиеся очень далеко в глубь времени. По сюжету «Случай в Чейнисвилле» мог бы показаться традиционным семейным романом: герои книги, молодой историк, приехавший в родной городок на похороны друга и с целью уладить дела по отцовско-

му завещанию, сталкивается с хитросплетениями интересов, которые дают почувствовать несхожесть характеров, различие идей и представлений основных персонажей, вовлеченных в действие, а тем самым доносят и атмосферу нынешней «одноэтажной» Америки. Читателю поминутно слышатся отголоски «негритянской революции», тех потрясений и драм, которые выпало пережить Америке в последние два десятилетия, когда духовно сформировался и сам повествователь.

И все же это лишь канва рассказа. А его сущность — размышления героя над тем, что век за веком повторяются, но неизменно остаются новыми, наполненными актуальным и неповторимым значением для каждого поколения те жестокие противоречия и трагические конфликты, которые порождены расизмом. Об этом думают, об этом спорят у Брэдли все его персонажи, и, выбирая свой путь, каждый из них на свой лад стремится защищаться от расистских порядков, уродующих жизнь. Но до чего несхожи способы, к которым прибегают в этой ни на миг не прекращающейся борьбе, до чего различны конечные жизненные итоги! И вместе с тем как все это знакомо — и сама ситуация вновь и вновь обозначающаяся перед черным американцем, точно бы время не двигалось, и варианты нравственного выбора в такой ситуации, и побуждения, и надежды, и катастрофы.

При свете истории, который различим буквально на каждой странице повествования Брэдли, свое подчиненное место в общей картине занимают частности и резче, нагляднее выступает суть. Так происходит и в его романе, и в статье, послужившей комментарием к «Случаю в Чейнисвилле».

«Колебания цветной гаммы, конечно, возможны,— пишет Брэдли,— возможны оттенки и светлые, и темные, но они не настолько значительны, чтобы за ними потерялась истина».

А истина в том, что расизм никуда не исчезает:

«Создаются все новые и новые системы, но непременно такие, чтобы старая система сохранилась в них полностью неприкосновенной».

Та самая «старая система», которую на плантаторском Юге былых времен стыдливо называли «самобытным институтом», чтобы не резало слух грубое слово «рабство».

И «ахромизм»— только еще одна из таких вот систем. Суть ее, как полагает Брэдли, сводится к тому, что никакие старания личности осуществить весь заложенный в ней духовный потенциал не имеют для расистского общества ни малейшего значения, если это негритянская личность. Существенной оказывается лишь раса. Словно бы само появление черного лица на цветном телеэкране немедленно «выключало» для зрителей все иные оттенки спектра, и изображение они начинали видеть в каких-то размытых однотонных контурах. Словно бы:

«глаза общества — собачьи глаза, способные различать только черное и белое».

Брэдли с иронией замечает, что в «ахромизме» есть

«и свои положительные стороны, по крайней мере, ты и сам видишь мир столь же четко и незамутненно, как мир воспринимает тебя».

Но на самом деле автору «Случая в Чейнисвилле» вовсе не свойственна подобная прямолинейная четкость. Напротив, в понятие «ахромизм» Брэдли вкладывает очень непростое содержание. Потому что такого рода «невосприимчивость к цвету» на практике может выражаться многообразно. Например, в непризнании за личностью никаких иных существенных характеристик, кроме ее принадлежности к черной расе. Или в стремлениях решительно не считаться с тем обстоятельством, что негритянская история сформировала особый тип человека, особую духовную культуру, требующую внимания и уважения. Или, наконец, в жалких и недостойных попытках отречься от собственного этнического наследия, сделаться «почти белым», искусственно «позабыть» о своих корнях и своей причастности к судьбам черной Америки. Все эти модификации «ахромизма» встретятся читателю романа Брэдли, и хотя они кажутся совершенно несходными, сущность остается неизменной — все те же нравственные уродства, которые созданы расизмом.

Сегодня не так-то порой просто распознать конечную причину подобных уродств с действительной четкостью, ничего не упрощая, но и не утрачивая главного.

«Я родился в 1950 году — пишет Брэдли,— и, поскольку я черный, этот факт означает, что все со мною происходившее было предопределено еще и отведенной мне функцией крохотного винтика в сложном механизме, именуемом великим обществом».

Саркастически описываемое Брэдли «великое общество»— второе ключевое понятие в системе его рассуждений. В этом мифическом «великом обществе», о котором во все трубы трубили и в 50-е, и в 60-е годы, должно было воцариться безупречное «экономическое и социальное равенство». А стало быть, как иронически заметил Брэдли, нужно было

«предать забвению воспоминания о былых несправедливостях и игнорировать свидетельства о несправедливостях теперешних, и находили вполне естественным расходовать огромные средства именно для того, чтобы игнорировать и забывать».

И поборники доктрины «великого общества» не видели никакого противоречия в том, что восхваляемое ими «равенство» исключало

«весьма скромные и даже по американским меркам вполне разумные требования ненасильственного движения за гражданские права».

Толковали о неслыханной демократии, но какую ярость вызвала попытка добиться, чтобы штат Миссисипи, известный расовой нетерпимостью, был представлен в Конгрессе

«смешанной, а не лилейно-белой делегацией».

Сочувствовали маршам и молитвенным со-

браниям, пока дело не шло дальше общих слов и распевания духовных гимнов, но

«в какой ужас пришли оттого, что черным показалось обоснованным прибегнуть к насилию против собственности в ответ на насилие, чинимое над ними».

Подростком Дэвид Брэдли не раз сопровождал отца в его поездках по негритянским общинам. В молельных Брэдли-старший выступал с проповедями на тему, почерпнутую из Евангелия от Матфея: «Стучите, и отворят вам». Идеологами «великого общества» было приложено много стараний к тому, чтобы создать видимость практической осуществимости этого завета:

«Двери, в которые черные стучались, а порой и колотили кулаками — и их самих колотили кулаками за то, что они произвели такой шум,— теперь чуть приоткрылись, надо было кого-то в них впустить».

Так «впустили» и самого Брэдли, а этот пример

«должен был продемонстрировать, будто скромностью притязаний, упорной работой и солидными достижениями черный способен заставить общество широко распахнуть перед ним вход в свой роскошный особняк и предоставить ему место в зале для торжественных приемов».

Такая тактика оказалась даже действеннее, чем привычные методы расправ и запугивания, сегрегации и грубого принуждения. Появилась иллюзия восстанавливаемой расовой и социальной справедливости. Брэдли памятно время, когда эта иллюзия овладела многими обитателями черной Америки, приобрела определенную власть и над ним самим. Но вот вышел в свет «Случай в Чейнисвилле», и критики не скупились на комплименты, а анонимные голоса осыпали автора по телефону оскорблениями, обычными в устах расистов. И Брэдли не был этим удивлен.

«К этому времени я достаточно хорошо познакомился с истинными фактами американской истории, и давней, и близкой... Я понял, что либеральные программы отнюдь не стремились изменить состояние нашего общества, они были намерены лишь придать ему более пристойный внешний облик... Поменялись местами слагаемые, а сумма осталась неизменной: новые системы были столь же расово предвзятыми, как и прежние. Их задача состояла не в том, чтобы покончить с расизмом в нашем обществе, а в том, чтобы, собственно говоря, его удвоить».

Сейчас Брэдли преподает в университете Темпл, в Филадельфии. Когда-то здесь работал выдающийся негритянский общественный деятель и литератор Уильям Дюбуа. Учрежден мемориальный кабинет Дюбуа, где хранится собранная им коллекция ценных документов по истории черной Америки. А в остальном ситуация точно такая же, как в любом другом американском университете: читаются курсы литературы, обходящие молчанием творчество крупнейших писателей-негров, из негритянских сотрудников университета 83 процента заняты на секретарских, хозяйственных и технических должностях, а из двух с лишним тысяч преподавателей лишь 42 представляют расовое меньшинство. Университет гордится своими установлениями, по американским понятиям — сравнительно передовыми. Впрочем,

«нет никакой необходимости устраивать митинги против расизма, потому что все, что должен бы сделать мой университет,— это покончить с расизмом в собственной практике».

Это лицемерие — норма вещей в «великом обществе», где «ахромизм» был и остается обыденностью и для черных, и для индейцев, и, например, для гаитянских беженцев,

«которых рейгановская администрация, постоянно обвиняющая русских, но при этом весьма доброжелательная к Южной Африке, согнала в особые лагеря, чтобы затем выслать обратно в их страну».

И оттого, что с лицемерием приходится сталкиваться на каждом шагу, оно уже перестает осознаваться в своей чудовищности. К нему привыкают. Его выучиваются молчаливо принимать, даже не обманываясь насчет истинного положения дела.

В суждениях Брэдли подчас тоже можно различить следы усталости от этой непрекращающейся лжи, которая вызывает в ответ лишь невеселый юмор:

«Да, ахромизм не лишен преимуществ, — по крайней мере, понимаешь, в чем для тебя самое главное. Нужно честно осознать, кто ты такой. Ахромизм ведь не запрещает черному чувствовать себя личностью, только пусть черный не ждет от общества какого бы то ни было внимания к тому, что он личность. И кроме того, ахромизм позволяет гораздо лучше понять, какова реальная история».

Нельзя не ощутить горечи и жестокой насмешки в таких комментариях Брэдли к сегодняшней расовой ситуации в США. И в романе Брэдли не редкость такие вот пессимистические ноты, язвительные интонации. Они и понятны — ведь терпеливое мужество, с каким переносил и переносит негритянский народ США свою исковерканную расизмом судьбу, не беспредельно.

Но есть великая сила в этом упорстве противодействия расизму, и тем более — когда оно подкреплено пониманием подлинных законов, по которым развивается история. Брэдли осознает себя наследником тех негритянских мыслителей и художников, которые от поколения к поколению хранили и преумножали веру своего народа в конечное торжество действительного равенства, когда навсегда исчезнет «ахромизм», и стремились приблизить этот долгожданный день. Опыт, накапливавшийся веками, осмыслен этим «черным и американцем» наших дней глубоко и трезво. И как ни тягостны те или иные страницы истории черной Америки, постоянно находящиеся в поле зрения Брэдли, в своей целостности, в высшем своем значении история дает ему самое необходимое —

«и силу, и знание, и многоцветие, которое пока еще не выявлено для мира, но остается во мне самом как надежда, единственная, на которую я полагаюсь».

А книги Брэдли убеждают, что эта надежда не тщетна.

А. ЗВЕРЕВ

Публицистика

Писатели мира отвечают на обращение Михаила Шолохова

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (Болгария)

Дорогой товарищ Шолохов,

Ваше письмо — призыв к писателям всего мира — вызывает у меня смешанное чувство радости и тревоги. Я рад вновь услышать Ваш голос, голос одного из самых могучих титанов общечеловеческой литературы XX века, одного из колоссов, не только взваливших на свои плечи земной шар, но и зажегших звезду человеческой надежды. Вместе с тем Ваше письмо — это сигнал тревоги перед надвигающейся небывалой в истории человечества опасностью термоядерной гибели всей цивилизации, а быть может, и жизни на нашей планете.

Мне хотелось бы сразу же заверить Вас, дорогой товарищ Шолохов, что Ваш тревожный призыв к бдительности находит горячую поддержку в наших болгарских сердцах. В годы разрядки, которые сделались возможными только благодаря мирной политике Советского Союза, все мы поверили в то, что мир на нашей планете возможен. Мы поверили в то, что человечество бросит в тронувшиеся льды свое убийственное оружие, как это сделал Ваш Григорий Мелехов в конце «Тихого Дона», чтобы оно навеки исчезло в водах прошлого, чтобы для всех наступила эпоха мирного, творческого созидания, эпоха свободы и социальной справедливости.

Но вот сегодня вновь над нами, над всем человечеством поднимается волна военного сумасшествия, к тому же нам угрожают не обыкновенным оружием, а чудовищными средствами геноцида, и перед всеми нами стоит роковая сверхзадача: спасти жизнь, спасти человечество.

Союз болгарских писателей, организатор софийских писательских встреч под девизом «Мир — надежда планеты», встреч, одним из инициаторов которых являетесь Вы, всегда будет считать борьбу за мир своим самым важным человеческим и творческим долгом. Ваш призыв мы принимаем как новое мирное оружие в нашей борьбе за единство людей доброй воли и писателей, стоящих на службе гуманизма.

В этой борьбе мы всегда будем вместе, дорогой Михаил Александрович.

Сердечно поздравляю Вас с знаменательным юбилеем — шестидесятилетием Вашей литературной деятельности.

Прошу принять мои искренние пожелания всего доброго, здоровья и творческих сил.

Ваш
Любомир Левчев

К. С. ДУГГАЛ (Индия)

Уважаемый господин Шолохов!

На конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте мне передали текст Вашего обращения. Должен сказать, что появилось оно как нельзя более вовремя. И если необходимо доказательство того, что писатель держит руку на пульсе времени, Ваше обращение как раз служит таковым, предупреждая созидательные таланты мира о разжигании «холодной войны» (недавнее тому свидетельство — злодейская акция неоколониалистов — спровоцированный инцидент с южнокорейским самолетом).

На пленарном заседании нашей конференции, в которой участвуют представители 60 афро-азиатских стран, сегодня утром оратор за оратором говорили о термоядерной угрозе и роли писателей в предотвращении мировой катастрофы, к которой нас толкают агрессоры. Сейчас действительно настал критический момент в истории, когда страны и их государственные мужи, когда писатели и художники проходят проверку. Сейчас все зависит от того, сумеем ли мы с помощью дружбы и сотрудничества отстоять мир. Альтернатива — полное уничтожение человечества.

То, что Вы говорите,— не преувеличение, не вымысел какого-нибудь второразрядного беллетриста. Агрессивные планы империалистов никогда еще не были столь зловещими и угрожающими. Никогда еще неоколониалисты не были так спаяны с военно-промышленным комплексом, как сегодня. Политико-экономическая ситуация в развитых капиталистических странах — итог зловещего альянса капиталистических монополий с государственной властью. Государство защищает интересы монополистов, которые являются его костяком. Именно это имело место в фашистской Германии, прежде чем Гитлер развязал кровавую войну в мире. Милитаризация стала главной заботой развитых капиталистических стран. В ней высокомеханизированное буржуазное общество видит решение проблемы безработицы. Растущий экспорт вооружений призван оказать влияние на страны-потребители. Обращаясь к конференции глав неприсоединившихся государств, происходившей не так давно в Дели, Фидель Кастро с возмущением говорил о том, что 258 миллиардов долларов, уже намеченных на военные расходы Соединенными Штатами Америки,— всего лишь начало политики наращивания вооружений, которая к 1987 году будет выражаться в размере 1,6 триллиона долларов. Иными словами, за десятилетие между 1977 и 1987 годами военные расходы США возрастут на 272 процента. Именно эта политика наращивания военной мощи несет угрозу миру и будущему человечества.

Самое зловещее во всем этом — милитаризация науки. Известно, что более 70 процентов ассигнований на науку приходятся на военные исследования. Если бы такую сумму возможно было бы отвести на нужды человечества, на борьбу с болезнями, мы жили бы в другом мире.

В ответ на такую эскалацию вооружений в капиталистическом мире социалистические страны вынуждены принимать меры к защите своей безопасности.

Но на этом порочный круг еще не замыкается. Медвежьей хваткой он вовлекает в себя слаборазвитые и развивающиеся страны, изможденный «третий мир». В опубликованном недавно отчете УНКТАД сложившуюся ситуацию называют рытьем себе могилы. В отчете говорится: «Около 570 миллионов людей в развивающихся странах недоедают, 800 миллионов взрослых неграмотны, 250 миллионов детей не ходят в школу, 1500 миллионов людей имеют ограниченный доступ к медицинской помощи или не имеют его вообще». И этим людям приходится из последних сил мобилизовывать свои ресурсы, дабы защитить так дорого доставшуюся свободу и территориальную независимость.

И при этом сознавать, что само наше существование зависит от единственной человеческой ошибки, которая может разжечь ядерное пламя и взорвать мир. Известно, что не менее 5 тысяч мужчин и женщин, занятых в различных ракетных комплексах США, были отстранены от работы: обнаружилось, что они употребляют наркотики или страдают каким-либо психическим заболеванием. Каждый из них мог принести конец человечеству. Если этого не случилось, то лишь по счастливой случайности. Эта счастливая случайность может однажды и обойти нас. Мы сидим на жерле вулкана.

Огромна в наши дни ответственность писателей. Наш долг — встать вровень с неотложными задачами, которые выдвигает время. Замыслы империалистов и неоколониалистов должны потерпеть крах. Разум должен одержать верх над милитаризацией.

Ваше обращение, господин Шолохов, не должно остаться незамеченным. Мы, те, кто читает и уважает Вас, обязаны внести свою лепту и сделать все, чтобы донести Ваш призыв до самых дальних уголков земного шара.

Мы помним Ваше предыдущее обращение с призывом сохранять духовные ценности, развивать и углублять контакты культур разных народов. Вы научили нас восхищаться правдой и красотой. Мы будем следовать этим вечным указателям, мы не подведем Вас, господин Шолохов.

Уважающий Вас
К. С. Дуггал

РАУЛЬ ФЕРРЕР (Куба)

Вы, бесспорно, правы, дорогой и почитаемый писатель Михаил Шолохов, подчеркивая, что драматический вопрос гонки вооружений должен заставить нас думать о самой существенной из всех человеческих забот на земле. Вы призываете литераторов к неотложной мобилизации сил против безумия войны, которой не желает ни один народ и которая, если она вспыхнет, станет последней, по суждению ученых, уничтожив все на планете.

К несчастью, есть силы в мире, бессмысленно упорствующие в военных угрозах и отказывающиеся от любого мирного решения существующих проблем. Да, чтобы помочь ориентироваться народам, нет ничего более действенного, чем слово, вовремя сказанное писателями, известными, всеми уважаемыми людьми,— усомнится ли кто-нибудь в их любви к жизни, к человечеству? И нет здесь места для различий в странах, континентах, идеологических или религиозных убеждениях.

Меня, кубинского писателя, взволновал Ваш призыв, он отвечает моим естественным стремлениям человека, желающего, чтобы мир следовал по пути прогресса и чтобы все, созданное человеческим родом ради жизни, не могло быть сведено на нет или уничтожено в ядерном огне.

Мы обязаны немедленно предпринять все, что только возможно и невозможно, чтобы сохранить завоевания цивилизации во имя благосостояния и культуры народов. Лишь те, кто не испытывает никакого уважения к тому, что создано человеком труда — умственного и физического,— начиная с использования огня и колеса и вплоть

до познания лазера и тайн космоса, могут, бросая вызов истории, требовать, чтобы наша чудесная обетованная Земля покончила бы самоубийством.

А те, кто пишет, кто создает литературу, кто мечтает о счастливом будущем, сегодня должны присоединиться к могучему движению мужчин и женщин, принявших решение любой ценой сдержать преступление, планируемое силами, обезумевшими от ненависти к человечеству.

Вы, дорогой Михаил Шолохов, напоминаете нам, что искусство и литература — это высшая форма помощи народам, желающим жить достойной человека жизнью. С очень древних времен известно, что искусство и литература — нечто незаменимое, без чего нельзя воспитать человека сознательным, восприимчивым, солидарным, испытывающим счастье лишь тогда, когда он творит духовное и материальное, чтобы сделать более цветущим человеческое общество. Издавна известно, что этика и эстетика взаимосвязаны, что искусство и литература — моральное оружие для защиты общественной жизни и прав человека-творца.

Предупреждение Льва Толстого, напоминаемое Вами, о том, что в руках писателя перед лицом шантажа денег и оружия имеется могущественнейшее средство — истина — сохраняет бесспорную силу, и это подтверждается всемирной мобилизацией протеста масс, разгорающегося повсюду.

Наш национальный герой Хосе Марти, гениальный писатель своего времени, говорил: «Траншеи идей стоят больше, чем траншеи из камня», «Родина — это Человечество»,— и поныне его слова незабываемы. А сегодня, более чем когда либо, очень важно поддержать «стратегию» осуществления этих принципов.

Я уверен в том, что латиноамериканские писатели со страниц «Иностранной литературы» поддержат своими выступлениями и произведениями Ваш призыв.

Я надеюсь, что и другие публикации, другие органы массовой информации размножат и донесут на всех языках и до всех континентов его текст.

Мы — перед решающим часом, времени терять нельзя. Вклад писателей и деятелей культуры будет еще одной баррикадой, сдерживающей неистовство милитаризма во имя благородного дела сохранения мира на нашей земле.

НГУЕН НГОК (Вьетнам)

Пишу эти строки как человек, прошедший две войны, которые заняли в общей сложности более двадцати лет, их развязали на зеленой цветущей земле моей небольшой страны, первую — французские колонизаторы, вторую — американцы. И соотечественники мои, люди одного со мной поколения, умом своим, сердцем, сочащимся кровью, всем своим существом, хранящим следы недавних страданий и ран, знают, что такое война.

Недавно мне довелось побывать в деревне, где я останавливался время от времени в годы последней войны. Прежде здесь насчитывалось более пяти тысяч человек. Сейчас осталось меньше тысячи — могу даже привести точную цифру: девятьсот шестнадцать человек, из них более половины — калеки. Когда-то эта деревня окружена была густой яркой зеленью, новичку казалось, будто он угодил в самую чащу леса. Теперь, после войны, во всей деревне осталось одно-единственное дерево филао (по-ученому — казуарина), сиротливо тянущееся к небу. И — о чудо! — на одиноком дереве этом гнездятся дрозды.

Есть у меня друг поэт. Еще в войну родился у него сын. И рос себе год от года, как растут все дети... пока ему не исполнилось четырнадцать лет. Тут оказалось вдруг, что он болен раком. Я очень любил этого смышленого мальчугана, часто навещал его в больнице и стал свидетелем его смерти. Врачам удалось выяснить причину столь страшной в этом возрасте болезни: оказывается, он родился там, где американцы распыляли с воздуха ядохимикаты, да и мать его во время беременности ела лесные плоды и овощи, на которые попали дефолианты. Вторгшиеся на нашу землю янки широко применяли их по всему Южному Вьетнаму...

Да, таковы последствия недавней войны. Но любая война, угроза которой нависла над миром сегодня, была бы неизмеримо страшнее. И я не могу не согласиться с Михаилом Шолоховым: именно сейчас на каждом из нас, на всем человечестве в целом ответственность лежит небывалая. Военные приготовления, наращивание количества и качества оружия, в особенности, ядерного, которые с патологическим упорством ведут заправилы империалистического лагеря и прежде всего администрация Соединенных Штатов, с каждым днем подталкивают человечество все ближе и ближе к новому витку гонки вооружений. И в конце концов, если безумию этому не будет поставлен надежный заслон — к пропасти всеистребляющей ядерной войны. Да, речь идет уже не о судьбе какого-либо одного человека, одной деревни, даже не о судьбе одного или нескольких народов. Под угрозой существование всего рода человеческого. «Быть или не быть?..» Сегодня вопрос этот задает не один лишь герой шекспировской трагедии, его повторяют, относя к своему собственному и общечеловеческому бытию, тысячи, миллионы людей на разных языках, в самых разных уголках земного шара.

До сих пор, как известно, нигде в бескрайней вселенной людям не удалось обнаружить следы разумной жизни. Быть может, она существует лишь на нашей земле. Неужто же эта разумная жизнь обречена сгореть, исчезнуть в испепеляющем пламени термоядерных взрывов?!

Прав Шолохов, говоря: «Сейчас же не о литературе наша речь». И все же теперь как никогда возрастает значение Слова, роль и ответственность писателей. Мы должны — и не завтра, а сегодня, сию минуту — пробудить дремлющие еще во многих сознание и совесть, должны сплотить и поднять прозревших, осознавших величайшую, неот-

ложнейшую задачу современности на борьбу во имя торжества разума и справедливости, против тотальной (как тут не вспомнить любимое словцо бесноватого фюрера!) угрозы жизни.

Я верю, Слово может стать необоримой силой, если все писатели повсюду, на всех континентах, станут плечом к плечу в боевой порядок единого фронта — Всемирного Фронта Мира. Мы, писатели Вьетнама, присоединяем свои скромные голоса к проникнутому чувством высокой ответственности призыву Михаила Шолохова и надеемся, что журнал «Иностранная литература» станет трибуной, с которой на весь мир прозвучат голоса наших собратьев по перу со всех континентов и найдут действенный отзвук в миллионах сердец наших читателей.

Будущее человечества, сохранение жизни на нашей земле зависит сегодня от зрелости нашей мысли, нашей убежденности и наших конкретных действий.

АЙИ КВЕИ АРМА (Гана)

Свобода, справедливость, мир — для художников слова, для прогрессивных писателей эти понятия неразделимы. Не может быть подлинного мира без свободы. И те, кто пытается добиться для себя большей свободы, отрицая справедливость для других, неизбежно обнаруживают, что не могут наслаждаться в покое и мире этой своей иллюзорной свободой.

Художники слова, выступающие за мир, подчеркивают необходимость связи между справедливостью, свободой и миром. Всякая попытка разъединить эти взаимосвязанные понятия, всякая попытка определить «старшинство» между ними, всякая попытка признать преимущество за каким-либо из них, отодвигая другие на задний план, выдает необдуманное, пристрастное, раскольническое отношение к вопросу, требующему вдумчивого, взвешенного, учитывающего весь комплекс сложностей глобального подхода.

В рамках такого глобального подхода к проблеме свободы, справедливости и мира писатель, выступающий за необходимость мира во всем мире, не может пройти мимо этой нерасторжимой связи между проблемой мира и социальной справедливости — проблемой, которая включает в себя задачу освобождения угнетенных народов земного шара. С другой стороны, писатель, который обращается к жизненно важной теме освобождения — национального, социального, экономического, политического и культурного,— должен непременно видеть прямую взаимосвязь между полным освобождением и целью достижения всеобщего мира. При том, что существуют справедливые сражения и битвы, например, выступления разных народов за независимость, их борьба против угнетения, апартеида и несправедливости.

Именно в таком контексте прогрессивные писатели Африки, Азии и Латинской Америки, для коих главная задача — полное освобождение наших народов от вековой эксплуатации и бедности, могут найти общий язык с писателями Европы и Северной Америки, которые в своих странах выдвигают на первый план идеи мира и предотвращения ядерной войны.

В этом диалоге равных литература играет ключевую роль как медленное, но верное и могучее средство для создания климата взаимопонимания, в котором люди всего мира осознáют, что нет народа, чьи проблемы были бы более важными, чем у других народов, что в конце концов все наши проблемы взаимосвязаны и что их решение будет зависеть от солидарных действий всех прогрессивных сил мира, выступающих плечом к плечу как равные, объединившиеся во имя общих интересов всего человечества.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)

Мы живем в чрезвычайно опасное и тревожное время: каждый день нас втягивают в ситуации, которые страшат нас, заставляют зачастую задаваться вопросом: сможем ли мы прожить еще год? Скоро пойдут вопросы: как прожить еще один месяц, затем — неделю, затем — и день. И если когда-нибудь мы окажемся перед возможностью уничтожения с часу на час, то винить в этом кроме себя нам будет некого.

Похоже, что мы живем в мире, где голоса тревоги не до всех доходят. И в этой ситуации Михаил Шолохов призвал писателей прикоснуться пером к бумаге, сказать миру, что́ находится под угрозой, предупредить о нашем возможном превращении в космическую пыль, если мы не предпримем ничего против этого. К сожалению, писателей в Британии сегодня как-то мало заботят судьбы мира, но, быть может, призыв Шолохова, этот к р и к д у ш и е г о, дойдет хотя бы до некоторых из них или хотя бы затронет их профессиональную причастность к делам человеческим. Что-то должно подействовать. Хорошо, что писатель такого масштаба, как Шолохов, говорит об опасности, что он тоже зовет к поискам решения, призывает к диалогу по коренным проблемам сохранения мира, чтобы путем взаимных уступок найти выход из наших разногласий: лучше начать разговаривать, чем просто пребывать в тревоге.

Мы должны откликнуться на этот призыв, ибо он сделан перед лицом выбора между жизнью и смертью. Мы должны спросить себя и о том, куда приведет нас, писателей, наш коллективный разум. Будем ли мы на стороне тех, кто пассивно или активно следует — пляшет, подобно завороженным детишкам, под дудочку проповедников ядерного оружия, или начнем думать, чувствовать и вести себя, как те писатели — наши предшественники, которые не боялись риска и отдавали свои таланты на защиту человечества против чудовищного насилия. Сейчас или никогда — призыв Шолохова дает нам шанс. Пренебречь им мы не имеем права.

◆

АНДРЕЙ ПЛАХОВ

В ЗЕРКАЛЕ ЗАПАДНОГО ЭКРАНА

Заметки с Московского международного кинофестиваля

В каждом из этих фильмов время, которое иногда называют «четвертой координатой», словно расслаивается: оно само предстает как бы в различных измерениях.

...Военное детство, расколотое взрывами бомб, изнутри развороченное крушением человеческих связей. Отец юной Марианны — героини западногерманской ленты «Ментоловый мир» — школьный учитель. Бросив свою мирную профессию, он воюет на чужой земле, где-то под Смоленском; потом, к концу войны, возвращается и находит, хотя семья выжила, только призрак домашнего очага: прошлое нельзя зачеркнуть и забыть. Другие и вовсе не возвращаются, и соблазнительной соседке Марианны ее погибшего мужа заменяет «победитель» — американец, наделенный символическим именем «мистер Фриден» (Frieden по-немецки — мир). Этот супермен, «стопроцентный мужчина» (его играет Питер Фонда), разъезжает на «форде», вызывая восторг соседских ребятишек и награждая их после каждой встречи с любовницей автомобильной прогулкой и порцией ментоловых жвачек.

Только и эта иллюзия долгожданного мирного быта вскоре разрушается. На пороге другое время. В разгар вступает «холодная война»: пастор, ведающий религиозным воспитанием детей, внушает им мысль о всеобщей греховности и пугает призраком коммунизма. А где-то на другом конце земного шара снова льется кровь...

Но, может быть, люди начали все-таки что-то понимать, пусть и дорогой ценой? Даже ограниченная соседка Марианны скептически ухмыляется, когда речь заходит о пресловутом мистере Мире, посланном в качестве «гонца свободы» на очередную военную авантюру: «Это мою-то свободу он защищает в Корее?» И умудренную ранним опытом девочку не так-то просто на этот счет успокоить, заверив, что Корея от Германии далеко: «Так же далеко, как Смоленск?»

В черно-белые воспоминания Марианны врываются цветные сны; в них все деформировано и перемешано: обманчивое ментоловое обаяние мистера Мира, кошмар Хиросимы, проклятия пастора, сеющего страх перед русскими и бичующего тех, кто... употребляет жвачку...

Быть может, в чем-то и нарушая психологию возраста, внедряя в сознание тех лет обостренную сегодняшнюю тревогу (еще одна временна́я проекция!), Марианна Розенбаум — режиссер этой, по существу автобиографической, ленты — приводит свою маленькую героиню к заботе о судьбах большого мира, к страстному протесту против войны.

Героиня фильма «Свинцовые времена» перед судом общества и... своей совести.

Прогрессивный экран ФРГ последнего времени все чаще обращается к минувшему, ищет в нем истоки многих болезненных явлений современного общества. В одних картинах антифашистская тема звучит непосредственно — например, в фильме Вольфа Грема «После полуночи», поведавшем, как двое молодых влюбленных пережили темную ночь нацизма. В других — эта тема приходит в сложное взаимодействие с мотивом разочарования, охватившего новое, послевоенное поколение и наложившего отпечаток на творчество такого (недавно скончавшегося) мастера, как Райнер Вернер Фассбиндер. Советские зрители знакомы с его лучшей картиной «Замужество Марии Браун», к ней тематически примыкают фильмы «Лола» и «Отчаяние Вероники Фосс». Рассказывая о женских судьбах, сформировавшихся в 50-е годы, Фассбиндер выводит их генеалогию из неизжитых последствий фашизма, во многом перевесивших плоды разрекламированного в свое время «экономического чуда». Режиссер показывает, что над такими судьбами с самого начала витали «ядовитые газы» истории буржуазного общества.

Об этом же по-своему говорит и Маргарета фон Тротта в фильме «Свинцовые времена».[1]

Две сестры — героини ленты — связаны родством, воспитанием и еще — какой-то обостренной совестливостью, не дающей спокойно жить «как все». Правда, старшая ищет опору в любви, в умеренной общественно-полезной деятельности (работает в женском журнале). Но как разошлись ее пути с младшей! Максималистка во всем, эта не приемлет «маленькой пользы», хочет враз перевернуть мир и — оказывается в лагере терроризма.

Фильм, впрямую коснувшийся опаснейшего явления сегодняшней политической жизни, не говорит в данном случае о его идеологии, не анализирует пагубных последствий. Режиссер хочет привлечь внимание прежде всего к истокам общественных и духовных противоречий, на гребне которых произросли кризисные аномалии и уродства. Ибо «нормальная» колея развития для девушек-сестер, выросших в семье пастора, была пресечена с самого начала. Здесь, в ретроспективно поданных эпизодах детства, мы без труда ощущаем перекличку с картиной «Ментоловый мир», только режиссерский почерк Маргареты фон Тротты куда жестче, трагедийные акценты увереннее. Пусть сами героини фильма в силу возраста не застали войны, но они помнят время, когда кинохроника фашистских концлагерей только-только появилась на экранах и поистине ужасала. Религиозное мировоззрение, столкнувшись с действительностью, где сам воздух еще дышал убийством, породило глубокий духовный кризис младшей из сестер, отличавшейся особым порогом чувствительности, что привело ее в итоге к отрицанию не только церковных заповедей, но и элементарных принципов гуманности. Возводя в культ собственную жертвенность и принося в жертву абстрактным идеалам других (возможно, неповинных) людей, младшая сестра — эту роль с большой драматической силой ведет актриса Барбара Зукова — оказывается в тюрьме и там нелепо гибнет.

А что же старшая? Та, что собирала сестре вещи, добросовестно ходила в тюрьму, вынося и унижения со стороны надзирателей, и неблагодарное презрение заключенной, и недовольство спутника жизни? Все ее вроде бы благонамеренное существование, кажется, висит на волоске, не в силах обрести стабильности, и окончательно переворачивается, когда по телевидению сообщают о смерти печально знаменитой террористки.

Самоубийство или убийство? Этот вопрос отныне не дает покоя оставшейся жить героине. Бросив все, она углубляется в криминалистику, находит свидетельства и неопровержимо доказывает: сестру убили! Но что следует за этим открытием? Ни одна газета не жаждет воспользоваться сенсацией, а издатель в порыве откровенности заявляет: «Вы сами журналистка и должны понять: внутренние проблемы террористов никого не интересуют. Сейчас на повестке дня человечества более серьезный вопрос — о всеобщем выживании».

С последним трудно спорить. И однако же, чтобы выжило человечество, необходимо создать условия конкретному человеку, вовремя помочь ему. И в этот момент героиня вспоминает о сыне своей погибшей сестры, о мальчике, брошенном обеими женщинами, так много думавшими о проблемах женского равноправия, о судьбах цивилизации и так мало о ее элементарном «кирпичике» — живом человеке. В финале картины — попытка объяснения с тем, кто представляет уже новое поколение, во многом неизведанное, загадочное. Только не таятся ли эти загадки в поступках нас самих, в сегодняшнем дне?

[1] Этот фильм, о котором шла речь в рубрике «Культура и современность» (№ 8 за 1982 г.) — одно из самых серьезных явлений современного кино ФРГ. Поэтому имеет смысл остановиться на картине Тротты подробнее.

В обоих фильмах, снятых режиссерами-женщинами, происходящее воспринято взглядом лирической героини, alter ego автора. Только взгляд этот менее всего лиричен и никак не укладывается в рамки частных, интимных перипетий. И Маргарета фон Тротта («Свинцовые времена»), и Марианна Розенбаум («Ментоловый мир») — что видно уже по названиям их картин — стремятся создать обобщенный образ мира и времени, в котором каждая из них себя ощущает. Они обнажают горькие уроки «свинцовых времен», неопровержимо проступающие сквозь ментоловую оболочку «общества потребления». Их боль, их тревога направлены туда, где вызревает завтрашний день планеты. Они не ищут благостного спокойствия, но знают: огонь и свинец, насилие и самообман никому не принесли счастья. Не принесут и впредь...

В испанской картине «Демоны в саду» никто никого не убивает, и оружие появляется только в полукомедийных сценах бесконечных ссор между братьями. Оскар и Хуан — герои фильма — связаны извечными отношениями дружбы-соперничества, к тому же наделены южным темпераментом и мгновенно переходят от проклятий и угроз к объятьям и слезам раскаянья.

Да и все остальное, что здесь происходит, на первый взгляд годится лишь для мелодрамы или бытовой комедии. На экране — тривиальная житейская история одной провинциальной мелкобуржуазной семьи, содержащей магазин под пышным названием «Сад». В то время как Оскар женится на красавице Ане, ловелас Хуан перед отъездом в Мадрид соблазняет бедную соседку Анхелу. Родившийся от этой связи Хуанито, уже десятилетний и начавший кое-что понимать, становится главным лирическим персонажем, от лица которого ведется дальнейшее повествование.

За внешней статичностью этого семейного портрета — драма представителей трех поколений («Демоны в саду»).

Впрочем, оно и теперь не сулит выхода из камерного мирка мещанских страстей. Глория, бабушка Хуанито и владелица «Сада», обожает и балует незаконнорожденного внука, но травит и третирует его мать, которая, разумеется, «не нашего круга». А потом в кассе магазина пропадают деньги, и Хуанито, дабы спасти от подозрений Анхелу, выдает ему одному известную тайну: это тетка Ана пошла на воровство, чтобы угодить давно любимому ею Хуану, вернувшемуся в родительский дом...

В сущности, во всех этих перипетиях как таковых нет ничего особенно волнующего. А фильм рождает целую гамму сильных эмоций. Есть в нем какая-то загадка: молодой режиссер Мануэль Гутьеррес Арагон сумел насытить каждый кадр своего произведения подспудной экспрессией, создать подтекст и атмосферу, благодаря которым в неприхотливом сюжете открывается нечто куда более значительное.

Возьмем хотя бы название картины. Вроде бы ее герои — «хранительница традиций» донна Глория, ее сыновья, их жены, любовницы и дети — ничуть не напоминают пресловутых «демонов». Но нечто демоническое все же витает в воздухе фильма, мало того, оно и определяет безнадежно повторяющиеся, порой абсурдные отношения между персонажами, их болезненные срывы, их любовь-ненависть одного к другому, их блуждание по душному, замкнутому кругу.

Ибо круг этот как бы размыкается ощущаемой за кадром исторической реальностью: действие происходит в годы правления Франко. Как было уже не раз в испанской литературе и кинематографе (раньше во многом по цензурным мотивам, а потом в силу закрепившейся художественной традиции), мрачные времена истории находят опосредованное, отчасти метафорическое и все же недвусмысленное выражение. И хотя герои ленты не так уж близки к политике и живут скорее интересами «экономическими», они несут зерна фашизма как бы внутри себя. Фашизма с его подобострастием и никогда не упускаемой возможностью унизить слабого, с его ханжеством и в то же время с разнузданностью самых низменных инстинктов. Нет, подчеркнем еще раз, герои фильма — не «демоны», они скорее жертвы, но они же и питательная среда того, что в течение десятилетий происходило в Испании.

Не случайно Хуанито представлен в картине мальчиком болезненно чувствительным, как сейсмограф, реагирующим на перепады нравственного климата, на проявления человеческой низости и благородства. Навсегда запечатлевается в его сознании приезд из столицы отца, состоящего в свите Франко. Мальчик надеется увидеть «настоящего мужчину» — в согласии с догматами профашистского воспитания, причем чувство **это усилено осознанием «незаконности»**

своего появления на свет. Видит же последнего из последних, жалкого лакея, ублажающего каудильо на отдыхе... Этот эпизод, как и многие вошедшие в фильм лирические откровения отрочества, протекающего в душной общественной атмосфере, роднят «Демонов в саду» с «Амаркордом» Феллини, вводят в картину мотив времени как воспоминания. При том, что в фильме Арагона безошибочно ощутимо своеобразие «испанского духа» с присущим ему сочетанием иронии и нежности; это особенно сказалось в женских образах, созданных замечательными актрисами Анхелой Молиной и Аной Белен.

Расслоение времени — характерная черта фильмов, где прошлое выступает не в качестве самоценной временной среды действия (как в сугубо исторических лентах), а в плотном соотнесении с сегодняшним днем. У каждого художника, естественно, свой жизненный опыт и свое отношение к лично пережитому. У одних — к нему суровый, трагический счет, другие вспоминают о собственной юности с добродушной улыбкой.

События датской картины «Заппа» (режиссер Билле Аугуст) происходят в начале 60-х, и это позволяет предположить, что перед нами еще один ностальгический фильм-«ретро», фильм-воспоминание. Волна такого рода картин прокатилась по всему миру: кинематографисты от тридцати до сорока с нежностью перелистывали страницы своего отрочества, а оно, надо сказать, пришлось на своеобразную пору. Люди, вздохнув от послевоенных трудностей, с надеждой смотрели в будущее, верили, что технический прогресс облегчит их жизнь, что «все будут делать машины», что на помощь человеку придут йоговская гимнастика и гипноз... Многие из этих веяний времени, данные через обрывки разговоров, словно бы случайные детали, присутствуют и в картине «Заппа». Как присутствуют в ней неумелые ребячьи попытки сплясать рок-н-ролл и претенциозные девчоночьи прически «бабетты» — под королеву тогдашнего экрана Брижит Бардо.

Мне как зрителю хорошо знакомы бытовые штрихи того времени, я с удовольствием нахожу их в фильме и думаю: да, вот, может быть, не слишком глубокая, зато милая и приятная картина. И вправду, к первой ее половине подходящим эпиграфом могли бы служить лирические строки: «Воздух пахнет прогулом уроков...» Или другие, не сулящие пока ничего драматического.

Трое подростков маются от безделья в небольшом городке, подшучивают над учителями, приглядываются к соседским девочкам. Неизбывная тяга к романтике и риску побуждает их организовать «банду», деяния которой поначалу если и не вполне невинны, то все же могут быть сочтены за юношеские шалости, неизбежные издержки «переходного возраста».

Не все, конечно, в жизни ребят идиллично. В обеспеченной семье Стена родители не слишком-то ладят друг с другом, а потом отец и вовсе уходит к другой женщине. У Мюлля тяжело болеет мать, а достаток семьи невелик, отцу-рабочему приходится нелегко. Социальное неравенство отраженным светом падает и на отношения между подростками: Стен обращается с Мюллем высокомерно-снисходительно, а то и с изощренной жестокостью, что в итоге приводит к конфликту и к последствиям, печальным для Мюлля: он вынужден покинуть школу и пойти работать на завод.

Наиболее благополучным кажется поначалу Бьёрн: тихий интеллигентный мальчик, он несет в картине функцию лирического героя, больше наблюдающего и размышляющего, чем действующего. Но в какой-то неуловимый момент в фильме происходит крутой и решительный перелом...

Вроде бы те же самые ребята, только появляется в их лицах какая-то недетская ожесточенность, они все чаще впадают в нервные срывы, болезненно озлобляются. «Банда» врывается в новый дом отца Стена и крушит все вокруг: мебель, книги, картины... Жертвами их вечерних вылазок становятся владельцы продуктовой лавки. И трудно представить, что эти же мальчики, придя домой, вежливы с родителями, застенчивы и робки со своими школьными подругами.

Действие фильма теперь уже постоянно балансирует на зыбкой грани, отделяющей мальчишеские проказы от преступного своеволия, юношескую энергию от агрессии, любопытство от цинизма. И в конце концов происходит непоправимое. Происходит не сразу, а как бы по этапам, отмечающим нравственное падение героев, «переступивших черту». Кульминацией этого процесса становится поступок Бьёрна, убивающего любимую рыбу из аквариума Стена — чудесную рыбу по имени Заппа. Так «лирический герой» мстит своему наперснику за высокомерие, за лидерство в «банде», за издевательства над Мюллем. И вот уже бывшие друзья схватываются в жестокой драке, финал которой оказывается для обоих роковым...

Резко меняя атмосферу и тональность фильма, авторы не затрудняют себя более подробными мотивировками. И все же из контекста картины ясно: опасная эволюция героев находится в прямой связи с моральным неблагополучием общества. По существу ребята предоставлены самим себе: они социально инфантильны, вырастают вне прочных духовных традиций, в обстановке бездушного мещанства и человеческой отчужденности. Обращаясь к воспоминаниям давних уже шестидесятых годов, авторы фильма ищут в них истоки сегодняшних проблем и противоречий.

Фильм тревожен, даже мрачен, но не безнадежен. В его персонажах еще способна пробудиться совесть, инстинктивная любовь к живому, они еще могут остановиться. Предупреждая о зыбкой грани, за которой нет места человечно-

сти, авторы смотрят на своих героев с затаенной болью, с грустной нежностью — так, кажется, глядела на мир из своего аквариума чудесная рыба по имени Заппа.

Итак, чем больше картин, тем очевиднее связующие их мотивы — расколотое время, трещина, образовавшаяся во вчера еще незыблемых представлениях о нравственности, крах мечты о гармоничном мире. Буржуазное общество воздействует на формирующуюся личность то прямой агрессией, а то подспудным, но тоже весьма небезобидным образом.

В австралийском фильме «Зима наших надежд» (режиссер Джон Дуиган) тема — эволюция одного поколения — не нова. Интерес представляет способ ее постановки. Не поднимаясь до больших социальных и художественных обобщений, пользуясь весьма скромными средствами, авторы тем не менее затрагивают тревожащие симптомы потребительства, общественной апатии, столь характерные для нынешнего состояния умов буржуазной интеллигенции. Ценно и то, что этим явлениям противостоят в картине, пусть еще робкие, ростки духовного сопротивления, неприятия норм индивидуализма и обывательщины. Отчасти этот стихийный протест исходит от тех из поколения «шестидесятников» (60-е годы и здесь служат точкой отсчета судеб героев), кто не сломался, не клюнул на соблазны приспособленчества, кто, даже во многом меняясь, сумел остаться самим собой. Правда, сохранность своего внутреннего «я» давалась многим дорогой ценой...

Фильм начинается с подобия детективной истории: при странных обстоятельствах погибла женщина, ее бывший друг Робин пытается выяснить причины смерти. Как и в «Свинцовых временах», не само выяснение занимает авторов, а внутренний, затаенный процесс, протекающий в героях. Под влиянием какого-то давно забытого побуждения Робин начинает чувствовать себя дискомфортно в своем благоустроенном, отгороженном от тревог мира существовании. Особенно когда на горизонте его общения появляется Лу с ее уличной вульгарностью, с гибельным пристрастием к наркотикам, с глубокой человеческой неудовлетворенностью.

Нравственным камертоном поступков

Момент тяжелой депрессии («Фрэнсис» — в главной роли Джессика Ланж).

героев оказывается их общее прошлое — «когда мы были молодые», когда верили в возможность изменения мира, когда дружно шли в рядах антивоенных демонстраций... И кадры юных пикетчиков в финале мы воспринимаем не только в том смысле, что замкнулся круг судьбы одного поколения, что одни выдохлись, а другие вновь встали на путь иллюзий. Главное — надежда на новый духовный всплеск, на необоримость человеческой совести, требующей не отъединенного и не ложно-светского, но подлинно коллективного существования, духовного родства, переклички...

В противном случае человек оказывается одинок и незащищен перед лицом системы. Как произошло это с героиней английского фильма «Фрэнсис» режиссера Грэма Клиффорда. Основанная на подлинных фактах биографии голливудской киноактрисы 30—40-х годов Фрэнсис Фармер [1], картина исследует отношения американского общества, построенного на псевдодемократии и яркой, выбивающейся из традиционных канонов личности. Фрэнсис уже в ранней юности инстинктивно восставала против религиозного воспитания, ханжества и прагматизма своей провинциально-мещанской среды, высказывала симпатии к левым кругам. Оказавшись на Бродвее и в Голливуде, героиня и здесь проявляет строптивый нрав, подвергается обструкции заправил шоу-бизнеса. Конфликт назревает медленно, но неуклонно, он изнутри разрывает и душу самой героини, страдающей от непонимания и отчужденности (поразительно сыграла эту роль актриса Джессика Ланж). Несколько лет жизни Фрэнсис Фармер проводит в психиатрических лечебницах, где подвергается принуди-

Подлинная фотография Фрэнсис Фармер.

[1] Читатели «Иностранной литературы» знакомы с ними по прошлогодней публикации фрагментов книги Уильяма Арнольда «Фрэнсис Фармер. В мире теней» («ИЛ», 1982, № 3).

тельному лечению и операции на мозге — лоботомии, лишающей ее воли и темперамента.

В одной из психбольниц «низшего разряда» насилие выступает уже в чистом виде: санитары приводят сюда солдат с соседней базы, которые за деньги получают «право» насиловать пациенток. Этой участи не избегает и Фрэнсис. Горькой, страшной иронией звучат словно в бреду произносимые ею в этот миг чеховские слова о том, что «мы увидим небо в алмазах». Ведь Фрэнсис когда-то сама играла в «Дяде Ване», и жизнь открывала перед ней самые радужные перспективы...

И в этом фильме, как и в большинстве предыдущих, мы встречаемся с контрастным сопоставлением двух времен — прошлого, полного светлых надежд и стремлений, и настоящего, окрашенного гибельным разочарованием. Только не надо думать, будто кинематографисты, о которых идет речь, склонны к идеализации дней минувших. Потому что, с разной мерой глубины и художественной зоркости, они отражают путь буржуазного человека, по сути идущий вспять движению истории. Путь, на котором утрачены старые ориентиры, а новые — неведомо как и где обрести.

Наблюдения, положенные в основу этой статьи, вынесены главным образом из фильмов, показанных в конкурсе и внеконкурсной программе XIII Московского международного кинофестиваля, той его части, что представляет кинематограф стран Запада.

Разумеется, если рассматривать буржуазное кино целиком, картина его окажется куда более пестрой и противоречивой. Произведения, взывающие к уму и совести человека, ратующие за мир, социальный и духовный прогресс, тонут в потоке вульгарной коммерческой продукции, не только насаждающей мещанские идеалы и вкусы, но и отучающей человека мыслить, действовать, бороться. В последний период активизация консервативных настроений выразилась на экранах Запада в появлении большого числа киноопусов, проникнутых расизмом, культом силы, всего низменного и животного в человеке.

Московский кинофестиваль играет в этих условиях роль форума, консолидирующего мыслящий прогрессивный кинематограф, обремененный чувством ответственности за человека, за будущее планеты. Об этом хорошо сказал гость фестиваля видный американский режиссер Стэнли Крамер: «Мы обязаны сохранить мир и сделать все для того, чтобы не умереть вместе, а вместе жить и творить».

Конечно, среди картин, представлявших в Москве кино буржуазных стран, были произведения разные, подчас идейно противоречивые, иногда философски и политически наивные. Однако среди них не было антигуманных, продиктованных спекулятивными соображениями.

Предпочтение, заинтересованное внимание привлекали те работы, авторы которых сумели затронуть болевые точки современности, показать человека, особенно молодого человека, в его сложных сплетениях с жизнью общества, с эпохой. Современность при этом кинематографисты понимали достаточно широко, как и национальный характер затрагиваемых проблем и конфликтов, и своеобразие проблем, стоящих перед молодежью.

Одной из таких остроактуальных проблем является, по мнению многих западных кинематографистов, воспитание в молодых людях доброты и гуманности. Так, в западногерманской ленте «Девичий бунт» (режиссер Манфред Пурцер) противопоставлены два подхода к трудновоспитуемым подросткам. И хотя формально молодая воспитательница женского интерната, строившая свои отношения с девушками на доверии, вынуждена оставить работу, нравственное превосходство и сочувствие подопечных на ее стороне. Правда, в разработке этого конфликта авторам не удалось избежать сентиментальности.

«Трудные» подростки стали героями и новой картины знаменитого Фрэнсиса Форда Копполы. Действие фильма «Изгои» происходит в давящей, душащей лучшие порывы атмосфере американской провинции, где враждуют две группировки молодых людей. Одни — бедняки, другие — сынки богатых родителей. Но Коппола не ищет правых и виноватых; он создает некий современный вариант «Вестсайдской истории» и призывает искать опору в «природном» гуманизме, который якобы способен победить вражду. Вывод, надо сказать, достаточно наивный и поверхностный, особенно для такого крупного мастера, каким, без сомнения, является Коппола.

Интересно проследить, как ставится проблема молодежи в двух австрийских фильмах. «Наследники» (режиссер Вальтер Баннерт) — это острое, бескомпромиссное исследование язвы, которую являет собой неофашизм в судьбах и ориентациях современной молодежи. Может быть, это исследование недостаточно углубленно, но оно тревожит ум именно своей осязаемой конкретностью, почти документальной доказательностью.

Напротив, в фильме «Гравий» (режиссер Лукас Степаник) идеология неофашизма подвергнута «косвенной» критике, ибо сюжет строится на психологическом конфликте еврейской девушки Ханны и профашистски настроенного Фридриха. Картина представляет собой некую студию психологических экспериментов, что по-своему любопытно. Но выстроив всю проблематику вокруг личной коллизии, к тому же перенасыщенной эротикой, и практически исключив из поля зрения фон реальной жизни, режиссер тем самым оказался в плену созданной им же самим герметической конструкции.

■

В целом фестиваль выявил характерные сдвиги в мироощущении художни-

ков, разделенных географическими и политическими границами, но объединенных чувством причастности к общим проблемам цивилизации и культуры, к историческим судьбам личности. Реалистически рассматривая их в конкретных социально-временных обстоятельствах, кинематографисты в то же время ищут опорные точки для построения более общих моделей, философски выражающих смысл человеческого существования и его своеобразной летописи — художественного творчества. Новые эстетические задачи ставятся по преимуществу в непосредственной связи с затрагиваемой социокультурной проблематикой; она же, в свою очередь, берется как звено в долгой цепи традиций человеческого общежития. Идея преемственности, связи времен и культур, проходящей от прошлого к будущему через сегодняшний день, звучит в кинематографе пронзительно-обостренно. Лишь через перспективу осмысленного исторического опыта удается понять современность, а иногда и предвидеть контуры грядущего.

Чрезвычайно интересны в этой связи отношения, складывающиеся в едином лоне современной культуры между кинематографом и литературой. Когда-то последняя выступала для молодого экранного искусства в роли «учительницы», «старшей сестры». Сегодня вряд ли годятся подобные определения. Вместе с тем не оправдало себя негативистское отталкивание от традиций в широком смысле, хранительницей которых испокон веков служила книжная культура. Чем бы ни мотивировались «особые пути» кинематографа — идеологией аудиовизуального масскульта, авангардистскими «поисками языка» или требованиями псевдореволюционной «контркультуры» — в конечном итоге отрыв от традиций знаменовал забвение принципов гуманизма и эстетическую деградацию.

Любопытно, что даже такой идеолог спонтанного кинематографического самовыражения, как Жан-Люк Годар, пришел к идее экранизации. Еще более любопытно, что он завершил сейчас постановку современной версии «Кармен» (ниже мы остановимся на одноименной ленте по тому же сюжету, снятой Карлосом Саурой).

При всей конкретности и остроте рассмотрения нравственно-социальных конфликтов современности, западные кинематографисты — мы говорим о тех, кого можно причислить к прогрессивному крылу,— ищут пути к гуманистическим традициям, которые обессмертила классика, которые вошли в наше эстетическое сознание. Это, быть может, одна из наиболее заметных тенденций последнего времени, в отличие от прошлых лет, и фестиваль подтвердил ее в полной мере.

Об этом нелишне напомнить именно сегодня, когда волна неоконсерватизма на Западе тоже пытается обосновать себя как возврат к традициям. Традиции, однако, бывают разные; традиция же высокой гуманистической культуры имеет свое неповторимое лицо. Именно его запечатлели трагедии Шекспира и эпос Сервантеса, романы Толстого и Гюго, пьесы Горького и проза Томаса Манна. И далеко не случайно произведения последних трех из названных великих писателей оказались источниками вдохновения весьма заметных конкурсных фильмов нынешнего московского киносмотра.

Я далек от того, чтобы представить кардинальную дорогу кинематографа как искусства пролегающей через экранизацию. Речь вовсе не идет о непременном прямом заимствовании тем и сюжетов. Литература, классика выступают в данном случае как некая стимулирующая культурная субстанция, как исходный, своего рода мифологический универсум. Фауст, Ромео и Джульетта, Татьяна Ларина или Жан Вальжан — эти классические фигуры, так многим обязанные «коллективной памяти» человечества, его легендам, фольклору, народным представлениям о нравственности — сами, в свою очередь, превратились в некие архетипы, с детства входящие в наше сознание, воспитывающие духовность и пробуждающие творческую мысль.

Вот почему экранизация становится в современном кино настойчивой потребностью, как бы закрепляющей в искусстве экрана навыки высокой культуры, подтверждающей его тяготение к формам устойчивым, освященным традицией, ассоциативно-обобщающим. Кинематограф, который так часто обвиняют в культивировании поверхностной модернизированной «мифологии» кинозвезд и в прочих грехах, присущих сфере массовых коммуникаций, стремится тем не менее освоить и перевоссоздать на свой лад миф в высоком смысле этого слова — как хранилище смыслообразов мировой культуры.

Разумеется, экранизация — лишь частное проявление этой тенденции. Скажем, для молодых кинематографий, наряду с лучшими образцами национальной литературы (канадская адаптация романа Габриэль Руа «Счастье по случаю»), источником творческой энергии часто становится еще живо функционирующая мифология различных культурных регионов. Примером могут служить представленные в конкурсе Московского фестиваля (и выходящие за рамки буржуазного кино) кубинская лента «Роза ветров» и ангольская «Нелизита», где актуальность исторических уроков подается в формах развернутой поэтической аллегории.

Еще более интересен, при всей его противоречивости, опыт американского режиссера Годфри Реджио, который снял свой фильм «Суматошная жизнь» в особой экспериментальной технике, с тысячекратным ускорением и замедлением экранного движения. Но не только вкус к формальным новациям заставил критиков вспомнить в связи с этим фильмом Эйзенштейна и Вертова. Картина обратила на себя внимание образно-философской насыщенностью, стремлени-

ем дать обобщающую экранную модель движения цивилизации. И здесь режиссер нашел опору в ритуальных гимнах — пророчествах индейцев племени хопи, которые наложились на поистине библейские в своей величественности пейзажи и поданные по контрасту изнуряюще-бездуховные картины городской жизни. В результате возник удивительный эффект совмещения времен и пространств, поддержанный оптическими, монтажными и цветовыми «микроэффектами».

Конечно, апокалипсические мотивы, катастрофический образ агонизирующей цивилизации отражают вполне определенные, окрашенные пессимизмом настроения в западном мире. Не случайно они осмыслены режиссером, отчасти исходя из принципа мифологического «вечного возвращения». Этот принцип, когда-то провозглашенный Ницше, был взят на вооружение адептами модернизма и стал основой мифотворчества джойсовского типа, усматривающего «все во всем», программно отрицающего прогрессивное историческое движение и нанизывающего на одну смысловую ось самые отдаленные культурные реминисценции.

По поводу антиисторизма буржуазного сознания В. И. Ленин в свое время заметил: «Нет ничего характернее для буржуа, как перенесение черт современных порядков на все времена и народы»[1]. Мифологизация умонастроений, порожденных кризисом капиталистической системы, и сегодня составляет важную предпосылку многих течений в западной культуре. Вопреки им, развитие реалистического искусства в нашем веке породило иную, гуманистическую концепцию мифа, обладающую зарядом исторического оптимизма и ставящую энергию «коллективной памяти» человечества на службу актуальным задачам дня. Именно на таком понимании мифа строится творчество Томаса Манна; оно же наложило отпечаток на лучшие фильмы Лукино Висконти. Манн сформулировал идею бессмертия мифа следующим образом: «Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего и тем самым заряжает его потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения»[1].

Эта идея наиболее глубоко воплотилась в романе «Доктор Фаустус», самой темой которого стала драма искусства, оторвавшегося от корней гуманизма. Томас Манн воплотил это противоречие не только в сюжете, но и в самой образной структуре произведения, насыщенной скрытыми цитатами, пронизанной логикой таинственных превращений.

Соотечественник писателя режиссер из ФРГ Франц Зайц рискнул экранизировать один из самых «трудночитаемых» романов мировой литературы. Надо сказать, что этот почти героический эксперимент оправдался только отчасти. Время в картине не достигает того объема, который запрограммирован Манном, имевшим цель вобрать в поле зрения всю новую эпоху, пронизав ее бесконечными вариациями средневековой легенды о Фаусте.

Режиссер сосредоточился на том, что представлялось ему главным. Культурный декаданс начала века увиден им сквозь призму страшных событий эпохи фашизма, данных в виде стилизованной хроники. В этом и сила и слабость фильма. То, что для писателя было мучительным процессом осознания истоков национальной трагедии (роман писался в годы второй мировой войны), а для героев являлось смутным предчувствием, в экранной версии выглядит как комментарий post factum. Сильная же сторона фильма — в предпринятой попытке дать «популярный срез» манновской проблематики, вряд ли доступной молодому читателю, а ведь именно ему адресовано предостережение об опасности возрождающегося фашизма.

«Доктор Фаустус» — не единственный случай в фестивальной программе, когда кинематографистам приходилось искать художественный ключ к произведению на грани аналитического и популяризаторского подхода. В этой ситуации спасительной становилась искра вдохновения, которая проскакивала от живого, по-юношески непосредственного восприятия культурной традиции, именно так воспринимали наши предки с молоком матери впитанные миф, предание, песенный фольклор.

Теофиль Готье говорил об «Отверженных»: «Это ни хорошо, ни плохо; творение это создано не руками человеческими, оно, можно сказать, порождение стихии». И впрямь, «беспредельный гений» Гюго выплеснулся здесь с щедрой полнотой. Впрочем, в наш век, когда романтизм «упал в цене», популярность «Отверженных» может показаться несколько даже искусственной. Как не без оснований утверждает Андре Моруа, «киноэкран завладел этим романом...». Тем более следует оценить творческую принципиальность известного режиссера и актера Робера Оссейна, который не

[1] В. И. Ленин. ПСС, т. 1, с. 153.

Впервые кинематографисты попытались зримо воплотить мир манновского «Доктора Фаустуса».

[1] Томас Манн. Иосиф и его братья, т. 1. М., 1968, с. 55, 56.

Фильм «Отверженные» живописно решен в лучших романтических традициях.

стал соревноваться с предыдущими версиями, а выстроил свой фильм в согласии с «первичным» представлением об атмосфере и героях романа Гюго.

Эти люди словно пришли из услышанной когда-то прекрасной легенды, почти сказки. Страдания здесь вознаграждаются не «хэппи эндом», не последующим жизненным успехом, но прежде всего нашим нравственным соучастием в судьбах Козетты и Гавроша, Жана Вальжана и Фантины.

Сцены революционных боев решены Оссейном в живописных традициях Делакруа и других романтиков; его работа (кстати, сначала осуществленная в театре, а потом на телевидении в многосерийной постановке) впитала концепцию народного зрелища, о которой режиссер недавно рассказывал на страницах «Советской культуры». Продуманность и органичность авторского замысла присутствуют и в трактовке персонажей.

Превосходен в фильме актерский дуэт Лино Вентуры (Вальжан) и Мишеля Буке (Жавер). В особенности нелегко было первому из них: играть после великого Габена, не обладая его глубоко демократическим «мифом», а имея за плечами преимущественно серию ролей в гангстерско-полицейских фильмах. Режиссер рассказывает: «Когда я предложил Лино Вентуре сыграть Жана Вальжана, тот отказался, поскольку восхищался Жаном Габеном — его предшественником в этой роли. Согласился, когда я ему объяснил: не нужно его играть, ведь вы живете, как он. Вы и есть Жан Вальжан». Оссейн руководствовался не только профессиональными, но и личными качествами в выборе актеров — и эта печать пристрастного авторского отношения постоянно ощутима в фильме.

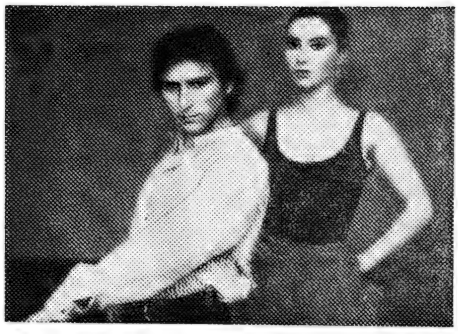
Ощутима она и в другой фестивальной картине — «Кармен» испанского режиссера Карлоса Сауры, которую, в отличие от «Отверженных», нельзя признать собственно экранизацией. Зато это некое художественно оформленное «размышление об экранизации», о взаимопроникновении искусства и жизни первообраза и его новых воплощений во времени — что не менее интересно. Саура размышляет также о судьбе национальной традиции: сюжет «Кармен», испанский по своему духу, был трансформирован Мериме в новелле и Бизе в опере с точки зрения француза и воспринят как своего рода экзотика. Герой фильма балетмейстер Антонио (Антонио Гадес) ставит балет на тему Кармен, но как бы возвращает ей изначальный народный характер. По существу он решает постановку в стиле фламенко, предполагающем не только эффектный внешний блеск, но и глубину самовыражения. Потому не случайно отношения, складывающиеся между балетмейстером и танцовщицей, резонируют в занимающей их творческое воображение «архетипичной» драме Антонио и Кармен, а где-то — в закадровой проекции — они олицетворяют глубоко личное, взволнованное отношение самого Сауры к своему сюжету. Субъективность авторского взгляда здесь предусмотрена самим предметом исследования — им становится творческая лаборатория художника, настроенный на классическую мелодию оркестр его души.

Совершенно иной подход к этой ведущей «мелодии» демонстрирует Франко Дзеффирелли, снявший для кино вердиевскую «Травиату». Лучшие голоса мира (ведущие партии поют Тереза Стратас и Плачидо Доминго), блеск декораций и костюмов, не менее блестящие натурные съемки, сложнейшие массовые сцены и даже включенный в качестве дивертисмента «гастрольный» номер советских балетных звезд Екатерины Максимовой и Владимира Васильева...

Поразительно, что при всей роскоши постановки в ней отсутствует эклектика, обычно сопутствующая «суперфильмам», а поистине оперная монументальность сочетается с чисто кинематографической динамикой. Во многом это объясняется подлинно драматичной игрой Терезы Стратас, но главная заслуга, разумеется, принадлежит Дзеффирелли: это он не просто перенес оперу на экран, но создал зрелище, синтезировавшее сам дух итальянской культуры.

Известный кинокритик Ренцо Ренци пишет: «Другие страны имеют за своими плечами великие литературы, Италия располагает мелодрамой с участием тенора, сопрано, баритона, баса». Вердиевские темы у Висконти и Бертолуччи,

Язык танца возвращает сюжету «Кармен» его испанскую первоприроду.



«оперный» стиль целого ряда известных итальянских фильмов, посвященных переломным моментам истории,— все это находит свое соответствие в картине Дзеффирелли. И хотя она лишена прямой сюжетной актуальности, но через сложную систему культурных ассоциаций вписывается в сегодняшний кинопроцесс с его повышенным стремлением установить «связь времен», раскрыть глубинные нити, соединяющие гуманистическую культуру прошлого с современным художественным мышлением.

Вообще, независимо от того, являлась ли экранизация традиционной или отмеченной чертами новаторства, кинематографисты, чьи работы были представлены в Москве, искали уже существующие в классических структурах мосты, ведущие в современность. Либо достраивали их собственноручно. И потому показалось закономерным, что в награжденной Золотым призом «Вассе» Глеба Панфилова (по горьковской пьесе) пароход «Николай Железнов» выплывает по Волге из 1913-го прямо в 1983 год с его высотными домами и гигантскими электростанциями.

Разговор об экранизации формально будет неполным, если пройти мимо получившей мировое признание японской «Баллады о Нарайяме». Ибо в ее основе — тоже литература, две повести Шихиро Фуказавы, однако этот факт не несет решающего значения (по крайней мере для европейского восприятия), ибо перед нами редкий образец «чистого» авторского кино, а связь с традицией имеет место постольку, поскольку режиссер Шохей Имамура впитал глубинные основы восточной философии.

Секрет мощного художественного воздействия фильма — в не засоренном штампами, «остраненном» взгляде на сущностные проблемы человеческой цивилизации. В фильме дан как бы ее типовой срез — жизнь затерянной в горах японской деревушки прошлого века. Авторский взгляд уходит не в глубь тысячелетий и не слишком далеко от сегодняшних центров технического прогресса. Именно потому с первых кадров потрясает не столько даже ужасающая бедность, скудость «условий человеческого существования», сколько острый «дефицит человечности» (пользуясь выражением Чингиза Айтматова), вызванный не разрушительными войнами, не «издержками цивилизации», а, напротив, ее инфантильностью. Здесь всем селением уничтожают семью вора, и не потому, что зло должно быть наказано — просто искореняют как сорняк. Здесь всех, кто родился после первого ребенка, родители убивают или меняют на драгоценную соль, что развозит приезжий торговец. Стариков, достигших семидесятилетнего рубежа, отправляют на гору Нарайяму умирать голодной смертью.

Первое приходящее в голову толкование фильма связано с непостижимыми для европейца особенностями восточного мироощущения, ставящего жизнь и смерть в единый ряд бытийственных превращений, выносящего за скобки понятия греха и наказания. Такому пониманию картины способствует и мифологический характер ее структуры: действие охватывает четыре времени года, от зимы до зимы, и словно возвращается к исходной точке. Фильм пронизан природными мотивами, в едином ритме соединяющими существование зверей, птиц, насекомых и... людей.

Мать и сын медленно восходят на «гору смерти» («Баллада о Нарайяме»).

И все же главный итог «Баллады» заключается в ином. Полемическое отрицание христианских основ гуманизма, подчеркнутый биологизм, в духе которого трактован быт обитателей селения, становятся лишь предпосылкой для выявления сущности происходящего. Эта сущность раскрывается в отношениях старой вдовы Орин и ее взрослого сына, обреченного обычаем отнести свою мать на Нарайяму. И хотя он в конечном итоге исполняет предписанное, зерна сомнения и «непростительной слабости» растут в его душе. Фильм Имамуры повествует о зарождении гуманизма как неизбежного следствия человеческой общности и выделенности человека из мира природы. Ритуальное, мифологическое сознание по мере накопления исторического опыта гуманизируется. И то, что этот процесс разными путями протекает в различных культурных регионах, лишь подтверждает абсолютный характер понятий добра и человечности.

Так в общих чертах выстраивается линия поисков сегодняшнего прогрессивного кинематографа — от острого переживания актуальных, духовных проблем западного общества до постижения процессов, корнями уходящих в историю цивилизации и культуры, в извечную борьбу гуманизма и прогресса с силами разрушения и социального зла. ■

Здесь пора остановиться и подвести некоторые итоги.

Большая часть того, что пишется по следам крупных международных кинофестивалей, отличается двумя свойствами. Заметки такого рода настоятельно стремятся вычленить из потока фильмов суть, тенденцию движения кинопроцесса. И они же обычно страдают поверхностной обзорностью, перечислительностью —

неизбежной, когда речь идет о явлениях нарождающихся, весьма многоплановых и еще не «прописанных» в структуре нашего эстетического мышления.

Мне всегда казалось, что идеальным было бы рассказать о фестивале, ограничившись одним-единственным фильмом, но таким, который действительно определяет «погоду на завтра» и как бы узаконивает место данного фестиваля в общем кинематографическом течении. И не только в кинематографическом — ведь «седьмое искусство», хотя и движется по своей собственной траектории, так или иначе включается в общий баланс современной культуры.

Однако, видимо, сегодняшний кинематограф находится на таком этапе своего развития, когда выявлять единоличных лидеров становится все труднее: недаром высшие призы на крупных фестивалях делятся теперь обычно ex aequo. Это естественно, и причин здесь немало.

Давно миновали времена, когда кинематографию планеты представляли несколько основных, ведущих кинодержав. «Узаконить» резкое расширение мировой киногеографии сумели в первую очередь фестивали последних лет в Москве и в Ташкенте. Они гостеприимно открывали свои двери перед посланцами стран Азии, Африки, Латинской Америки. Очи дали путевку в жизнь многим молодым кинематографиям: вспомним, к примеру, каким открытием прозвучали на московских киносмотрах первые перуанские фильмы.

Не менее важно, что удалось сломать предубеждение, определявшее ход большинства фестивалей, проводимых на Западе. На все, что не из Европы и Северной Америки, взирали там с высокомерной снисходительностью. Разве лишь Япония могла рассчитывать в Канне на большую награду (ее и получили за последние годы «Тень воина» Акиры Куросавы и знакомая нам «Баллада о Нарайяме»).

И вот две кинематографические сенсации. Главный приз прошлогоднего фестиваля в Канне — что несколько лет назад показалось бы невероятным — завоевал турецкий фильм «Дорога» прогрессивного режиссера Йылмаза Гюнея. А в Западном Берлине одной из самых почетных наград была удостоена другая турецкая лента — «Сезон в Хаккари». Можно вспомнить и об успехе тунисского фильма на фестивале в Мангейме. Это было не только победой над укоренившимся снобизмом, но и подлинно художественной победой, подтвердившей, что уровень целого ряда «неканонических» кинематографий неопровержимо возрос и что они способны соревноваться с работами именитых без всяких скидок, по существу на равных.

XIII Московский международный кинофестиваль подтвердил: подобные выводы не грешат скороспелостью. Хотя конкурс в этом году был весьма сильным, именно он вывел в группу лидеров проникнутые болями и конфликтами эпохи произведения молодых кинематографий. Достаточно назвать награжденные высшими призами картины «Амок!» — о южно-африканском апартеиде и «Альсино и Кондор» — о военной экспансии США в странах Латинской Америки. Первая из них создана марокканским режиссером Сухейлем Бен Баркой. Вторая принадлежит чилийскому режиссеру-эмигранту Мигелю Литтину и снята в содружестве кинематографистов Никарагуа, Кубы, Мексики и Коста-Рики. Естественно, что на таком смотре прогрессивного кино, каким является фестиваль в Москве, должную оценку получил и пример интернациональной солидарности, и свободолюбивые идеи, одухотворившие каждый из этих фильмов. Но, повторяю, решающую роль сыграл высокий художественный уровень представленных работ, красноречиво заявивший о центробежных тенденциях мирового кинопроцесса, который стремительно распространился на все континенты.

Для сравнения можно было бы привлечь некоторые фильмы прогрессивных (подчеркиваю — прогрессивных) кинематографистов Западной Европы и той же Латинской Америки, тоже не миновавших социальной проблематики, затронувших актуальные проблемы жизни рабочего класса, профсоюзной деятельности, инфляции человеческих отношений. Но этим фильмам порой не хватало дыхания, а потому на первый план вышли произведения, рожденные подлинным историческим энтузиазмом, отмеченные и незаурядной художественной энергией.

«Амок!» не случайно несет восклицательный знак в самом названии. Фильм мог бы стать неспешной экспозицией того слома, что произошел в сознании провинциального учителя, приехавшего в Иоганнесбург, где в беду попали его родственники, и ставшего свидетелем жесточайшей расовой политики властей. Но картина, своеобразным камертоном для которой послужили песни великой африканской певицы Мириам Макебы, проникнута таким гневом, такой болью и самоотверженностью, что она становится эмоциональной антитезой многим лентам, снятым «усталой камерой», — так можно охарактеризовать стилистику иных западных кинематографистов, пассивно фиксирующих жизненные коллизии, не видящих смысла и цели повсеместно идущей борьбы за будущее планеты.

А вот что сказал о первом никарагуанском художественном фильме «Альсино и Кондор» Габриэль Гарсиа Маркес: «Это действительно очень хороший фильм, но главная его ценность не в том, что он мастерски сделан, а в том, что он снят в почти невероятных условиях».

Оказывается, Мигель Литтин задумал поначалу снять притчу о «тропическом Икаре» — деревенском парне, который прыгал с деревьев, потому что мечтал летать. Но проехав по деревням революционной Никарагуа, режиссер понял, что жизнь богаче любого сценарного вымысла, и расширил рамки повествования.

Правительство Никарагуа всеми силами содействовало съемкам картины. Оно предоставило в распоряжение кинематографистов части войск революционной армии, единственный в стране танк, а также вертолет. Но выделенный вертолет разбился во время спасательных работ при наводнении. Другой вертолет — единственный оставшийся — исполнил роль артиста до конца, хотя «капризы», которые он себе позволял, режиссер не простил бы ни одной кинозвезде. Например, его пришлось отозвать на границу с Гондурасом в период обострения ситуации в стране, и съемки были отложены. И занятые в фильме части отзывались для вооруженных действий, а когда они возвращались, лица солдат были другими, и режиссер не всегда был уверен, стреляют они холостыми или боевыми патронами.

Жители поселка, где снимался фильм, однажды задумали... поджечь танк, поскольку узнали в нем бывший танк сомосовцев. Актер, игравший сомосовского офицера, вызвал ненависть местных жителей, решивших, что в съемочную группу прокрался враг. Во время работы умер от инсульта знаменитый кубинский оператор Хорхе Эрера (снявший картину «Люсия», премированную в свое время на Московском кинофестивале). Словом, трудностей и проблем было не перечесть. И тем не менее фильм был снят!

В центре картины, какой она получилась, противостояние двух героев — мальчика Альсино и американского летчика-инструктора, сеющего смерть на чужой земле. Альсино поразительно сыграл Алан Эскивель, сын строителя, который не умел читать и учил роль со слов ассистента. Роль капитана Франка исполнил американец Дин Стокуэл — исполнил за мизерные (по голливудским понятиям) деньги, собранные энтузиастами, и вопреки политическому нажиму своих соотечественников.

Фильм Литтина показал, что искренность переживания острейших проблем современности, преломляясь через самую что ни на есть жизненную методику того, как «делать фильм», способна дать и новое художественное качество. Качество и определившее заметное место молодых кинематографий на карте сегодняшнего киноискусства.

Если же обратиться к старым, давно признанным центрам кинематографической жизни, то и здесь наблюдается весьма динамичное и отчетливое смещение привычных понятий. Тому тоже есть свои объективные обоснования. Стрелка часов в кинематографе сегодня бежит еще более неумолимо, чем в жизни. Только что бушевала очередная «новая волна» — глядишь, самые смелые ее эксперименты выглядят нынче безнадежно устаревшими. Имена, которые еще вчера критики дружно выдвигали на первый план, сегодня оказываются в тени, их место занимают другие. При такой нестабильности усиливается тяготение к устойчивым, непреходящим ценностям, способным пережить поверхностную «злобу дня». Ощущается, говоря словами поэта, «ностальгия по настоящему», по высокой художественной правде, неподвластной веяниям изменчивой киномоды.

Но — в том-то и заключается парадокс! — судя по многочисленным симптомам, некий «классический» период в развитии кино как искусства завершился. За последние годы мировой кинематограф, не говоря уже о Чаплине, потерял таких своих патриархов, как Лукино Висконти и Витторио де Сика, Роберто Росселини и Пьетро Джерми, Рене Клер и Жак Тати, Анна Маньяни и Жан Габен... Это не могло не ослабить, в частности, позиций Италии и Франции — ведущих западноевропейских кинодержав. Особенно если учесть, что наряду с теми, кто назван, ушли из жизни крупные режиссеры среднего поколения Пьер Паоло Пазолини, Элио Петри, Валерио Дзурлини, популярнейшие актеры Роми Шнайдер и Патрик Деваэр.

Дело, конечно, не только в неизбежных потерях, но и в том, что крупнейшие режиссеры Запада — Феллини, Бергман, Рене, Антониони,— когда-то бывшие в авангарде художественно-философских поисков, своими работами последних лет не открыли для киноискусства новых горизонтов. В известной мере кризисный период переживает прогрессивное политическое кино Запада, которое в силу ряда объективных и субъективных причин сдало боевые антибуржуазные позиции прошлых лет. Кинематограф США, давший еще сравнительно недавно заметный всплеск социально-критических настроений, сегодня, за редкими исключениями, вновь вернулся в прокрустово ложе голливудских схем и мещанских вкусов, не говоря уже об откровенных кивках в сторону реакционного рейгановского «нового курса».

Московский фестиваль представил, разумеется, лучшее, чем богат сегодняшний мировой экран. Представил и те его заслуживающие внимания поиски, что пока не несут в себе черт завершенности и художественной определенности. Так, мне думается, можно воспринять последнюю ленту Франсуа Трюффо «Соседка». Этот крупный французский режиссер близок нам демократизмом и человеческим, художественным обаянием таких картин, как «400 ударов», «Карманные деньги», «Последнее метро». Есть у него и другой ряд фильмов, связанных темой неутоленной страсти, мстящей за себя душевными стрессами и самоуничтожением. В «Соседке» лидирует именно такой мотив. На сей раз он не слишком обоснован историческим и социальным опытом героев: время существует скорее субъективно внутри, чем вне их. Стремясь выразить исходные, формообразующие начала в человеке и лишь косвенно затрагивая особенности сегодняшней психологии, Трюффо оказывается на полпути между совершенным знанием психологических законов и опытом художника — историка современности.

Вероятно, подобная стадия характеризует и нынешнее самоощущение других ведущих мастеров кино Запада в их

попытках открыть новую страницу кинематографа 80-х. Новую, хотя сюжетно большинство этих попыток обращено в прошлое, которое позволяет художникам бросить обобщенный взгляд на собственный опыт и на закономерности культурных процессов. Так, Ингмар Бергман в картине «Фанни и Александер» возвращается к эпохе начала века, воспринятой им через родителей, к первым детским впечатлениям (вспоминаются в связи с этим ретроспекции из «Земляничной поляны»). Еще дальше в историю уходит взгляд Алена Рене, чей новый фильм «Жизнь есть роман» продолжает размышления режиссера о «субъективном времени».

Как всегда, общее внимание привлекла только что законченная картина Феллини «А корабль плывет...», в самом названии и в сюжете которой высказана некая метафора движения культуры, ее «плывущего», «промежуточного» состояния. Интересно, что на воде, на небольшом судне происходит и действие новой ленты, над которой сейчас работает Антониони. Итальянский режиссер недавно выпустил книгу «Этот кегельбан над Тибром», где он подробно разворачивает свою творческую программу Недавно появилась и книга, написанная Луисом Бунюэлем. Увы, ее название — «Мой последний вздох» — оказалось пророческим. Еще живой вчера классик современного кинематографа скончался в возрасте 83 лет, пополнив печальный список утрат мирового кино.

А принципиального движения в новом западноевропейском кинематографе все же явно маловато...

Но и эта вкратце описанная локальная кинематографическая ситуация, главное же — общая ситуация в мире, сложившаяся в 80-е годы, вовсе не дает повода утверждать, будто в современной жизни людей значение кинематографа снизилось. Скептические оценки такого рода глубоко неверны. Напротив, именно в обстановке глобальной опасности, стоящей перед человечеством, в условиях активизации разных мастей консерватизма и экстремизма художник может и должен сказать свое веское слово в сплочении людей на основе принципов гуманизма и коллективной ответственности.

Кинематограф не сегодня и не вчера окрестили зеркалом времени. Гаснет свет в кинозале, в темноте растворяются лица соседей, не слышно их голосов, и тем не менее безошибочно ощутимы токи — восторга, гнева или раздражения, идущие от экрана к зрителю. Время в кинозале как бы расслаивается. Оно — на экране, и оно — среди нас. Многотысячные толпы статистов, окружающие экранного Ганди, или один пронзительно-крупный план глаз Чуриковой — Вассы Железновой — это условное время фильма, который длится два часа, но способен увести нас на этот срок в самые тайные уголки духовной истории человечества. И подобно тому, как физически мы ни на миг не покидаем своего кресла, так и внутри нас продолжает пульсировать сегодняшний день — с его болями, тревогами, надеждами. Глядя в зеркало меняющегося времени, мы проживаем и настоящий момент своей жизни, и жизни тех, чье художественное отражение подарил нам экран.

◆

Антирубрика

ДЖОН ЛЕННОН

МИНИАТЮРЫ

Перевод с английского ВЛАДИМИРА БОШНЯКА и МАРКА СТЕФАНСКОГО

Вступление

Мы познакомились в Вултоне на сельском празднике Было нам тогда по двенадцать лет, словом, школьники. Помню, у Джона странно блестели глаза, он был возбужден и неловко оперся рукой на мое плечо Но несмотря на все его прихваты, мы стали приятелями.

В то время за Джоном присматривала тетя Мими, которая, бывало, внушала мне, что он гораздо умнее, чем хочет казаться, и прочее.

Однажды он написал для школьного журнала стихотворение про отшельника, который говорил: «Душа живет дыша, а смерть не смеет сметь». Я подумал тогда: дескать, непрост!

Он носил очки, и эти очки придавали ему интеллектуальный вид, но суть не в очках, просто он чувствовал и видел мир иначе, чем мы.

— А чего такого?— отвечал он на раскаты одобрительного смеха.

После окончания школы в Квери-Бенк он поступил в Ливерпульское художественное училище Позднее он ушел из него и стал играть в ансамбле под названием «Битлз».

И вот когда Джон издал свою книгу. я подумал — да, он непрост! И откуда это — легкая рука? образование? или в нем есть что-то свыше?

Среди читателей книги Леннона обязательно найдутся тугодумы, которым покажется многое несуразным. а иные займутся поиском какого-то скрытого смысла. «Что такое «промотанец»?» «Наш коротяпка сегодня народимчик? Должно быть, это неспроста!»

Не обязательно во всем должен быть смысл. Есть юмор — и достаточно.

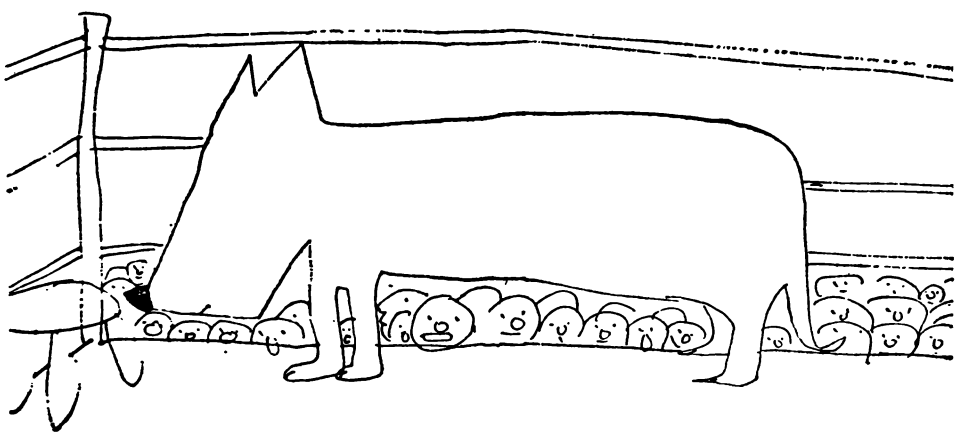
ПОЛ

P. S. Рисунки мне тоже нравятся.

Пол Маккартни

Пес-борец

В веселом царстве-государстве, что за долами дальними, за морями, за пальмами, и оттуда далеко и отсюда нелегко, где стоит



Статью «Джон Леннон — цена популярности» см. в «ИЛ», 1982, № 6.

чудо-гора и сегодня и вчера, на которой ворона не *воронится* и воробью не спится, жили да *жевали* граждане и горожане. Числом великим, если верить (целых тридцать девять), на маленьком *островке-поздравке*, куда ехать-плыть не одну тысячу миль.

Наступило там время *урожай-уважайное*. Народ этой страны — без стены — праздновал на всю *кукушку, пляски пел да песни плясал*.

Господину Пэрри (он был в тех краях за *полумера*) полагалось по традиции из-под земли достать (это ему было под стать) к торжеству что-нибудь этакое-такое, можно малое, можно большое (однажды он мимо дома пригласил даже гнома).

А в этот раз Пэрри с шумом открыл двери, и все увидели не говорящего кита, не усатого скворца, а настоящего пса-борца!!

Но кто же схватится с такой зверюгой? Хоть борьба и не драка, но борец-то собака!

Праздник у Рэндольфа

В рождественский вечерок Рэндольф *сипел* один. А где же вся его *колода*, его приятели — Берни, Дейв, Ники, Элис, Бедди, Фриба, Вигги, Нигель, Альфред, Клив, Стэн, Фрэнк, Том, Гарри, Джордж, Гарольд? Где они в такой праздник? Рэндольф скучным взглядом посмотрел на единственное поздравление — открытку от его *проезжего* отца, который жил *отельно*.

«Ума не приложу,— думал Рэндольф,— куда это все подевались, бросили меня, как шарик в лузу, как Шарика в лужу, катайся, вой тут один. А ведь не грех было бы и *завалиться*,— рассуждал про себя Рэндольф,— или самому на диван, или кому-нибудь ко мне в гости». А сам продолжал вешать на елку всякие разные украшения и *шишуру*.

Вдруг трах-та-та-тах, в дверь довольно весело стучат. И кто это к нам пришел? Может, почтальон?— спрашивает с ухмылкой Рэндольф, открывая дверь. Видит, вся *колода* налицо, как один: Берни, Дейв, Ники, Элис, Бедди, Фриба, Вигги, Нигель, Альфред, Клив, Стэн, Фрэнк, Том, Гарри, Джордж, Гарольд — вот так да!

— А, козлы, входите, *обормоты беспоротые, поратовали* вы меня,— а сам улыбается во всю *робу*.

Но вдруг дружки *киваются* на Рэндольфа и давай его *пить по семечку, притоваривая*:

— Пустая твоя башка, никогда-то нам не нравилась глупая твоя *роба*, сучок ты сосновый и все такое...

И они, понимаешь ли, прибили его, убили, понимаешь ли. Никто уж не скажет, что помер в одиночестве.

С рождеством тебя, Рэндольф, старина!

Генри и Гарри

Генри был сын своего отца, и однажды пришло время бросать школьное бремя и заниматься отцовским делом — «*Промотан-торговачей*».

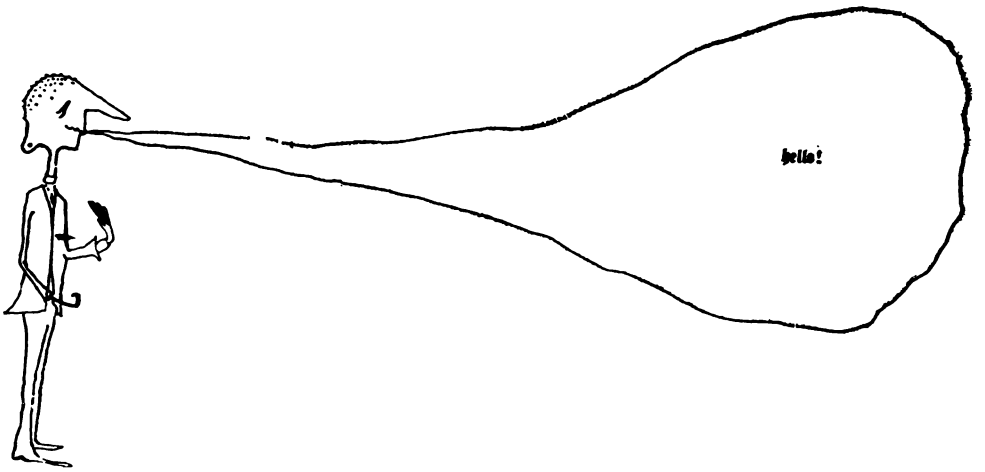
Бизнес это был полуживой, полумертвый, словом, на полувздох.

—«*Промотан-торговача*» полудохлый бизнес, так ведь, папаша?— сказал малыш Генри.

Папаша Гарри тут же зло возразил:

— Не мели ерунды, Генри. Твои отцы и деды раньше тебя и, понимаешь ли, даже раньше меня, были *промотанцы*, и точка.— С этими словами он двинул костыли ближе к камину.

— А не расскажешь ли мне еще разок, папаня, про то, как и кто наградил тебя этими костылями. Не в «*Промотан-торговаче*» часом было это?— спросил с хитрецой недомерок-Генри.



— Что это, сыночек, мои костыли тебе покоя не дают,— говорит Гарри, и голос его становится мягче.

— Да просто люблю балдеть под этот твой рассказ, папашка! К тому же не у каждого всамделишный калека в отцах ходит.

— Ну что ж, в твоей голове не одни опилки, мой *малый-милый*,— сказал Гарри, любуясь сыном и думая притом: «Он *промотанец*, будьте любезны, от и до самого до, и точка».

— Я, папа, хоккеистом стать хочу,— робко промолвил малыш Генри.

— Ты *промотанец* от и до самого до, сынок, и точка,— сказал строго папа Гарри.

На следующий день Генри и след простыл. Ни слуху ни духу о нем в той помоечной трущобке, и старина Гарри *запил* тревогу.

— Мать, это на него не похоже,— сказал он жене, с которой они *доживали*.

— Да *пропадись он провалом*,— сказала старуха, коверкая слова.

Вы, верно, *докапались*, что малолетний юнец Генри попросту сбежал, исчез.

— Я ему покажу костылей, мать,— сказал Гарри сам себе (потому что рядом уже никого не было).

Да-а. А вышло так, понял — не нашел себе малец никакой работы в *о'кейном* деле, тем более не стал хоккеистом.

— Похоже, я и впрямь *промотанец* от и до, и папа Гарри прав,— тихо пробасил Генри.— Ненужная *проба сил* (ведь его никто не слышал).

И, поджавши *гвоздь*, блудный сын отправился в родительский дом, как всякий малолетка, Генри, который не сумел найти работу и стать хоккеистом.

Когда впереди замаячила родная помойка, он громко воскликнул:

— Ком бли-ин!— тем самым все определив.

— Хелло! Матушка-маманя, это я, малыш Генри, Генри-малолетка, я домой *притерся*, — кричал он, стараясь привлечь к себе внимание. Старуха не отвечала. *Ведь мамаша* что-то рыла и копала, в упор не замечая сына, не замечая, может быть, и на самом деле.

— Мамка-мамка, это я,— до хрипоты повторял он, удивляясь тому, что мать там копает. Старуха все рыла, рыла, напевая себе под нос песенки, которых теперь шиш где услышишь.

— Протри фары,— наконец пробурчала маманя,— не видишь, я хороню придурка Гарри, твоего отца.

— Ну вот, наконец-то по-людски заговорила,— отозвался Генри, становясь во главе семьи, от и до самого до.

Сюрприз для Бобби

Наш *коротяпка* Бобби сегодня *народимчик*, так ему и надо, получай *сюр*, получай *приз*. Нет у Бобби коряги-руки, значит, а точнее, пятерки — самой кисти (война).

Так вот, присылают ему на день рождения деревянное письмо, а внутри новенький *протест*.

Сбылась мечта Бобби, в тридцать девять лет услышал кто надо его молитвы, да только не совсем. Если чего и не хватает у Бобби, так это правой коряги-руки, значит, а *протест* прислали левый, блестит, пальчик к пальчику.

Жалко Бобби *протест* стало — э, да что за проблема, раз-два, оттяпал себе левую руку-корягу, значит. Приложил *протест*, как влитой.

«Может,— говорит, — на следующий год и правый *протест* пришлют, а что?»

Под дубом грустно

Под дубом грустно я сидел,
Невзрачен, мал, пузат.
Приятный голос где-то пел,
Зрел молча виноград.

Но я понять никак не мог,
Где та, что песнь поет,
Тебя найду, дай только срок,
Мне песня душу рвет.

Быть может, ты придешь сама? —
Нан·но я взывал.
Споешь мне песен закрома,
Каких я не слыхал.

Под звуки песен я заснул,
Поспал часок-другой.
Глаза открыв, наверх взглянул,
Потер живот рукой.

И вдруг поверите ли вы,
Ее увидел я...
Она сидела средь листвы —
Поющая свинья.

Ты свинка? не девица?
Ну право, очень жаль.
Но тут моя певица,
Вспорхнув, умчалась вдаль.

Милый песик Найджел

Гав-гав, живет, не тужит
Дружок лохматый мой,
То по двору покружит,
То — гав — бежит домой.
Ах Найджел, ну чертенок!
Сидеть лежать, служи!
В тебе полно силенок
И зубы как ножи.
Ты весел мой проказник,
Ты чуешь верно брат,
Тебе готовят праздник:
ЗАВТРА В ТРЕТЬЕМ ЧАСУ ПОПОЛУДНИ
ТЕБЯ УСЫПЯТ.

Скромный

Я скромный скромный скромный,
Застенчивый насквозь.
Я словно пес бездомный,
Что вынь отрежь и брось.
Такой я от макушки
И аж до самых пят.
В округе все подружки об этом говорят.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ДРЕВО АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Поэзия США. Переводы с английского. Составление, вступительная статья, комментарии А. Зверева. Москва, «Художественная литература», 1981.

Первая в нашей стране антология американской поэзии вышла в конце 30-х годов. Называлась она «Поэты Америки. XX век». Тщательность, с какой готовили ее Михаил Зенкевич и Иван Кашкин, и сегодня может служить примером.

Составители отмечали, что к тому времени американская поэзия была известна у нас «только по произведениям таких гениальных одиночек, как Уолт Уитмен, Эдгар По, — по «Гайавате» Лонгфелло, по отдельным произведениям революционных поэтов».

Интенсивное освоение американского поэтического наследства началось в последнее двадцатилетие. Продолжали выходить книги По, Уитмена и Лонгфелло Благодаря переводчице Вере Марковой зазвучали по-русски стихи Эмили Дикинсон. Появились авторские сборники выдающихся поэтов США XX века — Роберта Фроста, Карла Сэндберга, Ленгстона Хьюза, Томаса Стернса Элиота, Эдвина Арлингтона Робинсона, Роберта Лоуэлла. Добавим к этому ряд других сборников постоянные публикации в периодике. Многие поэты побывали у нас — Хьюз приезжал еще в 30-е годы, а уже в наше время гостили и Сэндберг, и Фрост, и Лоуэлл, и Ферлингетти, и Дениза Левертов, и немало других.

Словом, американская поэзия зазвучала теперь на разные голоса, зашумела, как листья огромного дерева с несчетными веточками и видными отовсюду мощными ветвями. Не хватало только книги которая представила бы это дерево целиком. Наконец она вышла — в серии «Библиотека литературы США». Объемистый том в восемьсот тридцать страниц. Три с половиной века американской поэзии.

Конечно, могло оказаться, что поэтические строки рожденные колонистами в середине XVII века, сегодня выглядят мертвыми, высохшими листьями, заложенными в новую книгу просто для памяти...

Первый автор — Анна Брэдстрит. Не переводилась у нас, но иногда упоминалась в исследованиях как любопытный феномен: мать восьмерых детей, переселенческая жизнь в неосвоенных местах, хозяйство, каждый раз создаваемое заново,— и стихи... Да стихи ли это? Читаем самые первые строки:

> Исполненный греха, без разума и воли,
> Непрочен и тщеславен человек...

Переворачиваем страницу. Стихотворение «Моему дорогому и любящему мужу»:

> Две наших жизни прожиты в одной,
> Бывал ли кто, как ты любим женой?..

Заглядываем в конец подборки:

> Прожив свой срок деревья умирают.
> Наливом слив и яблок сыплет сад.
> В страду хлеба и сено убирают —
> Все бренно, нет для времени преград.
> Но из-под пней ростки спешат гурьбою,
> Цветут сады, не зная перебоя...

«Но из-под пней...» Вот оно, вечное древо поэзии.

Последнее сомнение: может, искусственная реанимация? Может, это переводчик «воскресил» Анну Брэдстрит? Находим оригиналы стихов. Сравниваем придирчиво, слово за словом, строку за строкой... Нет, хорошо переводит Г. Русаков. Никакой отсебятины. И мысль, и чувство, и ясный образ-метафора, и пленяющая естественность речи — все это есть у Анны Брэдстрит. Стихи ее — настоящая поэзия. «Сюда, в эту почву,— говорится о творчестве Брэдстрит и ее современников в предисловии книги,— уходит своими корнями традиция серьезного этического размышления и бескомпромиссного искания духовной истины — одна из лучших традиций американской поэзии».

Составителем, автором вступительной статьи и комментариев «Поэзии США» выступил Алексей Зверев, много лет плодотворно исследующий американскую литературу. В этой работе наиболее полно раскрылась его способность хорошо чувствовать, «слышать» чужеязычную поэтическую речь. Отметим также, что вступительная статья, дополненная емкими справками о каждом из включенных в антологию поэтов, является первой у нас попыткой хотя бы контурно, штрихами означить весь путь развития англоязычного поэтического слова за океаном.

Война за независимость, становление республиканского государства гулким эхом отозвались в поэзии — и американской, и мировой. Революция на далеком континенте проходила одновременно с крестьянской войной в России. «Пугачевщина» закончилась публичной казнью вождя восставших. Война в Америке — избранием предводителя «бунтовщиков» главой государства.

Ликуешь ты! а мы здесь стонем!
Того ж, того ж и мы все жаждем:
Пример твой мету обнажил...—

обращался к заокеанской республике в первом революционном стихотворении в России — оде «Вольность» — Александр Радищев. А крупнейший поэт американской революции — Филип Френо — словно подхватывает радищевскую мысль о великой общечеловеческой цели:

Под лозунгом свободы
Сплотятся все народы
Когда-нибудь!
В российский край холодный,
В песок пустынь бесплодный
Сей пламень благородный
Проложит путь.

(«Ода». Перевод А. Шараповой)

Так в американской поэзии зазвучала русская тема.

Многое сделал для сближения США и России Джоэл Барлоу, писатель-дипломат, «апостол гуманизма», как называет его известный американский литературовед В. Л. Паррингтон. Барлоу выступал посредником между Александром I и Томасом Джефферсоном, он способствовал началу непосредственной переписки между американским президентом и русским царем. Экземпляр своей поэмы «Видение Колумба», изданной отдельной книгой, Барлоу подарил русскому послу в Лондоне Семену Романовичу Воронцову. Книга эта — с дарственной надписью автора — долгое время хранилась в библиотеке Алупкинского дворца Воронцовых; позже ее передали библиотеке АН СССР.

В сборник «Поэзия США» включено стихотворение Барлоу «Совет ворону в России. Декабрь 1812 года». Барлоу ехал в Россию с дипломатическим заданием — он должен был встретиться с Наполеоном. И неожиданно стал свидетелем разгрома французского нашествия. Стихотворение «Совет ворону в России» оказалось для него последним — Барлоу заболел в дороге и умер неподалеку от Кракова.

Сто тридцать лет спустя, в годы второй мировой войны, широкую известность получило стихотворение Стивена Винсента Бене «России». Поэт написал его специально для вечера, устроенного комитетом «Американо-русской помощи». Тогда, в мае 1942 года, в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» собрались многочисленные представители американской литературы, театра, кино. В художественной части вечера песни на русском и английском языках исполнял Поль Робсон. Бене присутствовал на вечере, но по его просьбе стихотворение «России» прочитал его друг Норман Корвин, известный драматург и режиссер на радио, бывший на том вечере распорядителем:

За Россию, за непобедимый народ,
За народную непобедимую армию,
За красноармейцев и партизан,
За наших собратьев по оружию,
За великий народ, что остановил
Огромную машину, пожиравшую нации...

(Перевод М. Зенкевича)

Концертная программа вечера передавалась не только по всей Америке, она транслировалась и на Советский Союз.

История США знает и другие периоды — отмеченные резким усилением шовинистической пропаганды, безмерным восхвалением американской модели жизни, презрительно-глумливым отрицанием социального и культурного опыта других народов. После Октябрьской революции такие кампании обычно сопровождаются разнузданным антисоветизмом. Так было в начале двадцатых годов, затем в послевоенную пору; аналогичная картина наблюдается в последнее время. И неизменно передовая культура страны восставала против духовного изоляционизма американцев, против попыток посеять рознь между народами. В стихотворении «Починка стены» Роберт Фрост создал обобщенный тип ненавистного ему «строителя забора»:

...Каждою рукою
По камню ухватив, вооружился
Он, как дикарь из каменного века,
И в сумрак двинулся, и мне казалось —
Мрак исходил не только от теней...

(Перевод М. Зенкевича)

Поэты XX века занимают основную часть сборника «Поэзия США». Это объективное соотношение — такова динамика развития американской литературы. В полифонии поэтических голосов этого раздела нетрудно все же уловить лейтмотив — открытый или подспудно выраженный протест против ущербной морали «общества потребления», против царящих в нем жестокости и насилия, бездуховности и конформизма.

О мир превосходное место
чтобы родиться в нем

если вы не очень против...
такого убожества
как наше хваленое общество...

(«Мир превосходное место...». Перевод В. Минушина)

Эти строки принадлежат Лоренсу Ферлингетти, давно известному у нас «поэту, агитатору, главарю сан-францисского бунтарства», как писал о нем десятилетие назад Андрей Вознесенский.

С Хартом Крейном советский читатель знакомится, по существу, впервые. Особо примечательны два фрагмента («Бруклинскому мосту» и «Река») из поэмы Крейна «Мост» — дерзновенной по замыслу и исполнению аллегории о судьбе Америки — ее прошлом, настоящем и будущем. Связующий образ поэмы — Бруклинский мост. В нем автору видится символ американской цивилизации. Вспомним — и наш Маяковский (почти одновременно с Хартом Крейном) смотрел на Нью-Йорк, на Америку «сквозь Бруклинский мост».

Семью десятилетиями раньше, задолго до постройки моста, поэму «На бруклинском перевозе» написал Уитмен. Как позднее Маяковский, Уитмен обращается в ней к потомкам, убежденно заявляя, что, «несмотря на все разделившее нас расстояние, в эти минуты я смотрю на вас...». Уитмен верил в будущее. И верил, что его поэзия переживет время.

В поэме Харта Крейна много строк посвящено Уитмену. Но символический мост Крейна в будущем себе опоры не находит. А от настоящего поэта отталкивает то же, что удручало в Америке и Горького, и Маяковского, и Есенина:

Страна была землей обетованной.
Осталась раем — лишь для спекулянтов...

Крейн дописывал поэму в 1930 году — в пору жесточайшего из пережитых Америкой кризисов. Чувство трагической безысходности, граничащей с апокалипсисом, переполняло его:

Самоубийство — это ль не ответ
Содому и Гоморре? Пузырем
рубаха раздувается на нем,
победно оседлавшем парапет.

(Перевод В. Топорова)

Вскоре после завершения поэмы Крейн покончил с собой, бросившись в море...

В год смерти Харта Крейна родилась Сильвия Плат, наследница его трагической музы. В сборнике «Поэзия США» впервые представлены по-русски стихотворения «Рой», «Папочка», «Лихорадка при 103°» — ключевые для понимания творчества Плат. Основные тона ее поэтической палитры — темные и мрачные; доминирующее настроение — отчаяние («Я просто не вижу, куда мне дальше идти...»; «Я потеряла себя...»; «Я обезличена. Чего хочу? — Не быть!..»). В феврале 1963 года тридцатилетняя поэтесса покончила с собой. Писательская слава пришла к ней посмертно — ее часто переиздают, и критика почти единогласна в своих суждениях о творчестве Плат как об одном из значительнейших явлений в послевоенной американской поэзии.

И все-таки «массовое общество» не смогло убить в людях извечной жажды справедливости, тоски по человечности и доброте. Пример тому — творчество Уильяма Карлоса Уильямса, первое знакомство с которым состоялось давно, еще на страницах антологии Зенкевича и Кашкина.

Уитмен свято верил в действенность, в преобразующую и воспитательную силу поэтического слова. Этой же веры исполнена поэзия Уильямса. Всю свою долгую жизнь он провел в небольшом городке неподалеку от Нью-Йорка, врачуя больных. И к поэзии его тянутся, как к лекарству духовному, как к свежему воздуху или родниковой воде — ибо стихи Уильямса настояны на «чувствах добрых» ко всему сущему на земле, на сострадании к беззащитным, униженным и оскорбленным.

Давайте наше ремесло
Сравним с искусством врачеванья,
Ведь нету лучшего призванья,
Покуда существует зло.

Эти строки Давида Самойлова невольно вспоминаются при чтении стихов Уильямса и его последователей в сегодняшней поэзии США, среди которых самая известная — Дениза Левертов.

Причастная, как и Уильямс, «искусству врачеванья» (в годы второй мировой войны — медсестра в госпитале), Левертов открыто называет Уильямса своим учителем. Подобно ему она стремится пробудить в людях утраченные человеческие чувства. Есть в ее поэзии ренессансная упоенность жизнью, пиршество красок и звуков, непосредственная, поистине детская впечатлительность, способность дивиться «снежной голубизне корыта для стирки белья»,— совсем как у Уильямса, которого когда-то заворожила «красная тачка, покрытая глазурью дождя». «Стремлюсь к стихам, где внутренняя гармония резко контрастировала бы с хаосом, в атмосфере которого они существуют»,— определила свое творческое кредо поэтесса, и каждая строка ее стихов — это капля живой воды, «способной смягчить наши высохшие души...» Почти все стихи Левертов, публикуемые в сборнике, на русский язык переведены впервые. То же самое можно сказать о большинстве поэтов антологии.

Переводчиков много — более шестидесяти. Здесь и классики наши: Михаил Михайлов, Иннокентий Анненский, Иван Бунин, Валерий Брюсов; и такие корифеи поэтического перевода, как Константин Бальмонт, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Михаил Зенкевич; и ряд известных наших поэтов — Евгений Евтушенко, Борис Слуцкий, Маргарита Алигер, Евгений Долматовский; и — главным образом — молодое поколение переводчиков.

Поэтический перевод всегда считался искусством. И обычно поэты-переводчики искали «своих» авторов, «свою» тему, тщательно вникая в творчество переводимого поэта. Ныне у нас распространилась эпидемия переводческой всеядности: переводят кого угодно, с любых языков (в том числе и по подстрочникам). В итоге поэты разных веков, переведенные одним и тем же переводчиком, звучат порою абсолютно одинаково. И допускаются нелепости, невозможные при вдумчивой работе. Так, в переведенном Э. Шапиро стихотворении Уильяма Брайанта «После бури» мы натыкаемся на

«отсвет ку-клукс-клановских огней», хотя стихотворение создавалось за четыре десятилетия до того, как возникла эта организация...

Перевод «Оды во времена сомнения» Уильяма Моуди, выполненный Н. Стрижевской:

> Средь сутолоки уличной стоит
> Сен-Гуденовский бронзовый солдат,
> В честь Шоу Роберта, что был убит...—

удивляет не только косноязычием. У поэта речь идет о знаменитой работе Огастеса Сент-Годенса, как давно уже в нашем искусствоведении принято писать имя этого выдающегося скульптора Америки, француза по происхождению. Причем в сборнике публикуется еще одно стихотворение — «Павшим за союз» Роберта Лоуэлла — посвященное тому же памятнику. Не подлежит сомнению, что в одной книге человека нельзя именовать по-разному.

В авторском вступлении к «Оде» неверно переведено имя Роберта Гулда Шоу, в честь которого создавался монумент; неточно указана дата его гибели — хотя в оригинале стихотворения она правильна. Погрешностей такого рода в книге немало. Отметим хотя бы неточности в датах рождения и смерти Анны Брэдстрит, Джона Рида, Эдвина Маркема, Эдгара Ли Мастерса, Э. Э. Каммингса, Харта Крейна, Артуро Джованитти, Роберта Хейдена... А ведь редактор тома — Е. Осенева — специалист по американской поэзии.

Видимо, нежеланием покопаться в материале объясняются случаи произвольного обращения с текстами оригиналов. Пример — стихотворение Арчибальда Маклиша «Мемориальный дождь». (Заметим попутно, что Иван Кашкин переводил это заглавие иначе — «Поминальный дождь», что, конечно, много лучше.) Особые интонации и некоторые детали этого стихотворения обусловлены тем, что поэт посвятил его своему младшему брату, Кеннету Маклишу, летчику, погибшему в Бельгии в самом конце первой мировой войны. Во всех своих книгах Маклиш публиковал стихотворение только с посвящением брату. В «Поэзии США» оно почему-то снято, и стихотворение отчасти утратило смысл. А ведь оно часто цитируется, и давно известен его необычный для Маклиша личностный подтекст.

При чтении книги нетрудно заметить, что переводчики придерживаются различных, порою полярных творческих принципов. И вряд ли допустимо в таком авторитетном издании соседство подлинного творчества с бездушной умелостью, а еще хуже — с бескрылым любительством, коснувшимся здесь некоторых известнейших произведений классики.

Стихотворение Лонгфелло «Свидетели» из знаменитого цикла «Стихи о рабстве» переводилось у нас неоднократно. В прошлом веке — Михаилом Михайловым, Петром Вейнбергом, Елизаветой Григорьевной Бекетовой — бабушкой Александра Блока. Несколько раз переводились «Свидетели» и в советское время. Естественно, и переводы иногда устаревают. Может появиться потребность в новом, более совершенном переводе. Но и перевод должен вырастать «из-под пней» — с учетом предшествующего опыта. Этого-то как раз и нет в новом переводе «Свидетелей», опубликованном в «Поэзии США». Переводчик — С. Таск — изменил утвердившееся заглавие стихотворения. Погибшие рабы до сих пор выступали «свидетелями» преступления; теперь они — лишь «очевидцы». Разница хоть и небольшая, а весомая. Соответствующие коррективы появились и в тексте:

> На глубине, куда
> Не проникают росы
> И длинный лот, — суда,
> На палубах матросы...
> Рабов, лежащих тут,
> Сквозь мглу глядят глазницы;
> Их кости вопиют.
> «Мы все здесь очевидцы!»

Вопиют прежде всего неуклюжие, косноязычные фразы и «находки» нового перевода. У Лонгфелло останки погибших рабов становятся добычей коршунов. Так это раньше и переводилось. Теперь ими поживляются орлы. Красивее, конечно, да не совсем верно по существу: орлы, насколько известно, падалью питаются крайне редко. А если вспомнить притчу об орле и вороне, рассказанную Пугачевым в пушкинской «Капитанской дочке», то подобное «новшество» и вовсе неприемлемо... Потому еще коробит этот перевод, что соседствует он с изумительным творчеством Иннокентия Анненского, тоже переводившего Лонгфелло:

> Стихов бы теперь понаивней,
> Помягче, поглубже огня,
> Чтоб эту тоску убаюкать
> И думы ушедшего дня...
>
> Ночь будет певучей и нежной,
> А думы, темнившие день,
> Бесшумно шатры свои сложат
> И в поле растают, как тень.

Один такой перевод заставляет забыть об огрехах, встречающихся в этой книге, которая в целом напоминает нам о том, что поэзия — душа народа, его портрет сокровенный, может быть, самый истинный.

И. ПОПОВ

НА ГРАНИ ДВУХ МИРОВ

Ганс Эрих Носсак. Избранное. Серия «Мастера современной прозы». Перевод с немецкого. Составление А. Карельского. Предисловие П. Топера. Москва, «Радуга», 1982.

Нельзя не приветствовать сам факт появления этой книги. Носсак, может быть, не самое яркое имя в западногерманской прозе, но без него никак нельзя обойтись, если хочешь судить о достижениях литературы ФРГ сколько-нибудь обстоятельно и объективно.

К тому же — это важно отметить — никакой другой западногерманский прозаик (кроме разве что Грасса) не наследует столько из национального культурного фонда, не черпает столько из стародавних немецких традиций. Помните, какими эпитетами наделяли немецкое величайшие наши

поэты? «Он из Германии туманной...» (Пушкин), «Сумрачный германский гений...» (Блок). Так вот, гений Носсака и туманный и сумрачный, как никакой другой в западногерманской литературе.

Появился он в ней поздно, сорока шести лет, много повидав и испытав на своем веку. Его дебют совпал с рождением «Группы-47», хотя он был двумя десятилетиями старше недавних фронтовиков — литературных дебютантов, составивших это объединение. Первые книги Носсака, как и у них, находились под знаком только что отшумевшей военной грозы. Настроение — катастрофальное. В названии каждой из первых книг Носсака непременно слова «смерть» или «гибель». Ракурс сразу взят максимально широкий, тяготеющий к символу; исторические потрясения — лишь отсвет мировых, космических, потусторонних катастроф. Два влиятельных течения философской и художественной мысли держат раннее творчество Носсака в поле своего напряжения: экзистенциализм и магический реализм; два имени неотступно всплывают, едва заходит о нем речь в критике,— Камю и Кафки. Хотя корни традиции, которую он исповедует, глубже, они уходят к романтикам с их смешением сна и яви, с их нажимом на иррациональные стороны бытия. Наиболее полный спектр этих особенностей собирает в себе «роман бессонной ночи» — «Спираль», где изображение сосредоточено на грани двух миров — самого что ни на есть обыденного и под ним или за ним таящегося, ускользающе призрачного, но постоянно угрожающего реальности.

Этим романом и открывается сборник. Выбор бесспорный, однако, увы, приходится констатировать, что русское воплощение известного произведения далеко от совершенства. Пять прихотливых, несвязанных сюжетно, лишь в идейном задании смыкающихся новелл требовали особенно тонкой и бережной словесной инструментовки. Эти размытые контуры быта, эти наплывы символических смыслов, эти невнятные всполохи сна, мерцающие сквозь очезримую данность,— все это призывало в союзники опыт, к примеру, А. Ремизова или Ф. Сологуба, опыт ажурно-символической вязи. Вместо этого мы получили очередную нескладную бытопись с необязательными корявостями, с «бывай» и «мотану», с мелким переводческим сором. Выписываю, чтобы не быть голословным, то, на чем споткнулся (а стало быть, утратил нить художества) только на первых страницах: «С разделенными ролями он судит себя...» (28). «Его опять выбрасывает в бессонницу под безжалостный свет сумерек...» (28). «Он стоял у маленького зеркальца (зеркала, конечно, достаточно «маленького». — Ю. А.) и приглаживал волосы расческой (то есть тыльной стороной? Можно ли приглаживать чем-то негладким? 29)...». «В ее состоянии она неохотно остается одна,— сказал мой зять» (31)... Похоже, что говорит он на эсперанто, а не на разговорном русском. «Но он не так уж хорошо разбирался: говорил то, что говорят обычно, а то как раз — и неправда...» (31) — опять мертвый переводизм. «Они прошли... к стойке, чтобы пропустить глоток...» (36) По-русски пропускают по стаканчику, по рюмке или по кружке. И т. д. и т. п. Последнюю страницу романа переворачиваешь с облегчением — и отнюдь не потому, что замучили кошмарные видения автора.

В дальнейшем, к счастью, русская версия Носсака крепнет, а в рассказах на мифологические сюжеты («Кассандра», «Орфей и...») и вовсе достигает безупречной адекватности с оригиналом.

Не блещет находками, но и не хромает по-русски занимающий центральное положение в сборнике роман «Дело Д'Артеза». Главное детище писателя — это и одно из наиболее известных произведений западногерманской литературы вообще. Как и в лучших книгах Бёля, Грасса, Ленца, Вальзера, тема «преодоления прошлого» соединяется здесь с острой критикой настоящего, общественных противоречий боннского режима. Примечателен роман и по форме, которую можно назвать интегральной, то есть такой, когда повествование слагается из нескольких версий-показаний отдельных лиц о главном герое или каком-либо событии. Д. Затонский даже поименовал эту распространенную в западногерманском романе форму «д'артезовской». Пафос ее — в гносеологической, так сказать, скромности автора, не претендующего на всеведение, на знание всей правды о том, что или кого он изображает. Автор лишь дает информацию из вторых рук, суммирует разные точки зрения, предоставляя читателю выносить собственное суждение на основании почти протокольных данных. Пафос этот с позиций сегодняшнего дня («информационный взрыв») понятен, хотя сама форма — если вдуматься — достаточно наивна: все равно ведь это не документ, а лишь игра в документальность, роли (точки зрения) намечает и распределяет не кто иной, как сам автор. Выходит что-то вроде детской головоломки, требующей отыскать упрятанный в рисунок предмет, в данном случае — самого автора, не найти которого в повествовании может, право же, только очень простодушный читатель. Эта наивность приема особенно бросается в глаза при сравнении, например, с полифонической организацией романного пространства Достоевским.

Во всяком случае этот прием — как всякая нарочитость в искусстве, кажется, быстро исчерпал себя (в последних книгах и Бёль, и Грасс, и Ленц, и Вальзер от него отказались). Впрочем, известная длительность этому приему обеспечена, потому что он врос в плоть достаточно удачных произведений, характеризующих поиски и находки двух последних десятилетий (кроме «Дела Д'Артеза» это прежде всего «Групповой портрет с дамой» Бёля и «Урок немецкого» Ленца), но это не заслуга приема, а скорее случайность — так врастает руда в редкий камень, ценность которого определяется не этим вкраплением.

По стилистике своей проза Носсака соотносима прежде всего с разнообразными поисками в мировой (в том числе и советской) литературе 60-х годов. И появись такая книга тогда, она произвела бы, возможно, более яркое впечатление. Лучше, конечно, поздно, чем никогда, хотя привкус досады остается: отчего в самом деле так неповоротливы и так мало разборчивы наши

издательства? Кого только из западных немцев не издавали у нас за последние четверть века, а писатели, бесспорно принадлежащие к лучшим — в том числе и Носсак,— ждут десятилетиями. И сколько еще таких долгов — Ганс Хенни Янн, Готфрид Бенн, Стефан Андрес, Гюнтер Айх, Арно Шмидт, Гюнтер Грасс, Уве Йонсон...

Но еще несколько замечаний о вышедшем, наконец, сборнике Носсака. Состав его продуман и взвешен, хотя заметно лимитирован объемом. Во всяком случае нельзя не пожалеть об отсутствии небольшого прелестного романа «Не позднее ноября», где пластический дар прозаика, может быть, единственный раз жадно осваивает натуру, где воспел он не «нечто и туманну даль», а реальные страсти живых, всамделишных, легко узнаваемых людей. Будем считать, таким образом, и этот роман непогашенным долгом.

Предисловие к избранному Носсака в меру обстоятельно, в своих выводах и оценках справедливо, хотя и, пожалуй, излишне — суховато, академично, а ведь это тот жанр, который целиком держится на живом, увлекательном тоне; иначе любые выводы и оценки останутся втуне, ведь читателя не обяжешь читать то, что ему не интересно.

В целом сборник удался. Он, нет сомнений, не затеряется даже в такой авторитетной серии, как «Мастера современной прозы».

Ю. АРХИПОВ

Издано за рубежом

НОВЫЙ РОМАН О МАРКСЕ

Winfried Schwarz. Aufbruch. Aus dem Leben des Karl Marx. Dortmund, Weltkreis Verlag, 1982.

Винфрид Шварц. Пробуждение. Из жизни Карла Маркса. 1982.

На обложке книги бородатый молодой человек, который катит на велосипеде по улице какого-то западного города. Какого? Неважно. Такие лица можно встретить в любом уголке Западной Европы. Любопытно другое: в руках у него портрет. А вот бородатое лицо на портрете узнаваемо всегда и везде — это Маркс. Так что же, перед нами новая книга о Марксе?

О Марксе и Энгельсе создано уже множество произведений. Это научные биографии, воспоминания современников и монографии, статьи и диссертации. Опубликованы собрания сочинений Маркса и Энгельса и их переписка, а также переписка с третьими лицами. Все это в целом позволяет проникнуть в сокровищницу великих идей основоположников научного коммунизма. Что же касается художественных произведений о Марксе и Энгельсе, то их существует не так уж много. Однако история вообще и жизнь замечательных людей в частности предоставляют безграничные возможности для создания полноценных, актуальных, интересных для современного читателя художественных произведений. Примером тому могут служить трилогия о Марксе Г. Серебряковой «Прометей» и созданный не так давно телевизионный многосерийный фильм «Карл Маркс. Молодые годы».

И вот теперь — роман Винфрида Шварца «Пробуждение». Известный западногерманский прогрессивный исследователь в области марксоведения, В. Шварц — сотрудник Центра марксистских исследований во Франкфурте-на-Майне. Экономист по профессии, он тщательно изучил «Капитал» и в 1978 г. выпустил книгу, посвященную истории создания этого гениального труда Маркса[1]. Новая книга молодого исследователя представляет собой попытку художественно осмыслить очень важный период в жизни Маркса, с 1842-го по 1849 г., когда произошел коренной поворот в его теоретической и практической деятельности. В эти годы Маркс перешел с позиций идеализма и революционного демократизма на позиции материализма и коммунизма, сознательно встал на сторону пролетариата в его борьбе с буржуазией и вместе с Ф. Энгельсом начал разработку теории революционного преобразования мира. На эти годы приходится первая практическая проверка нового учения в огне революции 1848—1849 гг. Все эти события нашли отражение на страницах романа. Вместе с тем его автор стремился раскрыть личность Маркса через его взаимоотношения с другими людьми: с любимой девушкой, а впоследствии женой, Женни фон Вестфален, самым близким другом и соратником Энгельсом, выдающимся немецким поэтом Гейне и многими другими.

Первая часть романа посвящена жизни Маркса в Кёльне после учебы в университете и началу его сотрудничества в «Рейнской газете». Через некоторое время издатели газеты предлагают ему пост ее редактора. Они хотят прощупать, выяснить его идейные позиции. Но в это время Маркс еще не коммунист. Он горячо спорит с Мозесом Гессом, называет коммунизм иллюзией. В живых диалогах Маркса и Гесса автор романа сумел мастерски показать, что Маркс, сам еще не вставший на позиции коммунизма, уже осознал всю иллюзорность идей утопического коммунизма, сторонником которого был Гесс. Редактор «Рейнской газеты» посещает одну из кёльнских фабрик, где наряду со взрослыми трудится в ужасных условиях большое количество детей. Здесь Маркс узнает, что только низкооплачиваемый детский труд может конкурировать с трудом на механизированных английских фабриках.

Маркс не единственный главный герой романа. На первых же страницах книги

[1] W. Schwarz. Vom „Rohentwurf" zum „Kapital": Die Strukturgeschichte des Marxschen Hauptwerkes. Berlin, 1978.

появляется Петер Кентених. Юный Петер — сын мозельского винодела, который, разорившись, вынужден был бросить родные места и свое дело и перебрался в Кёльн, а затем в Париж, где ему пришлось выполнять самую черную работу. Петер разносит в Кёльне газеты, в частности «Рейнскую газету». Случай сталкивает мальчика с доктором Марксом, молодым редактором газеты, которую он продает. Узнав, что Петер и его родители из мозельского края, Маркс приходит к ним домой, желая узнать «из первоисточника» о бедственном положении мозельских крестьян. Статья на эту тему, опубликованная Марксом в «Рейнской газете», вызвала резкие нападки на редакцию со стороны прусских властей. В это время семья Кентениха, потеряв последнюю надежду на заработок в Кёльне, решает уехать во Францию. С грустью прощается маленький Петер с Марксом. Увидятся ли они еще когда-нибудь? Да, но это произойдет еще очень не скоро. Сначала Петер попадет с родителями в Париж, где, предоставленный сам себе, будет бродить по улицам этого города вместе со знаменитыми парижскими гаменами; затем некоторое время он проработает на фабрике, но, «вытесненный» оттуда машинами, вновь попадет на улицу. После долгих скитаний Петер вернется в Кёльн, станет рабочим, членом Кёльнского рабочего союза. Много новых трудноразрешимых вопросов встанет перед молодым пролетарием, и однажды он отправится за столь необходимыми ему ответами в редакцию «Новой Рейнской газеты». В революционном 1848 году он вновь встретится с Марксом.

А пока, накануне рождества 1842 года, редактор «Рейнской газеты» спешит в Кройцнах на встречу со своей невестой Женни фон Вестфален. Бережно, с глубоким лиризмом рисует автор первую сцену встречи Маркса с Женни и всю их последующую совместную жизнь. Вскоре прусские власти запрещают «Рейнскую газету», и Маркс, многому научившийся за этот год в Кёльне и избавившийся, по его словам, от беспочвенных иллюзий, уезжает в Париж, полный новых творческих замыслов.

Во второй части книги рассказывается о времени парижской эмиграции. В Париже Маркс вступает в непосредственный контакт с французскими рабочими организациями и организациями немецких эмигрантов. Он знакомится с их руководителями, посещает собрания рабочих. Вместе с Арнольдом Руге Маркс издает «Немецко-французский ежегодник». Он часто встречается с Генрихом Гейне, который становится другом семьи Маркса. Гейне читал свои стихи Марксу и его жене, мнение которой он очень высоко ценил. Зачастую Маркс являлся первым редактором произведений Гейне.

Примечательны воспроизведенные в книге диалоги Маркса с Руге, с Бернайсом, с Бёрнштейном, с немецкими рабочими-эмигрантами.

В Париже происходит вторая встреча Маркса и Энгельса, которая и положила начало дружбе двух великих людей.

Но не долго длится пребывание Маркса в Париже. По настоянию Пруссии французские власти высылают Маркса из страны. Пребывание Маркса в Париже сыграло большую роль в становлении его взглядов. Он приехал во Францию, переживая процесс формирования нового мировоззрения. В Париже произошел окончательный переход его на позиции материализма и коммунизма. Уезжая в Брюссель, Маркс уже четко представлял себе, что его основная цель — завершить разработку нового революционного учения и способствовать распространению и пропаганде его в среде пролетариев.

В третьей части книги — Маркс и Энгельс спустя примерно три года. Они организаторы и вдохновители Союза коммунистов, авторы «Манифеста Коммунистической партии». С самого начала революции в Германии Маркс предпринимает шаги к созданию массовой политической организации немецкого пролетариата и изданию революционного печатного органа, каким стала «Новая Рейнская газета». В этой части романа идейным противником, с которым полемизирует Маркс, является Андреас Готшальк, глава Кёльнского рабочего союза. Рядом же с Марксом его друзья — Энгельс, члены редакции «Новой Рейнской газеты». В конце романа мы вновь видим Маркса на пароходе, но теперь навсегда покидающим Кёльн. С грустью перечитывает он последний номер революционной, боевой «Новой Рейнской». Но несмотря на поражение революции, бурные события 1848—1849 гг. практически доказали жизненную силу марксизма. Опыт революционной борьбы этих лет явился основой для великих завоеваний творческой мысли Маркса, приведших к созданию новых бесценных трудов.

Любое произведение искусства всегда должно освещать события или характеры с новой, неожиданной стороны, даже если речь идет о хорошо известных людях или фактах. И здесь огромную роль может сыграть личностное восприятие художника, его видение, воплощенное в созданных им образах. Но наряду с этим необходимы и глубина, и историческая верность в изображении тех или иных событий. Автору романа «Пробуждение» удалось не только правдиво передать различные детали, но и воссоздать подлинные характеры, психологию конкретных исторических лиц, проникнуть в сущность эпохи. Шварц сумел показать Маркса как чрезвычайно сложную, многогранную, яркую личность. Не ставя перед собой задачи подробного анализа личности Маркса-теоретика, разбора его работ, автор мастерски показал разные стороны личности Маркса-революционера. Для создателя романа важно было выбрать из огромного биографического и исторического материала именно те моменты, которые были бы необходимы для выполнения творческого замысла. К сожалению, за рамками повествования остаются некоторые важные события в жизни Маркса: например, несколько месяцев, проведенных в Кройцнахе, и брюссельский период эмиграции, предшествовавший боевой революционной деятельности Маркса в период революции 1848—1849 гг. Однако логика процесса развития личности в целом не нарушена.

Задача художника, обратившегося к истории, отнюдь не состоит в констатации фак-

тов, не сводится к изложению событий, конфликтов, описанию отдельных реальных лиц, партий. Исторический жанр, в котором должна соблюдаться историческая правда, предоставляет писателю и право на художественный вымысел. Писатель может создать вымышленный образ, но этот образ должен быть типичным для того времени и той среды, в которой жили его герои. В. Шварцу в целом удалось соблюсти это требование. Образ Петера Кентениха позволил ему расширить панораму действительности, охваченной романом, а также показать процесс становления классового самосознания молодых рабочих, приводивший их в ряды революционных борцов против тирании буржуазии.

Безусловно, книга В. Шварца представляет собой существенный вклад в художественное осмысление жизни и деятельности основоположника научного коммунизма.

А. РЫБИКОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ НАВСТРЕЧУ СВОЕЙ ТЕНИ

Nicolas Bouvier. Le poisson-scorpion. Vevey, Editions Bertil Ga'land, 1981.

Никола Бувье. Рыба-скорпион. 1981.

На обложке этой книги — изображение скорпиона, помещенного в старинного вида бутыль, аккуратно закупоренную чьей-то рукой. Рисунок как поясняется на обратной стороне титульного листа, принадлежит кисти некоего шевалье де Риффо и датирован 1816 годом. Читая книгу, обнаруживаешь другого скорпиона: уже не in vitro, а живущего себе, так сказать, в свое удовольствие, «вечного», неистребимого и в конечном счете как будто даже насмехающегося над человеком и тщетностью его усилий. Древнее животное, исстари служившее геральдическим знаком (и как знак зодиака зачастую предвещавшее болезнь и смерть), и здесь выполняет функцию символа.

Никола Бувье — швейцарец из Женевы, журналист, проживший ряд лет в различных странах Азии. Его книга о Японии, вышедшая полтора десятка лет назад, принесла ему широкую известность и репутацию «знатока Востока». Повесть «Рыба-скорпион», изданная одновременно в Веве (Швейцария) и в Париже и превознесенная как «в своем роде шедевр» (во Франции она была отмечена «Премией критики» за 1982 год), тоже написана на азиатском материале. На сей раз речь идет о некоем острове с координатами 6° северной широты и 77° восточной долготы — точка, если проверить по карте, расположенная близ берегов Индии, хотя на самом деле никакого острова в этом месте вроде бы не существует.

Издательская аннотация поясняет, что новая книга Бувье «внушена длительным пребыванием» автора на Цейлоне. Если учесть, что автор немало пожил и в Индостане, то можно сказать, что это повесть об Индии в широком смысле слова (то есть о той части Азии, которая в научной литературе именуется индийским культурным ареалом). Стране, что издревле так манила европейцев — то золотом и пряностями, то экзотикой баядерок и «лунных камней», то, наконец (главным образом уже в наше время), «тайной» своих религиозно-философских учений о духе и теле.

Но можно сказать и так, что эта повесть вовсе не об Индии.

Нет, Индия здесь есть, во всяком случае с одного боку, как говорится, она видна. Читатель найдет в книге беглые зарисовки провинциальных нравов, портреты-наброски обитателей захолустного приморского городка. Тут и живописные нищие, и крикливые торговцы, и англизированные «белые воротнички», для которых убогая чайная стала подобием лондонского клуба «для избранных», и всякого рода колдуны, астрологи, факиры и т. д., и буддийские монахи, прячущие в складках своих просторных желтых балахонов все то, что плохо лежит. История о том, как «злой» факир силой некоего «волшебства» швыряет оземь не понравившегося ему иностранца, оставаясь от него на почтительном расстоянии, соседствует с историей индийского юноши из католической семинарии, влюбившегося в дерево и, несмотря на все усилия «специалистов по экзорцизму» (изгнанию бесов), упорствующего в своем сугубо языческом заблуждении (когда дерево назло ему срубили, юноша умер). Автору не откажешь в наблюдательности, в способности видеть вещи с неожиданной стороны, хотя нельзя не заметить и того, что за его иронией нередко ощущается предвзятость.

И все-таки это тот случай, когда путешественник рассказывает не столько о том, что видит, сколько о самом себе, а точнее — о культуре, которую он «представляет».

«Даже широко раскрыв глаза, я прохожу по жизни как слепой»,— говорит один из персонажей повести. То же самое вполне мог бы сказать о себе и ее герой. Казалось бы, вежды его широко отверсты, как оно и подобает человеку, путешествующему, «чтобы учиться у других» (авторские слова). Да, его отличает специфическая зоркость, способность подмечать такие детали, мелкие, но по-своему характерные, какие едва ли попадали в поле зрения иных поколений европейских путешественников, писавших об Индии. Зато не видит он другого, более существенного — смысла. Ни в собственной своей жизни, ни в той, что его окружает. Более того, именно окружающая его здесь жизнь представляется ему некой бездной, куда проваливаются сама идея Будущего, идея Цели. Дорожный курьез — автомобильное шоссе, почему-то неожиданно уходящее в песок («подобно кому-то, решившему, что он уже достаточно выговорился»),— приобретает для него значение глобального символа: это ни много ни мало образ современного мира, будто бы устремившегося в никуда.

«Удалитесь,— писал Р. Киплинг,— в сторону от той хорошо ухоженной дороги, по которой мы движемся, всего лишь на расстояние полета брошенного камня, и мир тотчас же примет вид дикий, странный...»

Киплинг не боялся удаляться в сторону от дороги (иначе не появилась бы его замечательная «Книга джунглей»). Даже миру природы он навязывал свой закон — закон вечной борьбы, поедания слабого сильным, предполагающий, однако, следование некоторым правилам и не исключающий рыцарства в неопределенно широком смысле этого слова. А герой Бувье и страшится «дикости», и в то же время его, очевидно, тянет туда — заглянуть «за грань». Тут именно «влеченье, род недуга». «Знание Востока? — иронизирует он сам над собой.— Я ведь даже еще не знаю, в какую западню я здесь попал и почему не хочу из нее вылезать».

Ясно почему. Зрелище распада таит для героя — скажем прямо: для автора — неизъяснимый соблазн. Распада в самом буквальном смысле. «Все, что оказывается посреди этих декораций, деградирует с устрашающей скоростью. Непрерывная ферментация разлагает формы, создавая другие, еще более преходящие и запутанные; идеи неизбежно претерпевают ту же участь». Память о прошлом как будто растворяется в воздухе; Кант, Гессе, в конце концов даже собственное имя — все уносится невидимой рекой забвения.

Позвольте, да Индия ли это с ее высокой — высочайшей! — культурой и таким постоянством идей и форм, которое тем же европейцам зачастую казалось даже чрезмерным? Нет, конечно, Индия здесь только декорация — поймаем автора на слове. Западные интеллектуалы берут свое там, где они его находят. Пугающе-желанная точка с координатами 6° с. ш. и 77° в. д.— просто символ своего рода «антимира», медленно засасывающего «правильный» мир — назовем его настоящим именем: мир буржуазной цивилизации,— похваляющийся светом своей логики, своего «рацио». Громадная черная тень пугает его, этот «правильный» мир: ему кажется, что она ложится «оттуда», тогда как на самом деле она есть его собственная тень.

И повесть Бувье — путешествие навстречу вот этой своей тени.

Подобно тем американцам, что, отправляясь в дальние страны, берут с собой консервированный воздух своего отечества, наш путешественник дышит в атмосфере распада, которую возит с собой, хотя бы и ненамеренно.

Вот отчего в конце книги торжествует скорпион. И не только он один. Повесть Бувье прямо кишит всякого рода насекомыми и прочими тварями: жуками, пауками, сколопендрами, тараканами, ужами, змеями и т. д. и т. п. Они без конца возятся под потолком каморки, обитаемой героем — и занимающей, к слову сказать, непомерно большое место в повести «об Индии»,— заползают во все щели, роятся возле дома, спариваются друг с другом, истребляют друг друга. Бедного обитателя каморки они гипнотизируют своей возней не хуже факиров. Это уже не просто «равнодушная природа», это природа угрожающая, как бы оспаривающая все достижения человека.

Бувье увлеченно живописует ночное сражение термитов, обретающее под его пером драматизм шекспировских хроник. В то же время драма людей, драма современной истории его не занимают. Он видит вокруг себя лишь декорации, лишь «опустевший театр». Должно быть, режиссера унесла лихорадка, иронически сетует он, а актеры убрались на судах ост-индских компаний, прихватив с собой свои плащи, шпаги и мантильи. Ау, где вы, адмирал Альбукерк или генерал Клайв?[1]

Нет ответа. Остались одни только декорации да еще «фигуранты и машинисты сцены».

Вот так у «современного» (в смысле верности психологии и эстетике модернизма) автора вдруг выдает себя затаенная ностальгия по временам классического колониализма, по той уже далекой эпохе, когда Спектакль истории ставил Запад, а Восток только обеспечивал пышные декорации и поставлял фигурантов и статистов.

Бувье прекрасно знает, что не лихорадка унесла того режиссера, которого ему недостает. Ну а в том, что такая режиссура, такой Спектакль безвозвратно канули в прошлое, действительно никаких сомнений быть не может.

[1] Колонизаторы, завоеватели Индии. Первый — португальский, второй — английский.

Ю. КАГРАМАНОВ

Из месяца в месяц

БАХРЕЙН

«КАВЕРНЫ В ЛЕГКИХ ГОРОДА»

Багдадский журнал «Аль-Анлям» опубликовал рецензию на сборник рассказов бахрейнского писателя Мухаммеда Абд аль-Малика «Каверны в легких города», выпущенный недавно бахрейнским издательством «Дар Аль-Гад».

Автор рецензии, известный иракский писатель Абдуррахман Маджид ар-Рубэйи, отмечает, что литература Бахрейна наибольших успехов достигла в двух жанрах: в поэзии и в коротком рассказе.

Абд аль-Малик, на его взгляд, вносит несомненный вклад в арабскую новеллистику. До книги «Каверны в легких города» Абд аль-Малик издал два сборника: «Мы любим солнце» и «Отрада». Новый сборник включает четырнадцать рассказов.

Как правило, герои аль-Малика — люди незаурядные. Зачастую он придает им некоторые черты мифологических персонажей, героев бахрейнской сказки, в чем сказывается, как полагает рецензент, влияние местного фольклора.

Абд аль-Малика он называет одним из лучших мастеров короткого рассказа, заявивших о себе за последнее время.

БРАЗИЛИЯ

ПРАЗДНИК БАЛЕТА

В Рио-де-Жанейро, как сообщила газета «Гранма», состоялся IV фестиваль балета, в его рамках был организован I латиноамериканский конкурс балета, а также I конгресс балета. Председателем конгресса и жюри конкурса, в которое вошли выдающиеся мастера балета из Аргентины, Бразилии, Кубы, Чили и Венесуэлы, была избрана выдающаяся кубинская балерина Алисия Алонсо.

На конгрессе обсуждалось состояние балета в Латинской Америке, вопросы мастерства, пути развития этого искусства и способы его популяризации.

И конгресс, и конкурс послужили делу объединения латиноамериканских народов. Особо отмечен был вклад международных фестивалей балета в Гаване.

Представители разных стран, участвовавшие в конгрессе, высоко оценили значение творчества Алисии Алонсо в развитии латиноамериканского балета. Конкурс открылся премьерой балета на музыку Шопена. Его автор, бразильский хореограф Ренато Магальяэш, свое произведение посвятил Алисии Алонсо. Приза ее имени на конкурсе удостоилась бразильская балерина Дамиэла Феррейра, а первое место заняла кубинская пара — Ампаро Брито и Ласаро Карреньо.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НОВАЯ КНИГА ОБ АННЕ ПАВЛОВОЙ

«Я знал людей, буквально одержимых искусством Анны Павловой, и до сих пор, через 50 лет после ее смерти, интерес к ее творчеству продолжает волновать сердца и души людей». Этими строками открывается фундаментальное исследование Кита Муни «Анна Павлова. Жизнь и искусство», посвященное памяти великой русской балерины, вышедшее в издательстве «Коллинз». Как отмечает «Санди таймс», автором была проделана огромная и скрупулезная работа не только по сбору фактов творческой биографии великой балерины, воспоминаний современников А. Павловой, но и по отбору сотен ее фотографий. Таким образом, книга являет собой своеобразную фотолетопись творческого пути Анны Павловой, с самых ранних снимков балерины до самых последних — уже тяжелобольной актрисы. Сюда же включены и кадры из единственного фильма «Немая из Портичи», где Анна Павлова пробовала свои силы в кино.

Автор подчеркивает огромное влияние искусства Анны Павловой на развитие балета многих стран мира. Главную цель своей жизни балерина видела в самоотверженном и беспорыстном служении прекрасному. «Красота не терпит дилетантства,— говорила Павлова.— Служить ей — значит посвятить себя ей целиком, без остатка....» За два десятилетия постоянных путешествий по Европе, Дальнему Востоку, Северной и Южной Америке, Австралии и Южной Азии (в общей сложности Павлова побывала в 44 странах, преодолев боле 500 тыс. миль) балерина дала представления для многих миллионов зрителей. Она выступала в столицах и в провинциальных городках, в прославленных театрах Европы и в наспех сколоченных помещениях, приобщая к высокому искусству балета самые различные зрительские аудитории.

Одним из отличительных качеств творчества Анны Павловой, по единодушному мнению ее современников, являлась исключительная одухотворенность ее танца. Кит Муни приводит высказывание известного музыкального критика того времени — Эрнеста Ньюмена, в наиболее лаконичной форме выразившего эту мысль: «Павлова была «танцующей душой», в то время как другие были лишь «танцующей плотью».

Огромные, непосильные нагрузки в течение многих лет подорвали здоровье балерины: Анна Павлова умерла в Гааге в 1931 году. Но ее бессмертное искусство вновь и вновь возрождает образ великой русской балерины, и ярким свидетельством этому является новая книга об Анне Павловой Кита Муни.

Большой популярностью у лондонского зрителя пользуется спектакль «Эдмунд Кин», где роль Кина, знаменитого актера XIX века, исполняет Бен Кингсли, только что сыгравший роль Ганди в одноименном фильме. Пьеса, по которой поставлен спектакль, написана биографом Кина — Реймундом Фицсимансом специально для Бена Кингсли.
На снимке: Бен Кингсли в роли Кина.

(Журнал «Ньюсуик»)

ВЕНГРИЯ

«ПОЭТ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ВСЕМ»

«Поэт, принадлежащий всем», «самый популярный и читаемый из венгерских поэтов», «эталон прекрасного», «поэт из поэтов» — все это выдержки из материалов венгерской печати, посвященных лауреату премии имени Кошута — поэту и литературному переводчику Ш. Вёрешу в связи с его семидесятилетием. Они отражают чувства признания и уважения действительно огромной читательской аудитории. В том числе и венгерской детворы: для многих поколений созданные им стихи стали подлинной школой приобщения к таинствам родного языка, к большой поэзии, к идеалам добра, честности, справедливости. И еще одна грань щедрого дарования писателя — благодаря его превосходным переводам по-венгерски зазвучали многие шедевры мировой поэзии. Непревзойденными считаются его переводы поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», произведений Шевченко, Баратынского, Жуковского, Батюшкова, Державина, Хлебникова.

В Советском Союзе читатели по достоинству оценили мастерство поэта по подборкам его стихов, включенным в сборник «Современная венгерская поэзия» («Прогресс», 1973) и в антологию «Венгерская поэзия. XX век» («Художественная литература», 1982).

За выдающуюся литературную деятельность Ш. Вёреш удостоен государственной награды — ордена Знамени Венгерской Народной Республики.

МОНУМЕНТ В СЕЛЕ ИБРАНЬ

На северо-востоке Венгрии находится одно из самых древних сел Венгрии — Ибрань, ему свыше семиста лет, говорится в очерке Иштвана Ковача на страницах журнала «Уй тюкёр». Село издавна славится своими боевыми и революционными традициями. Жители его принимали участие в национально - освободительной борьбе куруцев под предводительством князя Ракоци в начале XVIII века, в освободительной борьбе 1848—1849 годов. Они были активными участниками передового аграрного движения конца XIX века.

Все село приветствовало провозглашение Венгерской советской республики. Именно здесь произошел один из первых в стране разделов помещичьей земли между крестьянами. Когда же против Венгерской советской республики выступили контрреволюционные отряды Хорти и войска интервентов, население Ибрань с оружием в руках отстаивало свои завоевания.

В период режима Хорти над жителями села учиняли зверские расправы, но сломить их волю не смогли.

В 30-е годы именно в этом селе рождается идея создания сельхозкооперативов, осуществление которой началось вскоре после освобождения. И в 1946 году все село Ибрань стало одним кооперативом.

Нелегок был путь к сегодняшнему благосостоянию. Но, как пишет Иштван Ковач, труд принес свои плоды. Исчезли ветхие каморки с камышовыми крышами, вместо них поднялись добротные дома. Начался процесс индустриализации села.

Сегодняшние молодые, энергичные, образованные руководители кооператива в селе Ибрань помогают осуществлять то, о чем когда-то мечталось крестьянам.

И вот жители села решили на собственные средства воздвигнуть памятник своим предкам, кто на протяжении веков проливал кровь и пот во имя претворения в жизнь свободолюбивых чаяний и надежд. За исполнение памятника взялся известный скульптор Тибор Борбаш, который еще в 1978 году сделал эскиз и в течение многих лет работал над его воплощением.

Монумент установлен на площади Арпада — основателя венгерского государства. Он стал органической частью села, жители гордятся им, постоянно кладут к его подножию цветы.

«Монумент в селе Ибрань,— подчеркивает в заключение очерка Иштван Ковач,— воспринимается как символ преданности прогрессивным и революционным традициям».

ГДР

РАССКАЗЫ ИОАХИМА НОВОТНОГО

В издательстве «Ауфбау» вышел сборник рассказов известного писателя Иоахима Новотного «Яблоки юности» (о Новотном см. «ИЛ», 1969,

На снимке: фрагмент монумента в селе Ибрань.

(Журнал «Уй тюкёр»)

№ 10, 1976, № 9, 1978, № 9, 1979, № 1). В сборнике восемь рассказов. Все они посвящены детям и подросткам. Хронологически охвачен большой период — времена фашизма, первые послевоенные и 70-е годы. В основном действие происходит на родине писателя, в Лаузице. Как и в прежних произведениях, Иоахим Новотный с большой любовью пишет об истории, людях и природе этой своеобразной области на востоке республики, где живут и немцы, и славянская народность сорбы.

«Рассказы как бы объединены общей темой — стремлением к миру, полезному труду на благо общества, которое отличает и старшее и младшее поколение,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Новотный показывает, как его маленькие и юные герои перенимают опыт старших, как они учатся быть стойкими и принципиальными людьми... Как всегда, писатель находит свои сюжеты в обычной, повседневной жизни.

ПУБЛИЦИСТИКА ТОМАСА МАННА

Издательство «Ауфбау» выпустило два первых тома новой серии книг: «Томас Манн. Статьи. Речи. Эссе». Все издание рассчитано на восемь томов, первые два тома охватывают годы 1893—1918. Составитель и комментатор издания — известный исследователь Томаса Манна Гарри Маттер (ему же принадлежит монументальная «Библиография литературы о Томасе Манне», выход которой был отмечен в нашем журнале в 1973 году в № 5.

В восьмитомник будут включены все критико-публицистические работы Томаса Манна, в том числе те, которые до сих пор не включались в собрания сочинений, были затеряны в старых журналах, специальных научных изданиях и т. д. Таким образом раскрывается с новых сторон, или дополняется новыми штрихами, история идейного развития писателя.

Во втором томе публикуются работы Т. Манна, которые до сих пор были известны лишь сравнительно узкому кругу специалистов: «Мысли о войне», «Размышления аполитичного». Это дает возможность яснее, чем прежде, представить себе сложный путь поисков Т. Манна, который в начале первой мировой войны отдал дань националистическим настроениям, а затем, медленно и с трудом, освобождался от них. В финале краткой статьи «Всеобщий мир?», впервые появившейся в декабре 1917 года, Т. Манн выражал пожелание, чтобы представители разных наций Европы — «прекрасный англичанин, утонченный француз, человечный русский и знающий немец» — могли с достоинством и взаимным уважением обмениваться духовными ценностями. Мысль о высокой человечности, как национальной черте русской культуры, проходит через произведения Манна разных лет, она определяет тональность многих страниц «Размышлений аполитичного», где звучат имена Толстого, Достоевского, Гоголя, Гончарова.

Первым печатным выступлением Томаса Манна, специально посвященным русской литературе, была не статья 1921 года «Русская антология», как до сих пор принято было считать, а краткая заметка (публикуемая в первом томе нового издания), посвященная 80-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (1908). Она начинается словами: «Толстой на меня воздействовал, как должна воздействовать на художника фигура неимоверной силы: потряс, ободрил, сделал более требовательным». Вместе с тем, как считает Т. Манн, деятельность Толстого — «исповедника и апостола» — вызывает сомнения. Но, говорит он в заключение, «как бы то ни было, со времени смерти Ибсена в Европе живет лишь один великий. Преклоним колена».

ИНДИЯ

«ДЕРЕВЕНЬКА У МОРЯ»

«Деревенька у моря» — первая книга для детей, написанная Анитой Десаи, лауреатом Национальной премии Индии, автором широко известных романов «Кричи, павлин», «Голоса из города» и «Пожар на горе». В 1982 году «Деревенька у моря» была отмечена премией газеты «Гардиан» ежегодно присуждаемой писателям стран Британского содружества наций за лучшую книгу для детей.

У этой новой книги Аниты Десаи есть подзаголовок: «История индийской семьи».

Семья состоит из двенадцатилетнего мальчика, девочки, старше брата на год, еще двоих совсем маленьких сестричек, болезненной матери и пропойцы отца. Приморская деревня, где они живут, пока не испытала никаких влияний времени, хотя совсем недалеко грохочет громадный индустриальный Бомбей.

Рассказ о мальчике Хари, которого необходимость заботиться о трех сестрах и больной матери рано вытолкнула во взрослую жизнь, отличается безыскусностью и убедительностью.

Семья Хари живет в ужасающей нищете, в нищете даже по индийским понятиям, однако, как отмечает критик Джаганнатх Дубаши в рецензии на «Деревеньку у моря» в журнале «Индиа тудей»: «Если нужен пример описания нищеты без малейшего привкуса слезливости, то это книга Аниты Десаи. Писательница совершила маленькое чудо — книга написана языком столь же правдивым, как жизнь, отраженная в ней».

Хари понимает, что он — единственная надежда семьи. Он попадает в Бомбей. Деревенский мальчишка теряет голову от непонятности большого города. Он внимательно вслушивается в речи на демонстрации, но ничего не понимает. Свет не без добрых людей. Хари знакомится и с Панвалой-часовщиком, который обучает его ремеслу.

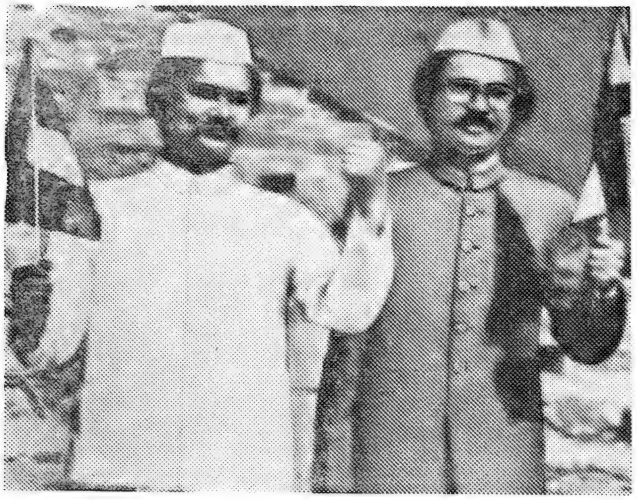
Все оборачивается хорошо в «Деревеньке у моря»: мать Хари отправляют в больницу, отец, перепуганный болезнью жены, даже забывает о бутылке, и семья понемногу оправляется от бед.

Заслуга Аниты Десаи и привлекательность ее книги заключаются в том, отмечает рецензент, что писательница сумела показать, как под влиянием новой жизни перестраивается сознание Хари и его сестры Лилы, как дети вырастают трудолюбивыми, уверенными в силе и мастерстве своих рук. «Анита Десаи рассказывает историю почти сказочную... которая так и дышит надеждами, опасениями, запахами и звуками рыбацкой деревеньки, стоящей на пороге больших перемен. Писательница рассказывает о хижине, о птицах, о мангустах, о спуске на воду новой лодки, о шторме — и ее описания надо считать такой же победой, как победа мальчика и девочки, выстоявших в житейской борьбе».

СПЕКТАКЛЬ ИЗ ТРЕХ ПЬЕС

В современной Индии отмечается небывалый рост интереса к драматургии и театру — своеобразный «театральный бум». По всей стране действуют тысячи и тысячи любительских групп и кружков, которые своим самоотверженным трудом в значительной мере заполняют вакуум, образовавшийся в результате отставания в развитии индийского театра и сценического искусства. В крупных городах страны за последние годы возникло немало и профессиональных коллективов, обративших на себя внимание общественности рядом серьезных спектаклей из классического и современного репертуара. Репертуарный голод подхлестнул развитие драматургии — в индийскую литературу влился отряд талантливых молодых драматургов, создающих свои произведения на различных языках современной Индии, и ныне драматургия по популярности занимает одно из первых мест среди других литературных жанров.

В связи с этим не может не привлечь внимания опуб-



На снимке: сцена из спектакля «Авторитетная комиссия».

(Газета «Джан юг»)

ликованная в газете «Джан юг» рецензия на спектакль, поставленный в индийской столице делийским театральным коллективом «Джагар» («Пробуждение»). Спектакль состоит из трех одноактных пьес Лалит Мохана Тхапалияла: «Кубышка», «Пропавший баран» и «Авторитетная комиссия», которые воспринимаются зрителями как три акта одной комедии. Первые две пьесы драматург создал на своем родном языке — гархвали (этот язык распространен в предгорьях Гималаев на северо-западе современного штата Уттар-Прадеш), последнюю — на современном хинди.

В остросатирической, подчас гротескной форме изображая конкретных носителей социального зла, автор разоблачает и предает осмеянию процветающие в обществе взяточничество, стяжательство, карьеризм, самодурство.

Звучащие в пьесах гархвальские народные мелодии придают спектаклю неповторимый колорит горного края.

В рецензии дается высокая оценка спектаклю делийского драмколлектива. Одну из пьес, «Авторитетную комиссию», поставил сам автор.

ИРАК

«ЛУНА И СТЕНЫ»

Как сообщает журнал «Аль-Фикр», ливийско-тунисское издательство «Ад-Дар аль-Арабийя лиль-Китаб» опубликовало новый роман известного иракского писателя Абдуррахмана Маджида ар-Рубэйи «Луна и стены».

Ар-Рубэйи выступает в литературе с шестидесятых годов. Ему принадлежат восемь сборников рассказов и пять повестей и романов. Творчеству писателя посвящены специальные исследования, а некоторые его произведения переведены на иностранные языки.

В новом романе ар-Рубэйи дана картина современного арабского общества, социальных и политических потрясений, трагедии палестинского народа.

ИТАЛИЯ

«ДНЕВНИЧКИ МАЛЕНЬКОЙ ИТАЛЬЯНКИ»

Документ, как известно, может стать значительным явлением литературы. У многих поколений читателей разных стран навсегда осталось в памяти подлинно художественное свидетельство о самом страшном явлении нашего века — фашизме, созданное 14-летней Анной Франк.

В этом году издательство «Эсседуэ» опубликовало дневники итальянской девочки, выросшей в провинциальном городке предфашистской и фашистской Италии. Имя девочки неизвестно, судьба ее, видимо, не столь трагична, как судьба Анны Франк. И тем не менее публикацию «Дневников маленькой итальянки» (так названа книга) газета «Унита» считает чрезвычайно своевременной. Эти дневники отражают психологию итальянского буржуа, принявшего фашизм, ставшего его опорой, и события далеких лет, к сожалению, повторяющиеся и сегодня, когда поднимают голову неофашисты.

«Безжалостным автопортретом буржуазной семьи провинциального городка», написанным «просто и увлекательно», называет «Дневники маленькой итальянки» рецензент «Унита». Эта книга, пишет он, предупреждает нас об опасности забвения, «отпущения грехов», снисходительности по отношению к явлениям того времени, которые могут обрести силу и сегодня.

Автор — обыкновенная девочка. Она увлекается Гретой Гарбо и шелковыми чулками, подробнейшим образом описывает туалеты своей матери и незамужней тетки, свое «платье с накрахмаленными воланами, похожее на колокол», девочка часто упоминает о боге (семья была набожная). А потом появляется «новый бог» — дуче, девочка описывает, как в школе вывешивают фотографию Муссолини, как дети узнают об этом новоявленном «национальном герое» и о фашизме, созданном, оказывается, для того, «чтобы не было загрязнено трехцветное итальянское знамя и чтобы поезда ходили по расписанию», а «для достижения этих двух целей надо бороться с коммунистами и социалистами».

Страшная эволюция итальянской мелкой буржуазии, пишет рецензент, встает со страниц анонимных «Дневников маленькой итальянки», вышедших в небольшом веронском издательстве.

Горькой аллегорией современного западного общества называет рецензент газеты «Унита» новый фильм «Добрый солдат» Франко Брузати (известного советскому зрителю по фильму «Хлеб и шоколад»). Чтобы прожить в современном мире, не впадая в отчаяние, нужно иметь мужество, утверждает своим фильмом режиссер, рассказав трагическую историю жизни женщины и ее борьбы за человеческое достоинство.

На снимке: Марианджела Мелато, исполнительница роли Марты, которую она, по единодушному мнению критики, сыграла блестяще.

(Газета «Паэзе сера»)

КАНАДА

АНТОЛОГИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАНАДСКОЙ ПОЭЗИИ

Литературно - поэтическая «Оксфордская серия», выходящая уже много лет в г. Оксфорде (США), недавно пополнилась новым изданием англоязычной канадской поэзии, подготовленным известной канадской писательницей и поэтессой Маргарет Этвуд. Первая такая антология появилась еще в 1913 году под редакцией поэта Уилфреда Кэмпбелла. Она включала произведения ста поэтов, но, к сожалению, лишь немногих из них помнят сегодня. Поэтому следующая «Оксфордская книга канадской поэзии», изданная в 1960 году известным канадским поэтом А. Смитом, была почти полностью обновлена. И, видимо, такова уж традиция этой серии: книга Маргарет Этвуд в основном включает произведения современных авторов. Рецензенты видят в этом и достоинство и недостаток издания: «Эта антология не раскрывает нынешнего состояния канадской литературы, а скорее является отражением ее стремительного движения». Действительно, в увесистом томе антологии старшему поэтическому поколению отведены лишь первые 65 страниц. Его представляют Э. Дж. Пратт, А. Смит, старейший канадский поэт Эрл Берни и некоторые другие.

В разделе современной канадской поэзии советскому читателю, пожалуй, наиболее знакомы имена Э. Парди и самой Маргарет Этвуд, поместившей в антологии подборку своих стихотворений. И хотя, как пишет один из критиков, большинству имен в этой части книги еще предстоит пройти проверку временем, тем не менее столь широко представленное творчество поэтической молодежи Канады — бесспорное достоинство антологии.

КУБА

ТЕАТР — ПРОТИВ ФАШИЗМА

Как сообщает газета «Гранма», в Гаване в Дни солидарности с борьбой чилийского народа против фашистского режима Пиночета были показаны два моноспектакля. В одном из них, «Храни свой свет, о родина!», играет чилийская актриса Шенда Роман, в другом, «Сердце на юг»», занята уругвайская артистка Сара Ларокка. В основу обоих спектаклей, с большим успехом шедших на Кубе, в других странах Латинской Америки и в Европе, положены произведения латиноамериканских поэтов, прозаиков и композиторов, в том числе Пабло Неруды, Сесара Ренхифо, Марио Бенедетти. Оба спектакля, как подчеркивает критик газеты «Гранма», пронизаны пафосом протеста против реакционных режимов Чили и Уругвая.

В Оттаве впервые показан спектакль по пьесе А. П. Чехова «Леший». Во многих театрах мира идет более поздняя редакция этой пьесы «Дядя Ваня», но интерес канадского режиссера Джона Вуда именно к первому варианту не случаен. Как отмечают газеты, через весь спектакль проходит мысль о необходимости бережного отношения к природе, к лесу, вложенная в уста главного героя, сельского врача Хрущева. «В 1889 году эта мысль казалась странной,— пишет один из рецензентов,— но это еще раз говорит о дальновидности писателя, и для сегодняшней публики Хрущев со своей идеей спасения леса, пожалуй, даже ближе, чем заменивший его в «Дяде Ване» врач Астров».

На снимке: сцена из спектакля. Леший—Нейл Манро, Елена Андреевна — Ванда Кэннон.

(Газета «Глоб энд мейл»)

ЛИВАН

НОВЫЙ РОМАН ХАЙДАРА ХАЙДАРА

Как сообщает газета «Аль-Иттихад» (г. Хайфа), бейрутское издательство «Дар ат-Танвир» опубликовало роман известного палестинского писателя Хайдара Хайдара «Мир морских водорослей». Действие нового романа происходит в наше время. Его события развертываются в Ливане, Сирии, Алжире и Ираке. Герои романа — участники палестинского Сопротивления.

Х. Хайдар работал над этим произведением в течение десяти лет. До этого им было выпущено несколько сборников рассказов и повестей («Дикое время», «Волнение», «Барс», «Рассказы улетающей чайки»).

ПОЛЬША

ДВА СОБЫТИЯ

Большим событием в культурной жизни Польши явилось издание полного собрания сочинений Станислава Выспяньского, одного из крупнейших польских драматургов, поэта, художника, реформатора театра. Его пьесы «Свадьба», «Освобождение», «Ноябрьская ночь», «Болеслав Смелый» и «Клятва» не сходят со сцен польских театров.

Ему принадлежат проекты витражей и полихромной росписи костела и часовни на Вавеле. Он автор пейзажей, портретов, книжных иллюстраций, эскизов те-

На снимке: Станислав Выспяньский. Автопортрет.

(Журнал «Новые польские книги»)

атральных костюмов. За свою недолгую жизнь (он умер в возрасте тридцати восьми лет) Выспяньский создал произведения, которые вошли в сокровищницу польской культуры, поэтому издание полного собрания его сочинений, которое насчитывает шестнадцать томов,— событие огромной важности.

В 1—10 тома вошли пьесы. 11 том включает поэтическое наследие Выспяньского, в 12-й вошли материалы, связанные со спектаклями, которые Выспяньский готовил или собирался поставить (например, инсценировка «Дзядов» Адама Мицкевича). В 13 томе публикуются исследования о «Гамлете» — своего рода теоретическое руководство художника, посвященное искусству постановки. 14 том — проза, юношеские произведения Выспяньского. 15 том — библиография, 16 том — календарь жизни и творчества писателя.

«Этот календарь,— как пишет рецензент журнала «Новые польские книги», — представляет большой интерес. По письмам, заметкам мы можем день за днем проследить жизнь Выспяньского, его увлечения и источники его вдохновения».

Как сообщает газета «Трибуна люду», в Кракове открылся музей Станислава Выспяньского. Музей расположен на одной из красивейших улочек старого Кракова — Кансничной. Здесь собраны уникальные экспонаты: проекты по полихромной живописи, альбомы для зарисовок, витражи для краковских костелов, неизвестные зарисовки Вавеля.

Специальный отдел посвящен театральному творчеству Выспяньского. Здесь представлены эскизы костюмов, которые он готовил для выдающейся польской актрисы Хелены Моджеевской, рукописи исследований о «Гамлете» и другие ценные материалы.

Именно в Кракове был самый богатый период творчества короткой жизни Станислава Выспяньского.

СИРИЯ

«ПОСЛЫ БЕЗ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ»

По свидетельству арабской прессы, за последние годы резко возросло количество произведений арабской художественной литературы, переводимых на разные языки, как в социалистических, так и капиталистических странах Европы, гораздо больше стало появляться в этих странах и исследований, посвященных арабской культуре и литературе.

Недавно журнал «Аль-Марифа» поместил статью своего лондонского корреспондента Абд ан-Наби Истифа «Послы без верительных грамот», в которой рассказывается о переводах современной арабской литературы в Англии.

В настоящее время, говорится в статье, в Западной Европе выходит несколько серий, посвященных арабской литературе. Журнал «Джорнэл оф арабик литерачер», издающийся в Лейдене (Голландия), выпускает две серии: «Арабские переводы» и «Исследования арабской литературы», издательство «Филиппс» — серию «Введение в изучение арабской литературы», лондонское издательство «Хайнеман» — серию «Арабские авторы».

В своей статье Истиф подробно останавливается на книгах серии «Арабские авторы». Среди отличительных черт этой серии — преимущественный интерес к современной литературе, отражающей нынешнюю арабскую действительность. Главный редактор серии «Арабские авторы» — известный английский востоковед Денис Джонсон-Дэвис (род. 1922). Это крупный специалист по современной и классической арабской литературе, живущий в настоящее время в Египте. (Ему, в частности, принадлежит перевод на английский язык «Хадисов» — жизнеописания пророка Мухаммеда — и ряда произведений современных арабских писателей.)

Всего в серии «Арабские авторы» вышло до настоящего времени 18 книг. Среди них произведения широко известных писателей Египта, Ливана, Судана, борющейся Палестины. Многие из них были опубликованы в журнале «Иностранная литература».

Несмотря на определенные недостатки серии «Арабские авторы» (в ней мало поэтических и драматических произведений, к тому же она не включает произведения стран Магриба, Ирака, Сирии и Аравийского полуострова), ее издатели, по мнению Истифа, заслуживают доброго слова, так как книги этой серии способствуют росту интереса в Европе к арабской литературе. «Ведь литература,— заключает свою статью Истиф,— это посол, который может стучаться в любую дверь, преодолевать все преграды и границы».

США

САТИРИЧЕСКАЯ ФЕЕРИЯ ВИДАЛА

Прозаик, публицист, драматург, общественный деятель... Разнообразие амплуа, в которых выступает Гор Видал, не только становилось предметом удивления, но нередко служило и объектом для насмешек над этим «абсолютно немодным писателем», как он однажды назвал себя. Но эта самооценка, как пишет рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», не совсем точна. Как правило, романы Видала нравятся читателям, и многие из них неоднократно попадали в список «десяти лучших» бестселлеров года. «Абсолютно немодным писателем» Видал является скорее для критиков, которые находят в его романах массу изъянов. Причем недовольство рецензентов вызывает именно то, что привлекает читателей: едкая критика устоев американского общества — «ада, который,— как говорит сам писатель,— мы создали и которому дали название «американский образ жизни».

Этот «ад» стал мишенью остроумной и злой сатиры в романе «Дулут», выпущенном недавно издательством «Рэндом хауз». Интересы Видала как критика «американского образа жизни», пишет рецензент журнала «Тайм», в основном были сосредоточены на двух не соприкасавшихся до сих пор сферах: политической жизни Америки с ее закулисными махинациями (чему были посвящены такие романы, как «Вашингтон. округ Колумбия» («ИЛ», 1968, № 11, 12) и «Бэрр» («ИЛ», 1977, № 7—10), и «мифах» массового сознания и массовой культуры, которые писатель высмеял в «Майре Брекенридже» (1968) и «Майроне» (1974). «Дулут» Видала, по словам рецензента,— это «сатира на все сферы жизни современной Америки».

...Рядом с мексиканской границей, в двадцати милях от тихоокеанского побережья, располагается город Дулут — созданный воображением писателя американский «общегород», некая Америка в миниатюре. Все в Дулуте напоминает сегодняшнюю американскую повседневность. Далеко от фешенебельных кварталов, утопающих в море рекламных огней, жмутся друг к другу угрюмые дома, за стенами которых совершаются какие-то тайные сделки и

проворачиваются сомнительные дела. Еще дальше ютятся жалкие лачужки негритянского гетто и поселения иммигрантов-мексиканцев.

Есть в Дулуте своя телебашня, где томятся тринадцать «отцов города», взятых в качестве заложников местными террористами. Безуспешную борьбу с ними ведет полицейский «Чико» Джонс, «обремененный надеждами, страхами, женой, детьми, коллекцией марок и страстью к немецкому баночному пиву». Есть в городе и свой популярный журнал «Редбук», предназначенный для «романтических женщин-карьеристок»...

Как отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», Видал пародирует в своем романе не только расхожие литературные штампы — от «черного юмора» до эпигонов Хемингуэя и Мейлера,— но и штампы массового сознания: политические пристрастия, литературные интересы, модные научные веяния.

В целом же можно сказать, что Дулут «располагается в пустом пространстве человеческих душ»,— так определяет рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» духовную «географию» созданной Видалом сатирической энциклопедии «американского образа жизни».

На снимке: сцена из спектакля «Что вы тут поете?»

(Газета «Юманите»)

ТУНИС

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ТУНИССКИЙ РОМАН

Журнал «ИБЛА» опубликовал большую статью критика Ж. Фонтена «Пятидесятый тунисский роман», посвященную знаменательному для тунисской литературы событию — выходу в свет пятидесятого по счету произведения этого жанра со времени провозглашения независимости страны в 1956 году. Этой юбилейной книгой стал роман молодого писателя Мустафы аль-Мадаини «Путешествие в кровавое время».

В статье Фонтена приводится полный перечень романов, вышедших в Тунисе с 1956 по 1931 год, рассказывается об исследованиях, посвященных тунисскому роману. Она содержит также биографические сведения об авторе романа «Путешествие в кровавое время» и подробный анализ этого произведения.

Сам аль-Мадаини в интервью, опубликованном в журнале «Аль-Фикр», охарактеризовал свой роман как «путешествие в местную тунисскую среду, имеющую историческое измерение». По словам писателя, образцами для него послужили произведения «такого гиганта арабского романа, как Нагиб Махфуз». Однако, стремясь идти к «мировому» от «местного», аль-Мадаини изобразил в романе прежде всего свой родной город Касерин.

Настоящее и прошлое, реальное и фантастическое в романе тесно переплетаются. По мнению тунисских критиков, в произведении аль-Мадаини чувствуется явное влияние таких современных романистов, как суданец ат-Тайиб Салех, палестинец Джабра Ибрахим Джабра, колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес.

«Путешествие в кровавое время» — первое крупное произведение аль-Мадаини. До этого им публиковались в журналах рассказы и критические статьи.

ФРАНЦИЯ

ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЯМ ПЕСНИ

Именем замечательного поэта, композитора и певца Жоржа Брассанса назван Центр песни, открывшийся недавно в Нантаре. Деятельность Центра многообразна — здесь устраивают концерты молодых исполнителей, работает «школа шансонье»: в специальной студии самодеятельные певцы и композиторы могут записать свои произведения; в этом уникальном учреждении будут проводиться исследования, посвященные истории и современному состоянию искусства песни.

Центр широко распахнул свои двери для авторов, придерживающихся самых различных художественных принципов, что, по мнению организаторов, позволит открыть новые горизонты в песенном творчестве, выявить новые яркие дарования.

Французские любители песни надеются, что создание Центра имени Жоржа Брассанса, вокруг которого соберутся авторы и исполнители со всей страны, будет способствовать возрождению искусства шансонье, пришедшего в упадок из-за засилья англоязычной поп- и рок-музыки.

Недавно драматическая труппа Центра показала свою первую работу. Спектакль «Что это вы тут поете?» — ироническая история французской песни от средних веков до зарождения мюзик-холла.

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН РОЖЕ ДЮ ГАРА

Выход в свет неоконченного романа Роже Мартен дю Гара «Подполковник де Момор» — выдающееся событие в литературной жизни Франции. Газета «Монд» посвятила этому роману целую полосу. Писатель работал над своим последним произведением семнадцать лет — и, не завершив свой труд, оставил большое количество фрагментов. Роман в нынешнем виде представляет собой объемистый том «Библиотеки Плеяды»: он смог увидеть свет лишь благодаря большой текстологической работе, осуществленной известным литературоведом Андре Даспром.

Повествование ведется от первого лица: подполковник

де Момор, достигнув преклонного возраста, вспоминает прожитую жизнь, размышляет над современностью. Первоначально автор был намерен начать роман с событий 1940 года, с момента оккупации Франции гитлеровскими войсками, в последующем варианте романа действие начинается в 1945 году, но автор вспоминает годы своего детства и юности, прослеживая ход исторических событий. Роже Мартен дю Гар ставил перед собой задачу — проанализировать, что привело к поражению Франции во второй мировой войне. Он хотел создать «сверхроман» большого эпического охвата, дающий широкую картину общественной жизни и одновременно глубокий психологический анализ. Ход работы отражен в его письмах и дневнике. Писателю было нелегко завершить свой труд — прежде всего потому, что послевоенная действительность ставила перед ним проблемы, с которыми ему не удавалось справиться. Именно поэтому, по словам критика П. Морелля, роман «Подполковник де Момор» остался незаконченным.

По мнению знатоков творчества Роже Мартен дю Гара, произведение, ставшее теперь известным французским читателям, не уступает «Семье Тибо», по крайней мере в лучших своих частях,— оно отмечено уверенным, зрелым мастерством писателя-реалиста.

«Шестьсот девяносто пять страниц связного повествования дают достоверное, крепко выстроенное свидетельство о французском обществе конца девятнадцатого века — они написаны, как любил писать Роже Мартен дю Гар, в духе Толстого», — говорит П. Морелль. «Изобразительная сила, богатство анализа, присущие Роже Мартен дю Гару, заставляют нас сожалеть, что он не смог довести свое повествование до современности».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВАЯ МОНОГРАФИЯ О ПОЭЗИИ ЛАЦО НОВОМЕСКОГО

Проблема научно-теоретического осмысления многогранного наследия выдающегося словацкого поэта-коммуниста Лацо Новомеского продолжает занимать видное место в литературоведении. Свидетельство тому — выход в свет в братиславском издательстве «Наука» книги «Поэтическое творчество Лацо Новомеского», принадлежащей перу известного специалиста по словацкой поэзии XX века Яна Брезины.

В рецензии, помещенной в шестом номере органа Союза словацких писателей — журнале «Словенски погледы», отмечаются фундаментальность новой монографии, широта охвата исследуемого в ней материала, характерное для автора последовательное стремление «к переходу от так называемого формального разбора поэтических структур к целостному марксистско-диалектическому анализу творчества поэта, умение определить его место и роль в развитии не только литературных, но и общественно-исторических процессов».

Своеобразие авторского подхода особенно ощущается в главе, посвященной поэме «Вилла «Тереза» («ИЛ», № 1, 1965). Пользуясь различными ракурсами, автор, подчеркивается в рецензии, воссоздает облик этого лирико-эпического произведения, открывает в нем, наряду с уже знакомыми нам реалиями, новые грани в тематической, композиционной и стилистической сферах, на которых выстроен внутренний драматизм поэмы. Определяющим признаком метода является принцип марксистского историзма... Завершая главу о «Вилле «Тереза», Брезина приходит к выводу, приложимому ко всему поэтическому творчеству Лацо Новомеского: «Художественные приемы поэзии истинной, подлинной — благодаря дарованию поэта — становятся средством постижения глубинных взаимосвязей между социально-общественной действительностью эпохи и ее революционной перспективой».

«В СПОРАХ И ПРОТИВОБОРСТВАХ»

Под таким названием братиславское издательство «Словенски списовател» выпустило сборник статей Валера Петько, представляющих собой полемически заостренные размышления о перипетиях в развитии литературы, литературоведения и критики в Чехословакии периода пятидесятых—семидесятых годов.

За хронологическую точку отсчета автор в своем исследовании берет февральские события 1948 года, под знаком которых «родилось впоследствии все по-настоящему значительное и в словацкой, и в чешской литературе». Обстоятельно рассматриваются важнейшие тенденции в сложном неоднозначном процессе формирования литературы социалистической ориентации.

Главное достоинство книги в том, что в ней на обширном фактическом материале, в особенности периода кризисной ситуации шестидесятых годов, дан развернутый анализ ревизионистских концепций доморощенных последователей Фишера и Гароди, убедительно подтверждается непреходящая ценность марксистско-ленинских критериев в оценке действительности и художественного творчества. По мнению рецензента журнала «Словенски погледы», работа В. Петько является ценным вкладом в современное литературоведение.

ШВЕЦИЯ

МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА

Кинематографисты из шведского города Гётеборга — Улф Хультберг, Мона Шёстрём и Карл Петерсон — работают вместе не первый год. Два документальных фильма, сделанных ими — о Никарагуа и об Эквадоре,— принесли им широкую известность в стране.

И вот совсем недавно они создали художественный фильм «Мы встретимся снова» о жизни современного Вьетнама, увиденной глазами героинь фильма — двенадцатилетних девочек Хуа и Хуанг.

Цветные кадры, рассказывающие о мирной повседневной жизни северовьетнамской деревни и Ханоя, перемежаются с драматическими черно-белыми кадрами — воспоминаниями о войне, унесшей жизнь отца одной из героинь фильма.

Под выразительную музыку Йена Микаэля Йарре перед глазами зрителей в замедленном темпе возникают потрясающие по своей обличительной силе страницы хроники. Рецензент газеты «Арбетет», называя фильм «Мы встретимся снова» значительным антимилитаристским произведением, так характеризует его: «Это теплый и прекрасный рассказ о дружбе, печали, тревоге и разочаровании. Это также фильм о радости и силе народа, который постоянно вынужден защищать свою жизнь...»

На снимке: кадр из фильма «Мы встретимся снова».

(Газета «Арбетет»)

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
за 1983 год
№ 1—12

ШОЛОХОВ М.— К писателям мира, № 10.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Андре Робер — Не ведая ни дня своего, ни часа... (Рассказ. Перевод с французского Е. Осеневой), № 10.

Аргета Манлио — День из ее жизни (Повесть. Перевод с испанского Анатолия Минина), № 3.

Ашур Мулуд — Камень предков (Рассказ. Перевод с французского Н. Световидовой), № 9.

Баргум Юхан — Темная комната (Роман. Перевод с шведского Ирины Новицкой) № 12.

Баррера Вальверде Альфонсо — Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки (Роман. Перевод с испанского Л. Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича), № 12.

Бернхард Томас — Подвал (Повесть. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой), № 11.

Билинский Вацлав — Конец каникулам (Роман. Перевод с польского М. Игнатова и В. Хорева), № 3, 4.

Бобровский Иоганнес — Рассказы (Вступление и перевод с немецкого Э. Львовой), № 12.

Буржад Пьер — Мир снов (Рассказ. Перевод с французского Льва Токарева), № 10.

Вальзер Мартин — На полном скаку (Повесть. Перевод с немецкого и послесловие А. Карельского), № 8.

Веля Николае — Рассказы (Перевод с румынского М. Кожевниковой и Ю. Кожевникова), № 1.

Ворцель Генрик — Рассказы (Перевод с польского К. Старосельской), № 10.

аль-Гитани Гамаль — Отель (Рассказ. Перевод с арабского А. Кирпиченко), № 9.

Грасс Гюнтер — Встреча в Тельгте (Повесть. Вступление и перевод с немецкого Ю. Архипова), № 5.

Давидков Иван — Рифы далеких звезд (Роман. Перевод с болгарского М. Михелевич. Предисловие Льва Озерова), № 6.

Дери Тибор — Наслоения дней (Фрагменты книги. Перевод с венгерского Ю. Гусева), № 9.

Кавалец Юлиан — Большой праздник на стройке (Рассказ. Перевод с польского В. Селивановой), № 9

Коларова Яромира — Вода! (Главы из романа. Перевод с чешского В. Андриянова и Н. Зимяниной), № 2.

Леклезио Ж. М. Г. — Орламонд (Рассказ. Перевод с французского В. Жуковой), № 10.

Лемидис Клеман — Андалусец (Рассказ. Перевод с французского Марии Зониной), № 10.

Мванги Меджа — Тараканий танец (Главы из романа. Перевод с английского В. Рамзеса. Послесловие Георгия Анджапаридзе), № 4.

Мехтель Ангелика — Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой (Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой. Послесловие Нины Литвинец), № 1.

Монтале Эудженио — Из книги «Динарская бабочка» (Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича), № 2.

Надо Ален — Смерть в подземном гараже (Рассказ. Перевод с французского А. Сумбатяна), № 10.

Несин Азиз — Рассказы (Перевод с турецкого В. Феоновой и В. Джалавяна), № 9.

Оутс Джойс Кэрол — Священный брак (Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Жукова). № 9.

Оянен Симо — На небо — с гарантией (Перевод с финского Ю. Воронина. Послесловие Г. Гулиа), № 10.

Паркер Гордон — Омут (Роман. Перевод с английского В. Ашкенази и С. Майзельс. Послесловие Георгия Анджапаридзе), № 11, 12.

Прист Кристофер — Опрокинутый мир (Фантастический роман. Перевод с английского), № 8.

РАССКАЗЫ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 9.

РАССКАЗЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (По страницам журнала «Эроп»), № 10.

ар-Рахеб Хани — Легенда о странствующем арабе (Перевод с арабского Т. Кузьминой), № 9.

Салих ат-Тайиб — Свадьба Зейна (Повесть. Перевод с арабского И. Ермакова), № 1.

Стефан Нелли — Человек, который разучился читать (Рассказ. Перевод с французского А. Сумбатяна), № 10.

Сюй Дишань — Прозаические миниатюры (К 90-летию со дня рождения писателя. Перевод с китайского и вступление В. Горелова), № 8.

Фехер Клара — Желтая лихорадка (Повесть. Перевод с венгерского Геннадия Лейбутина), № 11.

Франса Жуниор Освалдо — Бразилец Жорже (Повесть. Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 7.

Холден Урсула — Узы денег (Роман. Перевод с английского и вступление К. Чугунова), № 2.

Шолян Антун — Рассказы (Перевод с хорватскосербского Т. Поповой, Т. Вирты), № 7.

Шоу Ирвин — Нищий, вор (Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой и И. Якушкиной), № 5—7.

СТИХИ

Аухьер Анхель — Жажда во время дождя и др. стихи (Перевод с испанского Людмилы Щипахиной), № 10.

Брассанс Жорж — Великий Пан и др. стихи (Вступление Булата Окуджавы. Перевод с французского А. Кушнера, Б. Хлебникова и Н. Якимова Составитель Ю. Здоровов), № 7.

Вихра Индржих — Моя аппассионата (Перевод с чешского и вступление Олега Малевича), № 11.

Гидаш Антал — Лирика (Переводы с венгерского Н. Горской, Давида Самойлова, Маргариты Алигер, Е. Городневой. Публикация и редакция стихотворных переводов Агнессы Кун), № 1.

Грасс Гюнтер — Аннабел Ли и др. стихи (Вступление Андрея Вознесенского. Перевод с немецкого Андрея Вознесенского и Б. Хлебникова), № 10.

Дервиш Махмуд, Бсису Муин — Письмо израильскому солдату (Перевод с арабского Риммы Казаковой), № 8.

Джудичи Джованни — Пять стихотворений из цикла «Толедо» (Перевод с итальянского Евгения Солоновича), № 5.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ ИНДЕЙЦЕВ США. Скотт Момадей, Саймон Ортис, Джеймс Уэлч, Дуэйн Ниатум, Ланс Хенсон (Перевод с английского Геннадия Русакова), № 5.

ИЗ НОРВЕЖСКОЙ ПОЭЗИИ. Улав Х. Хауге, Ханс Бёрли, Халвор И. Сандсдален (Вступление Л. Горлиной. Перевод с норвежского Ю. Вронского, И. Бочкаревой, Н. Киямовой), № 6.

Кабрал Вашку — Короткая сказка и др. стихи (Перевод с португальского и вступление Владимира Резниченко), № 2.

Лану Арман — Стихи разных лет (Перевод с французского и вступление М. Кудинова), № 6.

Методиев Димитр — Песня о генеральной линии (Перевод с болгарского Роберта Рождественского), № 9.

Уолкотт Дерек — Названья и др. стихи (Перевод с английского Андрея Сергеева), № 3.

Хабиб Асадулла — Прощание и др. стихи (Перевод с языка дари и вступление Андрея Дементьева), № 9.

Хьюз Тед — Новые стихи (Перевод с английского), № 4.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Хайнесен Вильям — Башня на Краю Света (Поэтическая повесть-мозаика о младенческой младости. Перевод с датского Т. Величко. Вступление Л. О.), № 3, 4.

Яноух Густав — Разговоры с Кафкой (Вступление, перевод с немецкого и примечания Е. Кацевой), № 5.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вальехо Сесар — Ученье, скрытое за странными стихами (Вступление А. Гелескула. Перевод с испанского Н. Малиновской и А. Гелескула), № 8.

Джойс Джеймс — Лирика (Перевод с английского Г. Кружкова и А. Ливерганта. Предисловие Е. Гениевой), № 2.

Кавафис Константинос — Стихи (Перевод с греческого Юнны Мориц, С. Ильинской, Евгения Солоновича. Вступление С. Ильинской), № 12.

Музиль Роберт — Человек без свойств (Отрывок из романа. Перевод с немецкого и вступление С. Апта), № 9.

Надь Лайош — Рассказы (К 100-летию со дня рождения. Вступление В. Середы. Перевод с венгерского В. Середы и Ю. Гусева), № 5.

СТРОКИ ЛЮБВИ И ПЕЧАЛИ (Поэтессы Китая X—XIX вв. Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова), № 3.

ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод с китайского и комментарий Л. Эйдлина), № 11.

КРИТИКА

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР СЕГОДНЯ, № 4.

Анастасьев Н. — Посторонние и причастные (Американская литературная критика сегодня), № 8.

Вольпе М.— Весной расцветает мэскэль... (Заметки о некоторых тенденциях современной литературы Эфиопии), № 6.

Давыдов Ю.— Трагедия позднего повзросления, № 1.

Дашкевич Юрий — На улице Эмпедрадо, в Старой Гаване, № 4.

Затонский Д.— Заметки на полях статьи Дьердя Шебештьена, № 10.

Зорина И.—Общий язык и язык общения (Советско-американский писательский диалог в Киеве и психология времени), № 6.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА, № 3.

Кирпиченко В.— Поиски своего лица, № 9.

Мамонтов С.— Осуществиться в других и с другими..., № 4.

«МОЛОДЕЖНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 60-х И ЕЕ СЕГОДНЯШНИЕ РОВЕСНИКИ. «МОЛОДЕЖНЫЙ РОМАН» 70—80-х ГОДОВ НА ЗАПАДЕ. Эволюция и перспективы (Беседа в редакции), № 1.

Молчанов Владимир — Шпиономания на книжном рынке, № 3.

Мулярчик Александр — Вызов восьмидесятых (О некоторых тенденциях современной литературы США), № 12.

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ ЕГИПТА И ИНДИИ, № 9.

Оскоцкий В.— На рубеже веков (К вопросу о судьбах «малых литератур»), № 7.

Петриковская А.— Говорит абориген, № 2.

Прозорова Н. — Театр надежды и отчаяния (Североирландская политическая драма 70-х годов), № 11.

Ряузова Е.— «Роль литературы в том и состоит, чтобы ставить проблемы» (Заметки об ангольской литературе последних лет), № 5.

Салганик М.— Алогизм повседневности, № 9.

Скороденко В.— «Бессмертье смертных...» (Заметки о поэзии Теда Хьюза), № 4.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, № 1, 3, 10.

Степанян Е., Степанян К.— Робинзонады одинокого сознания, № 10.

Тимм Уве: «Литература как фрагмент действительности — вот мой способ участия в дискуссиях нашего времени» (Интервью еженедельнику «Зоннтаг» (ГДР). Перевод с немецкого Н. Л.), № 1.

ХОЖДЕНИЯ В СТРАНЫ И ВЕКА (Обсуждаем проблемы издания «Литературных памятников»), № 3.

Шебештьен Дьердь — Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона (Перевод с немецкого С. Рожновского), № 10.

Шерлаимова С.— Чешская поэзия на пороге восьмидесятых годов, № 3.

Яцковская К. — Останется песня на свете... (Заметки о монгольской поэзии 80-х годов), № 8.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Казинс Норман — Право выбора (Фрагменты книги. Перевод с английского Ф. Лурье и Н. Киямовой. Вступление Николая Федоренко), № 9.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ильинский Михаил — Нгуен Туан: «Писатель — вечный путник», № 7.
Федоренко Николай — Карло Гольдони: наследие и современность (К итогам московского международного симпозиума), № 11.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Белов Сергей — Ирвин Шоу: профессия — беллетрист, № 6.
Дашкевич Юрий — Мигель Отеро Сильва: певец в борьбе. № 10.
Затонский Д.— Томас Бернхард: мир рассказываемый, замкнутый, смещенный, № 11.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

КИПЛИНГ У ТВЕНА (Перевод с английского и вступление М. Тугушевой). № 8.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Эйдлин Л.— Поэзия Ай Цина и ее перевод, № 2.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

НАМ ПИШЕТ КАРТАР СИНГ ДУГГАЛ (Перевод с английского Е. Мирской и М. Салганик). № 7.
Оррильо Уинстон — Книги борьбы (Слово к советскому читателю), № 5.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

УРОКИ ВЕЛИКОГО РОМАНИСТА (К 200-летию со дня рождения Стендаля). № 2.

Тимашева О. — Философ, лирик, № 2.
Каграманов Ю. — В поисках нравственного идеала, № 2.
Ландор М. — Присутствие Тургенева, № 9.

ПРАВО ЖИТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ (К 90-летию Владимира Маяковского). № 7
Шерешевская М. — Из писем Генри Джеймса (К 165-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева), № 12.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Попова Н.— Питер Устинов, его роли и книги, № 2.

СЕМНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ РОБЕРУ САБАТЬЕ (Беседу вела Н. Попова). № 7.
Трошин А.— После «Мефистофеля» (Беседа с венгерским кинорежиссером Иштваном Сабо), № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Беседа с Павлом Вежиновым (Перевод с болгарского М. Тарасовой). № 7.

Васильева Л.— Петер Сёке: «Существовала ли музыка до возникновения жизни на земле?». № 9.
Генниева Е.—Что такое английская литература?, № 5.
Голенпольский Т. — Кино, искусство делать деньги, политика. № 6.
Добровицкая Г.— Роман о войне без победителей, № 6.
Замойский Л.—«Каменщики» империализма, № 3.
Зверев А. — Чувство истории, № 12.
Иванов В.— Быть или не быть канадскому кино?, № 5.
Коробкина Г.— Там, где Камоэнс умер от голода..., № 1.
Михайлов А.— Диалог двух культур, № 7.
Мяло К.— 1982: французы и музыка № 2.
Нгуен Ван Бонг — Сражающиеся перья вьетнамских писателей, № 6.
Парникель Б.— Недочитанный доклад Прамудьи Ананты Тура, № 11.
Переверзев Л. — Экологический джаз: призыв к миру в трехсотлетней войне, № 9.
Ротенберг Т.— Кинг-Конг, вооруженный ракетами, № 11.
Салганик М.— Джеймс Бонд, царь обезьян, № 5.
Токарев Лев — Допустить нельзя! (Размышления над страницами журнала «Кэнзэн литтерэр»), № 4.
ФАНТАСТЫ И ФАНТАСТИКА (Беседа с болгарским писателем Любеном Диловым. Перевод с болгарского М. Ярославской), № 8.

ПУБЛИЦИСТИКА

Анастасьев Н.— Прямая речь (Заметки на полях четырех книг). № 11.
Баталов Э.— Многоэтажная Америка. № 9.
ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ ЖИЗНЬ. Говорят писатели мира (Конспект в трех частях с примечаниями нашего специального корреспондента Евгении Стояновской). № 5.
Грин Грэм — «J'ACCUSE». Теневая сторона Ниццы (Перевод с английского Д. Аграчева. Предисловие: Из итальянской газеты «Экспрессо». Послесловие Александра Сабова), № 7.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, № 6.
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ, № 1

Зукерман Солли — Ядерные проблемы: реальность и иллюзии (Перевод с английского О. Юрьева), № 10.
Кабесас Омар — Уходя в горы... (Перевод с испанского Е. Мирской Послесловие Владимира Весенского), № 11.
Каграманов Ю.— Европа и «американизм», № 4
Кайко Такэси — Токио с близкого расстояния (Из очерков разных лет. Перевод с японского Б. Раскина), № 4.
Коул Лестер — Голливудский красный (По страницам книги. Перевод с английского И. Гуровой. Послесловие Майка Дэвидова), № 9.
Линн Джонатан, Джей Энтони — Да, министр (Перевод с английского И. Гуровой. Вступление О. Васильева). № 8.
Малышев В.— Когда с цепи спускают чудовищ..., № 6.
ПИСАТЕЛИ МИРА ОТВЕЧАЮТ НА ОБРАЩЕНИЕ МИХАИЛА ШОЛОХОВА, № 12.

Плахов Андрей — В зеркале западного экрана (Заметки с Московского международного кинофестиваля), № 12.
Федоренко Н.— Море и берега № 1.
Шахназаров Г.— Антиутопия и жизнь. № 2.
Шахназаров Г.— Пусть никогда не наступит «ядерная полночь», № 7.

Шютт Петер: по страницам двух книг — «Мавр сделал свое дело...» (Перевод с немецкого М. Сергеева). Америка: маршрутами не для туристов (Перевод с немецкого Э. Венгеровой), № 3.
Эрдинч Фахри — Назым в моей жизни (Главы из книги. Вступление и перевод с турецкого И. Стеблевой), № 6.
Эренбург Илья — Франция в сердце (Из неопубликованных и забытых статей и выступлений. Публикация и комментарии В. Попова и Б. Фрезинского), № 10.
Ярцев Юрий — Проповеди и отповеди, № 10.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Ндади Винья — Разрывая контракт... (Перевод с английского Ю. Горбунова. Предисловие Аполлона Давидсона), № 9.
аль-Малех Саади — Бейрутский дневник (Перевод с арабского Е. Стефановой), № 2.

АНТИРУБРИКА

Барамсай Жаргалын — Жду ответа... Сила воображения (Рассказы. Перевод с монгольского Лидии Скородумовой), № 9.
Бост — Сценарий (Рассказ. Перевод с греческого Евгения Колесова), № 5.
Брэдбери Рэй — Чепушинка (Рассказ. Перевод с английского Ростислава Рыбкина), № 7.
Буль Пьер — Дьявольское оружие (Рассказ. Перевод с французского Юрия Денисова), № 5.
Бэиешу Ион — Юморески (Перевод с румынского Яна Ириньша), № 8.
Гольдони Лука — «Сошлись на меня» и др. рассказы (Перевод с итальянского Екатерины Бочарниковой), № 2.
Дойл Артур Конан — Задира из Броукас-Корта (Рассказ. Перевод с английского Ростислава Рыбкина), № 10.
Драйер Стэн — Покорение монумента Вашингтону (Рассказ. Перевод с английского Михаила Загота), № 1.
Ландольфи Томмазо — Смех. Аллегория (Рассказы. Перевод с итальянского Евгения Солоновича), № 11.
Леви Ньюман — Волшебник крестный (Рассказ. Перевод с английского Евгении Шварц), № 10.
Леннон Джон — Миниатюры (Перевод с английского Владимира Бошняка и Марка Стефанского), № 12.
Маршалл Алан — Австралийские чудаки и др. рассказы (Перевод с английского Лии Завьяловой), № 6.
Свифт Джонатан — «...Кого свирепый бог огнем поэзии обжег» (Перевод с английского Альфреда Солянова), № 1.
Станилов Васил — Единодушие и др. рассказы (Перевод с болгарского Евгении Ризкиной), № 1.
Твен Марк — История Мэйми Грант, девочки-миссионера и др. рассказы (Перевод с английского Людмилы Биндеман), № 4.
Уильямс Теннесси — Пространство потрогать рукой (Стихи. Перевод с английского Елены Печерской), № 9.
Честертон Г. К. — Песня против Бакалейщиков и др. стихи (Перевод с английского Марины Бородицкой), № 11.
Эллин Стэнли — Вера Аарона Менефи (Рассказ. Перевод с английского Людмилы Биндеман), № 3.

НАШИ ГОСТИ

Брук М. — Гор Видал (США), № 4.
Булгакова Н. — Сильвано Лора и Хосе Алькантара Альмансар (Доминиканская Республика), № 5.
Ротенберг Т. — Тонино Гуэрра (Италия), № 2.
Фадеев С. — Миклош Хубаи, Дюла Фекете, Андраш Фодор (Венгрия), № 2.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Нгуен Туан — Улицы Фая, № 7.
Полькаров В. — Наследие Рафаэля и русская культура, № 8.
Соколов М. — Встречи с югославской живописью, № 11.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Алякринский Олег — Путешествие в поэтическую Канаду (Из современной канадской поэзии), № 2.
Архипов Ю. — Смутная весна над Рейном (Самолет над домом. Рассказы писателей ФРГ о молодежи), № 1.
Архипов Ю. — На грани двух миров (Ганс Эрих Носсак. Избранное. Серия «Мастера современной прозы»), № 12.
Башинджагян Нателла — В зеркале общности и своеобразия (Русская и польская литературы конца XIX — начала XX века), № 1.
Белов Сергей — Истина простая и пугающая (Андре Бринк. Слухи о дожде. Сухой белый сезон. Романы), № 4.
Голос, поднятый против апартеида (Андре Бринк отвечает на вопросы Шарля-Филиппа Дюлака), № 4.
Делюсин Л. — «Во все времена и на всей земле...» (Восток—Запад. Исследования. Переводы. Публикации), № 9.
Е. Г. — Уильям Купер или Гарри Хофф? (Сцены провинциальной жизни. Не один ты), № 7.
Зверев А. — Часы на площади (Роберт Пенн Уоррен. Потоп), № 11.
Каграманов Ю. — «Верю в таинственную власть слов» (Леонардо Шаша. Винного цвета море. Романы, повести, рассказы), № 8.
Климовский Вадим — Трагический бурлеск Винцента Шикулы (Винцент Шикула. Мастера. Герань. Вильма. Трилогия), № 2.
Климовский Вадим — Четверо под зеленой обложкой (Современная венгерская проза), № 8.
Купер Уильям — «Говорить правду, смеясь...», № 7.
Курбатов Валентин — Измерение неизмеримого (Современные болгарские повести), № 7.
Курбатов Валентин — Пробуждение (Жозе Сарамаго. Поднявшиеся с земли), № 11.
Левин Григорий — Поэзия всенародного братства (Собратья. Стихи зарубежных поэтов в переводе Евгения Винокурова. Евг. Винокуров. Из поэзии Востока. Избранные переводы. Евг. Винокуров. Многоголосье. Книга переводов), № 6.
Николаевская А. — «Хочу я веровать добру» (Лермонтовская энциклопедия), № 10.

Парнов Е.— Девочка с золотой ветвью (Цвет надежд — зеленый. Сборник научно-фантастических произведений), № 3.
Попов И. — Древо американской поэзии (Поэзия США), № 12.
Потапова Вера — Звуки и краски (Жасминовая песнь. Из тамильской поэзии эпохи Сангама (III — IV вв.), № 9.
Пронин Владислав — Обстоятельства времени (Эрик Нойч. В поисках Гатта), № 10.
Скороденко В.— Открытие мира (Джон Рональд Руэл Толкиен. Хранители: летопись первая из эпопеи «Властелин колец»), № 5.
Солянов А. — «Принцип неопределенности» Зигфрида Ленца (Зигфрид Ленц. Эйнштейн пересекает Эльбу близ Гамбурга. Рассказы), № 8.
Турбин В.— Одиночество (Современная французская новелла), № 4.
Урнов Д.— Основа народного сознания (Верхом на урагане. Из американского фольклора), № 1.
Урнов Д.— Литературная карта США. (Проблемы становления американской литературы. А. Мулярчик. Послевоенные американские романисты), № 6.
Фоняков Илья — Звон осенних цикад (Осенние цикады. Из японской лирики позднего средневековья), № 3.
Фоняков Илья — Свидетельствует поэзия... (Современная вьетнамская поэзия. Библиотека вьетнамской литературы. Стихи молодых поэтов Вьетнама. Библиотека вьетнамской литературы), № 9.
Шагаль В. — Воспоминания о романтизме (Арабская романтическая проза XIX — XX веков). № 11.
Яцковская К.— Новая книга о литературе Монголии (Лодонгийн Тудэв. Национальное и интернациональное в монгольской литературе), № 5.

Издано за рубежом

Анастасьев Н.— В поисках цельности, № 10.
Барсова И., Ошеров С. — Портрет художника (Бониш Ференц. Жизнь Белы Бартока в фотографиях и документах), № 3.
Белоусов Роман — Травениада продолжается (Б. Травен. Собрание сочинений в отдельных томах. Б. Травен — Рет Марут. Ранние произведения), № 8.
Борев Юрий — Актуальные проблемы теории литературы (Пантелей Зарев. Теория литературы), № 10.
Боске Ален — Что читают сегодня во Франции, № 5.
Бэр Иоаким Т.— Что такое американский Юг? (Рассказы о сегодняшнем Юге), № 2.
Бэр Иоаким Т.— Тоска по дому (Энн Тайлер. Обед в ресторане «Тоска по дому»), № 10.
Гульга Арс.— В творческой лаборатории писателя (Петер Хандке. История карандаша), № 7.
Зверев А.— Что читают сегодня в Америке, № 4.
Злобина Л.— «Страницы не написанные, а записанные...» (Робер Матто. Слова и лица. Сказки и портреты кантона Эстри), № 1.
Злобин Г.— Бэббит образца 1980 года (Джон Апдайк. Кролик разбогател), № 5.
Зонина Л.— «Детство» Натали Саррот (Натали Саррот. Детство), № 11.
Иорданский В.— В трудном поиске истоков (Ксавье Орвиль. Человек с семью именами и мелочи), № 9.
Каграманов Ю. — Путешествие навстречу своей тени (Никола Бувье. Рыба-скорпион), № 12.
Левидова И.— Кто же такой А. Н. Уилсон? (А. Н. Уилсон. Кто же такой был Освальд Фиш?), № 6.
Литвинец Н.— Новая встреча со Стефаном Цвейгом (Стефан Цвейг. Угар перевоплощения. Роман из наследия), № 6.
Матяш Н.— Книга, проникнутая добротой (Хесус Торбадо. Кит), № 8.
Машкова А. — Словацкая хроника Баллека (Ладислав Баллек. Акации. Вторая книга о Паланке), № 7.
Молчанов В. — Демонстрация монстров (Чудовище. Обозрение гуманитарных наук), № 8.
Пронин Владислав — Профилактика от равнодушия (Адольф Мушг. Тело и жизнь), № 3.
Разговоров Н.— У доски без мела (Марта Б.-Ог. Это было в воскресенье. Социальный квебекский роман), № 5.
Раттауз Г.— «Трепет жизни молодой...» (Антология 1980 года. Новые стихи. Новые имена), № 1.
Рыбикова А. — Новый роман о Марксе (Винфрид Шварц. Пробуждение. Из жизни Карла Маркса), № 12.
Селезнев А.— Современный китайский рассказ (Сборник лучших китайских рассказов, удостоенных премии за 1980 год), № 11.
Степанов Л.—С верой в будущее (Ат-Тахир Ваттар. Свадьба мула. Ат-Тахир Ваттар. Любовь и смерть в смутное время), № 9.
Федоренко Н.— Тропы неизведанного (Р. Добру. Послания с солнца), № 10.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ, № 2, 5, 8, 11.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ, № 7.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1 —12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

Авторы этого номера

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ — JOHANNES BOBROWSKI (1917—1965)

Немецкий писатель — поэт, прозаик, эссеист, переводчик (ГДР).
В 1954 г. в журнале «Зинн унд форм» появились его первые стихи. В шестидесятые годы вышли сборники стихов «Сарматское время» («Sarmatische Zeit», 1961), «Реки страны теней» («Schattenland Ströme», 1962), «Признаки грозы» («Wetterzeichen», 1967). Перу И. Бобровского принадлежат романы «Мельница Левина» («Levins Mühle», 1964), «Литовские клавиры» («Litauische Claviere», 1966; напечатан в «ИЛ», 1969, № 4), рассказы, эссе, статьи, переводы. В «Иностранной литературе» печатались подборки его стихов (1968, № 5, 1970, № 8). Творчество И. Бобровского отмечено литературными премиями: имени Генриха Манна, международной имени Шарля Вийона, австрийской и швейцарской премиями.
Публикуемые рассказы взяты из сборников «Бёлендорф и праздник мышей» («Böehlendorff und Mäusefest», Berlin, Union Verlag, 1966), «Предупреждение» («Der Mahner», Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1968).

ЮХАН БАРГУМ — JOHAN BARGUM (род. в 1943 г.)

Финский писатель и драматург, пишущий на шведском языке. Окончил университет в Хельсинки. Автор романов «Пятый адвент» («Femte advent», 1967), «Три, два, один» («Tre två ett», 1968), «Финская рулетка» («Finsk rulett», 1972), «Частный детектив» («Den privata detektiven», 1980), «Папина дочка» («Pappas flicka», 1982), сборника новелл «Черно-белое» («Svart-vih», 1965) и ряда пьес для театра и телевидения, написанных в соавторстве с другими драматургами.
Роман «Темная комната» был издан в Финляндии в 1977 г. («Mörkrum». Lovisa, Söderström & C:o, 1977).
По этому роману в Швеции в 1982 г. поставлен художественный фильм «Дом Кристоффера».

НОВИЦКАЯ ИРИНА ЯНОВНА

Советский журналист и переводчик. В периодической печати публиковались ее очерки и рецензии. Переводила с шведского сказки и книги для детей. Роман Ю. Баргума «Темная комната»— ее первая переводческая работа в жанре романа.

АЛЬФОНСО БАРРЕРА ВАЛЬВЕРДЕ — ALFONSO BARRERA VALVERDE (род. в 1930 г.)

Эквадорский писатель — поэт, прозаик, литературовед. Получил образование в Центральном университете Кито и в Гарварде. По профессии юрист. В 1950 г., будучи студентом, дебютировал в поэзии. Автор ряда поэтических сборников, в том числе «Широта всех» («Latitud unánime»), «Свидетельство» («Testimonio»), «Из родных мест и с пути» («Del solar y del tránsito»), «Тайное время» («Tiempo secreto»). Его первый роман «Две смерти в жизни» («Dos muertes en una vida») появился в 1971 г.
Мы знакомим читателей с творчеством Барреры Вальверде, публикуя его роман «Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки» («Heredarás un mar que no conoces y lenguas que no sabes». Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1980).

НОВИКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Советский переводчик, искусствовед. В ее переводе публиковались произведения латиноамериканских писателей Хуана Рульфо (Мексика), Доры Алонсо (Куба), в «Иностранной литературе»—романы колумбийского писателя Альфонсо Лопеса Микельсена «Избранные» (1976, № 10), перуанского— Марио Варгоса Льосы «Тетушка Хулия и писака» (1979, № 11—12), повесть колумбийского писателя Г. Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» (1981, № 12) и др.

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС (1863—1933)

Греческий поэт. При жизни вышли два его поэтических сборника «Стихотворения»

(1904, 1910). После смерти поэта, в 1935 г., был издан так называемый канонический свод, то есть 154 стихотворения, которые в разное время он разрешал публиковать. Том «Непубликовавшиеся стихотворения», составленный по архивным материалам, увидел свет в 1968 году.
«Иностранная литература» познакомила читателей с поэзией Кавафиса, напечатав подборку его стихов (1967, № 8).
Предлагаемые стихи взяты из сборника «Кавафис К. П. Стихотворения» (Афины, 1958).

МУЛЯРЧИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1938 г.)

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Джона Стейнбека» (1963), «Американский роман в 20-е годы XX века» (1968), «Послевоенные американские романисты» (1980), соавтор и ответственный редактор работ «Американская литература и общественно-политическая борьба: 60-е — начало 70-х годов XX века» (1977), «Художественная культура США в социально-политическом контексте 70-х годов XX века» (1982).

ШЕРЕШЕВСКАЯ МАРИЯ АБРАМОВНА

Советский литературовед, переводчик с английского, кандидат филологических наук. Автор статей и публикаций по англоязычным литературам и международным связям русской литературы. Переводила романы Г. Джеймса «Женский портрет», Джойс Кэри «Дорогой мой Чарли», пьесу Т. Уайлдера «Наш городок», «Памфлеты» Дж. Свифта и др.

ПЛАХОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ (род. в 1950 г.)

Советский кинокритик, кандидат искусствоведения. Автор статей о советском и зарубежном кино.

ДЖОН ЛЕННОН — JOHN LENNON (1940—1980)

Руководитель английского эстрадного ансамбля «Битлз», автор текстов и музыки песен, художник-карикатурист. Был убит 9 декабря 1980 г.
Публикуемые миниатюры взяты из его книги «Пишу как хочу» («In His Own Write». London, Penguin Books, 1980).

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5. Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**, **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 29.09.83 Подписано в печать 16. 11.83. А 01850. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,42.

Тираж 380 000 экз. (1-й завод:1 — 340 000 экз.) Зак. 3322

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сейчас, когда складываются первые номера «Иностранной литературы» на 1984 год, редакции хотелось бы вновь посоветоваться с вами, получить ответы, в частности, на следующие вопросы:

1) Какие из произведений зарубежной прозы, напечатанные в «ИЛ» в 1982—1983 годах, привлекли ваше внимание?

2) Имена каких писателей вам хотелось бы чаще встречать в журнале?

3) Предпочитаете ли вы романы «с продолжением», публикуемые в нескольких номерах, или небольшие повести?

4) Как вы относитесь к разделу поэзии? Чьи стихи вам запомнились?

5) Вызывают ли у вас интерес разделы критики, публицистики, хроники и другие?

6) Удовлетворяет ли вас качество перевода? Работы каких наших переводчиков вы могли бы отметить?

Редакция будет признательна как за самые краткие ответы на вопросы нашей анкеты, так и за развернутые суждения о различных сторонах деятельности нашего журнала. Желательно указать, помимо адреса, ваш возраст и род ваших занятий.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394